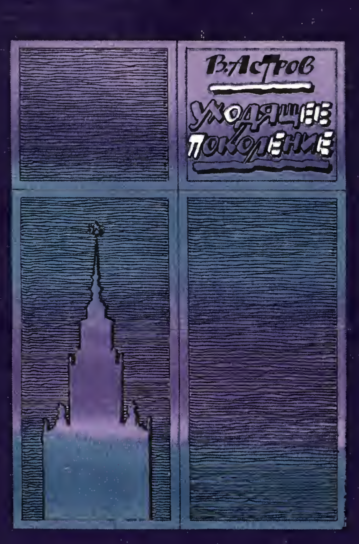

В. Астров
Уходящее поколение



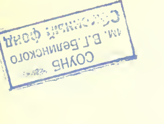
В. Астров

Уходящее поколение

РОМАН

Советский писатель
1989

ББК 84 Р7
А 91



Художник
АЛЕКСЕЙ ГАННУШКИН

$$А \frac{4702010201-218}{083(02)-89} 10-89$$

ISBN 5-265-00903-5

Удивительно, как все прошедшее становится мною. Оно во мне, как сложенная спираль.

Л. Н. Толстой

Человек создан быть опорой другому, потому что ему самому нужна опора. Рассматривайте себя как единицу — и Вы придете в отчаянье.

Из письма Н. А. Некрасова
Л. Н. Толстому

ОТ АВТОРА

Не ищите здесь ни описания крупных событий, ни острых сюжетов, ни увлекательных приключений. Одна наивная девчушка ставила в укор своим старикам, что они «жили идеями». За их плечами долгая, временами нелегкая жизнь, они пытаются ее осмыслить. Если это вам ничего любопытного не сулит,— закройте книгу.

Это не мемуары, это роман-воспоминание. Неповторима молодость последнего из поколений русской демократической интеллигенции, протекавшая в годы великих революционных потрясений; она жива в памяти, из нее эти люди черпают силы.

Один из них пишет о ней роман. В книге о писателе нельзя было обойтись без его высказываний о литературе. Они глубоко субъективны, однако показались мне характерными не только для него.

Наша критика справедливо отвергала концепцию «идеального героя». Мои персонажи не могли бы претендовать даже на амплуа положительных героев дней сегодняшних, принадлежа к поколению, уходящему от нас навсегда вместе со своими достоинствами и недостатками.

Роман написан в основном лет десять тому назад. Эти лица доживали свой век в годы, которые мы теперь зовем полосой общественного застоя, и, естественно, несут на себе некоторый ее отпечаток. Было бы неблагодарной задачей их «осовременивать», делая провидцами нынешних животворных переустройств. Что в жизни было, то требует осторожного прикосновения пера, дабы не превратиться в то, чего не было.

1. I. 1988

ВМЕСТО ПРОЛОГА

Во второй половине апреля 1945 года к западу от Зееловских высот на поле боя, сыром от недавнего дождя, наша санитарная служба подобрала майора Пересветова, в прошлом известного советского журналиста, тяжело раненного. Крупный осколок проник глубоко в мякоть бедра; правая нога выше колена была в крови, перемешанной с грязью, налипшей на плащпалатку. Когда его укладывали на носилки, не терявший сознания раненый скорее зарычал, чем застонал от боли.

При осмотре в медсанбате выяснилось, что бедренная кость, по счастью, не задета, но лихорадка, озноб, потливость раненого и заметная отечность ноги заставляли опасаться газовой гангрены. Скрежеща зубами, чтобы не стонать, он жаловался на нарастающую в ноге тяжесть.

Запоздание с хирургическим вмешательством на час, иногда на минуты в подобных случаях грозит ампутацией ноги, если не смертельным исходом. Ведущий хирург приказал: тотчас на операционный стол. Извлекши осколок, он исполосовал под местным наркозом наружную и внутреннюю стороны поврежденного бедра широкими и глубокими надрезами хирургического ножа, открыв доступ к мышечным тканям кислороду, губительному для вредоносных микробов. На бедро наложили повязку, и майора перенесли из операционной в отдельную палатку.

Утром следующего дня Константина Андреевича Пересветова эвакуировали на самолете в глубокий тыл, в один из областных городов средней России, для стационарного лечения, предупредив, что оно будет очень затяжным.

Так закончилась для него Великая Отечественная война. Накрыла-таки его на 47-м году жизни своим черным крылом последняя туча рассеянной бури! В молодости ему везло: на колчаковском и деникинском фронтах, будучи комиссаром батальона, он, хотя и бился плечом к плечу с рядовыми бойцами, отделался лишь контузией. А тут в начале войны его назначили в только что формировавшиеся ополченские части, и потом он все четыре фронтовых года оставался на политико-просветительной работе: агитатор полка, редактор дивизионной газеты, лектор политотдела армии. Не раз бывал под огнем противника и все же, казалось, больше шансов имел уцелеть, чем в строю, когда б не этот злосчастный случай с осколком фашистского снаряда почти под самым Берлином.

В тыловом госпитале Пересветова поместили в одиночной палате с окном, в которое он, лежа на койке, мог видеть кроны еще не зазеленевших яблонь. Первые ночи боль и ощущения неловкости в ноге не давали ему как следует заснуть. На третьи сутки пребывания здесь он попросил у молоденькой медсестры, менявшей ему перевязку, ручное зеркальце и, увидев в нем свое осунувшееся и побледневшее лицо, обросшее коричневатой щетиной, подумал, что не худо было бы побриться...

Его родным послали телеграмму, и он стал ждать приезда жены. Ольга в эвакуации, с заводом, на котором работала парторгом, перенесла воспаление легких, а по возвращении в Москву снова заболела; но месяц тому назад ему написали, что она поправляется.

Прошло около недели. Его стало постоянно клонить ко сну. Врач считал это хорошим знаком. Но однажды пришлось среди дня разбудить раненого: к нему приехали. Он не должен волноваться, разговаривать должен, не поднимая голову с подушки.

Все еще полусонный, в нетерпеливом ожидании скосив глаза на дверь, Константин Андреевич в первый момент удивился молодому румяному лицу вошедшей, но тут же понял, что перед ним его дочь, Наташа; у них в семье сын наследовал наружность отца, а дочь — матери. Порывисто подойдя, Наташа нагнулась его поцеловать, уселась на табурет и, держа его руку в своей,

стала расспрашивать: как все это с ним произошло, как он сейчас?.. Потом посвятила его в домашние дела.

— Мама рвалась к тебе ехать, но, знаешь, я ее не пустила: зачем рисковать? Она еще не совсем здорова...

Старший сын Пересветова Владимир и Наташин муж Борис еще на фронте. О своем ребенке, родившемся у нее в эвакуации на Урале, сказала:

— Сашенька мой окреп, поздоровел, складывает из кубиков дома и башни! Ждет домой дедушку... А мама меня беспокоит! — призналась она.— Ты знаешь, человек она твердый, но иногда в ее глазах ловишь такое, что пугаешься... Очень за тебя беспокоится, наказала мне добиться у врачей, чтобы всю правду сказали.

— Успокой ты, пожалуйста, ее! У меня и боли в ноге уже проходят, только вот с койки подниматься не велят. Жизни моей абсолютно ничего не грозит. Гангрену успели в самом начале пресечь. Ни я, ни врачи не сомневаются, что все заживет, нужно только время. Ну и терпение, конечно.

— О Дине тебе Володя писал?

— Нет. А что?

— Мы тебе не писали. Сначала они переписывались, даже свиделись во время его заезда в Москву по дороге на артиллерийские курсы,— ты это знаешь. Потом письма перестали приходить. От студентов я слышала, будто она не вернулась из эвакуации.

Константин Андреевич качал головой.

— А мне Владимир ничего этого не писал. Да он и о своем ранении написал, уже выйдя из госпиталя.

«Когда-то я в Москву отсюда вырвусь!» — печалился Пересветов после отъезда дочери. Врачи не обещают выпустить раньше, чем через полгода. Уверяют, будто со временем встанет на обе ноги, будет ходить без палочки, даже бегать, во что ему трудно поверить, глядя на вытянутую вдоль койки забинтованную ногу.

По ночам ему снились артобстрелы, висячие ракеты, заливающие мертвенным светом снег. Одно сновидение было необычным: будто едет он жарким летним днем с группой бойцов на грузовике по прифронтовому большаку, над которым висит пелена густой

пыли, и вдруг видит: поперек дороги лежит на боку другой грузовик, а вокруг валяются на земле какие-то тетрадки, связки писем. Спрыгнув с машины, Константин поднимает одну из связок и убеждается, что в ней его собственная переписка с будущей женой Олей и лучшим другом их юности Сережей Обозерским. Его охватывает необычайный испуг: значит, Оля попала под бомбежку и эти письма — это всё, что ему от нее осталось?! С лихорадочной быстротой подбирает он их с земли и засовывает в свой вещевой мешок, вытряхнув из него сухари бойцам... Бойцы исчезают, он остается один на большаке и с тягостным, тоскливым чувством пробуждается.

Пережитый испуг не проходит, хотя ему уже ясно, что то был сон, что письма лежат у Оли в Москве, в шкафу, аккуратно рассортированные... Ведь письма эти — часть их прожитой жизни, ее самая счастливая, светлая пора! «Они должны уцелеть, даже когда нас с Олей не будет»,— решает он.

Странная штука жизнь: нынешнее в ней путается с прошлым и с будущим, живешь точно сразу в трех измерениях, и хочется, чтобы от тебя непременно что-нибудь да осталось. А война уносит столько человеческих жизней, столько вырвано из нашей памяти, стерто с лица земли!..

Наутро Константин Андреевич, примостив себе на грудь в виде пюпитра книгу и положив на нее листок бумаги, писал дочери, чтобы она в следующий раз привезла ему папки с перепиской, с «Дневником Фаланстера», который в начале 1915 года вели поочередно трое обитателей полулегального ученического общежития перед их арестом, с черновиками будущей «Хроники», задуманной им совместно с Олей. Вот на чем он отдохнет душой, погружаясь в далекое милое прошлое! Подпольный кружок, романтическое знакомство с Олей на елке, исключение из училища и арест жандармами, месяц одиночки... Сигнальная перекличка из окна в окно через тюремный двор с Сережей...

Не успел он закончить письмо, как в раскрытую дверь донеслось радостное «ура!». Кричали раненые, узнав, что война кончилась, что фашистская Германия подписала под Берлином полную капитуляцию!

Это было девятое мая.

День Победы!

...Сидеть ему не разрешали, но лежа можно было читать. В красном уголке госпиталя нашлись разрозненные тома русских писателей, и он перечитывал рассказы Чехова, а пушкинского «Евгения Онегина» тут выпал досуг заучить наизусть, о чем он давно мечтал.

Единственным его собеседником, не считая навещавших его врачей и сестер, был санитар Шошин, хромой старик из Сибири. Когда он нагибался подмести пол, белый халат на его спине потрескивал по шву. К ночи, справив дежурство, Шошин присаживался у раскрытой в коридоре двери на табурет и что-то про себя нашептывал, позевывая и ощупывая пальцами седую щетину на подбородке, остаток сбритой по приказу главного врача бороды.

Пересветов, когда не спалось, гадал: что такое бормочет этот старикан? Однажды спросил, кого тот оставил дома.

— А никого,— отвечал Шошин.— Был один кореш, племянник, да и того война сгубила. Царство ему небесное...

— В бога верите?

— А как же! Истинной веры держусь, евангелической.

«Так это он молитвы шепчет»,— догадался Пересветов.

— Прошлый год пришла мне телеграмма, что племяш мой лежит вот в этом самом госпитале раненый. Приехал я сюда, он рассказывает, как из плена бежал да после того два года провоевал, пока его автоматом не прошило. Про немецкие концлагеря — сказывал, как эти фашисты наших пленных истязали до смерти, голодом морили... С неделю я тут у него заместо санитара пожил. А когда схоронил его, доктора мне и говорят: оставайся у нас, один ты, дескать, на свете, чего тебе в тайге торчать? Поможешь нам с ранеными управляться,— санитаров-то не хватало у них. Ну и уговорили, остался. Военную форму выдали, честь по чести...

В минуты досуга Шошин не уклонялся от беззлобных споров с майором на темы религии. Старик евангелист самым серьезным образом верил, что скоро наступит «кончина мира» и над человечеством свершится божий «страшный суд». Для загробного блаженства в раю спасутся лишь души «истинно верующих», а что до католиков и православных христиан, магометан и

прочих «еретиков и язычников», то всех их, вкупе с неверующими безбожниками, ожидают вечные мучения в аду.

Убеждения Шошина были непоколебимы, и, когда Пересветов спрашивал, почему он так думает, он отвечал: «Так написано». Где написано, когда, кем — в это он не вдавался. «В священных книгах»,— и все тут...

— Позвольте, дорогой Клементий Нилыч,— улыбаясь, допытывался Пересветов, впервые столкнувшийся с таким фанатиком-сектантом,— как же это так? Ну, положим, нам, безбожникам, атеистам, сам бог велел идти к чертям и усаживаться на раскаленные сковороды. Допустим, что так нам и надо за наше упорное неверие в господа бога. Да и в божье положение тоже нужно войти: раз бог при всем своем могуществе не в силах нас убедить в его существовании, так ему ничего не остается, как наказать нас за ослушание. Но чем провинились перед ним те, кто в него верит не по-вашему, по-евангелически, а как научили его верить отцы и деды? Откуда, скажем, японцу или малайцу знать, в чем состоит ваша истинная вера, если он про нее и слыхом не слыхал? Как можно от него этой веры требовать? Где же тут божественная справедливость?

— Всем неверным быть в аду! — неумолимо изрекал старик.— Всяк получит, что заслужил в своей земной юдоли.

— А сколько вас-то, истинно верующих, которые одни спасутся? Меньше, чем капля в море. Стоило ли богу для вашей крохотной секты целый рай учреждать?

— Сколько нас нонче на земле, этого я вам, товарищ майор, сказать не могу,— отвечал Шошин со всей серьезностью, хотя и чувствовалось, что он слегка сбит с толку.— В прежнее время много было, все христиане истинной веры держались. А нонче вера стала иссякать, за что господь и приближает людей к кончине мира...

Пересветов полагал, что, раз Шошин евангелист, он, может быть, противник военной службы, но оказалось, что фашистов тот ненавидит и защиту Родины от них считает священным долгом. Была ли тут принадлежность старика к какой-то «секте внутри секты» или чувство Родины перевесило все остальное, майор выяснять не стал.

Из Олиного письма Косте в госпиталь

«Дорогой мой Костик!

Так хочется тебя видеть! И так тяжело быть скованной по рукам и ногам болезнью. Во всех наших горестях виновата навязанная нам война. Какое счастье, что ее нет больше, мы победили и ты остался жив!

К сожалению, о моей поездке к тебе врач и слышать не хочет. В груди болей у меня уже почти не бывает, но слабость большая, и температура не каждый день нормальная. Надо же было так случиться, что мы оба выбыли из строя как раз в радостные дни Победы! Так обидно!

Наташа к тебе опять выберется уже на следующей неделе, и вместе с этим письмом ты получишь черновики и переписку. А пока я взялась ее читать и отрываюсь только, чтобы написать тебе. Какой сон тебе приснился, надоумил взяться за нашу «Хронику»! Все, что напишешь, сейчас же высылай, мы здесь перепечатаем па машинке.

Ты просишь, чтобы и я писала для «Хроники»,— нет, Костечка, не обещаю. О тех временах писать — значит их снова пережить, а на это у меня сил не станет, читаю и над каждым письмом плачу. Какие мы были счастливые и какие хорошие молодыми! Ведь не стыдно рассказать об этом, правда? Ведь мы хоть и те же самые остались, а все-таки уже не те, на тех смотрим издалека и можем судить как о других людях, пусть для нас не посторонних. Ты сумеешь все написать как надо, как я сама написала бы, если б смогла.

Не хочу от тебя таиться, в последнее время что-то все меньше надеюсь поправиться. Не прими это за пессимизм, ты знаешь, он мне несвойствен, а только я временами впадаю в странное состояние, будто перестаю жить и начинаю испаряться куда-то в пространство. Врач говорит, что это «шалости сердца», при легочных и сердечных заболеваниях так иногда бывает, чтобы я не пугалась. Может быть, и так. Вспомню, что ведь ты жив, и Наташа, Володя, Сашок — все живы,— тогда прихожу в себя, значит, и мне надо жить. Спасибо заводчанам, и в Москве меня навещают...»

...В привезенных отцу Наташей бумагах были номера рукописных «Зорь», подпольного журнальчика пензенских реалистов (после исключения из выпускного класса реального училища и кратковременного ареста в Еланске Косте Пересветову удалось окончить училище в Пензе). С пожелтевших тетрадных страниц юность овеяла его своим свежим крылом. Светлые годы, когда мечталось и жилось, как мечталось!..

В одном из номеров он перечитал написанное им в 1915 году стихотворение в прозе «Женщина, Крест и Книга». Наивное и подражательное, оно тем не менее выражало его тогдашнее внутреннее состояние. Начиналось стихотворение так:

«К вечному мерно текущему Времени пришел Юноша. Он был бледен и чахл, глаза его смотрели тускло и безнадежно. Он вымолвил:

— Как медленно идешь ты, Дедушка Время! Лети! Мчи мой челнок к последнему порогу. Скучно, скучно мне жить! Дай мне цель жизни, дай ее смысл, или пусть я умру».

Время показало ему на свой алтарь, где он увидел Женщину, Крест и Книгу, и предложило выбрать любое.

«— Если ты выберешь Женщину, в ее объятиях ты познаешь неизъяснимое блаженство и счастье жить настоящим, в полном неведении обо всем остальном на свете,— ты перестанешь мыслить и стремиться к чему-либо другому...»

Дивная обнаженная красота ослепила Юношу. Страшным усилием воли он отвел от нее глаза. Время продолжало:

«— Если ты возьмешь Крест, вера в чистое и святое окрылит тебя, надежда на лучшую, вечную жизнь отвратит тебя от мирской суеты и придаст силы на громадный нравственный подвиг: ты уйдешь от людей, затворишься в темной пещере, убьешь в себе грешную плоть, но сохранишь спокойствие и ясность духа. Люди сочтут тебя мучеником, а ты в своем уединении — о, как ты будешь счастлив!..»

Юноша упал на колени и воздел к Кресту руки. Но тень набежала на его лицо, и он поднялся. Тогда опять заговорило Время:

«— Слушай, Юноша: в этой Книге написано обо всем на свете, но ты никогда не дочитаешь ее до конца.

Первый же лист распалит тебя неистовым огнем любознательности, с ненасытной жаждой будешь ты глотать страницу за страницей, каждая родит в тебе множество проклятых вопросов, они измучают тебя, изведут, лишат навсегда покоя. Если бы ты дочитал до конца, ты познал бы все и овладел бы миром,— но ты никогда не дочитаешь до конца. Выбирай! Много веков тому назад ко мне приходил такой же Юноша и взял Крест. Еще раньше приходил другой и выбрал Женщину. Но ты взволнован, ты потрясен, ты пылаешь?.. Что возьмешь ты?»

Юноша протянул руку и взял Книгу».

Для семнадцатилетнего Кости то был час выбора жизненного пути. У него и его близких друзей разразившаяся война с кайзеровской Германией разбудила неуемную жажду знаний. «Войну надо разгадать, войну надо объяснить»,— говорил им основатель их кружка Сережа Обозерский. Они жили ожиданием революции, каждому надо было решать: кто ты, против кого и с кем пойдешь?..

С волнением перечитывал Константин Андреевич строки своего письма Сереже на фронт из Пензы:

«Ты, конечно, знаешь, какое духовное (и, если хочешь, эстетическое) наслаждение способна давать «сухая», по общепринятому мнению, теоретическая мысль. Не меньшее наслаждение нахожу я в другом, что затрудняюсь обозначить одним словом: разве что назвать это выспренно творчеством? Прошлой зимой оно мне в голову не приходило. И знаешь — часто мне трудно взяться за перо, а тянет, как пьяницу к рюмке, дыхание захватывает, точно перед прыжком в холодную воду, а бухнешься — неохота вылезать, и просидишь за столом до утра. Ведь вот несчастье!..»

Костя тогда писал повесть об их кружке и аресте жандармами. А вот слова из посмертного письма Сережи, написанного накануне наступления русских войск, в котором он погиб: «Не бросай писать». Вглядываясь в неуклюжий крупный, с наклоном влево, почерк своего друга, Костя думал: «Может быть, теперь мне суждено еще и еще раз пережить то счастье, которое тогда я звал несчастьем?»

Нет худа без добра: ранение давало ему возможность обратиться к делу, полюбившемуся с юности.

Из Костиного письма Оле

«...Читаю переписку, и приходит в голову шальная мысль, что нам троим тогда, за два года до революции, «повезло разлучиться», без чего не осталось бы столь редкостной документации. Вспоминаешь многое, о чем и помнить позабыл. Картина за картиной встают в памяти, только бери карандаш и пиши (чуть не написал «садись и пиши»! Увы, сидеть пока не разрешают).

Из написанного многое придется переделать. Это не будут обычные воспоминания, факты останутся лишь в основе, имена, кроме Сережиного, переменю, многое перетасую. Главное, на что решаюсь,— передам Сергею многое из пережитого мной самим, в дополнение к его образу. Писать его буду не фотографично, а таким, каким ему самому хотелось стать, заострю лучшие черты, но и не затеню некоторых интеллигентских слабостей. На нем можно показать, как должен был тогда человек себя перевоспитывать, чтобы стать настоящим большевиком. Себя либо совсем исключу, либо сохраню на вторых ролях.

Из сказанного вытекает, Олечка, что я решаюсь ему передать и нашу встречу с тобой, и нашу любовь,— конечно, только с твоего согласия, ты мне напиши откровенно. Пусть это будет некая наша жертва в память Сережи, ставшего близким нам обоим на всю жизнь. Ладно?

Ты пишешь, не стыдно ли нам рассказывать о себе. Писать обо всем на свете всякий имеет право, в том числе и о себе. Но о б я з а н н о с т ь писать о себе нужно заслужить. Своей честной юностью мы заслужили обязанность написать о ней, и мы напишем. Мы не можем не написать о ней, это паш долг перед детьми, перед нашим и будущим поколениями. Редко кто отдает себе отчет, что политика пропитывает решительно все стороны существования людей, особенно теперь. Если наша «Хроника» заслужит опубликования, то молодой читатель, будь то юноша или девушка, на нашем примере убедится, что большевистская борьба за лучшее будущее человечества не только важна для всех, но и увлекательно интересна для того, кто сумел ей отдаться, найдя в ней свое счастье.

Из написанных глав предстоит создать нечто цельное, и еще больше надо будет написать заново».

...У Константина Андреевича начались рабочие дни. Рука уставала от карандаша — он брался за книги. Старик Шошин оказал ему две большие услуги. Во-первых, сходил в местную библиотеку и выхлопотал раненому майору разрешение получать нужные книги, а во-вторых, сколотил из фанерок легкий нагрудный пюпитрик, чтобы на нем писать или ставить книгу для чтения лежа на спине.

Из принесенных Шошиным по заказу Пересветова книг особенно ценным оказался для него том гегелевских лекций об эстетике. В двадцатых годах, учась в Институте красной профессуры, Константин читал некоторые работы Гегеля, но тогда эстетика его не занимала, а сейчас была воистину ложкой к обеду. Он так увлекся чтением, что старику санитару приходилось тушить на ночь свет даже в коридоре, откуда он проникал в палату через открытую дверь.

Некоторые принципиальные формулировки философа Константин Андреевич заучил наизусть. Кардинальными по значению представлялись ему такие строки: «У человека душа просвечивает в глазах, а произведение искусства должно быть «тысячеглазым Аргусом»: его душа — содержание — должна просвечивать в каждой точке изображения». В произведении искусства «ничто не должно быть лишним», в нем «нет ничего другого, помимо того, что имеет существенное отношение к содержанию и выражает его».

Или еще — о манере художественного письма: «Не иметь никакой манеры — вот в чем состояла во все времена единственная великая манера, и лишь в этом смысле мы должны называть оригинальными Гомера, Софокла, Рафаэля, Шекспира...»

Все это как нельзя лучше отвечало Костиным литературным вкусам, его всегдашнему стремлению писать «без завитушек», без выкрутасов, как можно ближе к сути дела, будь то в школьном сочинении, газетной статье, стихотворении или повести.

Вторым автором, чьи книги, приносимые из библиотеки Шошиным, многое дали Пересветову, был великий французский писатель Стендаль. Перечитывать его романы и новеллы не было нужды, он их читал неоднократно, а вот дневники Стендаля, до которых раньше руки не доходили, его глубокие психологические исследования «О любви» и другие он проглатывал с жад-

ностью, хотя и не смог бы объяснить, что именно из них черпал. Скорее всего, Стендаль учил его сердцеведению.

Заказывал и русских критиков — Белинского, Писарева, Чернышевского и других, не исключая мало ему знакомых Амфитеатрова, Мережковского, Аверкиева, Скабичевского... Чтением он перемежал свою «писанину», как называл ее Шошин.

— Пиши, пиши, товарищ майор,— приговаривал он,— авось когда-нибудь будешь к о р ё ф и е м!

Радио в палате у Пересветова не было. Однажды в растворенную дверь донеслись возбужденные голоса: раненые обсуждали какую-то новость. Шошин объяснил, что американцы сбросили на Японию с самолета страшной силы бомбу, уничтожившую город Хиросиму. Три дня спустя такая же участь постигла город Нагасаки.

Количество жертв и масштаб разрушений поражали. Это был такой «информационный шок», что не сразу можно было взвесить значение и все последствия происшедшего. Многое казалось странным. Никто не сомневался, что разгром фашистской Германии обрекал Японию на неизбежное поражение. Квантунская армия японцев дралась на материке, в Маньчжурии, советские войска готовились к решающему броску — «волк» был уже обложен в его логове. Зачем же понадобился американскому командованию этот ошеломляющий удар по тыловым японским островным городам? Война в Маньчжурии не прекратилась, пока Квантунская армия не сложила оружия под натиском советских войск.

Невольно приходило в голову, что демонстрация нового оружия рассчитана была на запугивание всего мира, и прежде всего Советского Союза, ростом американской военной мощи.

Сектант Шошин стал уверять Пересветова, что теперь уже не за горами «страшный суд», на котором бог пошлет в преисподнюю следом за Гитлером также и президента США Трумэна.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Среди бумаг, доставленных отцу Наташей, в особой тетрадке хранилась запись, сделанная Пересветовым от руки в феврале 1928 года. Он и раньше, дома, иногда перечитывал ее. Теперь она заставила его еще раз оглянуться на предвоенные тринадцать лет.

Правильно ли он их прожил? Вплоть до войны его не раз терзали сомнения. Теперь жизнь ставила его на рубеж, как и тогда, в двадцать восьмом, поэтому он прочел свою старую запись снова от строки до строки.

Вот ее полный текст.

«Не помню, чтобы когда-нибудь я чувствовал потребность вести дневник, да и времени на него не остается. Но происшествия минувшей недели могут обозначить перелом если не в моей судьбе, то в моей работе, и нужно отдать себе в них отчет. Лучше всего сделать это на бумаге, пользуясь несколькими свободными днями.

Конечно, что сделано — то сделано. И все-таки, правильно ли я поступил? Что из этого может получиться?

Итак...

Неделю тому назад, в субботу вечером, приоткрыв дверь в кабинет, слабо освещенный настольной лампой с зеленым абажуром, я спросил:

— Можно к вам, Мария Ильинична?

— Входите, Костя,— сказала она, узнав меня по голосу.

Я вошел. Не отрываясь от лежавших перед ней на письменном столе типографских корректур, она жестом указала мне на кресло для посетителей.

— Вы меня извините, я только просмотрю статью и буду в вашем распоряжении.

Я опустился, а точнее, плюхнулся в мягкое, обшитое черной кожей раскидистое кресло, и мой подбородок разом очутился вровень с краем стола. Каждый раз я забываю о предательском свойстве этого пружинного сиденья сжиматься под тобой больше, чем ожидаешь.

Сама Мария Ильинична сидела в обыкновенном рабочем кресле с гнутыми деревянными подлокотниками. В ожидании я грустно поглядывал на нее. Работая литературным сотрудником в секретариате газеты, четвертый год я знаю эту седеющую женщину, сестру Ленина, и привязался к ней всей душой. Ни у кого другого не встречал я такой обаятельной мягкости в обращении при неуклонной требовательности в работе. Ее можно было иногда переубедить, но никогда она не поступала против своего убеждения. Удивительное сочетание в человеке женского и мужского начал.

В 1924 году, вскоре после кончины Владимира Ильича, ЦК партии направил меня и еще несколько слушателей Института красной профессуры, не снимая с учебы, на работу в редакцию «Правды». А вот сейчас, в эту самую минуту...

Подписав корректуры к печати, Мария Ильинична нажала кнопку настольного звонка и, вручив их вошедшей сотруднице, обратилась ко мне:

— Ну что у вас?

— Пришел с просьбой отпустить меня из «Правды».

— Как так?.. Что случилось?

— Ничего особенного не случилось, но... есть причины. Иван Иванович Скворцов-Степанов еще до Пятнадцатого съезда партии уговаривал меня перейти к нему в «Известия». Помнит нашу дружную с ним работу в «Ленинградской правде» в двадцать шестом году. Он сильно болен, вы это знаете...

— Вам надоело у нас работать?

— Как вы можете так говорить! — воскликнул я.

— Так в чем же дело?

— Посудите сами: в двадцать шестом я формально окончил институт по историческому отделению, на деле же ни одна из моих работ по истории не дописана и не издана, кроме вступительной, о зарождении меньшевизма в России. А ведь я поступал учиться, мечтал книги по истории писать. С конца двадцать третьего года меня то и дело отрывают от наук внутрипартий-

ные дискуссии, газеты. Теперь наконец троцкизм разгромлен, самое время взять передышку. К тому же в институте меня с минувшей осени загрузили педагогической работой на подготовительном отделении.

— Так вы же хотите уйти тоже в газету?

— В «Известиях» положение иное. Иван Иванович готов удовлетвориться моим литературным сотрудничеством без редакционной нагрузки.

— От ежедневного хождения в секретариат мы и здесь вас могли бы освободить.

— Это, конечно, соблазнительно... Но тут вступает в силу третье обстоятельство.

— Да? Стало быть, главное сберегли напоследок?

— Мария Ильинична, вы были в курсе моей политической размолвки с Бухариным, Шандаловым и Хлыновым,— сказал я, имея в виду свой почти годичный разрыв личных отношений с ними из-за расхождений в оценке роли Троцкого в партии.

— То было три года тому назад. После того вы давно уже с ними вместе работаете.

— Где же давно? Всего полгода с небольшим: сейчас февраль, а вернулись мы с Флёнушкиным из заграничной командировки прошлым летом. До того девять месяцев был Берлин. А еще раньше одиннадцать месяцев Ленинград, меня туда ЦК посылал, там шла ликвидация последствий хозяйничания зиновьевцев...

— Ну и что? У вас с ними опять какие-нибудь трения?

— И да, и нет... Меня почему-то перестали приглашать на некоторые редакционные совещания. Я понимаю, я не член редколлегии. Чувствую, чем-то я стал им мешать. Прежней дружной работы не получается.

Мария Ильинична молчала, впившись в меня глазами. Они мне напоминают ягоды черной смородины, хотя я затруднился бы сказать, какого они цвета на самом деле. Растягивая слова, она тихо произнесла:

— Все-таки... главного вы мне не сказали.

— Чего именно?

— Какие у вас с ними разногласия?

— Толком и сам не знаю. Чувствую только, что отношение ко мне изменилось. Особенно у Виктора Шандалова.

— В чем же все-таки дело? Припомните, не было

ли расхождений во мнениях? Если, конечно, вы не ошибаетесь насчет перемены к вам.

— С Виктором после съезда было, пожалуй, одно расхождение, но я политического значения ему не придал, сочтя за чисто деловое. Секретарь одного из московских райкомов партии прислал статью, в ней высказывался за перераспределение капитальных вложений в пользу легкой промышленности. Мне это показалось отступлением от партийного курса на индустриализацию. Шандалов заметил, что в статье речь идет только о Москве. Оговорку эту он вставил, но я сказал, что и для Москвы это вряд ли правильно; не век же ей оставаться «ситцевой», как по старинке ее величали.

— Статья лежит у меня с пометкой ответственного редактора «печатать»,— заметила Мария Ильинична.— Видела и ваше замечание на полях, и поправку рукой Шандалова.— Помолчав, она спросила: — Вы хорошо обдумали свой переход в «Известия»? Не будете перерешать?

— Не буду.

— Моя бы воля, не отпустила бы вас.

— Обращаться к самому Бухарину, как ответственному редактору, я не хочу, он все равно к вам направит.

— Хорошо, я поговорю с ним и с Виктором.

— Думаю, они возражать не станут. Признаюсь вам, Мария Ильинична, есть у нас с женой еще одна затея, так сказать, для души: хотим написать про наши подпольные ученические кружки. Хочется и на это выкроить время.

— Да, вы мне говорили об этом,— отозвалась она, улыбнувшись.

Таков был наш с ней разговор. Прощаясь, Мария Ильинична спросила: как моя жена, дети? Я отвечал, что дома у нас все в порядке».

В ближайшие дни вопрос был решен. Как и предполагал Пересветов, редакция «Правды» не стала его удерживать.

Зная, что он со дня возвращения из Берлина не пользовался отпуском, Мария Ильинична предложила ему путевку от редакции на юг, в дом отдыха:

— По крайней мере, после сумасшедшей зимы силы восстановите.

Костя поблагодарил. На курорты он не ездит, во время отпусков предпочитает поохотиться, а сейчас ему приятней дома побездельничать, повозиться с детьми. Семинары в институте отнимают у него не больше двух рабочих дней в неделю.

Оля Лесникова прошлой осенью из агитпропа Краснопресненского райкома партии перешла на другую работу — ее выбрали секретарем ячейки одного из московских заводов. Ей двадцать девятый год (Косте через полгода тридцать), но выглядит она моложе; за спиной у нее темно-каштановая коса, на веснушчатых щеках прежняя «кровь с молоком». По характеру они оба, что называется, жизнелюбивы, им нравится все, чем они живут, и живут они тем, что им нравится: интересная работа, дружная семья, хорошие дети, музыка, домашнее пение, а у Кости еще пристрастие — охота. С футболом, перебравшись из Еланска в Москву, пришлось распрощаться, то же и с баскетболом, покинув институтское общежитие.

Дети — девятилетний Володя и Наташа, которая двумя годами его моложе,— растут в основном на попечении Олиной мамы, Марии Николаевны. Она до прошлой осени жила с ними в Еланске, Оля наезжала туда каждое лето, иногда на денек-два и зимой; Костя навещал малышей и того реже. Осенью получили квартиру в новом доме на Ленинградском шоссе, с окнами на клодтовских чугунных коней при въезде на Скаковую аллею, и смогли наконец обосноваться вместе, всей семьей.

На их счастье, Мария Николаевна, человек сугубо культурный, внуков любит без памяти, растит их добрыми, отзывчивыми, рано обучила их грамоте, даже начаткам немецкого и французского языков. Глядя на детей, Константин добром поминает своего отца, научившего сына читать по складам уже в трехлетнем возрасте.

Володю бабушка в Еланске в школу не отдавала, зато в Москве его приняли сразу во второй класс, чем он как бы повторил своего отца, принятого в 1922 году сразу на второй курс Института красной профессуры по специальности «История России».

Новоиспеченный школьник сначала перед младшей сестренкой важничал, перестал играть с ней в куклы и на расспросы о школе отвечал не очень охотно. Видимо,

нужен был срок освоиться с новым общественным положением. Углубившись в себя, даже со взрослыми был неразговорчив. Вскоре, однако, стал прежним резвым и общительным мальчиком, делился впечатлениями от школы, играл с Наташей в прятки, в пинг-понг на столе в зале, а когда выпал снег, выбегал во двор лепить снежную бабу, играть в снежки.

Дети приучены были к порядку, по утрам убирали свои постели; по выходным дням Володя водил Наташу за руку гулять; взрослые доверяли ему опускать в почтовый ящик письма. Сестренка привыкла подхватывать любую его затею и всюду бегала следом за ним. По вечерам играли с бабушкой в лото или же читали что-нибудь вслух, она рассказывала внучатам сказки и всякие истории.

Проснувшись утром и вспомнив, что сегодня уже не идти в редакцию, Константин ощутил себя расслабленным и опустошенным. Чем бы ему заняться?

Взгляд его скользнул по стене, где висели карточки друзей юности, товарищей по отсидке в царской тюрьме за два года до революции. Двое из них, оба блондины, братья Лохматовы, живы и по сей день. Старший, Коля, Костин сосед по парте в еланском реальном училище, сейчас далеко, в Китае, военным советником; а младший, Федя, чекист, работает в органах ОГПУ. На соседней карточке худое длинное лицо с пушистыми бровями и высоким лбом — это Сережа Обозерский; узнав о его гибели в 1916 году на русско-австрийском фронте, Костя дал себе обет всю жизнь работать за двоих, не сходя с избранного ими пути.

После завтрака его развлекли дети. «Какими-то они вырастут? — думал отец, любуясь, как они забавляются с желтенькой домашней собачкой Джинкой. Когда-то, перебирая имена еланских кружковцев, он обнаружил, что из учащейся молодежи «в революцию» шли главным образом те, у кого в семье были какие-нибудь нелады. Семейное неблагополучие, должно быть, предрасполагало к критике обществе́нного устройства в целом. Теперь у Пересветовых семья вполне благополучная. Но ведь и вся жизнь повернулась на 180 градусов: новому строю нужна крепкая семья как его низовая ячейка.— Отпадет ли вековечная проблема «отцов и детей»? — думалось ему.— Начисто вряд ли, во

всяком случае, не скоро. Примет иные формы. Какие?..»

Он подошел к шкафу и вынул из него несколько папок, набитых выписками из книг, газет и архивных документов. У Кости дрогнуло сердце: давненько к ним не прикасался! Они напомнили ему тесную комнатушку институтского общежития, где так хорошо работалось и жилось вдвоем с Олей. С какой неуемной жаждой знаний приехал он тогда в Москву из Еланска, с какой дотошностью, по крупицам, выискивал их, готовясь к занятиям в семинаре Покровского!

Костя развязал шнурки одной из папок. Выписки из архивного дела совета министров времени Столыпина, из стенографических отчетов государственных дум. В другой папке — из большевистского «Пролетария». А вот из «Нашей зари», меньшевистского ликвидаторского журнала тех же лет; из ежегодников кадетской «Речи», из эсеровской «Революционной мысли»... Со дня падения царизма прошло всего одиннадцать лет, а какой глубокой стариной пахнуло на Пересветова! Как быстро прошумели богатые событиями годы!..

Эту недавнюю — и в то же время давнюю — историю пока никто не написал, а ведь она нужна. Надо, надо знать, на какой исторической почве, в итоге какой и с кем титанической борьбы возник и растет в нашей стране новый социалистический мир. Не столько с просветительной целью знать, но для потребностей борьбы за будущее.

Поступая в институт со жгучим интересом к истории большевистской партии, Константин скоро осознал, что ее невозможно оторвать от истории страны в целом, и своей отдаленной целью поставил написать когда-нибудь историю царской России начала XX века. Написать не в виде социологизированной схемы и не в виде учебника «от сих до сих», а полносочно, в живом красочном изложении событий, с характеристиками исторических лиц.

Между книгами на полке стояли перевязанные тесемками темно-зеленые папочки с вытисненным профилем Гоголя на обложках. «Развяжу потом, когда время будет»,— подумал он. В них хранилась переписка с Сережей и Олей, черновые наброски к будущей «Хронике»...

...Вечером отец повез детей на каток. Еще к Новому году он купил им по паре ботинок с коньками-снегурочками, и дети тогда вместе с папой и мамой ездили на популярный у москвичей уютный каток на Петровке. Были катки и поближе, но на них не было буфета с такими вкусными пирожками и пирожными.

У Оли сегодня вечер был занят, дети покатались с отцом, а когда вернулись, мама была уже дома. Она сообщила новость, которую муж воспринял как удар обухом по голове: руководство МК сегодня информировало работников партийного аппарата о новых разногласиях, возникших в Политбюро ЦК партии!..

Поводом, по словам Ольги, послужили выступления секретаря МК Угланова, утверждавшего, будто мы «заиндустриализировались», вкладывая крупные средства в тяжелую промышленность, и недооцениваем легкую. Угланова поддерживают Бухарин, Рыков, Томский; Сталин и большинство членов Политбюро отстаивают принятый XIV и XV съездами партии курс на социалистическую индустриализацию, с упором прежде всего на развитие в стране производства средств производства как первоосновы экономической самостоятельности страны, ее обороноспособности и дальнейшего роста всех остальных отраслей хозяйства.

Так вот в чем причина внезапного отчуждения Шандалова и других, заставившего недоумевать Костю! За статьей секретаря райкома он не разглядел нечто более серьезное. Куда же девалась его политическая бдительность? Ведь после конфликта трехлетней давности и лозунга «обогащайтесь» Пересветову приходило в голову, что когда-нибудь, это не исключено, может быть, придется иметь дело с оппозицией правых. Но мог ли он подумать, что это произойдет так скоропалительно, сразу после разгрома троцкизма, тою же зимой? Мария Ильинична недаром назвала эту зиму сумасшедшей...

Все свои самокритичные мысли Константин в беспорядочной и бурной тираде высказал Оле.

— Зачем только поторопился я с уходом из «Правды»? — горестно восклицал он. — Получилось что-то вроде дезертирства накануне сражения. Никогда себе этого не прощу! Нельзя было свои личные мотивы ставить на первое место!

— Успокойся, что такое ты говоришь, какое дезер-

тирство? — старалась его охладить Оля.— Во-первых, ты не мог знать...

— Должен был предвидеть! — перебивал он.

— Во-вторых, никуда ты не сбежал. Кто тебе мешает выступать на собраниях, в печати, если дискуссия развернется? Да еще неизвестно, может быть, разногласия удастся изжить в ЦК без вынесения вовне. В-третьих, побереги свои нервы, видишь сам, как ты их расшатал,— а что было бы, останься ты и дальше с глазу на глаз с Виктором в редакции?

— Кой черт думать о нервах! Надо мне было, по крайней мере, в ЦК говорить о своем уходе, ведь меня ЦК направлял в «Правду».

— Направлял в распоряжение редакции, теперь редакция и отпустила. Не драматизируй ты, пожалуйста, положение! Поговори с Иваном Ивановичем. Теперь он будет твоим хозяином в «Известиях», сходи к нему, посоветуйся.

— Мария Ильинична ни словом не обмолвилась о разногласиях в Политбюро. Не знала, может быть.

— Может, и знала, да не имела права сказать. Может быть, тебя отпустили по согласованию с ЦК, почем ты знаешь?

— К Ивану Ивановичу завтра же схожу,— решил, понемногу успокаиваясь, Костя.

Со вздохом взглянул он на выложенные утром на стол папки с выписками, собрал их и положил обратно в шкаф.

Как бы то ни было, повседневная жизнь Пересветова потекла по новому руслу. На первых порах, впрочем, в «Известиях» совсем устраниться от редакционной работы не удавалось: по просьбе Скворцова-Степанова, которому болезнь не позволяла работать в полную силу, Константин согласился помогать в редактировании статей на партийные темы.

Но Пересветову неожиданно позвонили из ЦК партии: нет ли у него желания пойти на партийную работу в Москве?

Подобное предложение ему делалось однажды, два года тому назад; тогда речь шла о Ленинграде. Теперь он так же, как и тогда, ответил, что, к сожалению, не чувствует за собой достаточных организаторских навы-

ков и способностей, обязательных для работника партийного аппарата, и опасается, что может не оправдать доверия ЦК. Все же его попросили подумать и зайти к ним для переговоров.

Как обычно в важных делах, решали вместе с Олей. Она сказала:

— Они там, в учраспреде, не знают тебя как следует. Сейчас им нужно укреплять надежными кадрами партаппарат в Москве, а ты из «Правды» ушел, вот они и решили тебя прощупать, пока ты нигде не закрепился. Человека с литературным именем оставлять в положении внештатного сотрудника газеты — это, они считают, не по-хозяйски, слишком большая роскошь.

— Хм... Ты думаешь, я с именем?

— Не скромничай. «Правду» всюду читают, не в одной Москве. Интересно, что тебе предложат? Конечно, по нашей, агитпропской линии. Но я и тогда, в двадцать шестом, говорила, что тянуть нашу партаппаратскую лямку ты не приспособлен. Да и с точки зрения интересов партии это была бы ненужная трата сил. Как-никак, ты пером владеешь, не то что мы, грешные, да еще историк с профессорским образованием.

Они переворошили в памяти прошлое. Организаторского опыта подпольщика Костя не имел, в партию вступил на девятнадцатом году от роду в марте 1917-го. В Еланске, правда, в 1921 году работал несколько месяцев секретарем райкома партии, но это вызывалось обстоятельствами дискуссии о профсоюзах, когда нужно было отстоять ленинскую «платформу 10-ти» от наскоков оппозиции. Завершилась дискуссия,— после X съезда его вернули на пост редактора еланских «Известий». А потом, в Москве, в силу обстоятельств сложилось наиболее для него естественное сочетание труда газетного с научным и педагогическим.

Со стороны могло казаться, что Константин разбрасывается по трем различным направлениям, но это было не так. В его занятиях чувствовался единый стержень. С момента пробуждения политического сознания захватил его интерес к истории русской революции и большевистской партии. Для вступительной работы в Институт красной профессуры им была избрана историко-партийная тема. Его первая статья в «Правде», в 1922 году, написанная во время подготовки к экзаменам в ИКП, ставила вопрос о необходимости

создания учебника и монографий по истории партии. После кончины В. И. Ленина им была составлена «Ленинская хрестоматия», по которой занимались рабочие кружки по изучению ленинизма. Основательное знание ленинских трудов дало ему возможность доказательно опровергать ревизионистские теории оппозиционеров, на протяжении ряда лет выступая в центральной печати. Наконец, и в институте он преподает историю партии и ленинизм.

Вот только научные работы по истории России, начатые в институте, лежат незаконченные.

— Кто же я все-таки? — смеясь, спрашивал жену Костя.— Литератор, историк или педагог? Или партийный работник?

— Партийным работником ты остаешься во всех своих ипостасях,— отвечала она,— для этого не нужно назначать тебя в партаппарат. А профессионально ты, я считаю, в основном литератор. Природный, так сказать. Еще в подполье, в 1915 году, начинал с ученической журналистики.

Пересветов пошел в ЦК. Там ему предложили заведование агитационно-пропагандистским отделом одного из райкомов партии в Москве. Константин изложил товарищам все, о чем было говорено с Ольгой, а когда зашла речь о выборе для него основной штатной должности, просил направить его на научную работу с заданием написать книгу по политической истории царской России начала XX века.

— Я готов идти на любую работу, куда меня пошлет ЦК,— говорил он.— Партия меня вырастила, воспитала, вложила мне в руку перо, дала образование. Прошу только об одном: дать мне возможность полноценно возвратить ей все, что потрачено было на меня за одиннадцать лет моего пребывания в ее рядах.

Учитывая не меньшую в те годы потребность в коммунистических научных кадрах, чем в работниках партийного аппарата, в ЦК пошли навстречу Пересветову. Решено было направить его на научно-исследовательскую работу в институт истории. Кроме того, он согласился одновременно работать редактором в издательстве, выпускавшем историческую литературу и учебники по истории.

...Близилась весна и с ней пора глухариных токов. Мечислав, лесничий, большой друг и одноклассник по пензенскому реальному училищу, которое Костя окончил в 1916 году после ареста в Еланске, этой зимой слал ему письмо за письмом, зазывая к себе в северные леса, где они однажды вместе охотились. В Москве Пересветов, как ни хотелось ему поскорее «зарыться» в библиотеках и архивах, все еще продолжал «жить газетой» и не мог до конца разобраться: следовало ли ему уходить из «Правды»? Это выбивало из колеи. Не вредно бы дать отдых нервам, сменить хотя бы на время обстановку. И он телеграфировал Мечику, что выезжает.

За день до отъезда ему позвонил Сандрик Флёнушкин, единственный Костин друг из бывших икапистов, работавший экономистом в Госплане СССР. В институте они были партнерами по баскетбольной команде, а потом вместе ездили в научную командировку в Берлин. Узнав, куда Костя собирается, Флёнушкин загорелся желанием сопутствовать ему в глухариной охоте, о которой слышал столько любопытного.

— Ружья у меня нет и не надо, мне лишь бы по лесу пошататься,— говорил он.— На охоте никогда не бывал, а городская суетня осточертела... В Госплане договорюсь, на несколько дней отпустят.

— Ружье-то мы тебе достанем, не у Мечислава, так у кого-нибудь из его лесников,— отвечал Костя, обрадованный этим звонком.— И сапоги тоже. Только вот осилишь ли ты ночное шлянье по топкому весеннему лесу?

— Клянусь! Ни одной жалобы от меня не услышишь. Заранее готов на любые испытания.

Словом, поехали вместе, Костя в охотничьем снаряжении, а Флёнушкин в городском костюме и штиблетах. Днем не отходили от вагонного окна, любуясь беспредельными лесами, которые, точно волны морского прибоя, то подступали к железнодорожному полотну, то открывали взору поля, наполовину еще заснеженные.

Ехали весело,— смуглый долговязый Сандрик, никогда не унывающий острослов, в роли дорожного спутника был незаменим.

Мечислав принял гостей в своем сосновом доме посреди лесной поляны такой же крепкий, веселый, краснощекий и рыжебородый, как три года тому назад. Не

менее радушно, чем Костю, встретил он его спутника. Гости явились как раз к обеду, и на стол им по тарелке жирных горячих щей подала молодая женщина в деревенском сарафане. Краснея до ушей, Мечислав представил ее как свою жену. Эта неожиданность порадовала Костю; он знал, что его старый друг столько лет мучился неразделенной любовью к их общей знакомой певице, бывшей пензенской гимназистке. Когда Татьяна Ивановна вышла за вторым блюдом, Мечик сказал:

— Извини, Костя, я тебе про нее не написал. Дочь лесника. Не ахти как образованна, четыре класса только и закончила. Но славная, заботливая, мы с ней недавно слюбились... Ей-богу, чувствую себя счастливым, даже не ожидал этого! Про Соню и вспоминать перестал, да, собственно, и вспоминать-то было нечего...

Вечером того же дня втроем шагали по лесной дороге. Ружье, сапоги и стеганая куртка для Сандрика у Мечислава нашлись. По его словам, на днях ему рассказали что-то фантастическое про большой ток в непроходимом болоте верстах в семнадцати отсюда. Там никто не охотится, глухари размножились, их там токует до сотни. Пятеро охотников из Архангельска пожадничали, решили забраться в самую сердцевину тока. Лезли долго, проваливаясь в воду, под вечер выбрали себе по сухой кочке, переночевать. Костра не разводили, глухари уже стали слетаться, — так и промерзли всю ночь на кочках. Зато выслушали настоящий глухариный концерт! Подходить к певцам по воде было неудобно, палили много по случайно подсевшим поближе птицам и, как видно, расстоянием не стеснялись. Стреляли все пятеро, а только двое подобрали добычу, причем самый неопытный, впервые охотившийся на току, взял двух, другой одного. Вину свалили на ружья: «Плохо бьют!»

Обсуждая похождения архангельцев, друзья заочно «костерили» их на чем свет стоит. Можно себе представить, скольких великолепных птиц покалечила за ночь своей пальбой эта пятерка варваров, чтобы утром унести с собой тройку глухарей!..

Проезжие дороги твердо держали ходоков, но стоило свернуть с просеки, и ноги тут же проваливались в хрустящий рыхлый снег. Таяние только что начиналось, крупные реки еще не вскрылись.

Пришли на место незадолго до полуночи. С полча-

сика отдохнули, присев на поваленное дерево и наслаждаясь созерцанием полумрака белой ночи. Потом Мечислав указал каждому, куда идти, и они разошлись по разным направлениям. Флёнушкин получил подробные наставления, как себя вести на току.

Костя довольно долго шел по вязкому снегу, прежде чем дойти до оврага, о котором предупредил его Мечик. Поперек оврага лежала старая засохшая сосна; по ее толстому стволу он перебрался на ту сторону. Поднявшись на бугорок, прислушался. Где-то здесь, по словам Мечислава, из года в год токуют глухари.

Чуть слышно что-то хрустнуло; Костина голова мигом повернулась, ружье прилегло к плечу, и он увидел на фоне снега черную не то кошку, не то собаку; выгнув спину и вильнув хвостом, она тотчас скрылась в овраге. Он успел бы, пожалуй, выстрелить, но что это было?.. К тому же выстрел мог повредить току.

Константин продолжал стоять на месте. Сквозь черные узоры недвижных ветвей просвечивало розоватое утреннее небо. Минут через десять до его слуха долетело приглушенное расстоянием слабое прерывистое шуршанье. Стихло, повторилось еще раз — и этого было достаточно, чтобы распознать заключительное колено глухариной песни, точенье, давшее название красивейшему свадебному обряду весенних лесов.

Сделав несколько глубоких вздохов, чтобы одолеть невольный приступ волнения, Костя пошел сначала обыкновенным шагом, пока ухо не различило и начальное колено песни: словно капли воды, учащаясь, падали на дно дубового бочонка. Тогда он перешел на подпрыжки по всем правилам подхода к токовику, с остановками за мгновение до конца песни.

На фоне разгоравшейся зари он издали различил силуэт птицы. Глухарь сидел боком к нему, с вытянутой шеей, слегка раскачиваясь в такт песни. Он казался не больше голубя и неестественно тонким из-за сливавшихся со светлым небом отблесков на его оперении...

Продолжая подход под деревьями, Костя скоро почувствовал по звуку, что птица близко. Сосны здесь росли вперемежку с темными елями так тесно, что небо скрыто было за сплошной чернотой ветвей. Между тем ночь подходила к концу, вокруг слегка забрезжило. Косте почудилось, что вверху колеблются ветки;

казалось, звуки токованья идут как раз оттуда. Под одну из песен он выстрелил...

Эхо успело затихнуть в лесу, а вверху ничто не шевелилось. И вдруг зашумели крылья, токовик сорвался с дерева и полетел. Константин бросился за ним и, выскочив в прогал между деревьями, в бледном свете зари успел увидеть, как глухарь складывает крылья, усаживаясь на одно из них. Промахнуться на расстоянии двадцати шагов в такую крупную цель было просто невозможно, и минуту спустя он укладывал добычу в сетку.

Присев на пень, прислушался, не поют ли где поблизости глухари. Кругом стояла тишина. Мысли понемногу возвращались к его жизненному перепутью. Честно говоря, его всегда тянуло к усидчивой работе. То ли дело было в Берлине, где он писал об австромарксистах, а Сандрик о германских социал-демократах...

Размышления прервал дальний выстрел. Словно какой-то великан кашлянул, и его вздох, шурша по вершинам деревьев, донесся со стороны, куда ночью ушел Мечислав. Костя встал с пенька и двинулся было в том направлении, как вдруг услышал позади себя скирканье — звук, каким глухари подают друг другу знак об опасности,— и обернулся. «Дозорный» глухарь сидел, по-видимому, на ближайшей густой сосне, ветви которой сплелись с ветвями ели. Обошел эту пару деревьев с ружьем наготове; скирканье повторилось почти над его головой. Должно быть, это молодой петушок был, «старик» не позволил бы себе такой неосторожности. Тревога еще раз прозвучала; можно было постучать по стволу, спугнуть и ударить птицу влет, но Костя вспомнил вчерашний Мечиков рассказ об охотниках-варварах и, улыбнувшись, решил оставить хитрющую птицу в покое. Одного добытого глухаря достаточно.

Солнце всходило, ток кончался, и он побрел к условленному месту на перекрестке просеков, где Мечик, сняв пиджак и набрав чистого снега в котелок, кипятил воду для заварки чая. На снегу лежал убитый им глухарь; рядом с ним Костя положил и свою сетку.

Выслушав его рассказ про «черную кошку», Мечислав сказал:

— Надо было стрелять. Это росомаха, она в этих

краях живет. Вреднейший зверек, на глухарей охотится, не щадит ни птенцов, ни самок. И мех у нее с зимы еще добротный.

Покликали Сандрика и немного погодя заметили его длинную фигуру с ружьем за плечами. Он издали шел к ним прямиком по снежной целине вместо того, чтобы выйти на протоптанную дорогу, по просеку. Увидя их, сдернул с головы ушанку и замахал ею, другой рукой откидывая со лба волосы.

— Ну как?— закричал ему Мечик и, подмигнув Косте, прикрыл глухарей своим пиджаком.

— Прекрасно!— бодро отвечал Флёнушкин.— Глухаря видел собственными глазами.

— Что же не убил?

— Пускай себе живет и размножается!..

Глухарь, по его словам, только что, на его глазах, протянул над лесом, когда ружье у него было за плечами. Подойдя к костру, он снял теплую куртку и уселся на нее, спиной к жаркому весеннему солнцу.

— Пошел я давеча, куда вы мне указали. Сотни шагов не прошел, вижу — на сосне глухарка. На светлом небе выделяется, шею кверху держит. Стой, думаю, значит, и глухарь где-то поблизости. Сел под дерево, жду. Гляжу — а в другой стороне глухарь на суку крылья растопырил, ну точно как у тебя в кабинете, Костя, чучело. Сейчас, думаю, запоет. Сидел, сидел, а тут вдруг ветерок подул, смотрю — у моей глухарки голова отдельно болтается, хвост отдельно...

Его слушатели захохотали.

— И глухаря не найду: не могу понять, какие ветки я за него принял?.. Постойте, вы во что-то стреляли, где же ваша добыча?

— Промазали,— отвечал Мечислав и открыл спрятанных под пиджаком глухарей.

...На обратном пути Мечик рассказал Косте, что недавно получил печальное известие из Польши: его родители, уехавшие туда в 1921 году, скончались. Сперва отец, а за ним и мать.

— Иной раз упрекаю себя, зачем отказался тогда с ними поехать? Но посуди сам, они возвращались на свою родину, по окончании войны с белополяками,

а ведь я родился и вырос здесь. А тут революция, лесной институт окончил и в конце концов прижился на советском Севере... Боюсь, доконали их там пилсудчики. Отец мне писал, что встретили его с недоверием, приставали: почему к большевикам пошел работать? А он лесничим служил в России с царского времени. Требовали от него рекламаций против большевиков; на это он, как я понимаю, не пошел...

Просек вывел их на край высокого обрыва. Над вершинами стоявших под обрывом деревьев взорам охотников открылась залитая косыми лучами утреннего солнца безлесная долина, вся в проталинах; в отдалении опять начинался лес.

С неба неожиданно повалил мокрый снег. За разговорами они не заметили подкравшуюся сзади тучу. Заслонить солнце она не успела, и в его лучах пелена падавшего снега заискрилась, переливаясь и блестя, точно россыпь алмазной пыли.

— Снег сквозь солнце! — восторженно вскричал Сандрик.— Видал ли ты это когда-нибудь, Костя?!

— Зима на весну сердится,— пробурчал Мечислав.— Не сегодня завтра реки вскроются, снег в лесу сойдет. Хорошо, что он не с ночи повалил, а то бы глухари не запели.

— А вот вам и солнце сквозь снег,— заметил Константин, любуясь, как в быстротечном снегопаде, убегавшем в сторону долины, сквозь снежную пелену просияло разноцветье радуги.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Пересветов активно участвовал в борьбе против правых, выступая за ленинскую линию партии в печати и на партийных собраниях. В «Известиях» он продолжал сотрудничать и после того, как И. И. Скворцов-Степанов в октябре 1928 года скончался.

По мере того как в борьбе с оппозициями конкретизировалась и закреплялась генеральная линия партии, на страницах печати ведущее место стали занимать статьи, корреспонденции и заметки, освещавшие практическое проведение в жизнь принятого в 1928 году плана первой пятилетки. Пересветов на себе чувствовал, как меняются требования к журналисту-газетчику. Осенью 1928 года он еще справился с задачей специаль-

2 Зак. № 761

ного корреспондента «Известий», съездив на Урал в станицу, где рыли котлован под фундамент будущего металлургического завода. Но когда согласился побывать на одной из крупных новостроек в пусковой период ряда цехов, толку не вышло. Хотя он перед поездкой и прочел кое-что по технике и экономике отрасли, на месте о многом пришлось писать с чужих слов. Его теоретические познания оказались почти ни к чему, самостоятельного мнения по спорным вопросам руководства предприятием составить себе за короткий срок он не смог и зарекся от подобных заданий. Писать он привык лишь о том, что знал досконально.

— Что мне делать, Олечка? — вздыхая, спрашивал Константин у жены. В критические минуты он привык смотреться в нее, как в зеркало. — Время требует журналиста нового типа, скорее очеркиста, чем идеолога. Михаил Ефимович Кольцов еще в двадцать пятом году советовал мне, как он выразился, «переменить жанр» и переключиться на тематику хозяйственного и культурного строительства. Но я, должно быть, так закоснел в теоретизировании, что превозмочь себя не могу. Для меня это почти непосильно, я это чувствую. И вот выходит, что я столько лет отдал на борьбу за ленинскую линию партии, а когда она окончательно восторжествовала, я могу остаться на отшибе. Ведь это же форменная трагедия!

— Постой, постой! — прерывала его Ольга. — Какая трагедия? Ты что, думаешь, без тебя мало очеркистов найдется? Не беспокойся! Лучше тебя напишут обо всех новостройках и передовиках производства. Для писания очерков совершенно не обязательно кончать институт профессуры, перейди ты на минуту на мою точку зрения партработника. Разве это экономно — заниматься сейчас переподготовкой таких, как ты?..

Словом, Константин решил, что переучиваться ему уже поздно. В вопросах крестьянской жизни он, как уроженец деревни, разбирался все же лучше, чем в практике промышленного производства. Весной он побывал с корреспондентским заданием на посевной кампании, а годом позже поехал в одну из областей Нечерноземной зоны, где проводилось, по решениям общих собраний колхозников, выселение кулаков.

...Этой командировкой Пересветов мог быть доволен. В областном комитете его лично знали и предложили совместить при поездке в район корреспондентские функции с обязанностями уполномоченного обкома и облисполкома, на что он охотно согласился.

В обкоме уполномоченных инструктировал богатырского сложения человек в военной гимнастерке без знаков различия — член бюро обкома, он же начальник областного управления ОГПУ. На стуле рядом с Пересветовым сидел уполномоченный ОГПУ Курбатов, затянутый в перекрестные ремни энергичный человечек небольшого роста, моложавый и черноволосый. Им предстояло вместе выехать в район.

Требования к уполномоченным были жестки: ни малейшего произвола, ни малейшей обиды крестьянской массе, ни одного факта раскулачивания без постановления на то общего собрания колхоза; ни одной угрозы населению,— на провокации ни в коем случае не поддаваться. Уполномоченного, который при крестьянах выхватит револьвер, не говоря уже о выстреле, хотя бы вверх,— «будем судить».

— Может, и оправдаем, коли докажет, что действовал в порядке необходимой самообороны от бандитов или кулаков, но судить будем обязательно.

На памяти у всех была статья Сталина «Головокружение от успехов» о необходимости покончить с административными перегибами в ходе массовой коллективизации, с нарушениями принципа добровольности вступления в колхозы, ударявшими по середняку и наносившими вред сельскому хозяйству. Об истинных размерах этого вреда по всей стране личный опыт Пересветова не позволял ему судить, да и выяснились они лишь в последующие годы. Но уж и тогда поговаривали, что в перегибах повинны не одни «места», но и самый «центр»...

После совещания Пересветов с Курбатовым вышли в коридор.

— О билетах не беспокойтесь, заказаны,— сказал уполномоченный ОГПУ, облокачиваясь на подоконник и вынимая из красивой коробки «Казбека» тощую папироску «Бокс». Неожиданно он подмигнул Пересветову.— Ничего! Не так страшен черт, как его малюют, справимся. Данные по району у меня, вот они,— он ладонью хлопнул по висевшей у бедра полевой сумке,—

а там наши люди уже подготавливают обстановку. Все будем решать совместно.

Здесь, в коридоре, с Курбатова слетела напускная маска энергичности и официальности. Усталое небольшое личико с мешочками под глазами, тщательно выбритое, выражало добродушие, наслаждение затяжкой и еще, пожалуй, лень.

— Вы наше дело знаете? Работу органов?

Константин отвечал, что с органами ОГПУ ему соприкасаться не приходилось. На фронтах гражданской войны функции особых отделов ему были известны.

— Ты воевал? — оживился Курбатов, переходя вдруг на «ты». — Где, в каких местах? — И только Пересветов начал перечислять «места», как он вскричал: — Так и я ж там был! Ты брал Малые Хутора?

— Наша дивизия брала.

— Так я ж вестовым служил у комиссара дивизии!..

— Ты? — Пересветов недоверчиво вгляделся. — Постой: вестовым у него был «Мир хижинам, война дворцам».

— Так это ж и был я самый! — он захохотал. — Теперь и я тебя узнал: ты был батальонный комиссар у комбата Лучкова!

Костя плохо помнил тогдашнего мальчонку в лицо, но широченную красную ленту через плечо по-генеральски забыть было невозможно из-за начертанных на ней лозунгов: на груди «Мир хижинам!», на спине — «Война дворцам!».

Курбатов заливался смехом. Спрашивал:

— А где теперь та санитарочка, к которой ты в обоз бегал, Олей звали?..

Несколько дней работа уполномоченных шла без особых инцидентов. Подлежащих выселению кулаков было не так много, не то что в хлебородных местностях, к тому же не всех удалось застать дома, некоторые, не дожидаясь решения колхоза о выселении, поспешили скрыться; принимались меры к их розыску. Колхозники помогали милиционерам поддерживать порядок при описи и погрузке имущества, при отправке на подводах кулацких семей к железнодорожным станциям.

В сущности, настоящее ЧП случилось только одно, в селе Ивановском. Волостной уполномоченный Архи-

пов прислал оттуда накорябанную ковыляющим почерком записку. Вчера «возились без толку» с местным кулаком, мясоторговцем и церковным старостой Кротовым: «Бабы выселять его не дают». Сегодня Архипов решил «кончать дело во что бы то ни стало».

Курбатов, обеспокоенный, показал записку Пересветову, и они решили выехать на место, посмотреть, что там за «бабы», с которыми не справляется милиция.

Надвигались сумерки. Седлавший лошадей красноармеец-чекист Перфильев, высокий и плечистый, сказал, что Гнедой, ходивший под уполномоченным обкома, сбил копыто.

— Я вам, товарищ Пересветов, другого заседлал, Воронка.

Константин еле взобрался на широкую спину громадного вороного жеребца. Конь оказался ходким на рысь, но тряским.

Выехав втроем за ворота, быстро поскакали за город. Дорога шла открытыми холмами, иногда опускаясь в сыроватые низины, клубившиеся туманом. На горизонте всходила большая красная луна.

Перфильев, знакомый с местностью, скакал впереди. Про него Константин знал от Курбатова, что это бывалый чекист, в девятнадцатом году награжденный орденом: один, с пулеметом, рассеял и выгнал из уездного города многочисленную кулацкую банду.

— Если б не выпивал, далеко бы мог пойти по службе.

На одном из холмов, когда город был позади уже километрах в пятнадцати, Перфильев круто осадил своего коня и сказал догнавшим его спутникам:

— Послухайте-ка!..

Пересветов с Курбатовым остановились. Перед ними в лощине, подернутой пеленой тумана, виднелось большое село, кое-где в избах светились огоньки. С отдаленного конца села доносился неясный шум.

— Бабы гомонят...— Перфильев усмехнулся и хлестнул коня.

На развилке дорог свернули вправо и въехали в село. Толпа запрудила неширокую улицу, теснясь возле новой избы с тесовой крышей и высоким крыльцом. В толпе белели женские платки и кофточки. Мужчин у избы не было видно. Приближение верховых встретили свистом высыпавшие навстречу мальчишки. С завалины соско-

чили девки, смотревшие в раскрытые окна освещенной изнутри горницы. Толпа подалась, разглядывая спешившихся всадников.

— Молодец Архипыч! — сказал негромко Перфильев, отбирая у Пересветова поводья, чтобы завести Воронка под навес.— Выселение идет полным ходом.

Перед крыльцом стояли две запряженных лошадьми телеги, наполовину загруженные домашними вещами. На крыльце появился милиционер с широкой доской в руках, и по толпе покатился визг:

— Иконы понесли!..

— Пустите! — кричал вышедший вслед за милиционером волостной уполномоченный Архипов, плотный рыжеусый мужчина.— Что вы с ума сходите?

— Оскверняют иконы, нехристи! — кричали женщины. Одна из них лезла к Архипову с кулаками.

— Да он сам велел их в телегу положить! — урезонивал баб уполномоченный.— Не хочет без икон уезжать...

— Провоцирует нас кулак! — сказал Пересветову Курбатов.

Несколько мужчин, колхозников, молча, не отвечая на крики, помогали милиционеру с иконой проложить дорогу к телеге. Курбатов тем временем объявил с крыльца, что сейчас будет говорить уполномоченный областного комитета партии и облисполкома. Пересветов встал на завалину, чтобы его все видели, и прокричал:

— Товарищи женщины! Послушайте, что я вам скажу!

— Зачем на бога нападаете? — крикнули в ответ.

— Бога мы не трогаем, сельскую церковь вашу советская власть не закрывает...

— А зачем церковного старосту выселяете?

— Не церковного старосту мы выселяем, а кулака Кротова, мясоторговца, который призывал вас коров резать и в колхоз не вступать. Мясом Кротов торговал? Приказчика-кучера держал наемного?

— Надо же и Кротову чем-то зарабатывать! Всяк по-своему устраивается...

— Зарабатывать? Какая же зто работа? Готовенькое скупить да с кучером на базар отправить и втридорога продать! Присосался к вашему селу пиявкой и жил за ваш счет! Мироед! Мирской захребетник!

— Он нашу церковь обслуживал, ему сам бог велел побольше нашего получать...

— Попам верить, так и царей нам сам бог посылал... Сотни лет они народной темнотой держались...

— Ты больно светлый, приехал нас учить!

— ...Небось не на бога надеются такие, как ваш Кротов, а на иностранную буржуазию. Дожидаются, чтобы пошла на нас войной...

Пересветов заговорил о международном положении. Выкрики понемногу прекратились. Войны никто не хотел, его слушали.

Но вот на крыльцо вынесли еще узлы с вещами, и ему пришлось опять повышать голос, перекрикивая шум. Так повторялось несколько раз, пока на крыльцо не вывели наконец крепкого, еще не седого старика в меховой шапке и в пальто городского покроя с меховым воротником, хотя ночь была теплая. Кротов снял шапку и начал истово креститься, кланяясь во все стороны. В ответ ему женщины хором завопили, точно по покойнику, и продолжать речь уже не было смысла. За Кротовым шла закутанная в длинную шаль его дочь, старая дева; сын значился «в бегах».

Кротов с дочерью уселись в телегу с ногами, а провожатые, Архипов и милиционер, сели по сторонам, свесив ноги к колесам. Другая телега была загружена вещами выселяемого, с ней также ехал милиционер. Подводы тронулись, толпа хлынула за ними. В стороне стояли кучкой мужчины, не принимавшие участия в бабьем гомоне.

Приезжие тем временем садились на коней.

Едва успел Пересветов утвердиться ногами в стременах, как Воронка кто-то сзади хлестнул по крупу, и конь, сорвавшись с места, понес седока вдоль улицы в карьер, разгоняя перед собой визжавших девок и ребятишек. Тщетно Константин натягивал поводья, боясь, как бы кого не задавить,— застоявшаяся лошадь мчалась во весь опор и мигом вынесла его за околицу, продолжая идти в галоп по блестевшей при лунном свете пыльной дороге. Никакие усилия умерить бег Воронка, никакие крики «Стой!.. Стой!» не помогали.

И вдруг Константин ужаснулся: шагах в двадцати поперек дороги лежала распростертая человеческая фигура, а Воронок мчался прямо на нее!..

Не рассуждая, на скаку он спрыгнул с коня, одной рукой вцепившись в его холку и не выпуская повода из другой... Кое-как устоял на ногах рядом с лошадью и сумел остановить ее в нескольких шагах от лежавшего на земле человека.

Нагнавшие Пересветова спутники спешились. Перфильев подбежал и схватил Воронка под уздцы.

— Так я и знал! — прокричал он. — Успела какая-то подкулачница (он выругал ее матерно) разнуздать, пока ты в седло садился! Я тебе подвел его взнузданного!

— Еще бы немного, он задавил бы его, — сказал Пересветов.

Даже при слабом свете луны было заметно, как он побледнел.

Тут только Курбатов с Перфильевым увидели человека на дороге.

— Пьян вдребезги, — сказал Перфильев, наклоняясь и пытаясь растолкать лежавшего за плечо. — Зря ты испугался, Воронок бы через него перемахнул. Лошадь животина умная, на человека не наступит.

— А раздавил бы, — заметил Курбатов, — пришлось бы нам его с собой увозить. А то ведь какая пища для кулацкой агитации: уполномоченный из области человека задавил!

— Закопали бы его тут, и дело с концом, — возразил Перфильев.

«Уж под суд бы я попал обязательно», — подумал Пересветов, вспоминая инструктаж в обкоме.

Оттащив пьяного на обочину дороги, ускакали прочь.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

С уходом из редакции Пересветов вырвался из-под власти изматывающего, рваного ритма работы, каждодневно выдвигающей новые дела, требующие новых решений. На смену перманентной нервотрепке пришло размеренное еженедельное расписание занятий в библиотеке, в архиве, дома или в институте. ИКП в 30-х годах был разделен на несколько институтов по профилям его отделений; в интересах работы над задуманной книгой Константин взялся вести в одном из них курс истории России, хотя это, в соединении с работой для издательства, увеличивало его нагрузку.

При всей своей подвижности и общительности он

со школьных лет тяготел к углубленной, усидчивой деятельности. Свидетельством тому на стене у Пересветовых висела застекленная копия репинских «Запорожцев», старательно выполненная пятнадцатилетним Костей, за неимением масляных красок, акварелью. Каждое из девятнадцати лиц на картине он предварительно изучал, перерисовывая по нескольку раз на уроках, прячась у себя на «камчатке» от педагогов за спинами товарищей, прежде чем дома перенести на большой лист рисовальной «александрийской» бумаги.

А теперь, на четвертом десятке лет, он читал жене и детям вслух главы будущей книги, выправляя места, какие трудновато ими воспринимались или казались скучными. Он хотел писать историю страны и научно, и общедоступно, чтобы читать ее интересно было любому. Литератор в нем соревновался с историком.

Когда Пересветов в пересказе разговора с Марией Ильиничной написал, что уход из «Правды» чреват для него переломом если не в судьбе, то в работе, он не предвидел всех последствий своего шага. С переменой работы он начал меняться кое в чем и сам.

Ему вспоминалась встреча с однокурсниками по семинару Покровского. Дело происходило в разгар борьбы партии с троцкистской оппозицией, в декабре двадцать третьего. Пересветов на целый месяц забросил библиотеку, а зайдя в нее, застал Плетневу и Адамантова на их обычных местах склоненными над рукописями и комплектами газет. «Вы истый герой науки»,— шепнул он с улыбкой на ухо Адамантову. Поняв намек, тот отвечал: «Дискуссия вещь преходящая, а сие впрок... Я предпочитаю заниматься политическими страстями, когда их остудит время».— «Это спокойнее, конечно»,— усмехнулся Константин, подумав, что и сам охотно «заткнул бы уши и сидел здесь, да ведь не могу же, не так устроен!».

Словом, Пересветов двадцатых годов осудил бы Пересветова тридцатых. Однако историческая наука искони влекла его к себе. Когда года три тому назад один из троцкистов язвительно обозвал его «проработчиком», Константин ему искренно ответил, что «с наслаждением» работал бы над историей России вместо полемики с оппозицией, но — что поделаешь?— прежде чем засевать поле, из него выпахивают сорняки... На свое участие в борьбе с антиленинскими течениями он теперь

склонен был взглянуть, как и на свой добровольный отъезд в девятнадцатом году на колчаковский фронт: тут и там была вынужденная необходимость. «Понадобится — уйду снова на очередной фронт, а пока что поработаем «впрок»...»

Однако шел год за годом, страна кипела трудом, набирая темпы, вырастали небывалые гиганты индустрии, в деревне укоренялся колхозный строй, а Константин продолжал «отсиживаться» в кабинетном уединении, занятый исследованием хотя и не столь отдаленного, но все же прошлого страны. Ему, привыкшему находиться на гребне крупных событий, казалось странным смотреть на совершавшиеся огромные перемены глазами свидетеля. Редкие корреспондентские поездки, эпизодические выступления на партийных собраниях в счет не шли, они лишь бередили в нем тягу к активной политической жизни. Это начинало его тяготить, и если бы не Олина рассудительность, умерявшая порывы его «самобичевания», он порой готов был обвинить себя чуть ли не в измене революционному долгу.

— По-моему, у тебя это инерция прошлых десятилетий,— говорила Оля.— Они были политически бурными, до сих пор ты под их гипнозом. Никак не освоишься с нынешней обстановкой, когда на первом плане экономика.

Кому в их семье нравились перемены в Костином образе жизни, так это бабушке Марии Николаевне.

— Отец стал детьми интересоваться,— говорила она Ольге.— И дома его чаще видим, чем раньше.

Летом 1931 года Пересветов, вернувшись вечером домой, узнал от Марии Николаевны, что ему звонил Иван Антонович Минаев и просил позвонить в Дом Советов, где остановилась делегация Донбасса, прибывшая на XVI съезд партии.

Константин обрадовался. В годы революции и гражданской войны старый большевик Минаев, бывший слесарь-паровозник Коломенского завода, возглавлял еланскую партийную организацию, а в 1921 году ЦК перебросил его на руководящую партийную работу в Донбасс. С тех пор он в каждый заезд в Москву увлеченно посвящал Костю в ход борьбы за «уголек» в главном

бассейне страны, приглашая приехать, чтобы написать о шахтерах.

Теперь это был уже старый человек с поседевшими усами, бородой и густой шевелюрой, с крупными чертами загоревшего лица. Минаеву хотелось повидать и Ольгу Лесникову, поручителем которой он был при ее вступлении в партию; он выбрал свободный от заседаний съезда часок и приехал к Пересветовым.

— Ну как с угольком? — спрашивал Костя.— Когда мы виделись на Пятнадцатом съезде, Донбасс только что перекрыл угледобычу девятьсот тринадцатого года.

— Да, со скрипом, но вылезали тогда из разрухи, теперь шагаем дальше... А все же отстаем от запросов индустрии. Шахты обновления требуют. Ручной труд начинаем заменять механизмами, ведь их до революци в шахтах почти не было, не считая подъемников. Но вот текучка нас допекает по-прежнему: с весны многие расчет берут, на полевые работы уходят, осенью вербуются. За укрепление продовольственной базы воюем... Словом, работы невпроворот.

Минаева интересовало, как живут и чем дышат Пересветовы после ухода Кости «в науку». Не виделись больше четырех лет.

— Дорогой Иван Антонович,— сказал Пересветов,— ваш приезд для меня настоящий глоток свежего воздуха! Меня завидки берут...

Выслушав его сетования на отрыв от практической работы и Олины соображения, Минаев безоговорочно принял ее сторону.

— Я тебя, Костя, раньше уговаривал приехать к нам, написать про шахтерское житье-бытье, а теперь туда не зову. То есть буду рад, если соберешься погостить, и в шахту с тобой спущусь, но корреспондентов у нас без тебя хватает. Зачастили последнее время целыми бригадами из Москвы, Киева, Харькова, неделями живут на территориях заводов и шахт, газеты ежедневно публикуют сводки суточной угледобычи,— не знаю, что такого особенного смог бы ты добавить в плане информации. Про меня написали в местной газете очерк, так расхвалили, что я себя не узнал. Так что, брат Костя, сиди, пиши историю и не рыпайся. Будь покоен, напишешь — прочтем и спасибо скажем.

Приезжал к нам один писатель,— продолжал он,— его спросили, почему он про шахтеров романа не напишет?

«Про вас,— отвечает,— писать трудно, никто, кроме вас самих, вашей подземной жизни не знает». А я думаю, чтобы про шахтера всю правду написать, мало его со стороны узнать, надо еще его полюбить, в его жизнь вжиться.

— Ну это, наверное, с любой профессией так,— заметил Константин.

— Так-то оно так, да не совсем так. У шахтера два дома, на двух этажах, внизу вкалывает до седьмого пота, вверху отсыпается. Работа в шахте не только тяжела, но и жизнеопасна. Недаром из шахты многие бегут. В прежнее время в нее человека голод загонял, а теперь сознательность требуется. Нигде, как под землей, так не нужна самодисциплина, товарищество, взаимовыручка, вот разве только в армии, на фронте. Шахта закаляет в человеке пролетарский характер. Настоящий потомственный шахтер своей родословной гордится не хуже любого аристократа. Недаром за границей самые упорные забастовки — горняков.

Как-то к Пересветовым приехали на недельку погостить Костина мама Елена Константиновна и его младшая сестра Людмила. В двадцатых годах Людочка, молоденькая учительница в школе родного села Варежки, навещала в земской больнице Костиного друга Федю Лохматова, раненного в перестрелке с местными бандитами. Между ними тогда завязалась дружба, Оля мечтала их сосватать, но Федор, выздоровев, не решился, при его сумбурной жизни чекиста, связать судьбу девушки со своей. Людмила спустя некоторое время вышла замуж за человека значительно ее старше. Теперь она с мужем и матерью жила в Ленинграде. Сын у нее уже учился в начальной школе.

Беседы у родных, давно не видавшихся, перемежались воспоминаниями о детских годах Кости и Людочки.

— Помнишь, как ты меня дразнил: «Милка-нылка»?— напомнила сестра смеясь.— Я начинала на тебя злиться и переставала плакать.

— Дразнить он у своего дяди Бориса научился,— замечала Елена Константиновна, сидя за шитьем платья для дочери из купленной в Москве материи.— Борис, бывало, как приедет из Варежки к нам в Загоскино, так принимается Костю за нос хватать и дразнить курносеем.

— Помню, как же! — отзывался Костя. — Он брал сахарные щипцы и грозился мне ими нос откусить. Я даже к зеркалу подбегал удостовериться, какой у меня нос. Когда потом прочел у Толстого в его «Детстве» о мучениях Коленьки Иртеньева своей некрасивостью, то почувствовал себя так, будто писатель подсмотрел тогда за мной, у зеркала.

— А у тебя был нос как нос. Мальчишками все вы кажетесь немножко курносыми... В Загоскине-то вам беззаботно жилось. — Елена Константиновна печально вздыхала. — Это уж после, когда отец нас бросил, все у нас пошло вразлад. Кабы он хотел жить, как все живут... — Оторвавшись от шитья, она смахивала слезинку.

У Константина было свое мнение об отце, и он спешил переменить тему разговора.

Лицом Костя не походил на мать и сестру, они были черноглазые, а он в отца сероглазый, и не было у него, как у них, на носу горбинки.

— Мама, — спрашивал он, — а это правда, что я в три года читать выучился?

— В три или в четыре, теперь уже не упомнишь... Когда Милка родилась, тебе шесть лет было, ты уже «Конька-Горбунка» чуть ли не целыми страницами наизусть декламировал. В семье ребенком рос один, без сверстников, вот и пристрастился к книжкам, бывало, тебя от них за уши не оттащишь. Детские журналы «Пчелку» и «Светлячок» выписывали. А подросла Милка, ты в куклы с ней играл.

— А еще во что ты играл, папа, маленький?

— С деревенскими мальчишками в лапту играли, в чушки, так у нас городки называли. Еще «в поля»: из травы снопы вязали, возили их на игрушечной телеге на «гумно», там молотили... А то еще один сам с собой в воображаемую «войну» играл, между мальчишками нашего села и соседнего. Мои деревенские друзья и не подозревали, что я их в офицеры и генералы производил.

— А большого деревянного коня, голубого с красными крапинками, помнишь? — спрашивала брата Людочка. — Ты верхом на него садился, а меня сажал ногами в одну сторону, по-дамски.

— Ваш папа, — обращалась бабушка ко внукам, — маленьким большой фантазер был. Из половика мастерил себе седло, из медной полоскательной чашки шлем

на голову, щит из подноса и размахивал деревянным мечом, воображая себя Ильей Муромцем или Добрыней Никитичем. Это он былин про старорусских богатырей начитался. А когда революция пятого года началась и ваш дедушка стал сатирические журналы выписывать, ваш папа из богатыря превратился в революционера и крошил черносотенцев деревянной саблей. Как раз тут отец привез ему из Пензы игрушечное ружье, стрелявшее пробкой и бумажными пистонами; в зале выросла баррикада из поваленных стульев, и пошла такая пальба, что запах пистонов разносился по всему дому, пока я не прогоняла нашего социал-демократа в кухню, чтобы открыть окно и проветрить комнаты...

Наташа с Володей весело смеялись, поглядывая на отца, улыбавшегося приятным воспоминаниям.

— Знаешь, мама, что мне особенно врезалось в память в Загоскине? Ночные пожары. Как сейчас вижу, зимой мы ужинаем в столовой, вбегает Людина няня Луша и кричит: «Графское именье горит!» Ты закутываешь меня в башлык, и мы вслед за папой выходим на улицу. Работник Иван берет меня под мышки и ставит рядом с собой на плетень, чтобы лучше видеть. Ты кричишь: «Смотри не свали его!» Вдали улетают в небо языки пламени, пучки соломы взвиваются и красными галками в черном небе кружатся над огнем.

— Это помещичьи гумна горели.

— Звезд совсем не видно, а небо над заревом подрагивает, словно дышит. Тут подходят крестьяне, кто-то из них кричит: «Сам, чай, граф и поджег, штраховку получит». Я еще у папы спросил, что такое «штраховка». А ты, мама, говоришь: «Что уж они? Даже помочь не хотят графским-то! Год назад управляющий все село выгнал бы тушить». А папа отвечает: «Переменился народ, Еленочка».

— Как ты все помнишь!

— Так мне уж восьмой год шел. Я тогда «Марсельезу» наизусть заучил раньше, чем понял все ее слова. «Крикмести» принимал за одно слово и спрашивал у отца, что оно значит.

— Ваш дедушка тогда сельским священником в Загоскине служил,— поясняла Елена Константиновна внучатам.— Но, прости его, господи, в бога он не веровал, в революции участвовал и потом добровольно рас-

стригся... В казанский университет поступил, студентом.

— Мне года три или четыре было,— продолжал Константин Андреевич,— папа привез из Пензы книжки с картинками, сказки. Одна из них мне больше всех понравилась, и я считал ее уже своей, но вы с папой сказали, что я должен подарить ее на рождественской елке Марусе, дочке священника соседнего села Любятино. Я со слезами подарил, но случай этот на всю жизнь запомнил, а повзрослев, даже стал про себя гордиться своим поступком как чем-то вроде прививки против себялюбия. Знаете, как в детстве нам всем корь прививают: тоже бывает больно, а мы все-таки себя пересиливаем. Так и я тогда себя пересилил.

— Костя, а где сейчас Борис, мой младший брат, ты о нем ничего не слыхал? — спросила Елена Константиновна.— Он исчез тогда, после семнадцатого года.

— Не хотел тебе о нем писать. Ну уж расскажу...

А рассказать было что. Во время проверки партийных кадров Пересветову на заседании комиссии задали вопрос, имеются ли у него родственники за границей. Немного помедлив, Константин отвечал:

— Насколько мне известно, мой дядя с материнской стороны Борис Константинович Рувимов в тысяча девятьсот двадцать шестом году находился в Берлине. Где он теперь — не знаю.

— Почему же,— последовал вопрос,— уезжая в том самом году в заграничную командировку, вы не указали в опросном листе, что там находится ваш родственник? А показали, что за границей родственников не имеете. Вот она, анкета, заполненная вашей рукой.

— Я не знал тогда, где находится мой дядя.

— А потом узнали. Значит, за границей вы с ним виделись? Где и при каких обстоятельствах? С какой целью?

В конце 1926 года Пересветов с Флёнушкиным, находясь в Берлине в научной командировке, зашли както в молочную лавку. Обиходных немецких слов им порой все еще не хватало; так вышло со сметаной: они тщетно пытались растолковать представительной седеющей продавщице, что им требуется «кайн зауер мильх, абер этвас энлихес» (не кислое молоко, но нечто вроде

этого). Шевелили пальцами, их не понимали. Как вдруг за перегородкой раздался сочный возглас по-русски:

— Может, он сметаны хочет?

— Да, конечно же сметаны!..

Все дружно рассмеялись. Из-за перегородки показался грузный мужчина с красным лицом и толстой шеей, в белом колпаке, в халате с засученными рукавами. Едва он взглянул на Пересветова, краска сбежала с его лица. Он круто повернулся и исчез за дверью.

— Что случилось?..— недоуменно спросила по-немецки женщина, обрывая смех и заглядывая за дверь.

Ее, должно быть, прогнали оттуда жестом. Она растерянно оглядывала покупателей.

— Отпускай им товар!— приказали из-за двери тоже по-немецки.

Сандрик ничего не понимал в этой сцене. Пересветов сумрачно усмехался. Через минуту они выходили на улицу, каждый держа в руках по аккуратно завернутой в вощеную бумагу банке свежей сметаны.

— Чего смылся этот сыровар?— спросил Флёнушкин.

Константин отвечал:

— Как только за перегородкой он сказал: «Может, он сметаны хочет?» — я поразился: знакомый голос, похож на голос моего дяди Бориса. Бывшего военного врача. Мы дома предполагали, не в белой ли он эмиграции,— с семнадцатого года о нем ни слуху ни духу. Но мне в голову не приходило, что могу его повстречать в Берлине, да еще в молочной. Во время войны он ездил начальником санитарного поезда имени императрицы Александры Федоровны. А продавщица эта — его жена, племянница бывшего генерала Воейкова, шталмейстера царского двора. Она-то и устроила его тогда на царицын поезд. Ее я не узнал бы, а с ним мы друг друга узнали сразу. Может, совестно ему передо мной, что сметаной торгует, или побоялся услышать от меня пару теплых слов... Такое противное ощущение, будто на крысу наступил!

— Эти устроились,— презрительно заметил Сандрик.— Торговлишка им кое-что дает...

Все это Пересветов вкратце изложил членам комиссии, а теперь повторил, отвечая матери на ее вопрос о Борисе.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Володя и Наташа взрослели, и отец стал уделять им больше внимания. Раньше у них с бабушкой и мамой в обиходе было обсуждение прочитанного или услышанного в классе, теперь они часто обращались к папе. Иногда в Олин свободный вечер с ней и отцом выбирались в театр, в оперу или в кино. Дети знакомились с литературной классикой, с книгами, на которых воспитывались когда-то родители.

Под материнским Ольгиным крылом у них дома собирались на вечеринки с пением их одноклассники и одноклассницы, устраивались иногда «мамишники», как их называла Ольга, собиравшая у себя мамаш потолковать о детях. Она и Наташа играли на рояле (девочка брала уроки музыки); у Наташи обнаружилось недурное сопрано, вдвоем с отцом она еще в детстве пела «В селе малом Ванька жил», а теперь и серьезные дуэты из «Риголетто», «Травиаты».

Как-то летом школа отправила детей в пионерский лагерь в Тверскую область. В лагере их обычно навещала мама, но на этот раз поехал отец. С поезда он сошел на станции Максатихе ранним утром. Лагерь отыскал в лесу по двум елочкам у запертых ворот; нашел в заборе дыру и в нее пролез. Осмотрел двор, спортплощадку, застал дежурных в кухне, попил у них воды и улегся отдохнуть на скамейку в клубе, подложив сумку с гостинцами под голову.

Уснуть ему не удалось, вокруг дома застрекотали, словно скворцы, ребятишки, направляясь к умывальникам. Он вышел на крыльцо, когда отряды уже делали утреннюю зарядку, и увидел Наташу, потом Володю. Дочь первая заметила его и запрыгала на месте невпопад, но из рядов не вышла. По окончании зарядки опрометью бросилась к отцу и повисла у него на шее. Подошел и Володя.

Посыпались расспросы про маму, бабушку, рассказы про лагерь. У детей здесь три флигеля, два занимают девочки, а мальчики один, самый большой. Встречали их на станции местные пионеры и комсомольцы с музыкой. На открытии лагеря были смешные аттракционы: с завязанными глазами разбить палкой старый цветочный горшок, попасть картофелиной в разинутый рот вырезанному из фанеры толстяку...

Гостя за общим столом накормили завтраком, потом он целый день вместе со всем лагерем и в лес ходил, и в реке купался, и даже поиграл с ребятами в футбол, а вечером у костра пел с ними песни.

По возвращении в Москву дети с восторгом рассказали бабушке и маме, как папа через веревочку прыгнул выше всех, а в беге на сорок метров всех обогнал и порвал ленточку первым.

Следующим летом Константин навестил наконец Минаева. Со станции до рабочего поселка, где жил Иван Антонович, он доехал на автобусе. На окраине поселка, у подножий огромных пирамид-терриконов, образующихся из шахтных выбросов, сохранились еще хибарки, в которых шахтеры жили с царских времен, а ближе к центру поселка красовались уже новые дома и особнячки с палисадничками.

В одном из таких особнячков и встретил гостя старый большевик. Жил он одиноко, в быту его обслуживала соседняя шахтерская семья, с которой он дружил. В первый же день выполнил обещание спуститься с Костей в шахту.

Они облачились в горняцкие костюмы, с касками на головах, получили каждый по лампочке-«коногонке» (лошадей в шахтах уже не было, а название сохранилось), и все, что затем последовало, начиная со спуска по вертикальному стволу на глубину пятисот метров (шахта была не из самых глубоких), для Пересветова граничило с фантастикой.

Полной неожиданностью было очутиться в светлом просторном помещении, похожем на перрон подземного вокзала, наблюдать снующие по рельсам вагонетки с углем, электровозы... Зато когда посетители двинулись к местам выработки угля по узеньким и низеньким «ходкам» (проходам), пригибаясь и складываясь пополам на манер перочинных ножичков, кое-где опускаясь на четвереньки, освещая себе путь своими лампочками, Константин реально ощутил контрасты, в каких протекает житье-бытье донецкого шахтера. В этих щелях-норах уже одна мысль о нависшей над тобой непомерной земной толще, перед которой ты ничтожная букашка, навевает кошмар о погребении в могиле заживо. И только сознание, что ты здесь не одинок, что здесь трудятся

люди, возвращает человеку нормальное самочувствие.

В шахте было жарковато, в воздухе висела пыль, временами спирало дыхание. Минаев привел его к наклонной лаве, в уступах которой работал забойщик, дробя угольный пласт. Спускаться в лаву приходилось, упираясь ногами в поддерживающие нависающий потолок распоры. Пневматический молоток, который Константин впервые в жизни увидел в руках шахтера, трещал как пулемет, разбрызгивая угольную пыль и крошку.

Реконструкция шахты еще не была завершена, любознательному гостю удалось посмотреть и работу ручным обушком в одной из отдаленных лав, куда они пробрались на четвереньках.

— Вам бы сохранить этот уголок шахты как музейный!— улыбаясь сказал Константин.— На фоне механизации — допотопный обушок.

— Не до музеев нам... Давай присядем, отдохнем немного...

Они сели на деревянные крепи, заготовленные для поддержания кровли лавы в уступе позади забойщика. У обоих на зубах скрипела угольная пыль, носовые платки были в черных пятнах...

— Вот ты говоришь, механизация,— вымолвил Иван Антонович, стирая со лба капли черного пота.— Известно, техника решает все. Однако ее нужно еще освоить. Я назову тебе несколько цифр по Донбассу в целом. За три года количество врубовых машин возросло вдвое, отбойных молотков больше чем втрое...

— А врубовую машину вы мне покажете?— перебил его вопросом Костя.

— Завтра в другой шахте покажу. Врубовки применяются при разработке горизонтальных пластов, здесь пласты идут наклонно... Установлены тысячи разных конвейеров, лебедок, сотни компрессоров, электробуров и так далее. В тридцатом году ручная добыча давала три пятых угля, а за тридцать четвертый сократилась до одной четверти. По проценту механизации угледобычи разом переплюнули не только Англию, но и Соединенные Штаты. Но ведь обращению с новыми машинами надо обучить тысячи и тысячи людей, да еще при нашей неслыханной текучести! Ну и начались простои машин из-за неумения и обезлички в их обслуживании, пошли поломки, аварии. Не обошлось без слу-

чаев саботажа и вредительства. В шахтерские ряды всякая шантрапа просачивалась, чуждые элементы из уцелевших в деревне кулаков. Хуже всего, что среди шахтных руководителей нашлись консерваторы, противники механизации, с ними пришлось выдержать борьбу. Кое-где до сих пор не вывелось дурацкое деление ИТР на «чистых горняков» и «чистых механизаторов». Повредили делу и бюрократические методы руководства...

Из ходка вылезла работница, шахтерка:

— Товарища Минаева с поверхности зовут к телефону.

Телефонные аппараты в штреке явились еще одной неожиданностью для Пересветова. Иван Антонович поднялся с крепей:

— Делать нечего, дома доскажу...

Вернулись в штрек, где Минаев поговорил по телефону, а затем пошли к подъемнику и через несколько минут очутились на поверхности. У Кости шумело в ушах и колотилось сердце от свежего воздуха, от впечатлений, глаза слезились от угольной пыли и солнечного света. Помылись в шахтерской бане, переоделись и завершили свой «подземный круиз» сытным обедом, приготовленным старушкой, соседкой Минаева.

— И вот вышел конфуз,— продолжил Минаев прерванный рассказ, когда после обеда прилегли отдохнуть.— При рекордных темпах механизации угледобыча по донбасским шахтам начала угрожающе снижаться! С поверхности в шахты были переброшены коммунисты, проведена мобилизация комсомольцев, сменены многие руководящие работники. Суточная добыча с восьмидесяти шести тысяч тонн за прошлый год скакнула до ста пяти тысяч. Для нас это было самое радостное событие: угольный бассейн начал осваивать новую технику! В нынешнем году превзойдем довоенную угледобычу вдвое.

— Иван Антонович, а что это над шахтой, на шпиле, звезда днем не гаснет?— спросил Костя.

— А это знак, что план угледобычи шахтой выполнен.

В последующие дни Минаев показал Косте и врубовую машину, и многое другое, познакомил с близкими ему друзьями из шахтеров.

При возвращении в Москву Пересветова на вокзале встретили дети. Наташа с первых же слов выпалила:

— А Володя себе ногу в пионерлагере обжег!

Они только вчера приехали из лагеря.

— Ногу?— удивился отец.— Через костер, что ли, прыгали?

— Ребята лесной пожар тушить бегали. Было очень, очень страшно, весь лагерь дымом пропах!— затараторила Наташа.— А нас, девочек, даже посмотреть на пожар не пустили.

Оказывается, неподалеку от лагеря загорелся лес, и старшие ребята помогали колхозникам тушить огонь. Остановили его в пятидесяти метрах от ржаного поля.

— Нам на линейке благодарность зачитали от колхоза!— продолжала девочка.

Ее старший брат, глядя на отца, молча улыбался. Засучив брючину, показал марлевую повязку на голени:

— Уж и не болит, да бабушка с мамой все еще не велят снимать.

— Там мох горел под травой,— спешила пояснить его сестренка.

— Дым по земле стлался, я не заметил, что мох горит, оступился во мшаник... Лето очень сухое, папа, мох там после нас еще целые сутки курился. Пока дождик не прошел.

— Как же вы огонь тушили?

— Колхозники насос подвезли, бочки с водой; из болот воду ведрами носили. Телегу с лопатами и топорами пригнали, мы помогали кустарник вырубать, канаву копать... Дерновник срезали лопатами, чтобы огонь к опушке не подобрался.

— Ну молодцы! Не испугались. Отчего же возник пожар?

— Кто говорит, кулаки подожгли, кто — будто мальчишки костер развели в лесу да не загасили.

Володю этой весной приняли в комсомол, что еще больше возвысило его в глазах сестренки. Она поспешила сообщить, что брата выбрали председателем совета лагеря. Пока шли по перрону, а потом к трамвайной остановке, Наташа продолжала щебетать про лагерные события. К ним приезжал и беседовал с ними командир стратостата «СССР» товарищ Прокофьев. У них проводились военные игры с ночной тревогой. Перед закрытием лагеря был карнавал.

— Так весело было всем! Я оделась царицей ночи, в черной маске, с блестящей звездой во лбу, а Володя индейцем с головным убором из вороньих перьев!..

Минул год, другой. Пересветов давно не охотился, а тут выпал случай: его давний знакомый по Еланску Александр Филиппович, охотник, работавший в системе лесозаготовок, перевелся в Вязниковский район Нижегородской области и звал к нему съездить, соблазняя охотой на уток и тетеревов.

Сандрик на этот раз в охотничьей поездке Косте сопутствовать не мог, его в Москве давно уже не было. В Госплане происходили какие-то перемены в составе руководящих лиц, с новым начальником отдела Флёнушкин не сработался, и ему предложили выбрать облплан или крайплан, в каком он желает работать. Он выбрал Казань, родину жены.

Стояли погожие дни «бабьего лета». Рыжий ирландец-сеттер Александра Филипповича нашел выводок, и охотники заполевали из-под его стоек парочку молодых тетеревов. Потом вдруг старый черныш (тетерев-самец) вырвался из зарослей можжевельника и на их глазах уселся на высоченную сосну, возвышавшуюся над лиственным лесом. Понадеявшись на крутой чок[1] левого ствола своей бескурковки, Костя выпалил. Тетерев исчез: и не упал, и как будто не полетел. Обшарили с собакой кусты под сосной — ничего не нашли.

— Не застрял ли он там, в макушке?— заломив кверху голову, предположил Александр Филиппович.

— А я туда влезу.

— Высоковато, метров пятнадцать...

— Она сучкастая, можно попробовать. Только бы до нижней развилки дотянуться.

— Я вам помогу, взбирайтесь мне на плечи.

Через минуту, цепляясь за клейкие сосновые сучья, Костя подбирался к вершине сосны. Вскоре он убедился, что птицы там нет, но зато перед ним развернулась картина редкой красоты: вершины лиственных деревьев колыхались, перекатываясь и шумя, точно волны. Он рискнул подняться еще на несколько метров, и его

[1] Чок — сужение в дуле ствола дробового ружья для повышения кучности боя.

стало раскачивать вместе со стволом сосны, здесь уже не толстым. Укрепив ноги в скрещении сучьев и вцепившись в один из них, толщиной в руку, он залюбовался ходившим у его ног лесным океаном. Лес дышал; ярко освещенные солнцем желтые, багряно-красные и еще не успевшие отзеленеть великаны словно выплясывали загадочную пляску, весело и шумно переговариваясь. Необыкновенное зрелище захватило Костю, он по-мальчишески вообразил себя на мачте парусника над морем или в гондоле воздушного шара над необозримой тайгой...

— Слезайте! — кричал заждавшийся внизу спутник. — Упадете! Гроза идет...

Только сейчас понял Константин, что лесное море начинало штормить не на шутку. Деревья кое-где поскрипывали, по разгулявшимся вершинам бежала, приближаясь, широкая тень, а вдали уже погромыхивало. Вдруг скрылось солнце, разом поблекли краски, и от леса повеяло жутью. Он заторопился вниз.

Едва он спрыгнул на землю, как разразился ливень с молниями и громом, промочивший охотников до нитки.

После ливня снова засияло солнце, но тетеревиные наброды в траве смыло дождем, собака челночила без толку. А под вечер захолодало, осень дала себя знать. По дороге домой Константин почувствовал, что простыл. Пришлось ускорить шаги.

В их отсутствие заготовителю пришел срочный вызов зачем-то в область. Супруги уговаривали Константина Андреевича отлежаться денек, но он еще не насытился охотой и на следующее утро решил идти один километров за шесть к леснику, чья сторожка возле утиных лесных болот.

День начинался теплый, как и накануне. Однако в пути его настиг ливень вроде вчерашнего, да еще с ветром в лицо. Обсушившись у лесника, вечером он стоял на утином перелете по щиколотки в воде, взял чирка и крякву. Сапоги не промокли, но сырость к ступням все-таки пробралась, и ночью на лавке в сторожке он никак не мог заснуть из-за сильного жара. На утренний утиный лет уже не вышел и побрел до дому, причем опять, в третий раз, попал под дождик, сеявший сквозь солнце...

Температура у него поднялась выше сорока граду-

сов. Александр Филиппович, вернувшись из Нижнего, свез гостя на станцию.

В Москве Ольга тотчас вызвала врача. Диагноз был — воспаление легких.

Случайно в тот день позвонила Мария Ильинична, не порывавшая знакомства с Пересветовыми и после ухода Константина из «Правды». Будучи членом ВЦИК, она теперь работала в Комиссии советского контроля. Зная, что Костя в октябре при защите здания еланского Совета от казаков Керенского был ранен в грудь навылет, она забеспокоилась. По ее ходатайству Пересветова поместили в кремлевскую больницу, где она его навестила.

— Чем я заслужил такое ваше участие?— растроганно восклицал он.

Она отвечала мягкой улыбкой, но глаза отчего-то смотрели печально, и его пронзила мысль, что Мария Ильинична ведь немолода.

Она расспросила, как он себя чувствует, двигается ли его книга, как его семья. Под конец их короткого разговора Косте показалось, что она хочет еще о чем-то спросить или что-то ему сказать, а она поднялась со стула и протянула ему руку, которую он, неловко приподнявшись с подушки, удержал в своей, чтобы поцеловать. И Мария Ильинична ушла.

А ему вдруг сделалось тяжело на сердце и грустно почти до слез. Вспоминая впоследствии эту минуту, он подумал, что то было, наверное, предчувствие, что он больше ее не увидит. Но такая мысль пришла ему уже в 1937 году, когда младшую сестру Владимира Ильича провожали в могилу на Красной площади, возле его Мавзолея.

Костя мысленно, как живую, увидел Марию Ильиничну в редакции, с Шандаловым, Хлыновым... с Бухариным. Говорят, что ее удалили из «Правды» вслед за ним. «Да и она сама,— думалось Пересветову,— вряд ли пожелала бы там остаться, с новыми людьми... А где-то теперь Толя с Виктором?..» Их уже давно арестовали.

После того, как 1 декабря 1934 года был убит С. М. Киров, политическая атмосфера в стране сгущалась. Не одни правдисты — многие из знакомых Пере-

светова, в вину которых перед советской властью поверить он не мог, исчезали из жизни.

Мучительные сомнения в законности происходящего одолевали его, и нечем было их ни подтвердить, ни рассеять. Судебные процессы с самооговорами подсудимых и смертными приговорами били по сознанию как электрический шок, повергая в недоумение, порождая подозрительность, страх. И странное чувство без вины виноватого зарождалось в Костиной душе: зачем он добровольно покинул редакцию? В памяти всплывала реплика Марии Ильиничны: «Я бы вас не отпустила». А он ее тогда покинул! «Хоть и не мог я знать, что произойдет, но останься я с ней, может, знал бы сейчас, как мне поступать, а теперь я ничего не понимаю, ни на что решиться не могу — точно у меня руки связаны...»

Рассудок говорил, что прошлого не вернуть, а изменить что-то в происходящем он бессилен, как одинокий путник под настигшей грозой. Оставалось ждать и верить, что минет гроза, все прояснится и станет когда-нибудь на свои места...

...А тогда, в больнице, Константин пролежал с месяц, потом его отправили в дом отдыха санаторного типа в Сухуми, где он окончательно поправился. Отдыхать без дела он не умел и привез Ольге несколько новых отрывков для давно ими задуманной повести.

Окончание ИКП давало Пересветову право преподавания в вузах без оформления введенных в 1935 году ученых степеней (кандидатской, докторской). Ему советовали представить на защиту вступительную работу в ИКП, опубликованную в 1923 году с предисловием М. Н. Покровского и выдержавшую два издания, но он этим советом пренебрег. Забросить начатую книгу, чтобы «остепеняться» по новой теме, он не захотел: книга казалась ему делом жизни, ее отдельные главы он публиковал в историческом журнале. Степень давала бы некоторый прирост педагогического заработка, они с женой, однако, решили, что зарабатывают достаточно. Может быть, это было не очень практично, но они так решили.

В конце 1938 года Пересветовы получили письмо от Федора Лохматова. Он давно им не писал, с работы в органах ОГПУ уже несколько лет как ушел, а теперь,

оказывается, участвовал в разгроме японских захватчиков у озера Хасан.

— Этого только ему недоставало! — смеялась, читая письмо, Ольга. — Лет пятнадцать тому назад жаловался, что на всех фронтах побывал, только с японскими самураями не удавалось ему любезностями обменяться!..

А Косте вспомнилось, как в те же двадцатые годы чекист Федя в один из его редких заездов в Москву сказал, что мы живем в крутые времена: себя не жалеем да и других тоже... Судьба отдельного человека ценится ни во что. В толстовском «Воскресении» Феденька тогда вычитал, что на государственной службе разрешено обращаться с людьми как с вещами, на ней даже добрые люди творят с легкой душой злодейства. Хорошо Толстому, говорил Федя, он указал на это зло, а нам, большевикам, приходится искоренять его на деле. «Клин клином вышибаем...»

Не случайно припомнился Косте этот разговор десятилетней давности. Слишком много струн души отзывалось на него сейчас, когда он ушел, так сказать, от политики в науку. Кто знает, какие непредвиденные трудности могли бы его ожидать, согласись он перейти на работу в партийный аппарат. Перебирая в памяти свое прошлое, Константин не находил в нем темных пятен, могущих лишить его доверия партии; но ведь нельзя же было думать только о самом себе!.. Его грызло чувство без вины виноватого.

При размышлениях о прошлом память уводила его все дальше, выхватывая из пережитого одну веху за другой. Вот он в шестнадцать лет от роду, перечитав во второй или третий раз «Войну и мир» и впервые задумываясь над смыслом и целью жизни, бродит под яблонями дедова сада с затуманенными глазами, твердя про себя слова Андрея Болконского: «Жить вместе со всеми, жить для всех!» Под впечатлением статей Писарева о тургеневском Базарове он решает «жить с пользой», отвергая «барство», к которому причисляет и свои увлечения рисованием, пением, охотой, футболом... Прекрасные, чистые побуждения, разбуженные литературой, приводят его в подпольные кружки. Новое мироощущение овладевает им с такой силой, что он не оста-

навливается перед жестоким решением разбить материнскую надежду на него как на кормильца семьи. Стремление собрать себя всего на борьбу за «огни впереди» едва не заставило его порвать с Олей,— они могли никогда больше не увидеться, не вмешайся в их сердечные дела Сергей Обозерский.

С высоты прожитого Константин отдавал себе отчет, что в его юношеском мироощущении беззаветный порыв преобладал над зрелой мыслью. Коммунистический идеал воспринимался им абстрактно, книжно: любя человечество «в идее», он вглядывался в будущее как бы поверх голов реальных людей, пренебрегая их личными судьбами,— как и своей собственной, впрочем.

Перебирая свои стихотворения, написанные незрелым пером в годы первой мировой войны, он останавливался на одном из них, озаглавленном «Новобранцы»:

Нынче утро сырое, ненастное,
Мелкий дождь моросит над селом.
Небо, мутное и безучастное,
Потонуло в тумане седом.

За околицей, грязной дорогою
Огибая у мельницы пруд,
Вереницей невзрачной, убогою
Друг за дружкой подводы ползут.

Вот забилася баба, рыдаючи...
Вой стону́щий за сердце берет!
Много, много, скрипя-подпеваючи,
По Руси потянулось подвод.

Бабьих слез не исчерпаешь мерою,
Разлились они шире морей...
Плачет небо, такое же серое,
Как и жизнь этих серых людей.

«В мои семнадцать лет,— размышлял он,— я не мог писать иначе. На жизнь глядел с теоретической колокольни, как не различал отдельных деревьев с высокой сосны в вязниковском лесу...» В массе рабочих и крестьян он видел тогда людей малосознательных, «серых», возбуждавших у него сочувствие, стремление отдаться борьбе за их освобождение, а не борцов за

«освобождение своею собственной рукой»,— хотя эти слова пролетарского гимна и были ему уже известны и народнические идеи о «герое и толпе» он в теории осуждал.

Известны — но еще не продуманы и не прочувствованы как надо. Им владел порыв жертвенности, схожий с тем, какой подвигал лучшую часть интеллигентской молодежи 70-х годов прошлого века на «хождение в народ». Не случайна поэтому некрасовская тональность, непроизвольно прозвучавшая в его стихотворении. К марксизму он шагал через порог идейной жертвенности.

Как силен был в нем этот порыв к жертвенности, Косте живо напомнило одно из его студенческих писем 1916 года Оле из Киева. «Сейчас пришел из театра, с оперы «Демон»,— писал он,— и не могу не поделиться с тобой. Вдумайся только: Демон готов раскаяться, клянется не творить больше зла. Шутка ли — освободить мир от зла, с точки зрения христианства? И вся судьба мира повисает на ниточке одной христианской души — Тамариной, целиком зависит от ее решения. И вот эта архидобродетельная душонка (не могу иначе назвать) колеблется пожертвовать собой ради спасения целого мира. И это несмотря на то, что сама Тамара л ю б и т Демона, так что тут дело не в ее личном чувстве, а именно в м о р а л и! Она, может быть, сама еще и решилась бы, но за плечами у нее стоит некий «божий посланец», ангел,— можно сказать, висит над душой,— и христианская мораль торжествует, достигая вершин лицемерия. Бог спешит «спасти» одну человеческую «душу» ценою спокойствия и блага всего остального человечества, оставляя Демона «сеять зло» (от кого же тогда ему «спасать» людей, коли Демон «исправится»?)».

Дальше шли Костины рассуждения о реакционности индивидуалистической морали, подменяющей задачу революционного переустройства общества слащавой утопией «самоусовершенствования» отдельных личностей при существующем строе...

Правильное понимание пришло к Косте позже, с окончательным переходом на точку зрения пролетариата. А до этого момента борцы за революцию рисовались ему лишь необыкновенными людьми рахметовского типа, чем-то вроде аскетов, отрешившихся от всего

личного, и он казнил себя, убеждаясь, что таким стать не может. Ближе знакомясь потом с партийными рабочими и людьми большого революционного опыта, Костя понял, что ничто человеческое никому не чуждо, что любой из необыкновенных может в личных делах оставаться обыкновенным, и наоборот.

Но чтобы эту истину почувствовать, ему понадобилось самому кое-что пережить. Понимать чужое горе человек научается, лишь пережив собственное. В институтские годы он, не переставая любить жену Олю, влюбился в другую женщину. Терзаемый сердечной мукой, не зная, что ему делать, он сидел однажды на скамье Зубовского бульвара, и мимо него быстро прошла незнакомая женщина в туфлях со стоптанными каблучками. Подняв на нее глаза, он с горечью подумал: «Куда бы она ни спешила по своим обывательским делам, сейчас она счастливее меня.— Его кольнуло непривычное чувство жалости к себе, и тут же ужалила мысль: ведь он до сих пор почему-то ставил себя выше «обыкновенных» людей, так называемых обывателей.— Что это во мне — комчванство? Откуда оно у меня?»

Тогда эта жалость к себе мелькнула и затерялась в тяжелых переживаниях, но впоследствии стоптанные каблучки припоминались ему не раз. Когда кризис в отношениях с Олей миновал, Константин заметно переменился, сделавшись внимательней и к ней, и к детям, и к людям вообще. Выправлен был некий душевный вывих, отдаленно напоминающий детскую болезнь левизны в политике. Только теперь он во всей нравственной глубине осмыслил выписанные им в тетрадку слова Маркса из его письма к своей жене, Женни Маркс:

«Я вновь ощущаю себя человеком, ибо испытываю огромную страсть. Ведь та разносторонность, которая навязывается нам современным образованием и воспитанием, и тот скептицизм, который заставляет нас подвергать сомнению все субъективные впечатления, только и существует для того, чтобы сделать нас мелочными, слабыми, брюзжащими и нерешительными. Однако не любовь к фейербаховскому «человеку», к молешотовскому «обмену веществ», к пролетариату, а любовь к любимой, именно к тебе, делает человека снова человеком в полном смысле этого слова».

И понятнее стал Косте Чернышевский, писавший Некрасову:

«Но я сам по опыту знаю, что убеждения не составляют еще всего в жизни,— потребности сердца существуют для каждого из нас. Это я знаю по опыту, знаю лучше других. Убеждения занимают наш ум только тогда, когда отдыхает сердце от своего горя или радости. Скажу даже, что лично для меня личные мои дела имеют более значения, нежели все мировые вопросы — не от мировых вопросов люди топятся, стреляются, делаются пьяницами,— я испытал это и знаю, что поэзия сердца имеет такие права, как и поэзия мысли,— лично для меня первая привлекательнее последней, и потому, например, лично на меня ваши пьесы без тенденции производят сильнейшее впечатление, нежели пьесы с тенденцией. «Когда из мрака заблужденья... Давно отвергнутый тобою... Ах, ты страсть роковая, бесплодная» и т. п. буквально заставляют меня рыдать, чего не в состоянии сделать никакая тенденция».

Будет время, думал Пересветов, не будет ни классов, ни государства, и самое противопоставление личных чувств общественным лишится нынешнего смысла. Это будет еще очень не скоро, но это будет.

Переписываться с Пересветовыми у Минаева в обычае не было. Они свиделись с ним еще раз, когда старый большевик приехал делегатом на предвоенный XVIII съезд партии. Позади оставались годы второй пятилетки — время широкого размаха социалистического соревнования. Стахановское движение, зачинателем которого стал Донбасс, захватило все отрасли производства, все профессии.

В феврале 1939 года, перед съездом, «Правда» в нескольких номерах публиковала списки награжденных горняков Донбасса. Было за что награждать: «Вместо шахт-мышеловок, какими изобиловал старый Донбасс,— говорилось на съезде,— создан новый угольный Донбасс, Донбасс шахт-заводов с механизированной базой... До неузнаваемости изменилось за годы пятилеток лицо рабочих поселков и городов главного угольного бассейна страны».

Косте оставалось завидовать участи старого большевика. А у Минаева настроение было праздничным не только потому, что его фамилия значилась в списке награжденных,— его одушевляли успехи в борьбе с текучкой за постоянные кадры шахтеров.

На одно из вечерних заседаний съезда Минаев достал Косте гостевой билет. После заседания он решил переночевать у Пересветовых. Чтобы проветриться, пошли пешком по улице Горького, беседуя.

В те годы кадры решали все. Классовую консолидацию подземного отряда пролетариев Минаев в немалой степени связывал с резким улучшением местных бытовых условий.

— Ты учти,— толковал он Пересветову,— у нас вместо прежних четырнадцати городов теперь тридцать один, рабочих поселков городского типа почти не было, теперь их без малого сотня. Появилось такое, чего наш шахтер сроду не видал: сотни километров мощеных улиц, трамвайных линий, водопроводных сетей, сетей канализации...

Утопавший в грязи осенью и пропыленный насквозь летом Донбасс уходит в прошлое,— говорил он,— площадь зеленых насаждений и парков в населенных местах приближается к трем тысячам га. Шахтерские заработки растут, продснабжение после отмены карточек налажено, площади огородных и бахчевых культур только за последний год увеличились вдвое. Построены сотни новых школ, клубов, библиотек, полсотни поликлиник, реконструировано семьдесят больниц.

Словом,— заключил Иван Антонович,— теперь у нас честному шахтеру, не летуну — только трудись и радуйся! Вот и бегать от нас перестают. Человеческие условия существования — первый залог производительности труда. Только бы война не сорвала наши начинания...

На международный горизонт и с Запада, и с Востока наплывали черные тучи. За тридцатые годы Япония, захватив Северный Китай, вторглась в его центральные районы; Италия напала на Абиссинию (Эфиопию); в Испании с помощью германо-итальянских интервентов утвердился фашизм; Гитлер захватил Австрию, а затем, по мюнхенскому договору с Англией, Францией и Италией, и Чехословакию.

С освещенной улицы вышли на Ленинградское шоссе под полог звездного ночного неба. Прохожих здесь не было. Минаев сказал:

— Знаешь, Костя, сидел я на съезде, слушал доклад ЦК, прения, а мысленно искал вокруг себя некоторых товарищей... И ведь исчезали за последние годы один

за другим верные ленинцы. Как нужны бы они были партии, особенно если война...

— Да,— отвечал Пересветов.— Уходя из «Правды», я наивно полагал, что с разгромом троцкизма осталась позади острота внутрипартийной борьбы. Уже выступление правых показало, как я ошибался. Но вот и правый оппортунизм разгромлен, и в деревне кулачество ликвидировано как класс; вопрос «кто кого?» в стране решен и социализм в основном построен, реставрация капитализма может нам грозить только извне... А Сталин почему-то считает, что по мере дальнейшего продвижения к социализму классовая борьба у нас должна обостряться.

— Этого не было бы при Ленине,— вздохнул Минаев.— И коллективизация прошла бы с меньшими потерями...

Некоторое время шли молча. Потом Костя промолвил:

— Видите эти звезды? Большая Медведица, Полярная... Эти звезды никогда не сходят с нашего, северного небосклона. Они всегда тут, только днем их не видно, иногда ночью скроются за тучами. Это наши незакатные звезды.

— Что ты хочешь сказать?

— Вы верите, что завтра увидите их на том же месте, если будет светлая ночь?

— Не то что верю, а знаю, что увижу. Конечно, если буду жив.

— Увидим ли их мы с вами или увидят другие, это уже частности. Каждого из нас в отдельности ожидает свой закат. А дело Ленина, которому мы служим, оно ведь незакатно. Любой урон ему нанести можно только временный. Социализм мы построили...

— И устоит он! Устоит! — подхватил Иван Антонович.— Если б ты видел, Костя, какая сейчас у людей тяга к единству! И это не только на съезде — везде, у всех. Уж одно это чего-нибудь да стоит! Силища такая, что никому не сломить!.. А Сталин... что ж поделаешь. Во время переправы не перепрягают лошадей.

Вскоре после XVIII съезда Константин свиделся еще с одним из своих старых друзей. Орденом Ленина был награжден флагман советской индустрии — Ленинград-

ский завод имени С. М. Кирова, бывший Путиловский. В числе награжденных кировцев оказался Федор Иванович Лучков. Матрос в прошлом, в ночь Октября он брал с собой Пересветова в Зимний дворец уговаривать юнкеров сдаться; в гражданскую войну Константин был комиссаром батальона, которым командовал Лучков. Теперь Федор Иванович приехал в Москву.

В штатском пиджаке, приземистый, он казался еще шире в плечах, чем когда-то в матросском бушлате и военной гимнастерке. На крупном, по-прежнему обритом наголо черепе прилепилась серенькая кепочка; закрученные кверху черные усики подернулись сединой. Он уже давно женат (первая жена умерла в голодный восемнадцатый год от неудачных родов); сынишка ходит в школу. Пожалел, что разминулся в Москве с Минаевым (Костя познакомил их во время XV съезда партии).

— Всего шестнадцать лет тому назад,— вспоминал он,— мы на заводском дворе по очереди катались на американском «фордзонишке», потом разбирали его по винтику, чтобы раскусить, как он устроен. А перед нынешней весенней посевной наш завод спускал с конвейера по сто сорок тракторов в сутки вместо шестидесяти по плану. Иной раз, друг мой Костя, сам себе не верю. Как зто у Маяковского, а?.. «Шаги саженьи»...

— Газеты пишут, что вы для Московского метро подземные комбайны поставляете?

— А как же! Изготовляем и турбины для электростанций, и мотовозы, тягачи, автомобили, высокобортные железнодорожные платформы... Всего не перечесть. Отечественное тракторостроение у нас началось, а потом наши специалисты, вроде учителей, помогали его осваивать и Сталинграду, и Харькову, и Челябинску... Был когда-то завод паровозо- и вагоностроительный, стал и тракторный, и турбиностроительный, и сложного машиностроения... Хвастаться не хотим, а можно бы прибавить: и танкостроительный!

Повидался Лучков и с Олей Лесниковой, медсестрой на фронте. Посидели за столом, вспоминая старые времена...

Из-за большой нагрузки — издательство, педагогическая работа — книга у Пересветова все зти годы двигалась медленно. По мере того как она шла к концу,

у него накоплялось чувство неудовлетворенности. Некоторые главы ему удавались, зато в других зияли «белые пятна», на заполнение которых требовалось больше труда и времени, чем он рассчитывал. Давали о себе знать пробелы в историческом образовании: числясь в институте, он львиную долю времени отдавал партийной публицистике.

Советское источниковедение делало лишь первые шаги, готовых монографий, сборников документов по началу XX века в России не хватало, а в одиночку распахивать целину архивов оказалось ему не под силу. Книге угрожала стилевая пестрота: подробное освещение событий чередовалось с информационными скороговорками. Пересветов начал сомневаться в правильности своего замысла соединить общедоступность с научно-исследовательским содержанием; следовало, по-видимому, выбрать что-то одно.

Начались опять жестокие колебания. С одной стороны, жадность к знаниям, интерес к истории страны толкали его к работе исследователя. С другой — многолетняя закваска пропагандиста побуждала спешить с передачей своих знаний широкой аудитории.

В конце концов практическая сторона дела взяла верх: не бросать же наполовину готовую книгу. Худо ли, хорошо ли, она удовлетворит назревшую потребность в обзорном пособии для студентов, преподавателей, пропагандистов, вообще читателей, интересующихся историей страны. Изложение он строил, идя по следам ленинских литературных трудов, статей и выступлений, стремясь их проиллюстрировать. «Одного этого уже достаточно»,— думалось ему.

Но неудача оставалась неудачей.

— Чего я боялся в юности,— с горечью говорил он Ольге,— то со мной приключилось: в специальности историка оказываюсь дилетантом. От ворон отстал и к павам не пристал.

— Так это же не последняя твоя книга,— как всегда, утешала его Ольга.— А на сегодня ты делаешь то, что в состоянии делать. Книга свою задачу выполнит. Сейчас у всех потребность оглянуться на историю страны.

— Словом,— вздыхал он,— приходится пожертвовать собой как ученым. Мне не привыкать: уйдя из «Правды», пожертвовал собой как публицистом. А еще

раньше — как писателем, усевшись за редакторский стол. Уж ты-то знаешь, как меня в Пензе тянуло к стихам и беллетристике!.. Что ж, когда-нибудь ученые мужи допишут в истории все, что не допишем мы.

Он тогда еще не знал, что его нынешние труды пропадут даром, что его книге не суждено будет дойти до читателя.

Присматриваясь к научным занятиям отца, Володя в старших классах школы приохотился к чтению работ Ленина, Маркса, Энгельса. Больше других наук его привлекала философия, что, впрочем, не мешало ему идти по стопам отца в увлечении футболом и баскетболом. Подтрунивая над ним, родители уверяли, что склонность к философии обнаружилась у мальчика еще в пять лет от роду, когда он объявил им однажды: «А завтра никогда не бывает! Все говорят — завтра, завтра, а когда оно придет, уже делается опять сегоднем».

— Уже тогда не давал ему спать вопрос о диалектике движения материи во времени! — шутил отец.

Учился Володя на круглое отлично, его выбирали секретарем комсомольской ячейки. Окончив школу, выдержал конкурс на философское отделение ИФЛИ[1], а Наташа, в старших классах решившая стать учительницей, поступила в педагогический институт.

Владимир на последнем курсе института впервые по-настоящему влюбился и объявил родителям, что женится. С однокурсницей Диной они на философском факультете были в центре внимания, хотя и по разным причинам. Владимир слыл способнейшим, выделялся начитанностью, его всегда окружали собеседники, ни одно занятие семинара не обходилось без его дельного выступления. Профессора считались с высказываниями этого юноши, бравшего на себя смелость развивать и дополнять их суждения. А Диночка учебными лаврами похвастаться не могла, едва переходила с курса на курс. Гуманитарный факультет она избрала по семейной традиции: отец был профессором педагогического института, он помог ей справиться со вступительными экзаменами в ИФЛИ. Хотелось, может быть, и пооригинальничать, из девушек редко кто шел на фило-

---

[1] Институт истории, философии, литературы, существовавший в Москве в 1937—1941 годах. В начале войны слился с МГУ.

софский. Привлекали в Дине ее общительный характер, счастливая женственная наружность, удачные выступления на студенческих вечерах. В поклонниках среди мужской молодежи у нее недостатка не было.

От Володиной «сверхученой» компании Дина долго держалась в стороне, но однажды обратилась к Пересветову за товарищеской консультацией по какому-то теоретическому вопросу. Владимир отнесся к просьбе со свойственной ему серьезностью, помог ей в курсовой работе. Внимание красивой девушки не могло не польстить, между ними завязалась дружба, от которой до влюбленности был один шаг. В то время никто бы не сказал, пользовался ли Владимир взаимностью или девушке, в свою очередь, льстила привязанность студента, которому прочили будущность ученого.

Диночка стала бывать у Пересветовых по вечерам, когда их дом был открыт для друзей, заходивших и по делам, и по безделью, попеть и повеселиться. Володя, хотя и не пел и ни на чем не играл, музыку любил.

Ольге Федоровне нравилось Диночкино меццо-сопрано, но не характер. Нестеснительна до фамильярничанья и со сверстниками, и со старшими по возрасту, балуется папиросками («к своему голосу не относится серьезно»), завивается и подкрашивается зачем-то («будто и без того недостаточно хорошенькая, не понимает, что старит себя»). И уж очень «фокусная», оригинальничать любит. Ольга желала бы сыну жену «попроще». Тот отшучивался:

— У тебя, мамочка, старинные вкусы.

— Не ошибись, мой мальчик! Вижу: не ты ее — она тебя выбирает,— говорила мать.

Дина казалась ей суховатой, общительность ее наигранной: «Эта себе на уме!» На партийной работе, заставлявшей приглядываться к людям, Ольга привыкла делить их на две крупные категории по преобладанию у человека либо личных, либо общественных побуждений. Она не чувствовала у Дины искреннего интереса ни к чему, кроме собственной персоны. «Эгоистка или индивидуалистка, во всяком случае, а это понятия сродные». Люди и любят не одинаково: одни за то, что их любят, а другие просто так, за то, что это «он» или «она», ради счастья любимого. «Не любит она его, себя в нем любит, свой успех»,— говорила Оля мужу.

Не пришлись по душе Ольге и родители Дины, с

которыми та устроила ей встречу в ложе Большого театра на спектакле «Лебединое озеро».

— Он — само приличие и обходительность, ручку мне облобызал,— делилась она с Костей впечатлениями.— Мнений своих, по-моему, не имеет, поддакивает, что ему ни скажи. Жена баба продувная, молодится, на уме у нее новое Диночкино платье да собственная поездка без мужа осенью на курорт. Мне удивляется: «Как это вы никуда не ездите?»

Володин отец судил о людях менее категорично и менее жены вникал в жизнь детей (корил себя за это).

— Смотри сам,— сказал он сыну.— В основе любви должна лежать настоящая дружба. Так ли оно у вас? Брак прочен, если возникает из совместно пережитых испытаний, как у меня с твоей мамой. В них проверяется глубина, устойчивость чувства. Но не могу же я,— заключил он с доброй улыбкой,— желать вам трудных дней. Лучше бы их у вас совсем не было...

Ольге помнились стихи, присланные Костей с дороги, когда он уезжал из Еланска в Москву поступать в институт: «Если слаб ты рожден,— найди душу родную, дай любовь ей большую, и ты будешь силен». Вот бы какую любовь повстречать их сыну! Но как ему это внушить, как предостеречь, передать жизненный опыт, для него чужой и неизвестный? Слова не действуют. Ах, этот возрастной барьер!..

Восстать против поспешного брака? Не обвинит ли потом сын родителей, что спугнули его счастье первой любви? Нет уж, видно, придется ему самому выпить, может быть, горькую чашу. Когда молодые явились из загса, Ольга пожелала им счастья и подарила невестке давно купленный для себя отрез материи на платье.

Владимир был уже аспирантом, его по окончании ИФЛИ оставили при кафедре философии. Наташа, еще не окончив институт, выходила замуж за своего бывшего одноклассника по школе Бориса, теперь студента одного из технических вузов. Их школьная дружба созревала на глазах у Ольги Федоровны. Веселый и симпатичный, Борис пользовался репутацией славного парня.

Обе свадьбы сыграли весной 1941 года. В воскресенье 22 июня Пересветовы выбрались всей семьей отдохнуть в парк Сокольники. Здесь и застигла их несшаяся изо всех радиорупоров весть о нападении гитлеровских полчищ на СССР.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

В пересветовской семье только Марию Николаевну война не призвала на защиту Родины. Студенты оба уходили в армию. Ольга с заводом, где работала, уезжала в эвакуацию на Урал. Вместе с ней ехала Наташа, поступившая на завод работницей, и бабушка,— на ее слабеньких плечах держалось домашнее хозяйство. Константин, состоявший в резерве политсостава, по возрасту и отсутствию современной военной подготовки в регулярные части назначения не получил и ушел на фронт в июле с одним из московских ополченских полков в звании батальонного комиссара, в должности редактора дивизионной газеты. Его рукопись вместе с издательством отбыла в эвакуацию.

Ольга покинула Москву раньше мужа в группе заводчан, получивших задание выяснить условия восстановления завода на новом месте. Письмо о первых днях пребывания в армии Пересветов сумел переправить ей с оказией лишь два месяца спустя. Оказия была надежной, с военно-цензурными ограничениями можно было не считаться. Он писал:

«Принимали ополченцев в армию мы на одном из стадионов возле футбольных ворот. Почему-то вспомнилось, что в октябре 1917 года я через футбольное поле ночью пробирался в осажденный белоказаками еланский Совет. Как и тогда, резкость перехода из одной жизни в другую сильно впечатляла.

Первую ночь ополченцы и мы, их комсостав, провели под открытым небом в подмосковном лесу около станции Перхушково Белорусской дороги, а наутро выступили в многодневный пеший марш на запад. Бойцы шли сначала в своей гражданской одежде, чем напомнили мне добровольческий отряд, в рядах которого мы с тобой

ехали на колчаковский фронт из Пензы. Схожесть была и в пестроте возрастного состава, а еще больше — в том боевом духе, с которым шли на фронт, что называется, и стар и млад. По пути рыли окопы и эскарпы на случай глубокого прорыва фашистских полчищ; в такую возможность не верится, но для нас это учеба. «На смертный бой народ бессмертный вызван, и смерть врагу предрешена!» — так кончалось мое первое стихотворение в походном боевом листке. Газета, которую буду редактировать, еще в проекте...

В девятнадцатом на фронте мы почти не видели в небе ни своих, ни вражеских аэропланов. А теперь фашистскую авиацию я увидел впервые за сотни километров от фронта, и — такова сила первого впечатления — эта мрачная картина у меня перед глазами до сих пор. В тот день истекал месяц с начала войны. За предшествующие несколько дней мы оттопали больше ста километров от Москвы и были за Можайском. Никто из нас не подозревал, что спускавшуюся на нас ночь Гитлер изберет для первого воздушного налета на Москву. Когда со стороны потухавшей зари навстречу нам донесся гул самолетов с непривычным для слуха волнообразным завыванием, мы и не подумали, что это немцы.

Полк, с которым я шел, растянулся на марше километровой лентой по луговинам и перелескам. Через минуту над нашими головами с ревом и воем, на высоте каких-нибудь двухсот метров, заслоняя небо, понеслись тучи — так снизу казалось — огромных «юнкерсов» (мы знали их как немецких транспортников по мирному времени). Отблески зари позволяли разглядеть под их крыльями отвратительные свастики. Не обращая на нас внимания, черная стая быстро растаяла в сумерках позади нас...

Была ли команда «Стой!» — не помню, только все мы замерли на месте, не отрывая глаз от темневшего над Москвой неба, в котором вскоре забегали дальние отсветы прожекторов и замелькали красные искорки зенитных разрывов.

В тот вечерний час я впервые испытал тоскливое чувство бессилия, которое преследовало меня потом под авиабомбежками. Почти все мы были москвичи, в Москве оставались близкие, на их головы сейчас, может быть, сыплются бомбы, а мы стоим среди поля с пустыми подсумками! Бойцам еще не раздали патроны.

Спустя какое-то время завывающие звуки возобновились, на потемневшем небе в разрозненном строю, поодиночке, на гораздо большей высоте, чем раньше, прочь от Москвы потянулись над нами те же бомбардировщики-«юнкерсы». Их было немного, хотелось верить, что зловещую громаду здорово потрепали наши...

Через день дошли вести, что так оно и было. Главное же, что успокаивало москвичей за судьбы близких,— это известие, что в тот первый налет фашисты сбрасывали на город лишь зажигательные бомбы и возникшие от них пожары к утру были потушены.

...У нас есть штабная машина, но я ею не пользуюсь, чтобы поскорее натренировать себя для полевой жизни. Шел все время в пешем строю с бойцами, ночевал под плащ-палаткой. От лопаты болели мышцы рук, ломило спину, ходил, точно избитый, ладони горели мозолями,— а все-таки приспособился и за три часа отрывал окопную ячейку для стрелка в рост, с бруствером и бойницей. Отвыкнув за годы домашней жизни спать на открытом воздухе, на сырой земле, а то и под дождем, начал было простужаться: кашлять, и, чего никогда не было, появились вдруг в плевках сгустки крови. В полевой санчасти меня прослушали, выстукали, нашли, что кровь, по счастью, не легочного, а горлового происхождения, из-за сильного кашля. Дали подышать над парами йода, снабдили нашатырно-анисовыми каплями, а тут установилась сухая погода, и кашель затих. Словом, с полевыми условиями бытия, после 20-летнего перерыва, я освоился довольно быстро, чувствую себя «как дома»...

Правда, был еще один казус. В нашем переходе мы, минуя Верею, двигались в направлении Ельни и поставили свой дневной рекорд — 55 километров. (Пишу так подробно, чтобы вы не надумывали себе ложных тревог за меня. В боях участвовать мне пока не приходилось.) Как ни кичусь я спортивной закалкой, а перед вечером жаркого солнечного дня левую ногу мне стала сводить судорога. Превозмогая сильную боль в икре, я еле шагал, прихрамывая. Старался терпеливо ковылять в рядах бойцов, но потом все-таки начал отставать. Боль становилась непереносимой, и я решил: отлежусь где-нибудь в лесу, которым мы шли, а к ночи нагоню

полк. С дозволения взводного отхромал в сторону от дороги и растянулся в пахнувшей земляникой траве, пропуская мимо себя колонну за колонной.

Я и не заметил, как заснул. Пробудившись от яростных комариных укусов, снял сапоги, развесил на кусту просушить портянки и начал переваливаться по теплой земле с боку на бок, собирая в рот спелые красные ягоды и отмахиваясь от комаров. Наелся вволю. Но уже садилось солнце, трава понемногу сырела от росы, я встал, обулся и заковылял по дороге, стараясь ставить левую ногу на пятку, так меньше болело. Нагнал своих товарищей, бойцов разведроты, с которой я шел, ночью; ужин для меня в чьем-то котелке сберегли. За ночь нога отдохнула, судорога не возобновлялась.

За несколько недель мы с остановками, иногда длительными, дотопали наконец к месту дислокации во второй линии обороны, километрах в пятнадцати от передовой линии фронта. Здесь ополченцам предстояло пройти ускоренный курс военной учебы, прежде чем вступать в бои. Учеба эта началась еще в походе,— я тебе ее не описываю, так же как и свою работу — лекции, беседы, налаживание регулярных выпусков ротных боевых листков, сколачивание актива сотрудников будущей дивизионной газеты и т. д. Теперь, на месте дислокации, начались хождения на стрельбище, ночные учения, рытье землянок, сооружение блиндажей...»

В расположение стрелковой дивизии, во второй линии обороны которой стоял ополченский полк, прибыл грузовик-фургон с походной типографией и обслуживающим персоналом в лице шофера, наборщика (он же печатник, умеющий обращаться с ручным типографским станком) и машинистки — она же секретарь редакции. Вскоре вышел в свет небольшой по формату первый номер дивизионной газеты «Священная война», отредактированный да и в значительной части написанный Пересветовым.

Руководство газетой было лишь одной из его обязанностей.

К сентябрю наступление фашистских орд было остановлено, и после того как наши войска отобрали у них обратно Ельню, на Западном фронте наступило временное затишье. Оно было использовано командова-

нием для военного обучения ополченцев, а у Пересветова прошло в каждодневных переездах или пеших переходах с лекциями по поручению политотдела дивизии. Читал он бойцам передовых частей о текущем моменте и положении на фронтах, о победах Красной Армии над интервентами в годы гражданской войны, о великих русских полководцах. Неплохой оратор, Константин брал за живое слушателей не какими-либо красивыми фразами, а содержанием лекций, прекрасно ориентируясь в предмете, умея интересно и увлеченно изложить предмет. Особенную популярность у бойцов снискали его лекции о Суворове. Как раз перед уходом в армию он по просьбе издательства редактировал биографию Суворова; в первые недели войны книга разошлась массовым тиражом. Такие перлы «Науки побеждать», как: «Каждый воин должен знать свой маневр», «Тяжело в ученье — легко в бою», «Сам погибай, а товарища выручай» и многие другие,— находили в сердцах нынешних бойцов не менее живой отклик, чем у солдат Суворова.

Однажды лунной ночью, после двух лекционных дней в одном из полков, Пересветов шел в соседнее подразделение. Ночные пешие хождения в одиночку по лесистой местности, в ближайшем фронтовом тылу, были небезопасны. При растянутости фронта на стыках частей образовывались прогалы, которыми обе воюющие стороны нередко пользовались для проникновения в тылы противника. Был известный риск оказаться в положении «языка», захваченного фашистскими лазутчиками. Пройти лесом предстояло несколько километров; в политчасти полка Пересветова уговаривали повременить с уходом до утра, но он не захотел терять время, к тому же ночь обещала быть чудесной, теплой. Все же он, по их совету, оставил в политчасти на сохранение свои документы, гимнастерку с командирскими знаками различия («шпалами») и взял, в подкрепление к своему «вальтеру», винтовку.

На полпути он проходил через небольшую деревушку в несколько изб, жители которой еще не были эвакуированы из 30-километровой прифронтовой полосы. Посреди улицы на толстых бревнах сидели женщины, окруженные гурьбой ребятишек, и бритый старик с седой щетиной на голове что-то им говорил о немцах.

Не замеченный никем, кроме ребят, Пересветов остановился в тени росшего возле бревен дерева.

— Вот еще, от своего хозяйства уезжать! — толковал старик.— Нашли дураков! Никуда не поедем, в лес убегу, спрячусь, если будут насильно угонять.

Константин сперва подумал, что старик собирается от оккупантов убегать, но тот продолжал:

— Ишь запугивают немцами! А что немец? Не такой человек, как все прочие? Не будет в колхозы загонять... Сами удирают и нас прихватить с собой хотят.

Пересветов нагнулся к уху глазевшего на его винтовку парнишки и шепотом спросил:

— Это что за дед? Кто он такой?

— Председатель наш,— прошептал тот.— Его недавно выбрали, когда мужики все в армию ушли.

— Председатель колхоза?

— Нет, сельсовета. Предколхоза у нас баба.— Вороватo оглянувшись на старика, мальчик сделал свирепое лицо и таинственно шепнул: — Контра!..

Сообщение это поразило Пересветова. Он решил идти напролом и громко спросил:

— Где здесь председатель сельсовета?

Все к нему обернулись, а старик ответил: «Я!» — и поспешно вскочил с бревен.

— Нельзя ли у вас в деревне заночевать? — спросил Константин.— И водички бы напиться.

Одна из женщин пошла к соседней избе за ковшом воды, а Пересветов присел на бревна рядом с председателем.

— Заночевать? — переспросил тот, садясь на прежнее место.— У кого же тебе заночевать? Тут одни бабы остались, к ним подсовывать тебя будто неловко. Ко мне самому нешто? Я один проживаю.

— Спасибо, что ж, у тебя и переночую. А что это ты немцев расхваливаешь? Колхозы ругаешь. А еще председатель сельсовета.

— А я... я немцев не хвалю,— нагловато возразил старик.— Я с немцами сам воевал и ранение от них имел. Немцы не в первый раз на Россию нападают: нападут — их выгонят... Я говорю только, что нечего их бояться, удирать от них. А колхозы здесь нам и вправду ни к чему. Это в степи, где земля черная, много хлеба родит, навезут туда тракторов и хвалятся богатыми урожаями. А здесь земля — мачеха, сырая глина,

пшеничку по горсточке собираем, только ленок да картофель нас выручают. Трактору у нас и делать нечего.

Сначала он говорил как бы хорохорясь, желая скрыть свою не то боязнь, не то сконфуженность, но постепенно голос его окреп и зазвучал вызывающе:

— Ты, видать, нездешний, условий наших не знаешь. Когда бы мы получше жили, было бы у нас имущество, чтобы его вместе сложить... А сейчас что? С хлеба на квас перебиваемся. Тут сколько ни таскай в общий котел, толку не будет... Вот я и говорю людям правду, какая она есть. На то меня и в председатели выбрали... А ты меня этим корить хочешь?

«Ну и фрукт!» — подумал Пересветов и сказал:

— Так по-твоему, значит, мы удираем? Стало быть, и наши предки сто тридцать лет тому назад от Наполеона удирали, а не отступали, чтобы собраться с силами и стукнуть так, чтобы ему неповадно было? Уж если ты такой знаток истории, должен знать, что вот здесь, на вашей земле, крестьяне сами поджигали свои стога и избы, чтобы их имущество врагу не досталось. В леса уходили, рогатины вырубали и с ними шли на непрошеных пришельцев, как на медведей... Ты что же, не знаю, как тебя звать, Иван Непомнящий, что ли? Кому ты служишь, кого ждешь? Для Гитлера хочешь рабочую силу сберечь? Ведь этих баб, как ты их называешь, он, если придет, заставит окопы рыть, чтобы из них фашисты по их мужьям и братьям стреляли. А то еще в Германию на подневольные работы угонит. А ты их агитируешь, чтобы его дожидались и в эвакуацию не уезжали. Выходит, что ты прямой изменник и предатель!

Одна из женщин поднялась с бревен и сказала:

— Ты, Ермил Кузьмич, имущество имел, вот бы и отдал его в колхоз добровольно, было бы с чем обществу хозяйство зачинать.

Остальные молчали. Она повернулась и ушла. Председатель, не прерывавший Пересветова, и ей ничего не ответил. Встал и вымолвил:

— Ну, побалакали, спать пора. У каждого свой ум, чужого никому в башку не вложишь. Зря ты на меня распалился, никакой я не предатель и не изменник. Говорил то, что думаю. Хочешь заночевать — пойдем ко мне в избу.

Женщины поднялись и, тяжело вздыхая, стали понемногу расходиться. У каждой из них была своя

нелегкая доля. Председателя они, видать, побаивались. Слишком близко подступал страшный враг, а бросать насиженное родное гнездо и ехать невесть куда в тыл тоже боязно было, непривычно...

— Ты что, партейный, что ли? — хмуро спрашивал Ермил Кузьмич, зажигая в горнице висячую лампу.

— Почему ты думаешь, что партийный? Какое это имеет значение? Сторонником коммунизма можно быть и не имея партийного билета,— отвечал Пересветов.

Свет скользнул по иконам в переднем углу избы. Вглядевшись в лицо гостя при лампе, старик продолжал:

— Год твой, должно, еще не призывался в армию?

— Я пошел добровольно в народное ополчение.

— Добровольно? Ну это, я скажу, зря. Уж коли кадровая армия с немцем не управляется, от таких, как ты да я, толку не будет. Вон сколько их мимо нас пробежало, все в тыл, все в тыл. Куда нам соваться воевать, у него самолеты, танки...

— Так что же нам, по-твоему, сдаваться?

— Сдаваться не сдаваться, а мира надо искать. Сами виноваты: расшумелись, раздразнили Гитлера, бранили его — фашист, такой, сякой... Кабы не он первый, мы бы на него напали, ну он и не стал дожидаться. На переговоры идти надо, чем зря людей губить...

— Нападать ни на кого мы не собирались, это ты по фашистским листовкам с чужого голоса поешь. Да спорить с тобой, Ермил Кузьмич, видать, бесполезно. Советскую власть ты ненавидишь, вот только не знаю, за что: что она у тебя отобрала?

— Советская власть-то? У кого она не отобрала чего-нибудь? Кого раздела, кого разула. Нашим хлебом стала жидов кормить.

— Ого! Вот ты как? А все-таки, у тебя-то что она отобрала? Раскулачивали тебя, что ли?

— Ты думаешь, я взаправду кулак был? Нет, я трудящий. А забрали у меня пчельник. Медом приторговывал, это верно, а куда его девать, если не продавать? Да ведь пчел знать нужно, как с ними обращаться, вот в колхозе в первую же зиму их и поморозили. Эх, да что там!..

— Ты бы взял да помог колхозникам управиться с пчелами.

— Я? Это мне на чужого дядю работать?

— А тебя заставляли работать?

— Нет, с этим не привязывались.

— Ну так вот,— сказал Константин.— Ты думаешь, Гитлер, которого ты хлебом-солью готов встречать, ради твоего благополучия к нам полез? Случись ему сюда прийти,— уж ты поишачишь на него, на фюрера! Уж он покажет тебе жизнь без колхозов!..

— Врешь ты, наверно, что беспартийный,— сказал Ермил Кузьмич.

— Думай, как хочешь.

На том беседа с «трудящим» кончилась. Растянувшись на деревянной лавке, Пересветов положил себе под бок винтовку. Спать он не собирался, решил подождать, пока развиднеет, и уйти. Но устоявшийся дух жилой избы, ровная домашняя теплота под кровлей, от которой он отвык, разморили его и понемногу одурманили. По всему телу разливалось приятное чувство полного отдыха, глаза сами начали закрываться.

Разбудил кошмар, будто его поджаривают на костре. Проснувшись от ожогов, он понял, что это зверски кусаются клопы. За окном еще чернело, но он тихонько поднялся и ушел.

Возвратившись к следующей ночи в политчасть полка, Константин рассказал про свое знакомство с «предсельсовета». Из политчасти тотчас позвонили в особый отдел и предложили ему туда сходить, рассказать все подробно, что он и сделал. Особист, выслушав, кое-что себе записал, а спустя несколько дней Пересветову сказали, что у Ермила Кузьмича под полом избы нашли четыре винтовки с патронами в подсумках и две ручные гранаты. Он их крал при случае у ночевавших в деревне бойцов и припрятывал до прихода фашистов.

Эвакуация жителей деревушки была благополучно проведена.

«С какими трудностями столкнулась бы советская власть, не ликвидируй она в деревне кулачество! — думал Пересветов.— Этот уцелевший последыш — одиночка, а вон он каков. Да и передовую индустрию, оборонную в том числе, не создали бы в короткий срок на базе мелких крестьянских хозяйств, без коллективизации...»

...Однажды утром на передовой загремела артиллерийская канонада. Фашисты предпринимали новое наступление на Москву. В тот же час вестовой из штаба дивизии разыскал Пересветова и передал ему приказ немедленно явиться в политотдел армии. В штабе для него уже готова легковая машина.

Константин недоумевал: зачем в такой момент он мог понадобиться политотделу армии?

Десятка два километров, кружа по пыльным проселкам, машина пролетела за какие-нибудь четверть часа. Его провели к начальнику политотдела, у которого сидел за столом седовласый мужчина в гражданской одежде, без предисловий обратившийся к нему с вопросом:

— Вы хорошо знаете Еланск?

— Город? Дореволюционный и времен гражданской войны знал,— ответил Пересветов.— Теперь он, наверное, изменился.

— Представление имеете, этого достаточно.

— Мы вас рекомендуем для выполнения срочного задания,— пояснил начальник политотдела.— Если сегодня ночью мы отойдем, а дело к этому клонится, вы останетесь в тылу врага и выполните поручение вот этого товарища.

— Я из разведотдела,— сказал седовласый.— Немецким языком владеете?

— Посредственно. Устно объясниться могу, газеты могу читать.

— Для специальной подготовки вас к работе в тылу противника времени у нас, к сожалению, не осталось, а послать, кроме вас, некого. Нужен политически развитой коммунист, понимающий дело с двух слов. Вы, кажется, в гражданской войне участвовали?

— Да. Полтора года, сперва на колчаковском фронте, потом на деникинском. Был комиссаром батальона.

— Отлично. Стало быть, легче ориентируетесь в обстановке. Когда вы в последний раз были в Еланске?

— Году в двадцать седьмом...

— Как вы думаете, многие могли бы вас опознать при случайной встрече?

— Я там учился до тысяча девятьсот пятнадцатого года, а с семнадцатого по двадцать второй редактировал газету. В футбол играл... Так что многие меня в лицо знали. Впрочем, я раньше усики носил, а теперь бре-

юсь. Ну и постарел немножко, сорок три года мне... В общем, конечно, узнать могут, если приглядятся.

— Без нужды на улицах в дневное время не показывайтесь. Мы вам дадим несколько явок с паролями. Необходимо установить, сохранились ли наши люди. Они должны связать вас с представителем подпольного обкома партии. Ему вы устно передадите наши инструкции. После этого тем или иным путем дадите нам знать о выполнении поручения и постарайтесь вернуться обратно через фронт с материалами, какие получите от представителя обкома. Сроком мы вас не связываем, неизвестно, как у вас сложатся обстоятельства.

В инструкциях, какие должен был устно передать Константин еланскому партийному подполью, наряду с общими указаниями о необходимости широкого развития партизанского движения, разведывательной, диверсионной и агитационной работы в фашистском тылу, особо подчеркивалась задача подрыва работы железнодорожного транспорта, питающего фронт противника резервами, военной техникой и боеприпасами.

По словам представителя разведотдела, в помощь партизанам через фронт будут забрасываться кавалерийские отряды и парашютные десанты. Обстановка всенародного подъема на борьбу с оккупантами создает возможность образования в тылу врага освобожденных районов с восстановлением в них советской власти. Задачу эту еланское партийное подполье должно поставить в порядок дня.

Важность полученных Пересветовым директив не нуждалась в пояснениях. Оставалось договориться о легенде, за кого ему себя выдавать в оккупации.

— Может быть, за сельского учителя из моей родной Варежки Пензенской области? — предложил он. — По крайней мере, не собьюсь, коли спросят, где жил, или в контрразведке моим прошлым станут интересоваться.

— Ну последнего я вам, товарищ Пересветов, ни в коем случае не пожелаю. А легенда что ж, пожалуй, подходящая. Пенза отсюда далеко. Паспорт мы вам заготовили на другую фамилию, конечно. Возраст ваш еще не призван, будем считать, что в армии вы не служили... Поезд, на котором вы ехали, скажем, к родственникам, разбомбило где-то под Вязьмой. Подробности додумайте не торопясь, чтобы ни в чем не попасть впросак. Просочиться во вражеский тыл сейчас вам

большого труда не должно составить, это не то что установившийся фронт переходить. Необходимо эту ситуацию использовать.

— Километрах в тридцати отсюда,— заметил Пересветов,— местность мне знакома. Когда-то я ездил туда из Еланска к лесному озеру на утиную охоту.

— Так вы еще и охотник? Стало быть, с лесом, через который вам сегодня пробираться к Еланску, должны быть на «ты»...

Пересветову была вручена с необходимыми пояснениями карта местности, названы явки, пароли, даны советы, как вести себя в некоторых обстоятельствах. Спустя час та же дивизионная легковушка, на которой он приехал, помчала его обратно.

Ополченский стрелковый полк стоял, как упоминалось, во второй линии, на широком участке между двумя железнодорожными магистралями, вдоль которых в те дни противник стремительно вклинивался в нашу оборону. С утра, как только на западе загремела отдаленная канонада, полк был приведен в боевую готовность и поставлен «на колеса», чтобы немедленно двинуться, куда будет приказано. Перед расположением батальонов и рот выставлены были боевые заставы с пулеметами.

К вечеру того же дня появились прорвавшиеся через передовую линию первые отряды гитлеровцев — незначительные, поскольку в мешке между железными дорогами фашисты наносили не главный, а вспомогательные удары. Из ближнего леса на поляну перед окопчиками нашей заставы вылетели, фырча, несколько мотоциклов. Пулемет, укрытый в канаве против дороги, встретил их кинжальным огнем, и только двоим мотоциклистам удалось, развернув машины в обратную сторону, скрыться в лесу.

Затем в глубине леса заурчали танки. Два появились на опушке; один удалось подбить из противотанкового ружья, другой повернул в лес несолоно хлебавши. Вслед за этой разведкой боем на наши окопы и на деревню, в которой располагался штаб полка, полетели мины.

Пересветов между тем в конце деревни ужинал с бойцами около походной кухни. По инструкции, ему предстояло с наступлением темноты отбиться от своих,

переодеться в гражданское платье и, отсидевшись где-нибудь в лесу и пропустив мимо себя фашистские отряды, пробираться в их тылу в северо-западном направлении к Еланску. Перед дальней дорогой нелишне было подкрепиться горячим борщом, аромат которого распространялся в вечернем воздухе из кухонных котлов, стоявших на платформе грузовика.

Пожилой повар, которого в полку все звали Петровичем, в белом фартуке, без пилотки, блестя лысиной, разливал ковшом борщ в котелки обступившим грузовик бойцам, сдабривая кушанье из особого котла томатом. Вдруг прискакал верхом командир полка и крикнул: «Немедленно освободить машину для раненых!» Бросившись выполнять приказание, бойцы второпях опрокинули наземь котел с томатом, и жирная оранжевая масса лавой расползлась по траве, а Петрович в отчаяньи схватился за голову и завопил: «Что вы делаете, сволочи?!» Один только он знал, каких хлопот ему стоило вымолить в армейском ПФС для своего полка этот котел с томатным соком!..

Бойцы между тем, не обращая внимания на минный обстрел деревни, спешили подобрать аппетитный томат с травы в свои котелки. «Вот молодцы, не растерялись! — подумалось Пересветову. Он стоял неподалеку, дохлебывая ложкой свою порцию борща.— А ведь многие из них впервые слышат разрывы мин так близко».

Полк строился в колонны. Солнце заходило, когда двинулись походным маршем на восток. Сзади все еще лопались мины, а из-за вершин леса вынырнул вдруг огромный «юнкерс» со свастикой на боку, совсем низко, в окне кабины мелькнуло лицо пилота. Пуля могла бы легко его достать, но никто не догадался или не успел выстрелить. Описав полукруг, машина опустилась за соседней рощей, а через минуту взмыла и ушла на запад, не сбросив ни бомбы, ни выстрела не сделав по колонне. То ли этот самолет высадил кого-то за рощей, то ли подобрал ранее высаженный десант,— выяснять в сутолоке не стали.

Таковы были последние впечатления Константина от ополченского полка, с которым он сроднился за два с лишним месяца.

Темнело. Колонна влилась в довольно крупный лесной массив. Откуда-то в рядах отступавших появились бойцы других подразделений. По узкой лесной дороге

везли полевые орудия, следом за ними шел высокий стройный командир батареи, значительно моложе Пересветова. Длинным лицом и тонкими усиками он напоминал Косте Сережу Обозерского на карточке, присланной им в 1916 году по окончании школы прапорщиков, перед отправкой на фронт.

Некоторое время они с артиллеристом шагали рядом, и Пересветов спросил, почему пушки спешат отойти вместе с пехотой:

— Нам, пехотинцам, ничего другого не остается, а ваша батарея могла бы пугнуть фашистов. Здесь у них только минометы да автоматы, орудийной стрельбы не слыхать. Людей у них тут кот наплакал, нас куда больше, а они почти безнаказанно вклиниваются к нам мелкими отрядами. Кабы вы их задержали хоть на сутки, мы бы их окружили и уничтожили. А мы перед ними драпаем!

— Я не драпаю,— строго и вместе с тем грустно возразил командир батареи.— У меня приказ отвести орудия на точно обозначенный рубеж. Нарушить приказ я не могу и не вижу для этого оснований.

— Ну, если заранее подготовленный рубеж, тогда конечно,— пробормотал Константин. Ему хотелось поговорить с попутчиком, и он продолжал: — Нашу пехоту надо как можно скорее насытить автоматами и минометами. Без них мы со своими трехлинейками и полуавтоматами оказываемся в положении партизан восемьсот двенадцатого года, шедших с вилами против французских ружей...

— Будут у нас и минометы и автоматы,— перебил его артиллерист,— надо только переждать первое время. Он нас взял внезапностью. Что они сейчас отходят,— кивнул он на молча шагавших бойцов,— это не страшно, себя для армии сохраняют. Было бы разве лучше, если бы нас обошли по шоссейным дорогам и окружили?.. Паники у нас я не вижу,— продолжал артиллерист.— Части смешались, это верно, а идем дорогами, общим строем, достаточно передать команду по рядам, и она выполняется. Нам бы только сберечь живую силу... Тыл сейчас занят переводом промышленности в восточные районы. Все теперь зависит от того, как скоро заводы в новых местах заработают, а уж там постараются нам помочь, будьте покойны!

— У меня жена парторгом на эвакуированном заво-

де,— доверительно поделился с попутчиком Константин, но тот бросился к застрявшему в колее орудию, и разговор их прервался.

Когда совсем стемнело, Пересветов незаметно отбился от колонны и, отойдя поглубже в лес, вынул из вещевого мешка выданное ему гражданское платье. Начиналось ночное странствие уже в полном одиночестве.

Сходство артиллериста с Сережей Обозерским на миг перенесло Костю в дни ранней юности. При первых проблесках политического сознания его поражало, отчего это люди веками мирятся с возмутительным укладом жизни, когда в руках у немногих «все» — власть, образование, богатство,— а у большинства «ничего»? Казалось, если бы всем хорошенько «растолковать», что так жить нельзя, то с вековечным угнетением народов было бы разом покончено.

Такой же недоуменный вопрос задал ему в душную августовскую ночь пятнадцатого года, перед проводами мобилизованных на фронт, его тогдашний закадычный друг Тихана: «Как же это люди, а? Скажут им друг дружку убивать — и убивают. Чудно!» — «Заставляют их»,— отвечал Костя. «Чай, кончится все это,— промолвил после раздумья Тихана.— Переменится!»

Перемен желал не один он, вся страна шла к ним, и спустя два года немудрящие слова деревенского парня обернулись пророчеством, но то было лишь начало: слишком сложна и страшна механика этого «заставляют», чтобы сломать ее только силой правдивого слова. Многое приходится переносить народам, ценой неимоверных страданий распознавая, кто их друг и кто враг. Костя начал понимать это уже в ученическом подпольном кружке, созданном Сережей. Первый заслушанный ими тогда реферат был о социалистах-утопистах, наивно веривших во всемогущество слова и личного примера. «Это было тогда для меня открытием,— вспоминал Константин, переодеваясь в гражданское.— Именно с того дня я усвоил, что общественное сознание определяется общественным бытием, а не наоборот...»

Обстановка не позволяла надолго предаваться душевным интимностям,— закончив переодевание, он двинулся вперед.

...Спустя час ему попался брошенный блиндаж под бревенчатым накатом. Чтобы не разводить костра в лесу, Пересветов спустился в блиндаж с охапкой хвороста и сжег в печурке, согласно инструкции, свое военное обмундирование.

Метрах в ста от блиндажа он вышел к большой поляне с одинокой сосной посредине. Стрелка компаса указала ему северо-западное направление — как раз на ту сосну. Константин уже подходил к ней, как вдруг справа на горизонте, в большом отдалении, поднялся огненный столб. Он медленно и беззвучно лез и лез в вышину, увеличиваясь в размерах, превращаясь в огненный гриб и заливая светом поляну. Это мог быть только сильный взрыв, и Константин, остановившись, считал секунды, чтобы определить расстояние.

На 45-й секунде звуковая волна толкнула его в грудь: пятнадцать километров отсюда! Грохот прокатился по лесу...

Огненный гриб начал постепенно меркнуть и оседать, сменяясь мигающим заревом. Где-то взорван был, по-видимому, склад боеприпасов или эшелон со снарядами.

После неожиданной иллюминации лес, куда углубился Пересветов, казался еще темней и непроходимей. Глаза не могли отыскать тропинку. Лишь постепенно он стал различать очертания деревьев и наконец набрел на проезжую дорогу.

Идти следовало проворней, чтобы затемно пересечь шоссе, обозначенное на карте в нескольких километрах отсюда. На счастье, ночь была пасмурной, шумок ветра в вершинах скрадывал звуки шагов; можно было не опасаться, что его услышат, и он пошел быстро, чередуя шаг с перебежками.

Как и рассчитывал Константин, дорога еще до рассвета подвела его к шоссе, казавшемуся в этот час безлюдным. Все же он решил сначала понаблюдать за шоссе. Минут через пять слева послышалось быстро нараставшее фырчанье мотоциклов, и мимо него на большой скорости, пригибаясь над рулем, промчались четверо мотоциклистов в касках, с объемистыми рюкзаками на задних сиденьях и с выставленными вперед дулами автоматов. Что это немцы, сомнений не могло быть. Рокадное шоссе, шедшее вдоль фронта, до вчерашнего дня находилось в нашем тылу, а сейчас обстановка изменилась.

Едва затих шум мотоциклов, Константин перебежал на ту сторону шоссе. Прежней дороги под ногами уже не было, приходилось пробираться по лесу напролом. Можно было наткнуться на немцев; вряд ли они, наступая, оставляли свои тылы без всякого присмотра. В крайнем случае, он отсидится в лесу до следующей ночи.

Под утро Пересветову стали попадаться оставленные вчера наши позиции: опустевшие окопы, переходы между дзотами и землянками, и тут и там изрытые воронками от разорвавшихся снарядов, точно человеческое лицо оспой; разбитые и поваленные набок повозки, грузовики. На краю лесной поляны подбитый фашистский танк со свастикой висел над окопом, уткнувшись пушкой, точно носом, в бруствер. Любопытство подмывало взглянуть, что там, внутри танка, но Константин поостерегся и стал обходить его стороной, пробираясь мелким кустарником. Внезапно истошный визгливый выкрик остановил его:

— Хальт!!

Как из-под земли в нескольких шагах перед ним выросла фигура в маскировочном халате, с каской на голове и с торчащим из-под мышки автоматом. Рука Пересветова с «вальтером» на боевом взводе мгновенно дернулась вперед, и прозвучал выстрел. Фашист рухнул, а вблизи как эхо раскатилась чья-то автоматная очередь. Константин, пригнувшись, бросился в чащу леса и, продираясь сквозь кусты и хлеставшие по лицу ветки, пустился бежать от трещавших за его спиной автоматных очередей. Остановился перевести дух лишь метрах в трехстах от места происшествия.

Хорошо, что, войдя в полосу укреплений, он уже не выпускал из руки пистолета на боевом взводе! А в момент появления автоматчика привычная охотничья реакция молниеносной стрельбы навскидку не подвела его и сегодня, сработала безотказно. Перед его глазами стояло мелькнувшее при вспышке выстрела, точно приклеенное к стенной мишени, испуганное лицо безусого немца в великоватой ему металлической каске.

Автоматчики палили, должно быть, со страха перед невидимым противником, не решаясь на преследование без собак-ищеек. Константин пошел в обход поляны, которая явно охранялась. Вскоре крики петухов дали знать, что невдалеке селение. Там можно было напороться на оккупантов, деревенские собаки могли залаять,

почуяв чужака,— приходилось опять идти в обход. Между тем над лесом поднялось солнце, и он принял решение переждать до вечера в заросшем зеленью лесном овраге, по которому в случае тревоги можно незаметно уйти в ту или другую сторону. Набрал на подстилку охапку елового лапника и растянулся на нем в густом малиннике. Не мешало выспаться после бессонной ночи.

Перед сном ему опять припомнилось испуганное лицо фашиста. «Черт его понес к нам за смертью! Пугаться-то надо было мне, да я не успел... А то бы, пожалуй...» Мысли спутались, и он уснул.

Ему приснилась музыка, вроде органной или трубной. В неторопливом величавом ритме, зачаровывая слух, она рисовала зрению фантастические узоры облаков, плавающих в лучах закатного солнца, причудливостью которых любуешься, тщетно пытаясь разгадать какой-то скрытый в них смысл; его и нет, просто природа трудится в силу своих причин и законов, предоставляя человеку разбираться в хаосе линий и красок. Едва глаз уловил очертания фигуры животного или человека — они уже расплываются в тумане или уходят в тучу; качаются, переваливаясь друг через друга, двугорбые верблюды, показываются и исчезают профили бородачей, гигантские хвостатые рыбы, вот нечто вроде врубелевского Демона с головой, привалившейся к облаку, точно к подушке... А где же музыка?.. Ее давно уж нет.

После этого приятного сна приснился под утро другой, неприятный, о котором он позабыл, едва взглянув на посветлевшее небо: странным образом одна половина небесного свода голубела, а другая, иссиня-бурая, почти черная рядом с голубизной, отделялась от нее ровной, точно по линейке проведенной гранью. Константин протер глаза: нет, это не сон, над ним действительно расколотое надвое небо!..

Невольно охватывала жуть. Должно быть, где-то горел лес, в воздухе пахло гарью. Идти ему, как нарочно, туда, навстречу этой наплывающей с запада смрадной мгле...

Он все-таки поднялся и пошел, решив не дожидаться ночи. «А голубеет-то оно над Москвой!» — подумал он, оборачиваясь на светлую часть неба, готовый счесть ее за хорошее предзнаменование.

В сумерках и в ночные часы попутными перелесками, а иногда в открытых местах ползком, перебегая через большаки и шоссе, под дождем и перебираясь вброд через речушки, ему удалось благополучно миновать оставленную фашистами их укрепленную зону и на третью ночь выйти к знакомому по утиной охоте озеру.

Лет двадцать прошло с тех пор, как он в весенние половодья приходил сюда пешком с ближайшей станции с ружьем и брал лодку у местного крестьянина Матвея Павловича, избенка которого стояла на бугре, на краю небольшой деревеньки. Жив ли он теперь? Тогда ему было лет под пятьдесят. Константин привозил обычно пороху, дроби, Матвей с вечера начинял полдюжины патронов для своей берданки двадцатого калибра, а ранним утром, по-темному, сажал в плетеную двухместную корзинку подсадных уток с привязанными к их лапкам свинцовыми грузилами и, с веслом на плече, вел гостя к озеру, где на лодке подвозил к сооруженному из камыша на крошечном островке шалашику, а сам отъезжал саженей за сто, чтобы засесть в другом таком же шалашике. Без добытых селезней они с охоты не возвращались.

Подойдя к деревушке ночью, Пересветов всматривался в светлевшую над гребнем бугра полоску неба, тщетно отыскивая на ней знакомый силуэт крыши с трубой. Не нашел он, поднявшись на бугор, и остальных изб: лишь кое-где торчали остовы печей с вывалившимися кирпичами, обгоревшие срубы.

Гарью не пахло, но пожарище казалось не очень давним. Неужели здесь ни души? Константин побродил по пепелищу. На задах одной из бывших изб уцелела мазанка: огонь спалил соломенную крышу, а стен, обмазанных глиной, не взял. Дверь мазанки была прикрыта, стекло в крошечном квадратном оконце выбито. Приблизившись, Константин прислушался и уловил чье-то дыхание: в мазанке спали. Вряд ли сейчас тут оккупанты, они бы выставили часовых. Приготовив на всякий случай пистолет, Пересветов подошел к двери, слегка на нее нажал. Она подалась, он вошел и осветил внутренность мазанки ручным фонариком. На дощатых нарах, по бокам самодельного стола с ножками в виде буквы «х», спали друг против друга два старых человека. Приглядевшись, в одном из них он узнал Матвея Павловича, хотя тот сильно поседел. Другой старик,

с запрокинутой головой и широко раскрытым ртом, казался совсем дряхлым и тяжело дышал.

Не гася фонарика, Константин опустился на обрубок пня, служивший обитателям мазанки табуреткой, и сидел некоторое время молча, отдыхая и не торопясь будить хозяев. «Да, вот она, война,— думалось ему.— Когда она кончится, историки, такие, как я, опишут сражения, подсчитают потери, подведут политические, социальные и прочие итоги. А что было пережито в войне отдельным человеком, будь то я, или застреленный мной фашист, или вот эти старцы,— все неповторимо личное со смертью канет в забытье. Несложная «философия», всем известная, а стоит задуматься, и обязательно возьмет за душу...»

Матвей потянулся и во сне что-то пробормотал, поворачиваясь клочковатой бородой к свету. Константин тихонько окликнул его по имени-отчеству, и тот раскрыл глаза, щурясь на фонарь и приподнимаясь на локте.

— Кто зто? — спросил он не столько с тревогой, сколько с досадой, что его потревожили.

— Не пугайся, я твой давнишний знакомый,— негромко сказал Константин и осветил свое лицо.— Помнишь Костю? Я к тебе из Еланска приезжал с твоими подсадными охотиться.

— Андреич? — переспросил старик.— Откуда ты в такую пору?

— К родным ехал, а поезд разбомбило. Помоги мне пробраться в Еланск... Отчего ваша деревня сгорела? Где остальные жители?

— Ты, чать, есть хочешь? — вместо ответа спросил Матвей, позевывая и садясь на нарах.— Угощать-то особо нечем, а картохи могу испечь.

— Не надо, спасибо. Расскажи лучше, что с деревней приключилось? С твоей избой? Ты один теперь? Где жена, дети?

— Самосаду хочешь закурить? — не торопясь с ответом, опять спросил старик.— С того дня, как война, махорки не видим.

— Я не курю.

— Не научился?.. Это хорошо, а я никак не отстану.

Матвей молча стал вертеть из обрывка старой газеты цигарку. Молчал и Константин. Может, не решается ему довериться Матвей Павлыч? Столько лет не видались, а время теперь такое... Да еще ночью к ним вломился.

Сомнения оказались напрасны. Затянувшись самосадным дымом, Матвей стал рассказывать, как они жили до оккупантов и при них. До войны состояли в колхозе, его правление и усадьба в соседнем селе.

— Немец на первых порах людей не трогал, объявил, что колхоз остается в целости, только чтоб урожай шел ему, значит, Гитлеру. Забирал все зерно подчистую, хорошо, мы вовремя догадались, понемножку себе припрятали... Как наедут эти фюреры целой бандой, носятся от деревни к деревне, кур да поросят ловят, только визг по дворам да бабий плач. Телят, коров, у кого дома застанут, угоняли. А тут слух прошел — наши Ельню назад отбили. И началась у них, видать, паника. Заявился к нам отряд на грузовиках и мотоциклах, начальство в легковой машине, объявили приказ, будто от самого Гитлера: трудоспособных забирать по трудовой повинности на работы. На какие работы — бес их знает. Посажали на грузовики, кого дома застали,— а кого? — мужиков-то не нашли, кто в армию ушел, кто в лес подался... так они баб хватать, какие помоложе. Пообещали, что временно, а вот ни слуху ни духу. Кто знает, может, в Германию угнали? Так и остались мы в деревне, старые да малые. А неделю назад застрелили на большаке какого-то ихнего штукфюрера красные партизаны, так заявилась к нам зондеркоманда с приказом деревню сжечь. И что ты думаешь? Людей согнали у околицы в кучу, ну, думаем, сейчас расстреливать начнут... Нет, приказ зачитали и ну метаться от избы к избе с зажженными факелами. Подсовывают под повети — только дым тучей над деревней. Старухи, детишки плачут, голосят. Так и спалили всю дотла с нашими пожитками, ничего выносить не давали.

— Где же теперь остальные жители?

— У кого дети, те переехали с ними в село к родным или свойственникам. А тут кроме нас с Силантием еще на том конце деревни в землянке две старухи век доживают. Вот и Силантий помирать собирается. Умом тронулся. Как подпалили его избу, а в ней его внучонок в люльке остался. Сноха его завопила, выбегла из толпы, они ей кричат: «Хальт!» — а она бежит, не понимает, тогда ей из пистолета в спину — бах!

— А ребенок? Так и сгорел ребенок?..

— Никому и подойти к избе не дали. Мамку его,

застреленную, в огонь к нему кинули. Вот оттого он, Силантий, тогда и тронулся.

Силантий, изможденный, немощный, тем временем пробудился и щурился подслеповатыми глазами, не понимая, откуда тут взялся незнакомый человек.

Овдовел Матвей Павлович еще до войны. Сын его работал на железной дороге, где он теперь — неизвестно. Дочь обучалась на курсах трактористов, водила трактор здесь, в колхозе, да вышла замуж за приезжего механика, живет под самым Еланском. Мужа в начале войны взяли в армию.

— Про нас она знает все, приезжала сюда. У тебя в Еланске-то есть где переночевать? Зайди к ней, деревня всего версты две от города. Ее Груней звать.

Остальной путь Пересветов проделал без приключений, в дневное время отсиживался в лесу и через двое суток был у цели. Первая явка была в поселке у пригородной станции. Перед полуночью он постучался в окошко небольшого домика, и хозяин, пожилой рабочий местных железнодорожных мастерских, по паролю «От Марии Акимовны» открыл ему дверь и впустил в комнаты, не зажигая огня. Выяснилось, что местопребывание представителя обкома ему неизвестно, он мог лишь сообщить адрес товарища, который, по его соображениям, должен быть в курсе дела. Товарищ этот живет в городе. Идти к нему железнодорожник не советовал ни днем, ни ночью: в Еланске среди подпольщиков на днях были аресты, легко нарваться на засаду.

— Как же мне его повидать?

— Пожалуй, вот как. Мы с ним условились, если нас не возьмут, завтра свидеться в городской бане. Вот вы туда и придете к семи часам вечера. Я вам пароль скажу...

При всей серьезности положения, Константин не мог не улыбнуться.

— Как же я там его узнаю, голого?

— Так я же буду там, мигну вам на него. Зайдем в парную и под шумок перемолвимся.

— Хм... Значит, дело только за тем, чтобы никто в бане меня не узнал.

— К нему домой вам никак нельзя заходить. Он не велел.

— Ясно. Ну ладно, делать нечего. В бане так в бане.

Подпольщик извинился, что не приглашает гостя переночевать.

— Видите, я даже огня не зажигал. И в горницу не провел, чтобы наш разговор жена не услыхала... Боится она за меня.

— Все ясно, дорогой товарищ, все понимаю. Спасибо!

— Может, перекусите чего? Издалека, наверно, идете?

У Константина от четырехдневного пути оставался еще кусочек сала и горсть сухарей, так что он поблагодарил и от еды отказался.

Деревню, где жила Матвеева дочь, он с прежних времен помнил. Обойдя стороной город, на восходе солнца отыскал, по описанию Матвея, Грунину избу и постучался. Хозяйка уже встала, топила печь. Услышав, что гость от отца, она обрадовалась и тут же прослезилась. Напоила его молоком и уложила отдохнуть под навесом на сене. По его просьбе обещала ничего не говорить о нем соседям, заперла его до вечера во дворе. Трехлетнего сына отвела к соседке, а сама ушла в город, где работала в ремонтной мастерской.

Сильно утомившись за эти дни, Пересветов с физическим наслаждением и впервые с чувством безопасности потягивался до ломоты в суставах, прежде чем заснуть под соломенной крышей навеса на мягкой груде душистого сена. Что-то ему сулит эта экзотическая явка в бане сегодня вечером?..

В раздевалке мужского отделения было тесно; баня открывалась лишь раза два или три в неделю. Уплатив за вход и за кусочек простого мыла с мочалкой, Константин подождал, пока на одном из диванов, застланных не очень чистыми простынями, освободилось место. Своего знакомого железнодорожника он заметил еще при входе, они издали обменялись взглядом.

«Мигнуть» на кого-либо тот не торопился. Помывшись в общем отделении из шаек, они направились в парную. Лишь там, в непроглядном пару, под несусветный гам любителей попариться возле шипящих под всплесками холодной воды раскаленных кирпичей, железнодорожник кивком головы указал Пересветову

на рыжеволосого плечистого человека, хлеставшего себя веником на полатях под самым потолком. Константин сел на ступеньку лесенки у полатей, и тот (должно быть, и ему подан был знак) сошел вниз и присел на ту же ступеньку рядом. Под общий шум они обменялись парольными словами и взаимной короткой информацией. Пересветов получил адрес, куда ему явиться для встречи с представителем обкома партии.

Вымывшись, он вышел к своему дивану в раздевалке и почти уже оделся, собираясь уйти, как вдруг с соседнего дивана его окликнули по имени:

— Костя! Ты ли это?

Константин внутренне дрогнул (его узнали!), но виду не подал. С удивлением оглянулся:

— Никак Блинников? Виталий?

— Он самый! Сколько лет, сколько зим! Ты давно в Еланске?.. Понимаешь,— обратился он к кому-то, раздевавшемуся рядом,— это Костя Пересветов, учился со мной в последних классах реалки... Костя, ты уже уходишь? Жаль, а то бы вместе помылись. Где ты остановился? Заходи ко мне! Живу все там же, помнишь? Возле бывшего коннозаводства.

— Обязательно зайду,— сказал Пересветов.— Я здесь несколько дней пробуду.

— А по какому делу? Почему ты не за фронтом? Ты ведь в Москве жил? Тут такой слух прошел, будто тебя большевики арестовывали?

— Зайду — все расскажу, а сейчас, извини, пожалуйста, у меня времени нет.

Костя поспешил удалиться. Зайти к своему бывшему однокласснику он, разумеется, не собирался.

Вот дурацкий случай! Слава богу, успел вымыться прежде, чем явился этот тип. Встреча была малоприятной не только тем, что могла грозить разоблачением, но и в личном плане. Человек-то попался чересчур противный. Этого реалиста кружковцы подозревали в слежке за ними. Перед их арестом Блинников почему-то вдруг пересел к ним поближе и поминутно оглядывался на Костю и его соседа по «камчатке» Колю Лохматова, точно хотел подсмотреть, чем они заняты, или подслушать, о чем шепчутся.

Учился Блинников плохо, переходил из класса в класс благодаря пресмыкательству отца, судебного пристава, перед директором. В августе 1914 года, в первые

дни войны, Костя приметил Виталия в рядах «патриотической» уличной демонстрации с царским портретом. На святочной елке Виталий танцевал с дочкой прокурора, на которой потом женился, а после Октября с ней развелся, когда ее отца расстреляла губчека.

По городу Пересветов ходил окраинными переулками; здесь зияли пустыри на месте пожарищ, попадались разрушенные бомбардировкой дома. А сутки спустя он уже километрах в пятнадцати от Еланска поздним вечером пробирался к водяной мельнице, стоявшей поодаль от деревенских строений. Городская мельница бездействовала, отобранное у колхозов зерно оккупанты направляли прямо в Германию, а сюда изредка подъезжали крестьянские подводы и с ними, не вызывая особых подозрений, связные из отдаленных районов.

Представителем обкома оказался оставленный в подполье плотный мужчина средних лет в запачканной мукой рабочей спецовке. Жил на мельнице под видом механика; он и был механиком по своей изначальной профессии, как объяснил Пересветову, когда, обменявшись с ним паролем и отзывом, провел его в чердачную комнатку без окон, освещенную коптилкой.

— Мы здесь после отхода наших,— говорил он Пересветову,— сразу же стали устанавливать связи с возникавшими во всех районах группами патриотов. Случалось, узнавали о диверсии, не зная, кто ее провел. Но постепенно брали их под свой контроль. В этих группах кроме местных жителей — вышедшие из окружения бойцы, бежавшие военнопленные, многие укрываются в лесах. Конспиративных навыков не хватает, совсем недавно провалилась одна из самых активных наших подпольных организаций, неподалеку от Еланска. Всех немцы расстреляли... Сейчас фронт отходит на восток, зона нашего контроля расширяется. В северо-восточном углу области действует прорвавшийся через фронт отряд советской конницы. С той же стороны проникала к нам группа армейской разведки. Там у нас в лесах самая крупная партизанская база.

Пересветов был для подпольного обкома посланцем Москвы, о привлечении его к партизанской работе речь не шла, но ему нужно было помочь перейти обратно через фронт.

— Это дело вам организуют товарищи из партизанского отряда. Там у них есть надежные лазы. Правда, сейчас фронт отдаляется, но они что-нибудь придумают.

Константин пробыл на мельнице, не спускаясь с чердака, несколько дней и затвердил наизусть всю необходимую информацию. Данные о расположении немецких военных объектов прочертил на плане города и на карте области, чтобы тверже запомнить. Затвердил и радиошифры, пароли, адреса явок. Создать районы, свободные от оккупации, еланские партизаны рассчитывали в ближайшие месяцы.

Партизанскую базу Пересветов отыскал при помощи местного провожатого на лесной «гривке» (островке) в глубине обширных моховых болот, и неделю спустя его благополучно переправили через линию фронта.

В Москве он за выполнение задания был награжден медалью «За боевые заслуги».

ГЛАВА ВТОРАЯ

В составе армии, занимавшей в октябре — ноябре 1941 года один из ответственнейших участков в центре линии обороны Москвы, по приказу командования срочно формировался армейский запасной стрелковый полк — (АЗСП), через который должны были проходить все прибывающие в эту армию пополнения.

Комиссаром этого полка назначен был один из старых друзей Пересветова Степан Кальянов, бывший рабочий-металлист. Встретив Константина в Москве, когда тот не успел еще получить нового назначения, Кальянов добился приказа о зачислении его в политчасть полка на должность агитатора.

Вечером того же дня они выехали по Минскому шоссе к месту формирования полка — одной из станций Белорусской железной дороги. Пока что их было только семь человек: командир, комиссар, начальник штаба, два начальника по снабжению (ОВС и ПФС), начсанчасти (военный врач) и агитатор полка — Пересветов. Остальной постоянный состав предстояло получить из Москвы или набрать на месте из переменного состава, прибытие которого ожидалось со дня на день.

Какую-нибудь неделю спустя из прибывающих пополнений были сформированы первые маршевые роты. В армейском запасном они проходили кратко-

срочную проверку обученности военному делу, санитарную обработку — баня, медосмотр, прививки — и (не последнее по значимости) политическое и культурное обслуживание. Бойцы грузились в вагоны сытые, отдохнувшие, тепло одетые и обутые, в полушубках, башлыках, валенках — начиналась зима. Оружие предстояло им получить по прибытии в передовые части армии.

Из письма Пересветова родным

«Дорогие мои Олечка, Мария Николаевна, Наташа!

У меня новый номер полевой почты... Но письмо это отправляю опять с оказией, разыскал во время краткого посещения Москвы ваших заводчан. Они вам расскажут, почему я долго не писал, где пропадал осенью и где нахожусь сейчас. От передовой позиции расстояние порядочное, так что мое здоровье пусть вас не заботит. В 1919 году твой, Олик, санбат располагался в прифронтовом тылу, так что окружающую меня атмосферу ты приблизительно можешь себе вообразить, конечно, с поправками на эпоху.

Самое для тебя интересное, что спешу сообщить, это встреча — с кем бы ты думала? — со Степаном Кальяновым! Тем самым артиллеристом, который работал с тобой в еланском подполье, а в Октябре командовал обороной еланского Совета и вынес меня, раненого, на руках с балкона здания. Ведь мы с тобой с тех лет его не видали! Теперь он комиссар полка, и я у него служу.

Наши сугубо мирные в эти дни занятия не лишены своеобразной экзотики. Что я, как и летом, читаю бойцам лекции, провожу беседы и т. д., это для тебя не новость, но вот, например, в один прекрасный день командование приказало нам дать бойцам концерт! А у нас даже баяна не было под рукой, был только капельмейстер будущего духового оркестра, взявшийся спеть под гитару «Синий платочек». Гитару и патефон с дюжиной пластинок одолжили у местных жителей. Из бойцов прикомандировали к нам артиста московского театра «Ромен»; он с места в карьер классически отбил дробную чечетку-«цыганочку» на фанере: концертировать-то предстояло в бараке с земляным полом!.. Из бойцов и поэт нашелся, взявшийся прочесть свои антифашистские стихи, а меня обязали спеть «Вдоль по Питерской».

Перед концертом завели патефон, и, представь себе, при его звуках двое-трое из вышедших из окружения бойцов утирали слезы, так сильно повеяло на них родным домом после долгих скитаний по лесам в ежеминутном ожидании смерти!..

Концерт открылся моим кратким докладом о положении на фронтах и на нашем участке. И «Синий платочек», и чечетка, и стишки, а под конец и моя «Питерская» с известным тебе набором плясовых частушек из собранных когда-то моим покойным отцом,— все это с волнением и теплотой встречалось нашими слушателями. Командир и комиссар полка присутствовали, и было решено узаконить такие концерты.

Это я вам рассказал о нашем первом шаге на поприще фронтовой самодеятельной эстрады, а сейчас концерты у нас уже выглядят посолиднее, сформирован небольшой хор и оркестрик, бойцов сажаем в вагоны под торжественные звуки «Священной войны»...»

Хотя полк числился запасным, ему довелось участвовать и в боевых действиях своей армии.

В самый разгар жестокой битвы за Москву, пытаясь зажать ее в клещи с флангов, гитлеровское командование спланировало внезапный вспомогательный удар на центральном участке нашей обороны. Немецким танкам с пехотой удалось пробиться в ближайшие тылы, и, пока советские боевые части развертывались для ликвидации прорыва, армейскому запасному полку приказано было срочно выделить батальон для отражения врага. За несколько часов наличные маршевики сведены были в батальон, вооружены винтовками и в ночь на второе декабря двинулись навстречу противнику. Командование батальоном принял командир полка, до войны преподаватель Тимирязевской сельскохозяйственной академии.

Высланная вперед разведка донесла, что у опушки леса ночует небольшой отряд фашистов, пехотинцы без танков. Обнаружить их помогли разложенные ими костры. То ли они боялись холода и ночной темноты, то ли хотели показать, что ничего не боятся, но те же костры помогли нашим бойцам, одетым в белые халаты, скрытно подползти к ним вплотную: свет слепил гитлеровцам глаза, а потрескивание костров приглушало

хруст снега. Немцы спохватились, когда наступающие с криками «ура!» и «хенде хох!» поднялись в штыковую атаку.

В одной шеренге с Пересветовым бежал в атаку политрук Зверин, человек по натуре, вопреки своей фамилии, в высшей степени штатский и мирный, окончивший Институт красной профессуры. За окладистую бороду его в полку прозвали Дедом Морозом. В переполохе беспорядочной схватки Константин видел, как кто-то из фашистов падает убитый, кто-то убегает в лес, кто-то поднимает руки, сдаваясь в плен... На его глазах у Зверина из рук был выбит пистолет, Зверин бросился на противника, что называется, с голыми руками, они упали на снег, вцепившись друг в друга, и, как потом оказалось, Зверин изловчился прокусить фашисту нос, поплатившись за это клочком бороды. Пересветову и подоспевшим бойцам удалось скрутить гитлеровцу за спину руки.

Случай этот потом стал в полку предметом шуток, бороду Зверину пришлось сбрить. Но в тот момент радость победы была омрачена потерей двоих бойцов и ранением командира полка, поднявшего батальон в атаку. А немцы, кто уцелел, все сдались в плен.

Наши действующие части разгромили прорвавшуюся группировку 4 декабря. Командир АЗСП спустя месяц вернулся из госпиталя с орденом на груди. В числе награжденных были и Зверин с Пересветовым.

В результате начавшегося 6 декабря контрнаступления советские войска на флангах обороны вскоре отогнали противника на значительное расстояние от столицы. К концу декабря двинулись в наступление и армии центра нашей обороны.

В эти дни Кальянов вызвал Пересветова в политчасть и познакомил с двумя прибывшими из политотдела армии товарищами. Оказалось, им нужен диктор с правильным и ясным произношением для агитационных радиопередач на немецком языке перед окопами противника. «Экзамен» Пересветов выдержал, и приезжие увезли его с собой на розвальнях,— снежные заносы сделали проселочные дороги непроезжими для машин.

Спустя сутки безлунной ночью на грузовике, обтяну-

том брезентом, с железной печуркой внутри, втроем приехали в одно из сел у реки Нары. На противоположном берегу метрах в четырехстах от реки тянулись немецкие окопы. Подъехали к полуразрушенному снарядами зданию школы на краю села и засели в уцелевшем подвале.

Это было как раз в канун христианского праздника рождества (в сочельник). Связисты в маскировочных белых халатах подтянули по снегу провода к немецким окопам метров на 100—120 и на деревьях, возвышавшихся над редким кустарником, укрепили несколько мощных радиорупоров.

Немцы, время от времени запускавшие в небо осветительные ракеты, ничего не заподозрили, пока в морозной тиши из рупоров не разнесся по окрестностям интернациональный лозунг: «Пролетариен аллер лендер, ферайнихьт ойх!» Сейчас же над немецкими окопами взвилась и повисла на парашюте зеленая «свеча» — ракета, за ней другая, и сделалось светло, как от четырех лун. Между тем мощные рупоры передавали сводку Совинформбюро о сокрушительном разгроме немецких армий под Москвой и призывы к солдатам-немцам сложить оружие.

Агитацию перемежали, в виде кратких позывных, куплетиками из популярной немецкой песенки «Их хаб майн херц им Хайдельберг ферлёрен» («Я потерял мое сердце в Гейдельберге»). Были зачитаны передовая «Правды» в немецком переводе, корреспонденции с других фронтов. Ждали, что противник ответит минной атакой по селу, однако на бугре и за бугром царило молчание: немцы слушали радио, лишь непрерывно заливая снежное поле мертвенным заревом «свечей».

Радиопередача длилась минут двадцать, после чего ее организаторы выбрались из импровизированного блиндажа и возвратились на машине в политотдел армии. Наутро туда вернулись связисты с рупорами, и с ними приехал комиссар полка, сообщивший, что немцы на его участке перед рассветом отошли без боя на пять километров. На попытки радистов приписать успех себе комиссар, улыбаясь, ответил:

— Оставьте что-нибудь и на нашу долю.

По данным разведки, едва ночью загремели рупоры, гитлеровские офицеры подняли своих солдат на ноги, разбудили спящих и согнали всех в полном вооружении

в окопы. Радиопередачу они приняли за трюк и ждали, что за ней последует. Потом у них послышался шум, галдеж, а под утро они смылись. Отход их комиссар объяснял тем, что за истекшие сутки отступили соседние немецкие части, оголив у «радиослушателей» фланги.

Следующей ночью та же походная радиостанция в том же фургоне подъезжала к горящему Наро-Фоминску. Зная, что в городе наши позиции отделены от противника лишь рекой Нарой, рассчитывали, что передача будет прекрасно слышна гитлеровцам. Но опоздали: город был оставлен оккупантами час или два тому назад. Перед уходом враг его поджег, а теперь обстреливал. Снаряды падали на улицы изредка. Въезжая в город, насчитали на глаз дюжину пожаров. Мост через Нару был поврежден. Сойдя с машины, по узкому дощатому настилу перебрались на западный берег, где наши во время боев удерживали за собой территорию завода. Опершись плечом на стену заводского здания и припав на одно колено, точно высеченный из камня монумент, с автоматом в руках, сидел на снегу обледенелый красноармеец. Лежали вокруг еще несколько тел, убрать их не успели...

Встретивший прибывших часовой предупредил: идти дальше строго вдоль проложенного по снегу провода, чтобы не наскочить на мину. Нашли коменданта только что освобожденного города. По его словам, все население угнано оккупантами, лишь в подвале одного из домов бойцы обнаружили старушку с внучком; неизвестно, сколько времени они прятались там, питаясь сырым картофелем.

Утром в своем фургоне двинулись было следом за наступавшими частями, но к полудню вынуждены были вернуться, наткнувшись на хвост стоявшей без движения огромной колонны машин и орудий. Глубокий снег по обеим сторонам дороги мешал объезду, а догнать бежавших гитлеровцев в порядке очереди машин надежды не было.

В начале января, в морозный, солнечный и ветреный день армейский запасной полк, двинувшись за своей наступавшей армией, перебазировался в районный город Боровск. Грузовик музвзвода, на который подсел Пересветов, мчался по шоссе под пронизывающим ветром, и его пассажиры едва не превратились в ледяные

сосульки. Остановились на окраине города у здания школы, где у немцев был госпиталь, а теперь располагался наш санбат. Возле дровяного навеса толпились бойцы, разглядывая уложенные штабелем мерзлые трупы. На заледеневшей куче пепельно-серого обмундирования кое-где белели медицинские бинты. От местных жителей узнали, что фашисты перед бегством убивали своих раненых, чтобы не попали в плен, а почему их не похоронили, никто не знал: может быть, не успели.

Разгадка, впрочем, не заставила себя ждать.

Спрыгнув с машины и размяв закоченевшие даже в валенках ноги, Пересветов вместе с другими прибывшими зашагал к навесу. Заметив торчавший из снега кусочек розоватого провода, машинально через него перешагнул.

Как только поостыли запотевшие с мороза духовые инструменты, в помещении школы начался концерт для бойцов полка. И вдруг за окном прогремел взрыв. Все выбежали. На снегу лежал красноармеец. Он пошел взглянуть на страшный штабель и наступил на тот самый розоватый провод, через который перешагнул Пересветов.

Век живи — век учись: заминированный штабель с трупами умышленно был оставлен фашистами. Коварная вражеская ловушка! Пересветову оставалось винить себя за недогадливость: как было не позвать минеров, если попался на глаза кусочек провода, запорошенный снегом? Он чувствовал себя виновным в гибели товарища.

Школа стояла на отлете; за нее, должно быть, шел бой, вокруг виднелись трупы немцев. Один из них лежал лицом в небо, с полуоткрытыми глазами, ветер пошевеливал прядь волос над крутым широким лбом. Интеллигентное лицо поразило Пересветова сходством с портретами Бетховена. Этого человека пигмей, возомнивший себя Наполеоном двадцатого столетия, оторвал силой либо от дирижерского пульта, либо от научной лаборатории ученого, чтобы послать навстречу гибели «под снегом холодной России»...

Весной, когда наше наступление на Западном фронте приостановилось, Пересветова вызвали в политотдел армии и попросили прочитать в присутствии руководя-

щих политработников лекцию о Суворове так, как он ее читает бойцам. Он спросил, сколько ему дают времени: час, полтора или сорок пять минут. Сказали, сорок пять, и он, изредка посматривая на ручные часы, точно уложился в этот срок. Ему объявили, что отныне он лектор политотдела армии. Будет обслуживать передовые части фронта, писать корреспонденции в армейскую газету. Агитатором армейского полка вместо него назначается Зверин.

Пересветов сказал, что он привык работать вместе с ансамблем красноармейской самодеятельности; ему ответили, что ансамбль становится армейским, лектор может с ним разъезжать, когда окажется удобным.

— Вашу художественную самодеятельность мы давно приметили,— сказали ему.— Она переросла полковые масштабы, пора ее использовать пошире. Концерты воодушевляют бойцов не меньше, чем лекции. Базироваться она будет по-прежнему при АЗСП.

В самом деле, ансамбль разросся до полусотни человек, на его счету было уже до двухсот концертов в полку и вне полка. Кроме хора и джаза работала танцевальная группа, конферансье, он же режиссер одноактных пьесок-скетчей,— все они подобраны были из проходившего через полк переменного состава.

В политотделе армии Пересветову вручили отобранную у пленного «Памятку немецкого солдата». «Германец — абсолютный хозяин мира,— говорилось в ней.— Ты будешь решать судьбы Англии, России, Америки. Ты германец,— как подобает германцу, уничтожай все живое... убивай всякого русского, не останавливайся, если перед тобой старик или женщина, девочка или мальчик,— убивай!..»

Эту «памятку» на своих лекциях и на концертах ансамбля Пересветов зачитывал нашим бойцам. Он написал «Марш резервов»; хормейстер, бывший студент московской консерватории, написал к словам музыку, хор под аккомпанемент духового оркестра исполнял этот «Марш»:

С Урала, с Волги, с Дона мы
И от Амур-реки
Несчетными колоннами
Вливаемся в полки.

Идем вооруженные,
Снаряжены сполна,
Призвала нас мильонами
Советская страна.

Поклялся каждый призванный:
«Я Сталину клянусь —
Из злой беды мы вызволим
Украйну, Белорусь!

В нас сила необъятная,
Народ наш исполин!
В одну шеренгу ратную
Встают отец и сын.

Врагов, ордой непрошенной
Ворвавшихся в наш дом,
Крошить мы будем в крошево,
Пока не перебьем!

Когда-то восемнадцатилетний Костя досадовал на свой дилетантизм, мешавший отдаться целиком революционной работе: и пение-то его увлекает, и рисование, и писание повестей и стихов. Мотивы к каким-то стишкам он сочинял даже в тюремной одиночке. А гимназист большевик Володя Скугарев писал ему из Еланска в Пензу: «Способности твои мы когда-нибудь все применим — не горюй, для нашего дела они не пропадут!» Безвременно скончавшемуся в 1928 году Володе и не снилось, в какой обстановке и как его предсказание может оправдаться.

Шумным успехом у фронтовиков пользовался эстрадный «квартет» с единственной декорацией: растянутая на веревке плащ-палатка. Над ней появлялись одна за другой, с опаской озираясь на публику, физиономии подбитых на войне «фрицев»: один с забинтованной головой, другой со свороченным набок носом, третий с раздутой щекой и растрепанными волосами, а четвертый с перекошенным от злобы лицом, подстриженными усиками и спущенным на лоб клочком волос — вылитый Гитлер! Когда смех утихал, «фрицы» пели:

Катюша нам на третье блюдо
Преподнесла такой паштет,

Что уцелел каким-то чудом
Из трех полков один квартет... и т. д.

В завершение над головами «квартета» появлялся красноармеец с огромной дубиной (сделанной из картонки) и лупил по головам, загоняя по очереди каждого за плащ-палатку. Последняя голова — Гитлер — сперва под ударами кособочилась и лишь от третьего проваливалась в тартарары.

Личное участие в красноармейской олимпиаде художественной самодеятельности добавило к наградам Пересветова благодарность в приказе по армии — «За хорошее исполнение песни «Вдоль по Питерской»...».

К зиме фронт подвинулся дальше на запад. В прифронтовой деревне, оставленной жителями, в длинном деревянном сарае, оборудованном под зрительный зал, устроили встречу нового, 1943 года, на которую явился командарм со своим штабом. Начклуба подошел к командарму и, откозырнув, спросил:

— Товарищ командарм! Разрешите обратиться!.. Тут какой-то старик в полушубке, с автоматом, в двери ломится, разрешите его впустить?

— Какой старик? Что вы ко мне с такими пустяками?.. Вы отвечаете за организацию вечера, сами и решайте, кого впускать и кого не впускать.

Собравшиеся расселись по скамьям перед невысокой эстрадой. После краткой вступительной речи начполитотдела в зал впустили Деда Мороза в ушанке и полушубке, с красной лентой через плечо и автоматом на груди, с большой белой бородой, обильно усыпанной бертолетовой солью, позаимствованной в санчасти. При общем смехе, под аплодисменты, он проследовал к эстраде, и едва на нее взошел, как из зала раздался голос:

— Пересветов! Ты как сюда попал?

Кто-то из издательских работников, в шинели с командирскими знаками отличия, не встречавший до этого дня Пересветова на фронте, узнал его даже под гримом.

«Мороз» открыл праздничный концерт раешником, в котором фигурировали удирающие от Москвы фашисты и Скугарева высота на Вяземском направлении,— частям армии предстояло отбить ее у немцев; упоминалась отросшая заново борода Зверина и многое другое. Затем на сцену вышел хор, исполнивший «Вставайте,

люди русские!» из фильма «Александр Невский». Солировал один из хористов, славный украинский паренек Алеша Копнин, не подозревавший, что тою же зимой, при выезде на передовую с концертной бригадой, ему суждено будет погибнуть от фашистской мины.

В сентябре сорок третьего Пересветову довелось проездом посетить только что освобожденный Еланск. Город лежал в развалинах, мосты через Днепр были подорваны, перебирались через реку по деревянному настилу. Поднимаясь на гору по Советской улице (бывшей Благовещенской, по которой 16-летнего Костю городовой вел в тюрьму), Пересветов через пустые провалы окон мог разглядеть силуэты старинных крепостных башен на окраине. В здании бывшего реального училища, как ему сказали, при оккупантах помещалось гестапо, здесь пытали и убивали заключенных. Подняться на второй этаж в свой класс ему не удалось: потолки обвалились, и только знакомые до мелочей узорные ступеньки чугунной лестницы, по которым он взбегал тысячу раз, виднелись из-под груды битого кирпича.

Посетил он и чудом уцелевший деревянный дом, где помещался перед арестом реалистов-кружковцев их «фаланстер», полулегальное общежитие... Окраинная улица, где стоял дом Лесниковых, в котором они с Олей пережили столько счастливых дней, где росли их дети, была начисто сожжена зажигательными бомбами в первый же налет фашистской авиации. На месте дома не торчало даже трубы, бездомные соседи разобрали кирпичи на постройку временных убежищ. За два с лишним года пепелище заросло бурьяном, и Константин Андреевич унес на полах шинели целую гирлянду репьев.

Война безжалостно коверкала, мяла и тасовала людские судьбы. Всенародная беда влекла за собой повсюду уйму всяких бед, настигавших каждую семью.

В семье Пересветовых беды начались уже в первую военную зиму. Наташе предстояли роды; надежды на уход за ребенком возлагались на бабушку Марию Николаевну, а ее скосил непривычно суровый уральский климат и тяжести жизни в эвакуации. В начале сорок второго года она сильно простудилась и умерла, не дождавшись появления правнука на свет.

Роды у ее внучки прошли не совсем благополучно. Мальчик сначала был так слаб, что опасались за его жизнь, и только Наташина молодость и здоровье спасли его: в состоянии крайнего изнурения она не потеряла материнского молока и кормила своего первенца Сашу грудью в самые критические для него недели.

В довершение бед свалилась с ног, подхватив воспаление легких, Ольга. Не оправившись как следует, вернулась в цех, производивший снаряды в продуваемом сквозняками барачном помещении, и вторично застудила себе грудь, на этот раз очень серьезно.

В письмах к отцу Наташа старалась не вдаваться в подробности, он угадывал суровую правду в ее скупых строках и сильно тревожился. Он чувствовал, что ему на фронте легче живется, чем его родным в глубоком тылу. Трудно переносимый парадокс.

Повидать их, пока они на Урале, было невозможно, любой краткосрочный отпуск при тогдашнем состоянии железнодорожного транспорта был бы просрочен. От Владимира отец получал изредка треугольнички без марок по полевой почте; окончив в начале войны артиллерийские курсы, тот воевал в артиллерийских частях.

В 1943 году Ольга с Наташей и внуком вернулись наконец в Москву. Для свидания с родными Константину Андреевичу дали отпуск, и он двое суток побыл дома.

Радость встречи омрачалась затянувшейся Олиной болезнью. Она резко похудела, сошел с лица красивший ее румянец; кашляла, мучилась одышкой. И все же — шутка ли свидеться после такой долгой разлуки! — они не могли наговориться.

Константин внешне почти не изменился, а Наташа выглядела измученной и похудевшей. Предвидя все это, он захватил с собой в Москву для родных несколько консервных банок с мясной тушенкой и сэкономленным из офицерского пайка сливочным маслом. Безоблачную радость всем доставлял своим щебетаньем только Сашок. К полутора годам мальчик выправился, щечки порозовели. Новоиспеченный дедушка брал его, как некогда Наташу, под мышки и «на качелях» подкидывал к потолку, так что внук повизгивал от восторга.

От Владимира месяца три не было вестей, но как раз при Константине в Москву пришло его письмо, переадресованное Ольге с Урала. Он только что вышел из

госпиталя после ранения в плечо, о котором «не хотелось писать, пока рука не заработает». Теперь он опять в строю,— «движемся на запад»...

— Подозрительно, что в письме опять ни слова о Дине,— заметила Ольга.— Боюсь, что у них дело идет к разрыву.

Женщины показали Константину письма его сестры Людмилы на московский адрес, сбереженные соседями по этажу. Со времен ленинградской блокады о ней ничего не было известно. Письма принесли печальную весть о кончине Елены Константиновны, не перенесшей блокадных лишений. На Люду обрушилось и новое несчастье — извещение, что ее сын пропал на фронте без вести. Муж ее умер еще перед войной.

Она так и осталась бы в горестном одиночестве, если бы не случайная встреча в осажденном Ленинграде с Федей Лохматовым. И на этот раз, как при их первой встрече в 20-х годах, Федор был ранен; на Ленинградском фронте взрывом мины ему оторвало ступню. Старая привязанность взяла свое, и они с Людой поженились.

При расставании Ольга спросила мужа: как он думает, когда же союзники откроют второй фронт в Западной Европе? Или ограничатся показными военными действиями в Африке и на итальянском юге?

— Помнишь в Пензе в девятнадцатом году куплетиста Фелицатова? — вместо ответа спросил Константин.— Как он в цирке изображал американского президента:

Как все до истощения
Дошли без исключения,
Тогда я заявил:
«Ждать больше нету сил!»

И свежие дивизии
Решили всю коллизию,—
В историю Вильсон
Собственноручно занесен.

— Да, история, видать, повторяется.— Ольга не без горечи усмехнулась.— Любители чужими руками жар загребать. Ну да дело к тому идет, что мы и одни, без них, справимся.

— Посмотрим, время покажет...

...Летом сорок четвертого Пересветов по заданию политотдела армии приехал в один из штрафных батальонов на передовой линии. Среди штрафников он неожиданно встретил бывшего своего одноклассника по Казанскому реальному училищу.

Сорок с лишним лет тому назад Санька Половиков, сын владельца каретной мастерской, был тщедушным костлявым мальчишкой с редкими волосенками на голове и бесцветными выпуклыми глазами. Уродливо разросшийся зуб у него по-прежнему выдавался из-под верхней губы.

Приглядевшись, узнал Костю и Половиков. Нельзя сказать, чтобы они обрадовались встрече, дружбы между ними в училище не получилось. По словам Половикова, до армии он служил в советских хозяйственных учреждениях, а в армии — по вещевому снабжению. Попав в окружение на фронте, пристроился к одной вдове в «зятьки» и скрывался у нее от оккупантов; по освобождении Белоруссии его обвинили в дезертирстве и направили в штрафной батальон.

Он стал было просить Пересветова вступиться за него и вызволить из штрафников, но тот пожал плечами:

— Из штрафников вызволяет только честное участие в бою.— Он спросил: — Юсупку помнишь? Что с ним сталось, не знаешь?

— Пришили твоего Юсупку,— сквозь зубы процедил Половиков, не глядя на Костю и обводя взглядом окружающих.— Еще когда Колчак на Казань наступал.

— Ну?.. Он за красных воевал?

— За красных.

— А ты в гражданской войне участвовал?..

В это время штрафникам вносили ужин, собеседникам пришлось посторониться, и Половиков, воспользовавшись возникшим в бараке движением, откозырнул Пересветову и поспешил за миской.

Не встреча с Санькой сама по себе, а воспоминание о крепыше-татарчонке, с которым Костя дружил, взволновало его. «Стало быть, совсем короткая жизнь была у Юсупки,— с грустью думал он.— Не при содействии ли Саньки его «пришили» в восемнадцатом году?» В царское время Юсупка работал в каретной мастерской Санькиного отца, а Костя с отцом-студентом жил в соседнем доме.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Владимир возвратился домой в конце сорок пятого года, после капитуляции Японии. Переписка с женой у него во время войны заглохла, но он все еще надеялся повидать Дину и с ней объясниться. Однако ее родители приехали из эвакуации без дочери, а от нее Владимиру пришла просьба выслать согласие на развод. Он, разумеется, выслал.

В Москве он вернулся к занятиям в аспирантуре, теперь уже в МГУ. Бывшие однокурсники узнали (сам он никого не расспрашивал), что Динин новый муж человек пожилой, профессор географии, в прошлом сослуживец ее отца. В Сибири он обзавелся домиком с усадебным участком; молодая хозяйка прилежно трудится в саду и на огороде, отказавшись от продолжения философского образования и заодно от поступления на службу.

Передаваемый студентами из уст в уста полуанекдот о Горации в юбке («Капусту садит, как Гораций» — строка из «Евгения Онегина», о Зарецком) вскоре оброс еще некоторыми подробностями. Нашлись Динины подруги, кое-что о ней рассказавшие. В то время как они в средней школе мечтали стать кто учительницей, кто летчицей, кто геологом, она, посмеиваясь, заявляла: «А я найду себе такого мужа, чтобы зарабатывал один за двоих».

Казалось бы, такая на удивление прозаическая развязка должна была смягчить Володе боль разрыва. Стоило ли, раскусив подобного человека, жалеть о нем? Но почему-то получилось обратное. Стендалевская «кристаллизация», иллюзии, без которых любовь, особенно первая, не рождается, оказались такой силы, а жизнь обошлась с ним так круто, что прежде жизне-

радостный Владимир замкнулся в себе. В двадцать шесть лет он готов был счесть свою личную жизнь конченой и — увы! — запил...

Возвратился и Наташин муж Борис, прошедший войну без ранения. Ольге становилось лучше, она стала выходить на улицу; рвалась навестить мужа, но дети сопротивлялись в надежде, что он сам скоро вернется: ему уже разрешили сидеть, ходить — на первое время с костылями. Да и недомогания у Ольги не прекратились, она покашливала, страдала одышкой, головокружениями; развилась ранее несвойственная ей сонливость.

В легких оставались отечные явления, врачи советовали ей как следует отдохнуть, предупреждали, что она «накануне порока сердца». «Подумаешь! — отвечала она.— С пороком сердца люди до старости живут, а я еще только накануне его».

По службе она числилась в длительном отпуске. Ехать в санаторий отказывалась, считала, что достаточно отдыхает, возясь с внучонком или на кухне с посудой, перелистывая в постели беллетристику, изредка выбираясь с молодежью за город в выходной день.

У Константина тем временем в тумбочке возле госпитальной койки пухлая пачка черновиков уже в одну папку не вмещалась, пришлось завести еще две. Писал он отдельными отрывками, план, какой составил вначале, оставался на бумаге. Ярко выраженного сюжета не получалось, временами его терзали сомнения, выйдет ли вообще что-нибудь путное. Желание взяться за карандаш обычно подступало импульсивно, когда вспоминалось что-то яркое, пережитое, требуя немедленной записи. Иногда эта запись отвечала первоначальному замыслу, иногда шла вразрез, намечая новую, непредвиденную фабульную связь.

Характеры, портреты персонажей и отдельные сцены удавались, и это обнадеживало: «Ничего, буду писать, как пишется». Внутренняя сюжетная пружина была ясна, и он ей следовал твердо: развитие характеров и большевистского мировоззрения у Сережи и его друзей. Создание кружка реалистов, споры между народниками и марксистами были уже написаны раньше. В один присест удалась месячная отсидка в тюрьме,— тут он

следовал повести, которую тогда же, по свежим следам, написал для рукописного журнала в Пензе. Удавались и семейные сцены. Камнем преткновения оказалась попытка передать Сереже свои встречи с Олей. Тут он писал и рвал, писал и рвал, все получалось надуманно и неестественно.

Романтическую сторону повести он так и не дописал, когда после почти целого года в госпитале вернулся наконец домой. Здесь работу над повестью пришлось пока забросить: делу время, а потехе час. Перечитал возвращенную из эвакуации рукопись книги; она его не удовлетворила. На доработку требовалось время. Между тем семья лишилась Олиного заработка, а вузовцам надо было помочь доучиться. Впервые в жизни, не считая уроков, какие он давал, будучи еще реалистом, он решился на работу ради заработка и, отложив завершение обоих своих литературных трудов до лучших времен, стал брать редактуру на дом за дополнительный гонорар, просиживая ночи над чужими рукописями.

Семейные трудности усугублялись тем, что Володя не переставал перемежать трезвые месяцы с запойными неделями. Напивался он где-то вне дома; придя к себе, молча ложился спать. Родители и сестра переживали его трагедию как свою собственную. Непонятно было, почему он, такая ясная голова, твердый в жизненных принципах, не в силах одолеть банальнейшего, глупейшего из пороков, в какой-то степени извинительного, по их мнению, лишь человеку невежественному, беспринципному и слабовольному. Бесполезно было его уговаривать, он отвечал, потупившись и хмурясь: «Знаю, все знаю... Как только смогу — брошу»... Надо, впрочем, сказать, что на его учебных и научных занятиях эти срывы заметно не отражались, упущенное он умел наверстывать.

Наташа из-за нужды в заработке пропустила лишний учебный год в пединституте, оставшись работницей на заводе, с которым ездила в эвакуацию. Борис спустя год после войны окончил технический вуз и начал приносить в дом заработок инженера. Владимир, учась в аспирантуре, стал изредка подрабатывать статьями в научных журналах. Пережив самые трудные послевоенные годы, семья, казалось, могла бы вздохнуть свободнее, если бы не Олина болезнь...

...Тяготясь положением полуинвалидки, Ольга взялась дважды в неделю вести политзанятия на курсах общественниц жен ИТР (инженерно-технических работников) наркомата, в системе которого работал Борис.

В то памятное утро она поднялась ранее обычного, чтобы подготовиться к очередному занятию. Она спала за ширмой в столовой, самой просторной комнате их квартиры. Константин вышел к ней из своего кабинета, где просидел над рукописями до утра. Она попеняла, что он себя не бережет. Показалась она ему что-то необычно вялой, даже ласковая улыбка далась ей с трудом.

Позавтракав, Оля развернула на столе большую карту Азии; ей сегодня предстояла беседа о событиях в Китае.

А когда она уехала, Константин у себя в кабинете лег отоспаться. Спустя несколько часов его разбудил звонок стоявшего рядом с кушеткой телефонного аппарата. Староста группы прерывающимся голосом сообщала, что Ольгу Федоровну с занятия увезли на машине «скорой помощи» в больницу. Сказали — кровоизлияние в мозг...

«Кровоизлияние в мозг?! В просторечии это зовут ударом?..» — соображал Костя. У него голова пошла кругом...

Торопясь позвонить детям, он не смог сразу правильно набрать номера телефонов, а по дороге в больницу дважды, при пересадках, садился не в тот поезд метро...

От него не скрыли, что больная безнадежна. Еще в машине «скорой помощи» она потеряла сознание, а теперь лежала перед ним на больничной койке с закрытыми глазами, и ее щеки то заливались краской, то бледнели, дыхание то успокаивалось, то судорожно вырывалось из груди. В отчаянии он старался мысленно ей внушить, что она должна жить, жить — вопреки рассудку веря, что она может его услышать и подчиниться...

Позже староста группы рассказывала ему, что во время занятия у Ольги Федоровны стал заплетаться язык. Тотчас отворили окно,— день был душный, окна выходили на солнце,— положили ее на диван и все, кроме старосты, вышли из комнаты.

— Тут она мне говорит: «Неудобно, что я урок сры-

ваю...» Это были ее последние слова. Обняла меня за шею и заплакала...

...Когда после приступа дрожи Оля затихла навсегда, он, не в силах поверить в такую внезапную смерть, решил, что это ведь может быть летаргией, ведь ее врачи иногда не отличают от смерти?!

Даже и на следующее утро, после бессонной ночи, не в силах отрешиться от своей надежды, он высказал ее главному врачу. Тот посоветовал ему сойти в морг, взглянуть на умершую.

Константин много читал у Льва Толстого и других писателей о переживаниях близких людей умершего, но то, что он сам перечувствовал в те дни, не походило ни на одно из описаний, а главное, не похоже было на явь.

Он не плакал, не рыдал, но он жил как во сне. С той минуты, когда санитар свел его вниз по каменным ступеням, отворил перед ним дверь и он увидел лежащую на скамье Олю, непереносимая тяжесть, все эти сутки давившая его грудь, словно отлетела прочь. Она лежала обнаженная, точно спящая, спокойно, слегка отклонив голову на сторону, на щеке проступали веснушки...

Константин нагнулся и улыбнулся ей в лицо, не замечая, что глаза у него наполняются слезами. Наконец-то он опять видит ее! Минувших страшных суток как не бывало, он понимал, что его надежда на летаргию была безумна, но ужаснуться уже не оставалось сил. Главное, чего сейчас нельзя было упустить,— это что он сквозь слезы все еще видит ее и никто и ничто не может этому помешать.

Когда санитар наконец позвал его, он стал пятиться к дверям, медля расстаться с ней взглядом, желая запечатлеть ее в памяти всю. Отпадали, как их двоих не касавшиеся, и затхлый воздух, и низко нависший потолок полутемного подвала,— вся эта обстановка всплыла в его сознании позже...

В дверях он попрощался с Олей движением губ, а поднимаясь по ступеням наружу, вдруг спохватился, что не поцеловал ее, и повернулся было, но санитар уже запирал внутреннюю дверь.

Выйдя на воздух к дожидавшейся его Наташе, он сбивчиво рассказывал ей, что увидел, утаив лишь свою обидную оплошность...

...«Чтобы жить одному, нужно силу большую...» Сколько раз в трудные дни опирался он на Олино надежное плечо! Она вместе с ним поехала на Восточный фронт. Раньше него решила, что он обязательно должен поступать в Институт красной профессуры. Стоически выдержала и простила ему сердечные колебания, ни на миг не усомнившись в его супружеской честности. Да что говорить! — ведь не столько он, сколько она без колебаний выбрала его в спутники жизни, когда он, шарахнувшись в испуге от их зарождавшейся большой любви, с юношеской опрометчивостью чуть было от нее не отказался; не усомнилась в нем как в революционере, когда он говорил ей, что может не оправдать ее ожиданий. «Вы на себя клевещете, Костя!» — вот был ее ответ.

Трое суток Константин не смыкал глаз, ночами перебирая и увеличивая Олины карточки, давая себе клятвы поставить самым близким ему людям литературный памятник.

От завода и от Краснопресненского райкома партии, с Трехгорки и других предприятий, где Ольгу знали по партийной работе, на ее гроб положили венки, ворох цветов. Володины друзья привезли из подмосковного леса корзину багряно-желтых листьев, засыпали ими пол в столовой Пересветовых, где гроб стоял последние сутки перед кремацией. В крематории звучали пьесы, которые любила Оля играть,— «Смерть Азы» Грига, «Похоронный марш» Шопена.

После похорон Константин впервые за эти дни прилег не раздеваясь на кушетку у себя в кабинете и ненадолго заснул. Ему привиделось, что Ольга умерла, но он почему-то решил, что это только во сне, и обрадовался. Тем горше было пробуждение. Бурные рыдания сотрясли его грудь.

В последующие дни, чтобы успокоиться, он попробовал набросать несколько новых страниц в будущую повесть. Начал с недавнего тяжелого воспоминания о морге, но это выбило у него слезы. Его все мучило: отчего он там ее не поцеловал? Что ему мешало? Подсознательная боязнь безответного прикосновения к застывшим губам? Нежелание примириться с невозвратимостью? Чувство вины, что без нее он продолжает жить?

Порвав написанное, Костя взялся за старые черновики. Они писались в разное время, плохо вязались между собой. Кое-что подправлял, обдумывал связки. Ему пришло в голову посоветоваться с человеком, который, как и он, прежде чем стать писателем, стал коммунистом: с поэтом Михаилом Васильевичем Исаковским.

Константин встречался с ним, когда работал в «Правде». В 1943 году, на фронте, он прочел в газетах о присуждении Исаковскому Сталинской премии и тогда же послал ему письмо. От всего сердца поздравляя лауреата, он восторженно отзывался о его стихах, хвалил их за народность языка, за редчайший сплав серьезного общественного содержания с личной лирикой, с тонкой иронической улыбкой. «Лучшая похвала поэту,— писал,— когда его стихи поют как народные песни. Не все даже знают, что автор «Катюши» — Вы. Вы законно стали советским наследником Некрасова, Никитина, Кольцова».

О себе Пересветов упоминал, что публикует во фронтовых газетах не только корреспонденции с передовых позиций, но иногда и антифашистские стихи, главным образом сатирические.

Письмо это, отправленное в Москву на Союз писателей, отыскало поэта в эвакуации, в Чистополе, и оттуда пришел теплый ответ. «Для меня новость, что Вы пишете стихи,— писал Исаковский.— От наших давних встреч у меня осталось впечатление, вероятно ошибочное, что Вы недолюбливаете поэзию. Если память мне не изменяет, Вы назвали мне одно-единственное стихотворение, которое Вам нравилось в юности, я не помню, какое. Но если человек берется за стихи не в ранней юности, когда их каждый «пописывает», а в зрелом возрасте, то зто серьезно. Пришлите же мне, пожалуйста, что-нибудь из Ваших стихотворений».

Константин послал и в ответ получил несколько замечаний, частью благожелательных, частью критических. Стихи серьезным делом для Пересветова не стали, но когда он теперь позвонил поэту и попросил ознакомиться с его опытами в художественной прозе, тот охотно согласился и, пригласив Константина Андреевича к себе домой, встретил его приветливо.

Чтение слушала и жена Михаила Васильевича.

— Спасибо вам,— сказала она,— вы дали мне

неожиданную возможность побывать в гимназии, которую я окончила тридцать лет тому назад.

А Михаил Васильевич заметил:

— Впечатление такое, что все это было. Выдумать этого нельзя. Я знаю, что вы что-то примыслили, но слушаешь как рассказ о том, что было на самом деле. Не знаю, выйдет ли у вас законченное художественное произведение, судить об этом рано, но при всех случаях то, что вы уже написали, останется документом эпохи, в какую мы с вами жили. Пишите, постарайтесь дописать то, что начали.

Пересветов долго не мог припомнить: о каком «одном стихотворении», которое ему нравилось, он мог сказать Исаковскому? Стихи он любил с детства. Наконец догадался, в чем дело. Рассказывая когда-то Михаилу Васильевичу о своих рукописных повестях, он упомянул, что в эпиграф одной из них, разоблачая упадочнические настроения среди учащихся в годы первой мировой войны, он взял первую строфу стихотворения Надсона:

Наше поколенье юности не знает,
Юность стала сказкой миновавших лет.
Рано в наши годы думы отравляет
Первых сил размах и первых чувств расцвет.

В противовес отравляющей «думе» реакционных лет, в какие писал Надсон, Костя и его товарищи горели желанием и спешили отдать себя делу революции.

Наташа после смерти матери вернулась с завода в институт заканчивать курс. На Владимира семейное горе подействовало отрезвляюще: он перестал пить. Блестяще окончил аспирантуру, работал в одном из крупных научных учреждений, преподавал философию в вузах. В научных журналах появлялись его статьи с критикой буржуазных философских систем. Дома он не отрывался от книг или от пишущей машинки, печатать на которой научился еще мальчиком.

Круг чтения Владимира был широк. Иностранные языки его не затрудняли, он читал на немецком, французском, английском. Видя его работоспособность, тягу к знаниям, отец узнавал в нем себя, но к чувству гордости за сына примешивалось смущение: ему все каза-

лось, что в хороших сторонах детей мало было его, отцовских, заслуг. Что он сделал для них? Разве что подавал неплохой пример. Даже вместе жить не всегда удавалось: то отъезд из Еланска в Москву учиться, то Ленинград, то заграничная командировка, то война.

Присматриваясь к зятю Борису, Пересветов видел в нем полную противоположность Владимиру. Вечерами, свободными от работы на заводе, он откровенно бездельничал; если читал, то газеты, романы, иногда последний номер «Нового мира»; часами мог крутить регулятор радиоприемника, ловя заграничные передачи. Иногда уговаривал тестя поиграть в шахматы или втроем с ним и с Наташей в преферанс. Та поддавалась уговорам, зная, что иначе муж уйдет к кому-нибудь из знакомых и явится за полночь слегка навеселе.

Как-то за шахматной доской у зятя с тестем зашла речь о защите диссертации одним из инженеров, коллег Бориса по заводу. Пересветов спросил, не думает ли он сам о диссертации.

— А зачем? — отвечал Борис.— Овчинка выделки не стоит. Знаний она мне не прибавит, для работы на производстве у меня их достаточно. Зарплаты тоже. Другое дело, если бы я стремился к научной работе.

— А почему нет?

— Как вам сказать? Вероятно, потому, что я ошибся при выборе специальности. Я человек общительный, меня всегда тянуло больше к наукам гуманитарным. Но вы знаете, в какое время наше поколение кончало среднюю школу. Перед войной в гуманитарном образовании у нас воцарилась догматика.

— Володя, однако, и в те годы выбрал гуманитарную науку,— возразил Пересветов.— И, по-моему, преуспевает.

— Так он же всегда был с философским приветом! — Борис с усмешкой крутанул указательным пальцем у своего виска.

— А я думаю, что вас и к гуманитарным наукам недостаточно сильно тянуло,— заключил тесть.— В комсомоле вы состояли?

— В школьное время.

— И никакой общественной работы не ведете?

— А какая общественная работа? В завком меня не выбирают. По своей должности работаю честно, благодарности имею, премируют меня. Чего же еще?

— Хм... Значит, отзвонил и с колокольни долой? Сверх обязанностей по службе ничего обществу и государству давать не желаете?

— Константин Андреевич! — опять усмехнулся Борис.— В вас говорит идеализм вашего поколения. Вы притерпелись к жертвам на общую пользу и с нас хотите их спрашивать. А время другое, мы другими выросли. Дайте нам пожать плоды своего труда, а не только жить для потомков.

— Как это вы берете на себя смелость говорить за все ваше поколение? По-моему, вы одновременно с Володей росли.

— Так я же вам сказал, что он «с приветом»... Вы на меня не сердитесь, не примите этого, пожалуйста, в свой адрес: вы жили в иное время, а он вырос за вами следом неким анахронизмом.

— Да? А вам не приходило в голову, что анахронизмом-то являетесь скорее вы, чем он? — возразил Пересветов, задетый за живое.— Не кажется ли вам, что ваше отношение к труду и общественным обязанностям не совсем коммунистическое?

— Оно не коммунистическое потому, что мы живем еще не при коммунизме, когда я, работая по способностям, получал бы по потребностям. Но оно вполне социалистическое, поскольку соответствует принципу социализма: «Каждому по его труду». Я даю обществу не меньше, чем от него получаю.

— Так, по-вашему, социализм не обязывает вас участвовать в борьбе за коммунизм во всю силу ваших способностей? В чем же тогда отличие от работы на капиталиста, которому вы тоже давали бы «не меньше» того, что от него получали? Причем он и не подумал бы возвращать вам из отнятого у вас излишка энную часть в виде бесплатного образования, лечения, дешевого жилья и всего остального,— не заставляйте меня перечислять общественные услуги, которыми мы пользуемся в дополнение к личному заработку, в отличие от населения буржуазных стран...

— Я этого не отрицаю...

— Еще бы вы стали отрицать! Плохо вы интересовались гуманитарными науками, если решили дожидаться коммунизма и тогда только сделать нам одолжение — начать наконец трудиться по способностям!.. Разве московских железнодорожников в девятнадцатом году

заставлял кто-нибудь трудиться на субботниках? Ничто не заставляло, кроме внутреннего сознания пролетарского долга. Это и есть та магистраль, которая ведет нас вперед, а вы назад собираетесь пятиться? Выдумываете какое-то, якобы отличное от коммунистического, социалистичекое сознание. Коммунистическому сознанию противостоит не социалистическое, а буржуазное сознание.

— Словом, вы меня ставите на ту сторону баррикады,— с кривой усмешкой отвечал Борис.— Собственно, этого я должен был ожидать, зная вас как представителя поколения старых большевиков, которых я глубочайшим образом, вас в том числе, уважаю...

— Поколения тут ни при чем, баррикадами вы меня, пожалуйста, не стращайте, речь идет всего лишь о вашем верхоглядстве... Вы, должно быть, не усвоили той азбучной истины, что социализм как первая переходная фаза к коммунизму неизбежно страдает из-за некоторых еще не изжитых остатков капитализма, из недр которого он вышел...

— Знаю, знаю! Читал в «Государстве и революции» о частично буржуазном праве и даже буржуазном государстве при социализме...

Они перебивали друг друга, кто-то из них смахнул рукавом фигуру с шахматной доски на пол.

— Плохо читали, коли не запомнили, как беспощадно громит Ленин «узкий горизонт буржуазного права», заставляющий «с черствостью Шейлока» высчитывать, как бы не переработать лишних полчаса на социалистическое государство и не получить зарплаты на рубль меньше... Ведь это не в бровь, а в глаз вашей на словах «социалистической», а на поверку шейлоковской идеологии, припахивающей «узким горизонтом буржуазного права»! Вот тут и разбирайтесь сами, какая сторона баррикады вам по нутру. Хотите отсидеться на нынешней ступени, предоставляя другим трудиться во всю меру сил? Очень мило с вашей стороны! Выходит, успехи и сроки коммунистических преобразований лично вас не трогают и вам безразличны?..

— Ну зачем же так, Константин Андреевич! Что я, тунеядец, что ли, какой-нибудь или хапуга?

— Знаю, не тунеядец и не хапуга, а все же в подоснове воззрений у вас лежит тот же самый принцип, что и у расплодившихся в последнее время советских обыва-

телей: какое занятие человеку ни предложи, он первым делом тебя спросит: «А что я с этого буду иметь?» Не наш этот принцип, Боренька, не наш!..

— А если у нас на заводе,— возразил Борис,— инженер зарабатывает меньше квалифицированного рабочего?

— Так ставьте этот вопрос в соответствующих инстанциях, но не путайте его с принципами коммунистической морали, она требует прежде всего интереса к делу, за которое вы беретесь...

От их разговора у Константина Андреевича остался на душе нехороший осадок. «Борис, конечно, обыватель; не злостный, а по легкомыслию»,— думал он, относя к категории обывателей людей, равнодушных к политике и политическим теориям. Но замечание Бориса о заработках инженера и рабочего у нас обращало мысль в сторону современных реальностей. Пересветову вспомнилась заметка в какой-то газете о строительстве рабочими домов для себя и своих семей. Автор подчеркивал, что «для себя» рабочие строят лучше и быстрее, чем на государственных стройках. Такое подчеркивание тогда звучало не совсем обычно. Однако, подумав, он решил, что ведь «для себя» и «для социализма» в данном случае одно другому не противоречит: социализм не строится на одном энтузиазме, его принцип — согласование общественного интереса с личным. Так и с зарплатой: уравниловка не в интересах социализма, а значит, неправильности в оценках различных видов труда со временем обязательно будут устранены. «Когда и как это произойдет — я не знаю, я не экономист, но объективный закон развития социализма именно таков, рано или поздно он будет осознан и свое возьмет».

ГЛАВА ВТОРАЯ

В издательстве Пересветов редактировал тома сочинений русских историков, учебники для вузов по истории и по источниковедению. Не отпадала необходимость приработка, на это уходили вечера и ночи, времени для повести не оставалось. Лежала без движения и неоконченная книга по истории России, к которой он все больше охладевал.

В день восьмисотлетия Москвы, в сентябре 1947 года,

ему захотелось взглянуть на праздничную иллюминацию, и он вечером пришел один на Красную площадь. Там было светло, многолюдно, москвичи и гости столицы прогуливались по торцовой мостовой в разных направлениях. Всюду слышались разноязычные разговоры, смех, доносились песни — «Катюша», «Москва моя», «Капитан, капитан, улыбнитесь!». Тут и там кружились в танце пары молодежи.

Перед освещенным прожекторами храмом Василия Блаженного теснилась публика. Тихо переговариваясь, любовались подсвеченными снизу разноцветными куполами, устремленными в синюю небесную высь.

Пересветов долго смотрел на купола. Утомившись запрокидывать голову, повернулся отойти в сторону и остановился: женщина с лицом, знакомым до крайности, стояла невдалеке. Бывает же такое сходство! Неужели Елена?.. Эта значительно старше, худощавей, бледнее, на лице отпечаток несвойственной Лене озабоченности. Но тот же строгий профиль, уложенная на голове темная коса. Константин подошел к ней ближе.

В середине двадцатых годов Елена Уманская не поверила, что он мог полюбить ее, имея такую жену, как Оля, и своим бескомпромиссным поведением сохранила ему старую семью. В 1927 году вернулся из Китая, где он ряд лет работал военным советником, Костин друг юности Николай Лохматов, с которым Елену связывали воспоминания о партизанском подполье времен деникинщины. Он любил Елену; они поженились.

Уманская обернулась и узнала Пересветова. Поздоровавшись, она сказала:

— Смотрели на эти купола, и такое чувство было, что хорошо бы прийти сюда умирать! Все земное отступает куда-то, и так легко становится на душе. Вот легла бы тут лицом в небо и смотрела, смотрела...

— Что это у тебя такие мрачные мысли? — перебил он удивленно.

— По твоим глазам вижу, как я изменилась,— сказала она, не отвечая прямо на его вопрос.

Они не виделись лет десять.

— Да уж и я не тот,— возразил он.— А Николай где?

Елена развела руками: все еще в Китае. В двадцать седьмом его отзывали в Москву, но он и года не проучил-

ся в КУТВе[1], отослали обратно. Сейчас он в аппарате нашего военного атташе. По ее словам, они видятся лишь во время его ежегодных отпусков. Она жила одно время в Алма-Ате, поближе к китайской границе, Николаю удавалось там изредка бывать с рейсами военных самолетов. В последний раз они свиделись полгода тому назад.

— А ты к нему в Китай не слетала?

— Представь себе, возможность была. Запротестовали врачи.

— У тебя что-то со здоровьем?

Она помолчала и тряхнула головой.

— Никогда не любила распространяться о своих болезнях. Не говорила, кажется, и тебе, что у меня врожденный порок сердца... из-за чего я не могла иметь детей. Причем два заболевания, одновременному лечению не поддаются. Особого рода несовместимость. Ты не медик, латинские термины тебе ничего не скажут. Была помоложе, не чувствовала себя больной, а нынче вынуждена все чаще укладываться в постель. Николай настоял, чтобы я возвратилась в Москву, под наблюдение профессоров-кардиологов. Ну это предмет невеселый.

А ее отца, бывшего земского врача одной из южных губерний, гитлеровцы расстреляли в оккупации вместе с другими евреями.

В Москве Елена пишет диссертацию по своей прежней специальности литературоведа: сравнительное исследование поэзии Есенина и Маяковского.

— Поздно, конечно, затеяла и практически ни к чему. Преподавательские нагрузки уже не по силам... Да вот без дела не могу сидеть.

От кого-то она слышала, что Костя овдовел.

— Как ты сумел перенести потерю? Уж я-то знаю, чем для тебя была Оля. Впрочем, прости, что напомнила.

Вслед за этой встречей они свиделись несколько раз в Библиотеке имени В. И. Ленина. Константин заходил к ней домой; комнату Лена занимала в общей квартире, в одном из переулков вблизи улицы Горького. Как и прежде, о многом толковали, многое вспоминали. Иногда он заставал у нее молодую женщину, которая приносила ей продукты, готовила ей обед на кухне.

---

[1] Коммунистический университет трудящихся Востока.

Елена звала ее Аришей,— это была жена летчика, пропавшего в сорок втором году на фронте без вести. Перед войной он в числе наших летчиков-добровольцев воевал в Китае вместе с Лохматовым, откуда повелась их семейная дружба. Ариша, по словам Лены, побывала со своим мужем в Китае, много любопытного рассказывала.

— Когда ей некогда ко мне зайти, я готовлю себе «фирменные» обеды сама по способу составления кроссвордов, в которых каждое слово заимствует буквы из других слов,— пошутила Елена.— К остаткам вчерашнего супа подмешиваю что-нибудь посвежее.

Константин читал ей отрывки из своей будущей повести и признался, что все больше охладевает к незавершенной книге по истории.

— Ты возвращаешься к своему юношескому влечению,— сказала она.— Тебе повезло: у тебя в прошлом неплохой трамплин для прыжка в будущее. Я бы на твоем месте скорее забросила историю, чем писательство. Прав был твой Сергей, завещавший тебе не бросать писать.

Ей день ото дня становилось все хуже. Вскоре она слегла и не вставала. Константин ходил в аптеку за лекарствами для нее.

Одно время Уманской полегчало, она снова начала выходить из дому, бывать в библиотеке. Константин как-то с неделю у нее не был, потом выбрал время, зашел. На его легкий стук в дверь комнаты она ответила вопросом:

— Кто это?

Голос Лены звучал слабо. Он назвал себя.

— Прости, пожалуйста, Костя... Ты не заходи ко мне сейчас. Я чувствую себя неважно.

— Опять ухудшение? Может, позвонить врачу? Сходить в аптеку?

— Спасибо, не нужно. Просто я плохо спала ночь и легла отоспаться. Приходи, если сможешь, послезавтра в это же время.

Было около часу дня. Через день она встретила его с обычной приветливостью, налила ему стакан горячего чаю; выглядела бледной, очень усталой.

— Ты на меня позавчера не обиделся?

— Вот еще! Гости не всегда являются вовремя.

Прекрасно сделала, что прогнала. Но с тобой что-то случилось?

— Допей чай, все расскажу.

Когда он допил стакан, Елена по старой привычке сбросила домашние туфли и села на кушетку, укрыв юбкой поджатые ноги.

— Ну слушай. Помнишь, недели две тому назад я ходила в библиотеку?

— Помню. Я еще тебя выбранил: врачи укладывают в постель, а она прыгает по городу. Нужны были выписки из источников — поручила бы мне их сделать.

— Я не постеснялась бы тебе поручить. Но ходила я по другому делу, заменить меня ты не мог. Мне понадобилось заглянуть в один из томов медицинской энциклопедии. На букву «л».

— Медицинской? Компетенцию профессоров решила проверять?

— Меня интересовало слово «люминал».

— Кажется, это снотворное? У тебя бессонница?

Она отрицательно мотнула головой.

— Надо было узнать, от какой дозы люминала можно уснуть и не проснуться.

Костя отшатнулся.

— Ты с ума сошла! Что ты задумала?..

Елена не сводила с него блестевших глаз. Она принялась доказывать, что иного выхода, как уйти из жизни, у нее нет. С существованием лежачей больной она примириться не сумеет.

— Но ведь ты начинаешь опять ходить?

— Это ненадолго. Ноги отекают. Вот посидела, поджав их,— и заломило.— Она действительно уже спустила ноги на пол.— Связала лежа варежки для Николая, свяжу тебе, Арише, а дальше что? Вышивками никогда не занималась и не знаю, можно ли лежа вышивать. В диссертации окончательно разочаровалась, сидеть в библиотеке не могу. Лежать и просто так читать, без отдачи? Это уж очень грустно, Костик! Ты-то должен меня понять. Выходит, куда ни кинь — везде клин.

— А Николай! — воскликнул Костя.— Или ты не понимаешь, какой удар хочешь нанести Николаю? Он-то в чем виноват?

Лицо Елены, и без того бледное, побелело.

— Я не хочу стать ему обузой. Если хочешь знать,

уже становлюсь. Чтобы меня повидать, он теперь в Москву должен лететь...

— Да какая же ему обуза тебя увидеть? Он любит тебя!

— А какая радость ему видеть меня такою? Я могла бы жить для Николая, так ведь мы с ним видимся раз в год по обещанию. И все из-за моей хворобы... Нет уж, раз не везет, так не везет.

— Не могу тебя понять! Не для того человек десятки лет живет, учится, работает, чтобы по доброй воле взять да вычеркнуть себя из списка живущих. Ты не имеешь права так поступать! Не забывай, что мы не только себе принадлежим, мы коммунисты.

— Я знала, что ты это скажешь,— отвечала Лена, слегка розовея.— Но именно потому, что я коммунистка, а вернуться к работе не могу...— Она зажмурилась, удерживая слезы.— Пойми, вы с Николаем дело другое. Вы каждый в своей области что-то сделали для партии, у вас не может быть чувства неполноценно прожитой жизни. Ты вон и сейчас повесть пишешь, историков переиздаешь, а я? Что я сделала за свои пятьдесят лет? Жила надеждой, что время еще не упущено, и вот...

— Зачем так говорить? — перебил ее Константин.— Разве ты не работала в партизанском подполье?

— Что за работа? Была простой связной. И когда это было, почти тридцать лет назад.

— Когда бы ни было. И где такой аршин, чтобы измерять след, оставляемый человеком в жизни? Больше, меньше — какое это имеет значение? Честно жила, честно работала: в Наркомпросе, в библиотеках, секретарем правления ИКП со дня его основания, научным сотрудником в институтах, преподавала,— чего тебе еще? Что ты паникуешь?

Лена печально качала головой.

— Ты вправе упрекнуть меня в малодушии,— продолжала она,— только я не трусиха. Мой случай особый... Скажи,— она подняла на него глаза,— тебе было бы меня жалко?

— Жалко?! — чуть не закричал он.— К этому ты хочешь свести мое к тебе отношение? Лена!..— Он взял ее голову в ладони и поцеловал в лоб.— Дай мне слово, что никогда не сделаешь того, о чем говоришь!

— Успокойся, не сделаю. Теперь не сделаю. Иначе не стала бы тебе рассказывать про люминал. Я не хотела,

чтобы ты или Ариша мне помешали. А теперь перерешила.

— Когда «теперь»? Я не совсем понимаю.

— После того как моя первая попытка сорвалась.

— Какая первая попытка?..

По словам Лены, она запаслась люминалом, выпрашивая у врача рецепты якобы от бессонницы. Прочтя статью в энциклопедии, высчитала, что накопленного более чем достаточно, и стала готовиться к решительному шагу.

— Первым делом написала письмо Николаю. Потом завещание. Вы с Аришей не оставляли меня, ей я завещала одежду, постель и прочую мелочь, какая у меня есть, а в твое распоряжение — книги. Николай, думаю, приедет, возьмет у тебя те, что ему понадобятся. Все могло произойти быстро, но, перебирая книги, зачиталась статьями Плеханова о литературе. Потом письмами Белинского к Герцену, Бакунину... Прежде не раз все это перечитывала, а тут решила: почему отказывать себе в последнем удовольствии? Кстати, думаю, Костю, может быть, еще раз увижу. Сказать-то я тебе ничего бы не сказала. Ариша ко мне забегала в те дни, как всегда, но я, конечно, ей ни гугу. А ты как раз не заходишь. Ну, думаю, чего же мешкать? Приняла душ, надела и постелила чистое белье, соседям сказала, чтобы завтра не будили, я-де последние ночи плохо сплю, решила выспаться. Это на случай, если люминал не скоро подействует. И заперлась. Видишь, какая я предусмотрительная!

Константин слушал, не сводя с нее глаз.

— Ну-с, ровно в двенадцать ночи, когда ни ты, ни Ариша не могли бы уже ко мне прийти, я приняла разом весь мой люминал, легла и потушила свет.— Воспоминания заставили ее нервно усмехнуться.— Говорят, перед смертью человек пробегает мысленно всю прожитую жизнь. Что-то подобное со мной было, только мысли мелькали как-то очень отрывочно. Снотворное действовало быстро, и я заснула, не успев хорошенько подумать о близкой смерти.— Глубоко вздохнув, Елена приостановилась.— Эх, нет папироски! Курить я так и не научилась, а сейчас бы выкурила... Никаких снов я не помню, вернее всего, не видела. Помню, как начала

просыпаться. В комнате дневной свет. Голова будто набита ватой. До сознания стало доходить, что люминал еще не подействовал. Мысли чуть шевелились, и я опять заснула. Разбудил меня твой стук в дверь. Впустить тебя значило бы тебе все рассказать, но я еще думала, что люминал подействует, и попросила тебя прийти послезавтра. Весь день я то засыпала, то просыпалась. Есть не хотелось. Ариша не пришла, она заходила сегодня утром, ушла незадолго перед твоим приходом. Ей пока что я ничего не сказала.

— Ты обязательно должна откровенно все рассказать врачу!

— Это я уж и сама решила сделать. Раз уж не повезло, вторично затевать все слишком сложно. И люминала не осталось.

— Должно быть, ты сильно превысила дозу, я слышал, что это бывает с лекарствами, в большом количестве перестают действовать. В данном случае к счастью, конечно.

— Какое уж счастье... Придется ждать естественного исхода.

Теперь глубоко вздохнул Константин.

— Ну и фокусница! Надо же такой фортель выкинуть! Никак не предполагал в тебе таких способностей.

— Считал меня, значит, умнее.— Елена печально улыбнулась.— Сейчас все это выглядит совсем уж глупо. Перед тобой я не боюсь смешной казаться, что ж делать, такая есть. Ты меня, пожалуй, знаешь даже лучше, чем Николай. Ему расскажу, конечно, все... Вот рассказала тебе, мне словно полегче стало на душе.

— Обещай не повторять больше глупостей!

— О глупостях речи нет, буду следовать всему, что врачи предпишут. Да, чтобы не забыть: возьми на память сочинения Плеханова. Я перечитывать больше не буду, а у тебя, я знаю, их нет.

Костя обмолвился как-то, что в трудное время после смерти жены он своего Плеханова снес букинистам.

— И еще, чтобы не позабыть, вот возьми: составила список книг по литературоведению, тебе их надо прочесть, раз уж ты берешься за писательство. А теперь об одном важном деле. Отнесись к тому, что услышишь, со всей серьезностью. Вы с Аришей должны пожениться.

— Что?! Ты что это? Шутишь?

— Нисколько. Я вас давно обоих наблюдаю, каждого порознь. Вы друг другу очень подходите. Она прекрасный, веселый, твердый человек, надежный товарищ. Вернее, чем она, друга тебе не сыскать. Я хотела в завещании написать, чтобы вы поженились, написала особо, на ее имя. Теперь ей на словах скажу. Если она со мной согласится, то уж как-нибудь тебя на себе женит.— Лена засмеялась.— Ты не сердись, от тебя она, я знаю, инициативы не дождется.

— Да не собираюсь я жениться! — воскликнул Константин полувозмущенно.— Что за странные мысли приходят тебе в голову, одна за другой? Пожалуйста, не вздумай ты ей этого говорить, поставишь в глупое положение нас обоих.

— Почему в глупое? Если вы моему совету не последуете, так посмеетесь, и только. А последуете — выйдет очень даже неглупо. Будете меня благодарить. Обязательно ей скажу. Или она тебе не нравится?

— Почему не нравится, женщина, видать, хорошая, интересная внешне,— да разве я на всех таких жениться должен?

— Тебе одному тяжело будет жить. А ей лучше тебя не найти мужа.

— Она его ищет? Так найдет помоложе, эка радость ей в двадцать пять лет за сорокадевятилетнего выходить.

— Откуда ты взял, что ей двадцать пять? Ей за тридцать.

— Да? Ну все равно, разница велика.

— Время разницу сглаживает. Да дело в том, что не думает она о замужестве. Не из тех она, кому все равно за кого, лишь бы выйти. Представь себе, продолжает любить погибшего мужа. Все еще надеется: пропал без вести — не значит обязательно погиб. Но вот уже больше двух лет как война кончилась, а сведений о нем нет. Был бы жив, давно бы вернулся.

Вскоре после этого разговора Лену положили в больницу. Костя и туда к ней заходил, носил ей фрукты; наступала зима, но в бывшем «елисеевском» гастрономе их можно было найти. По просьбе Елены он известил Николая через соответствующие органы, тому разрешили прилететь на несколько дней в Москву повидать жену.

Так встретились после многолетней разлуки соседи по парте, друзья по футбольной команде и подпольному кружку, визави по отсидке в разных крыльях тюремного здания. Светлые Колины волосы, за которые его прозывали Белым, мало изменились в цвете, лишь в бородке просвечивала откровенная седина. Удрученный тяжелым состоянием жены, он сказал Константину:

— Это была, кажется, единственная слабость, какую она себе позволила за всю ее жизнь. Я говорю о люминале. Строгая к себе женщина. Слава богу, что уцелела. Только надолго ли?..

Константин промолчал.

Трудно описать возбуждение, в какое привели Колю выслушанные им главы будущей Костиной повести. Он узнал себя, своего брата Федю, Сережу. Горячо убеждал отложить все остальные дела и скорее довести до конца начатое:

— В тебе писатель сидит, а ты его загоняешь в бутылку! Историю России не ты, так другой напишет, а про нас, фаланстерцев девятьсот пятнадцатого года, никто, кроме тебя! Поверь, у тебя получается то, что нужно для воспитания молодежи... И почему ты зовешь повестью? Может выйти целый роман!

— Ну, не знаю...

— Ты понимаешь, нам с тобой воистину повезло,— продолжал Николай.— В кружках мы за каких-то полгода умудрились с лихорадочной поспешностью пробежать в миниатюре целые десятилетия умственного развития русской демократической интеллигенции начиная с Чернышевского и кончая Лениным. Эти жаркие споры между доморощенными марксистами и народниками, большевиками и меньшевиками... получалось вроде того, как отдельный крошечный эмбрион во чреве матери прежде, чем появиться на свет, повторяет фазу за фазой всю историю своего биологического вида.

— Пожалуй, верно. Время нас подгоняло, война ускоряла события.

— Так разве это не полотно для романа? А эта трагедия с Еленой?.. Ты скажешь, у кого что болит... Но разве эту, на первый взгляд, глупейшую попытку покончить с собой можно понять, если позабыть об истории всего нашего поколения? Ведь мы-то с тобой оба знаем, что, какие бы ни вылетали подчас из уст этой женщины фразы о свободной любви, в существе своем она жила,

как и все мы, начиная с Сергея, моралью, не допускавшей для человека бесполезного существования. И вот сумела Лена сберечь в себе эту мораль до последних дней... Нет, не могу спокойно говорить, прости...

Николай отвернулся.

— Ты прав,— сдержанно вымолвил Костя.— Кстати, Коля,— помолчав и желая отвлечь своего друга от тяжелых мыслей, продолжал он,— ты помнишь Блинникова? Нашего одноклассника по реалке?

— Этого директорского подлипалу? Конечно, помню.

Костя рассказал Николаю, при каких обстоятельствах он встретил Блинникова в еланской бане.

— Представь себе, с полгода тому назад меня вызывают в ЦКК и показывают изданную за рубежом брошюру, на обложке которой значится: «В. Блинников. Четверть века под большевистским игом».

— Так он бежал с гитлеровцами?!

— На одной из страниц отчеркнут красным карандашом абзац: в числе своих «друзей, пострадавших от большевиков», он называет «известного советского журналиста» Пересветова, «бежавшего от преследований ГПУ в освобожденный германской армией Еланск. Мы с ним вместе учились, а осенью 1941 года дружески встретились после долголетней разлуки». Как тебе нравится?

— Вот негодяй! — воскликнул Лохматов.

— Ты подумай: «дружески встретились»! Да он всего-то с минуту стоял против меня в одних подштанниках. Я сказал в ЦКК, что должен как-то опровергнуть эту грязную пачкотню. Объяснил, что он за птица и что произошло в Еланске при оккупантах. Мне предложили написать им краткие объяснения, сказали, что этого достаточно...

Через несколько дней Лохматов улетел в Китай.

Елена не прожила после этого и двух месяцев. Печальные похоронные хлопоты взяла на себя Ариша. С Пересветовым она вела себя как обычно, ничем не обнаруживая, получила ли от умершей совет выходить за него замуж, или Елена изменила своему первоначальному намерению.

Из рабочих записей Пересветова

«Хватит ли у меня уменья «вытянуть» рукопись на роман? Не знаю. Буду писать, как начал, а что получится — увидим.

В госпитале, в соседней палате, лежал раненый — капитан инженерных войск, человек культурный, любитель художественной литературы. Когда ему разрешили вставать с постели и он узнал, что я пишу повесть, то попросил у меня что-нибудь из нее прочесть. Я дал ему несколько черновых глав. Прочтя, он сказал:

— Стараюсь понять, какими средствами вы достигаете образности письма. Язык у вас не богат ни сравнениями, ни метафорами, пишете как будто обычной прозой, а получается живо и занимательно. В чем тут секрет?

— Какие тут могут быть секреты? — отвечал я, несколько удивленный, и стал объяснять, что просто я думаю о том, что надо написать, чтобы вышло как можно ближе к жизни; и, конечно, чтоб занимательней было.

Признался, что до сих пор я своего языка и вообще манеры письма никогда не анализировал, писал чутьем, «как бог на душу положит», и сам толком не знаю, какими «художественными средствами» я пользуюсь.

Читателя, сказал я, больше всего трогает — по крайней мере, сужу по себе,— психологическая правда. Ведь он все прочитанное невольно примеряет к себе, фальшь он сразу почувствует. Недаром Лев Толстой говорил, что в литературе дозволяется все выдумывать, кроме психологии. А язык писателя... Вот что Гоголь сказал о баснях Крылова: предмет в них выступает «сам собою, натурою перед глазами», как бы не имея словесной оболочки. По-моему, это высшая похвала языку, всякому, в том числе художественному. Вот я, помню, слушал Ленина или читал: разве я думал о том, как он пишет или говорит? Да я его слов почти не замечал, меня захватывали его мысли, существо речей, книг... Между прочим, Пушкин ценил в художественной прозе краткость, точность, мысль. Красоты слога он оставлял поэтам, осуждая Марлинского и других тогдашних прозаиков (романтиков) за языковые излишества, выспренность и украшательства.

В мимолетном замечании капитана я тогда склонен был видеть скорее похвалу моему языку, чем свидетель-

ство его бедности. Конечно, если я нахожу точную метафору, сравнение, я их возьму, но пыжиться ради красоты слога — кому это нужно? Известно, что прекрасное соразмерно во всех своих частях, нельзя кособоко писать, чтобы выпирала, вроде флюса, какая-нибудь несусветная метафора, частность, отвлекающая от сути дела.

Слова у писателя — средства передачи содержания, образа, одушевленного авторской мыслью и чувством, как у живописца — краски, у музыканта — звуки, у скульптора — мрамор. Слова играют двойную, противоречивую роль: помогают и в то же время мешают, заслоняют образ, через них приходится к нему продираться, проталкиваться, прежде чем они выстроятся так, чтобы просвечивали, как стекло, не мешая читателю увидеть то и жить тем, о чем и как они рассказывают.

Есть, конечно, писатели, которые «прозрачность» письма считают дефектом и гонятся за красотой слога или же за его замысловатостью, полагая, что чем труднее добраться до смысла, тем он крепче усвоится. Ссылаются на некоторые замысловатости слова у Толстого, у Достоевского, у которых они действительно встречаются в языке персонажей или в авторской речи, однако, мне кажется, не являясь самоцелью, а каждый раз по какой-то конкретной надобности. Есть, очевидно, и читатели, которым нравится смаковать языковые красоты и трудности. Но мне лично они чужды, особенно если берутся за правило и возводятся в признак стиля. Книги, написанные таким способом, редко доставляют мне удовольствие, пересиливает раздражение и досада на авторов, которые свое писательское мастерство «показать хочут», как чеховский телеграфист свою образованность. Авторов, которые «ради красного словца не жалеют мать-отца», я мало сказать не люблю, я их литературно ненавижу. Нужен безукоризненный вкус и уникальный поэтический талант прозаика, вроде гоголевского, чтобы в погоне за красотами слога не впасть в витиеватость и претенциозную высокопарность.

Все это не означает с моей стороны апологии бесцветного письма, отнюдь нет. Иногда и в прозе содержание непременно потребует эмоционально-поэтического оборота речи, без чего сухая бездушная фраза может помешать, заслонить от читателя красивый содержательный образ. Если продолжить сравнение слова со стеклом или хрусталиком, через который читатель вгля-

дывается в предмет, то хрусталик этот иногда требует авторской раскраски. Тут все дело в мере. В искусстве форма более чем где-либо есть осуществление, воплощение, реализация содержания — образного отражения действительности. Форму от содержания отделить в искусстве нельзя, как, например, из цистерны можно вылить нефть.

Хочется привести слова Толстого, сказанные перед репинским полотном «Иван Грозный у тела убитого им сына»: «Мастерство такое, что не видать мастерства». Это надо считать идеалом художественного мастерства и в литературе.

Понятны и близки мне слова самого И. Е. Репина: «Мой главный принцип в живописи — материя как таковая. Мне нет дела до красок, мазков, виртуозности кисти... Есть разные любители живописи, и многие в этих артистических мазках души не чают. Каюсь, я их никогда не любил: они мне мешали видеть суть предмета».

Оказывается, тут у Репина даже слово «мешали» стоит, а мне казалось, что, начиная запись, я это слово сам нашел.

В применении к художественной литературе репинский термин «материя» уместно будет заменить словом «жизнь». Жизнь как таковая для меня главный ориентир. Не натуралистическое ползанье по поверхности жизни и быта, разумеется, не орнаменталистское засорение текста мелочами, может быть и живописными, но стесняющими воображение читателя, а отбор поддающегося художественному обобщению и типизации материала. Любой предмет, какой мы видим, есть результат предшествующего развития. Но ведь оно ведет его и куда-то дальше. Гегель говорил, что «результат есть труп, оставивший тенденцию позади себя». По тенденции прошлого мы можем и должны уметь судить о будущем. Вот и хочется так писать, чтобы не из словесных пояснений, не из разжеванной тенденции, а из самого изображения читатель сам заключал, из чего «это» вырастало и куда «оно» растет.

Что так писать можно, доказывают портреты, созданные великими художниками. Хотя бы репинский «Протодиакон», да и лицо того же Грозного на упомянутой картине. На лицах здесь написаны судьбы людей. Не всем дано так писать, но надо стараться».

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

В течение нескольких лет Пересветов к своей повести почти не прикасался — только изредка, ночами. Приходилось отказываться от использования очередных отпусков, издательство возмещало их деньгами. Но постепенно семейный быт налаживался. Наташа, окончив пединститут, работала учительницей в одной из московских школ. У школьника Сашеньки появилась сестренка Леночка, к ней пришлось взять няню. В квартире стало тесновато; Владимира отец пока что вселил к себе в кабинет и начал хлопоты о комнате в новых домах; его предупредили: придется долго ждать, новое жилищное строительство только что по-настоящему развертывалось.

С Владимиром у отца было столько общих умственных интересов, что им, казалось, жить бы да жить душа в душу. Но вот беда: запойные годы после неудачной женитьбы сделали его неразговорчивым. Спали они с отцом друг против друга, один на кровати, другой на кушетке, а вызвать сына на душевный разговор отцу удавалось редко. Но когда страну потрясла весть о смерти И. В. Сталина, их беседа затянулась за полночь.

— Я чувствую себя так,— признался Константин Андреевич,— будто я шел и вдруг оступился. Будто на лестнице кто-то выхватил у меня из-под ноги ступеньку.

Невольно припоминался ему январь двадцать четвертого — но какая разница переживаний! Тогдашнее горе представлялось неизбывным, а сейчас — сильнейший удар по нервам и тревога за будущее, сквозь которую смутно проступала еще не вполне осознанная надежда на перемены к лучшему,— сумбур чувств, в котором еще нужно было разобраться!

Как отзовется смерть Сталина на отношениях между СССР и странами капитализма? А внутри страны — ведь предстоит выметать столько мусора в головах людей и в практической жизни: справятся ли с этой нелегкой задачей преемники Сталина? (Да и захотят ли?..) В кругу таких предположений, сомнений и надежд вращался откровенный ночной разговор между отцом и сыном...

...Летом того же 1953 года последовало разоблачение преступлений Лаврентия Берия и суд над ним, завершившийся суровым смертным приговором.

Минул год, другой, и Коммунистическая партия на своем XX съезде приняла историческое решение о ликвидации культа личности Сталина и его последствий.

Из рабочих записей Пересветова

«Прочел в сегодняшней «Правде» статью американского коммуниста о состоявшемся несколько месяцев тому назад XX съезде нашей партии и не могу унять волнения от поразившей меня идентичности его переживаний с моими. Человек с другого полушария земли, ну точно двойник-единомышленник, мои чувства и мысли передает почти моими же словами!..

«Мы слишком охотно и идеалистически полагали,— пишет он,— будто великое дело построения социализма может осуществиться без серьезных ошибок... Сообщения о несправедливостях считали клеветой... отказывались верить...» Но «какими близорукими и даже слепыми оказались бы мы, если бы сегодня видели лишь серьезные извращения, допущенные в последние годы сталинского руководства, и если бы мы упустили из виду исторические достижения социализма и открывающуюся перед нами панораму мира...».

Враги наши империалисты «пытаются утверждать, что осуждение сталинских методов должно быть распространено на Ленина, ленинизм и социализм в целом... Сколь лицемерна их попытка подавать в сенсационном духе и нажить себе капитал на решительном стремлении Советского Союза ликвидировать последствия нарушения социалистической законности и демократии... В настоящее время в Советском Союзе осуществляется самокритика в ее наивысшей и действенной форме, в форме практического самоисправления».

А дальше автор статьи напоминает проникновенные слова великого американского демократа начала XIX века Томаса Джефферсона, сказанные о французской революции: «В борьбе, которая была необходима», «пали без надлежащего суда и следствия» многие виновные, а с ними и «невинные. Об этих людях я скорблю так же, как и любой другой человек, и буду скорбеть

о некоторых из них до самой смерти. Однако время и истина очистит и увековечит их память, а их потомки будут пользоваться той свободой, за которую они без колебаний отдали бы жизнь».

Прочтя все это, я отложил газету и ходил по комнате с увлажненными глазами, словно ощущая дуновение истории, овеявшей меня не только своим теплым крылом, но и морозным дыханием. Ведь и меня самого, могло так случиться, могла бы настичь судьба людей, о которых полтора столетия тому назад скорбел этот человек Западного полушария.

Я вдруг почувствовал, ощутил всем своим существом, что ведь это Ленин связал меня невидимыми, неразрывными узами интернационализма с честными людьми всех стран и всех веков! Ведь в нем, как и в Марксе, высочайшая образованность сочеталась с кристально чистой нравственностью, на чем и воздвигнуто все их учение научного коммунизма, благодаря чему они и могли вершить величайшие, всемирного значения дела!..

По какой-то ассоциации мне сейчас припомнились бесхитростные слова бывшего кремлевского курсанта Тиханы Нагорнова в дни жестоких внутрипартийных схваток 1923 года с Троцким и троцкистами: «Ведь не один Владимир Ильич, а все, кто с ним, для меня святыми были!..»

Не о Сталине — о Ленине сейчас хочется мне думать, о его требованиях к нам и нашему будущему. Сталин для нас уже история, она не снимет с него ответственности за произвол и нарушения социалистической законности, последствия чего партия теперь со всей решительностью берется искоренять. Без Ленина мы все стали головой ниже, но с нами остались великий пример его жизни и его великое учение.

Век живи — век учись: в согласии с этим заветом народной мудрости Ленин призывал нас всю жизнь учиться коммунизму. Корни наших трудностей и бед он видел не только в отсталости нашей страны в прошлом, не только в неслыханной новизне наших дел и задач, не только в могуществе и лютой ненависти врагов социализма, но и в том, что «не хватает культурности тому слою коммунистов, который управляет».

Слова эти, увы, не потеряли своего значения и по сие время, более того — теперь они адресуются каждому

из нас в советском государстве, которое из диктатуры пролетариата превратилось в народное.

Нельзя забывать и о таком источнике наших трудностей и бед, как неизжитый у нас бюрократизм. Когда Троцкий, Бухарин и другие в 1921 году выступили с платформой бюрократизации профсоюзов под лозунгом их «сращивания» с хозяйственными органами, Ленин им напомнил, что в стране с большинством крестьянского населения «государство у нас рабочее с бюрократическим извращением», из чего вытекает необходимость использовать профессиональные союзы «для защиты рабочих от своего государства».

Хоть мы и ликвидировали давным-давно у себя неграмотность, хоть и опережаем в образованности многие развитые народы, хоть большинством населения у нас уже стал рабочий класс, но ведь возросли и несравненно усложнились и задачи, какие строительство коммунизма выдвигает перед страной в ходе научно-технической революции, в усложнившейся мировой обстановке. И не в одной образованности дело: коммунистическая культура включает в себя начала высокой нравственности, гуманности, демократизма, она требует от человека полного разрыва с буржуазной и мелкобуржуазной психологией, с моралью себялюбия, с приоритетностью денежного расчета. Без самовоспитания и перевоспитания самих себя нам коммунизма не построить.

Вот почему я так остро воспринимаю проникновенные слова нашего американского единомышленника о развертывающейся у нас в стране самокритике «в ее наивысшей и действенной форме, в форме практического самоисправления».

У нас в стране все наше, «твое и мое»,— и беды, и победы. Вот с этим-то чувством ответственности за все происходящее и должен каждый из нас, обладает ли он партийным билетом или нет, отдаться делу «самоисправления». Не ожидая, что это за него сделает партийное и советское руководство или вообще кто-то другой».

Владимир с Борисом в те недели перелистывали в библиотеках комплекты пожелтевших за четверть века газет с отчетами о судебных процессах. Впечат-

ления у них оставались тяжелые. В правдивость «признаний» подсудимых, особенно тех, кого знали как соратников Ленина, и раньше многим не верилось, такие они ужасные преступления брали на себя,— а теперь, после решений XX съезда партии, и подавно все ставилось под сомнение.

Обращались с вопросами к Константину Андреевичу.

— Не знаю, не знаю...— сдержанно отвечал он.— Что было и чего не было, правда об этом рано или поздно всплывет наружу. Она ведь, как говорится, и в воде не тонет, и в огне не горит. Конечно, не могу я допустить, чтобы, скажем, Бухарин, которого я знал не только как политического деятеля, но и как человека, был причастен к чему-то, что он там на себя наговорил...

— Но как же в народе могли тогда поверить в справедливость таких приговоров? — недоумевал Борис.

— Историки когда-нибудь разберутся. Я от высокой политики в те годы был далек, помню только общие настроения... Ведь мы тогда во всем мире одни были! Нам грозили нашествия то с востока — вспомните озеро Хасан, Халкин-Гол, то с запада — фашистские интервенции в Абиссинии, в Испании; гитлеровская «Майн Кампф» с открытым планом порабощения советских народов... В самые дни «бухаринского» процесса Гитлер захватил Австрию, в следующем году с благословения Англии, Франции, Италии растерзал Чехословакию... Не могу забыть, как Иван Антонович Минаев передавал мне свои впечатления от последнего перед войной XVIII съезда партии: «Такая сейчас тяга к единству!— говорил он.— Силища такая, что никому не сломить!» Раскола пуще огня боялись, все помнили ленинскую резолюцию X съезда партии в 1921 году — исключать из ЦК, из партии за фракционность. Оппозиции всем осточертели. Раскол в верхушке, предостерегал Ленин, чреват расколом партии и угрозой гибели советской власти. А борьбу с оппозициями возглавлял Сталин. Ну, ему и верили! Так же, как и потом, во время войны... В общем, великая революция не обошлась у нас, к несчастью, без великих трагедий.

— Кто это тебе из Кемерова пишет? — спрашивала Ариша, подавая письмо, полученное с утренней почтой.

— Минаич! — обрадованно воскликнул Костя,

взглянув на конверт.— Я думал уж, его и в живых нет. Теперь ему под девяносто...

Об Иване Антоновиче он ничего не знал со времен войны, когда старого большевика перевели из Донбасса на партийную работу в Кузнецкий угольный бассейн.

Минаев писал — «не вдаваясь в подробности,— встретимся, может быть, тогда все расскажу»,— что его после войны «порядком потрепали» в связи с давнишней дружбой с одним из осужденных в годы культа личности. «А после XX съезда партии я на старости лет словно заново родился! Но тоска меня сосет, как только вспомню съезд XIII, когда мы на делегатских совещаниях заслушивали посмертное ленинское письмо. Как мы тогда просчитались, положившись на обещание Сталина исправиться!.. И ведь вот, Костя, парадокс какой. в результате трудных размышлений я прихожу к заключению, что тот Минаев, каким я тогда был, просто не мог поступать и думать иначе, чем он думал и поступал! Не нашлось у меня семи пядей во лбу: ведь и Калинин, и Бухарин, и Киров, и Ворошилов — и все проголосовали за Сталина! Всеобщая вышла ошибка, предугадать будущее никто из нас тогда не смог, а потом уж поздно было: «Каждый, кто бы выступил против Сталина, не получил бы поддержки в народе»,— сказано в постановлении ЦК от 30 июня 1956 года. Выступление такое расценено было бы «как крайне опасный в обстановке капиталистического окружения подрыв единства партии и всего государства». Таков вывод нынешнего ЦК, разоблачившего культ личности Сталина. Но от ответа перед будущими поколениями нам всем, видать, не уйти. Что ж, пусть нас судят по справедливости и по тем делам, какие нам были по силам. Чего-чего, а уж сил-то своих мы не жалели...»

Письмо кончалось на грустной ноте. Минаев писал, что ушел на пенсию (персональную) и едва ли долго протянет: сильные волнения ему не по годам, даже и радостные теперь, после полной реабилитации.

Костя отвечал большим письмом, повествуя о своих делах, в надежде отвлечь старика от «трудных размышлений»...

Они еще раз обменялись письмами. Иван Антонович писал уже из больницы, и скоро пришло от врачей траурное извещение о кончине старого большевика, с которым столько было связано в Костиной жизни.

...Еще долго потом в пересветовской семье толковали о культе личности Сталина. Борис пытался связать его возникновение с отсталостью нашей страны в прошлом, с традиционной «верой в царя». Однако при Ленине, возражали ему Владимир с отцом, страна была еще более отсталой, популярность Ленина в народе перекрывала былую веру в царя, а извращения в проведении политики партии, которые мы называем культом, развития не получали.

— Выходит, вы видите причину их только в личности Сталина? — защищался Борис.— Этим вы возвеличиваете его личность!

— Чай, не один Сталин творил эти извращения,— вступала в спор Наташа, перечисляя случаи арестов и ссылок рядовых советских граждан, о которых Сталин и понятия мог не иметь.— Конечно,— рассуждала она,— мы еще из политграмоты знаем, что политический деятель отвечает и за тех, кем он руководит. Но ведь тогда вся партия и весь народ за ним шли!

— Этого не могло бы случиться,— замечал ее отец,— если бы Сталин занимался только извращениями политики партии. В войне, например, он достойно представлял СССР в переговорах с Черчиллем и Рузвельтом. Он был очень противоречивой личностью, оттого наряду с пользой нанес много вреда советскому народу и делу социализма.

— Не менее противоречива была тогда и внутрипартийная обстановка,— говорил Владимир.— Из двух членов ЦК, выделенных в ленинском завещании как обладавших данными вождей, партия в дискуссии, затеянной Троцким накануне смерти Ленина, выбрала Сталина. Окажись во главе ЦК Троцкий, с его откровенным антибольшевизмом, разве было бы лучше? Конечно, для руководства страной, в условиях враждебного нам империалистического окружения, не хватило Сталину ни ленинского теоретического и политического кругозора, ни культурности, ни должной образованности, ни высокой нравственности. При всем таланте политика и организатора, при необычайно сильной воле — властолюбие, самонадеянность, жестокость и вдобавок ко всему ложная теория обострения классовых противоречий при социализме... Да, впрочем, всех условий и предпосылок возникновения культа его личности

не перечислишь. Слишком сложным было зто явление. Историки когда-нибудь разберутся.

— Слушаю я тебя и думаю,— сказал Константин Андреевич,— что при известных условиях, согласись я перейти на партийную работу, мог бы, пожалуй, из меня вырасти проводник культа...

— Костя! — возмущенно и горячо перебила его Ирина Павловна.— Какие ты говоришь глупости!

— Погоди, погоди...— Он улыбнулся.— Смолоду я склонен был к зтакому книжному пониманию марксизма: любил человечество, рабочий класс и революцию «в идее», а на личностное житье-бытье нынешних людей, не исключая себя самого, взирал как на обстоятельство, в свете будущего торжества коммунизма, второстепенное. Со временем старался от зтого идейного примитивизма излечиться. Но те коммунисты, которые сталинскую практику проводили в жизнь не за страх, а за совесть (таких немало было!), застряли, по всей видимости, на благополучно пройденной мною ступени сознания.

— Возможно,— согласился его сын.— Такое понимание, о котором ты говоришь, должно было широко бытовать со времен гражданской войны, отучавшей ценить отдельные человеческие жизни, а потом оно у многих сохранялось и позже. Что сам Сталин мог придерживаться подобной точки зрения, в зтом можно не сомневаться. Что до проводников его указаний на практике,— я думаю, у каждого из них могли быть и другие, свои мотивы... Партийная дисциплина прежде всего, убеждение, что «партия всегда права».

К середине пятидесятых годов материальные дела семьи нормализовались. Молодежь зарабатывала неплохо; Пересветова в издательстве ценили, отмечали премиями, редакционные планы он перевыполнял. Он решил использовать очередной отпуск, просил его удлинить за его счет и почти целое лето провел в одном из подмосковных домов отдыха, работая над своей повестью.

«А ведь у меня и вправду, пожалуй, получается роман»,— размышлял он в минуты удовлетворения написанным. В Константине сказывался историк: частную жизнь он рисовал на фоне крупных событий, сквозь нее просвечивала жизнь страны. «Ведь это и есть

то, что Пушкин называл романом,— думалось ему:— историческая эпоха, развитая в вымышленном повествовании. А у меня вдобавок повествование лишь наполовину вымышленное».

В советской литературе, изобилующей так называемыми эпопейными романами, прием этот был не нов, но Пересветова увлекала задача изобразить процесс вызревания большевистского мировоззрения у передовых представителей демократической молодежи его поколения с такой полнотой, с какой писатели этого еще не изображали.

Нашел он наконец и нужный тон для романтических глав, не дававшийся ему в госпитале. С течением времени, когда прошлое, затягиваясь дымкой, перестало кровоточить в его душе, он сумел взглянуть на Олин образ отрешенно, и сочетание вымысла с фактами стало удаваться ему все лучше и лучше.

Из дома отдыха он возвращался счастливый, возбужденный, с почти готовой рукописью. Наташа встретила отца на вокзале и по дороге сообщила новость: у Володи роман («не машинописный!») с преподавательницей английского языка, в группе которой он занимался в аспирантуре МГУ.

Началось это недавно, они случайно встретились и возобновили знакомство. Она несколько его старше, умница, веселая; Наташе кажется, что «у них серьезно». У нее комната на Хорошевском шоссе, недалеко от Ленинградского проспекта, Владимир часто бывает там.

— Ах, если б ему на сей раз посчастливилось!— восклицал отец.

— Между прочим, она чистокровная англичанка.

— Да? Как она к нам попала?

— Это целая история. Отец, английский инженер, в конце двадцатых годов работал у нас в Советском Союзе, брал с собой дочь. Он вдовый. Девчурка училась в русской школе, побывала в пионерлагере, а когда потом отец поместил ее в Англии в какой-то закрытый аристократический пансион, не ужилась в нем. По всему видать, была девочка-сорванец. Она сама тебе расскажет, Владимир приведет ее с тобой знакомить.

— А как же все-таки она опять к нам попала?

— В Англии Кэт стала работать преподавательницей русского языка, в начале сорок первого приехала в СССР практиковаться по своей профессии; война застала ее здесь, и она окончательно прижилась в Советском Союзе. По-моему, с Володей сблизила ее одинаковая незадача в первой любви. Родители ее жениха заставили его жениться на другой, более состоятельной.

— Отец ее в Англии?

— Да. Собирается к ней приехать, повидаться.

— Ему это не трудно сделать?

— Купит туристскую путевку. Теперь с этим проще стало.

Константин Андреевич спросил, как чувствует себя Борис? Дочь ответила, что в ее семье все нормально.

— Борька, правда, немного безалаберный, но детей любит.

— У него, по-моему, смешной пунктик есть,— заметил отец,— по любому вопросу обязательно особое мнение иметь. Он у тебя, что называется, принципиальный нонконформист.

— Да,— с улыбкой отозвалась Наташа,— мне кажется, ему иногда не так важно, правильное мнение или нет, лишь бы его собственное. Я смотрю на это сквозь пальцы. Иной раз поддакну, а поступлю по-своему. Уж я его изучила.

— А как Саша?

— Ты знаешь, что с ним нам пришлось повозиться, оторвать от сомнительной компании дворовых ребят, едва не приучивших его резаться в «двадцать одно». Теперь остепенился, как в девятый класс перешел. Боюсь, что он больше привязан к дяде, чем к отцу. Перенял от Владимира увлечение звукозаписями музыки, недавно вместе с ним специальный тяжелый диск для магнитофона вытачивали, таскали к Борису на завод. Мы с Борисом считаем, что это лучше, чем носиться на мотоцикле, как некоторые Сашины сверстники, по крайней мере, не трясемся, что шею себе свернет. Футболом стал увлекаться...

— Футбольная династия вытанцовывается! — засмеялся отец.

— Да, в трех поколениях... Сашка раньше болтлив был; теперь становится малоразговорчив, по-моему, своему дяде подражает. Володя детей любит, они к нему льнут. Вот только у самого детей нет.

...Когда семья уселась за обеденный стол и беспорядочный обмен домашними новостями начал перемежаться минутками молчания, Константин Андреевич поглядывал на внучат, словно не узнавал их. Подумать только, Леночка уже первоклассница! Девочка, отрываясь от еды, поднимала глаза, чтобы поймать дедушкин взгляд и ему улыбнуться; на ее косичке покачивался голубой бант.

— Наташа, где наш старый альбом? Найди, пожалуйста, Олину детскую карточку,— попросил он дочь.— По-моему, Леночка похожа на свою бабушку...

А Саша, внук? Как вырос! О чем он сейчас думает? Чем интересуется? Спрашивать нельзя, надо выждать, когда сам с дедом заговорит. Наружностью Саша в отца, такой же худощавый, на голове иссиня-черные кудряшки... Борис-то бородку себе отпускает... Глаза у Саши серые, Наташины... Все это проносилось в голове у Константина за общей беседой.

Часы летели незаметно. Саша после обеда крутил регулятор радиолы, переключая звучание с одной волны на другую. Сентябрьские сумерки не заставили себя ждать, за стеклами широкого окна столовой вспыхнули уличные фонари. Деревья, которые Константин вместе с другими новоселами этого дома сажал в палисаднике в двадцать седьмом году, дотянулись уже до третьего этажа.

— Ребятки! — обратился он к сыну и зятю.— А что, если нам сейчас пройтись по улице Горького? Давненько я без дела по московским улицам не бродил.

Наташа уговорила их сперва поужинать. Когда стемнело, мужчины втроем не спеша брели по бульвару в сторону Белорусского вокзала под смыкавшимися над их головами кронами деревьев.

— Как они разрослись! — восклицал Пересветов.

Сегодня почему-то все отпечатывалось в его сознании сильней и ярче обычного. Семья прожила здесь почти тридцать лет. Многолюднее в вечерние часы стал бульвар. В толпе, медленно плывущей под цепочкой электрических лампочек, Пересветову бросилось в глаза, что москвичи с каждым годом все лучше стали одеваться. Он даже спросил, нет ли сегодня какого праздника? Володя отвечал: нет. У некоторых моло-

дых людей усики, бородки, густые шевелюры, до войны подобной моды не водилось.

На улице Горького привлекали внимание ярко освещенные витрины опустевших вечером магазинов. Перед площадью Пушкина Константин Андреевич остановился против открытых ворот. В глубине двора виднелось старое здание редакции «Правды».

— Вот это самое место,— сказал он,— этот самый тротуар и дальше площадь снились мне в госпитале не один раз. Не знаю, почему именно они, а, скажем, не лес, который я люблю с детства, почему не глухариная охота, не футбол? Будто бы вот тут я иду не торопясь ясным летним вечером, в косых лучах солнца, а рядом по мостовой так же неторопливо и бесшумно катится возле меня чья-то легковая машина. Снилось несколько раз. Так странно! «Все тот же сон...»

— И во сне вы молодой, конечно? — предположил Борис.

— Молодой?.. Не знаю. Чувства, наверное, не стареют. Впрочем, со времен госпиталя я стал чувствовать, что у меня в груди сидит орган кровообращения. Раньше как-то не замечал, что он все время стучит... Еще снилось, что стою на балконе высокого-высокого дома, откуда видна вся Москва.

— Как муравейник внизу народ кипел? — хохотнул Борис.— Сон из «Бориса Годунова»... А роман ваш, как вы думаете,— напечатают?

— Не знаю.

— Если напечатают, вас в Союз писателей принять могут?

Тесть засмеялся.

— Вот уж этого я и подавно не знаю.

Спать Наташа уложила отца на его кровать в кабинете с окном, открывавшемся на чугунных коней при въезде на Скаковую аллею. Сын лег там же на своей кушетке. Вполголоса, чтобы не разбудить Сашу, спавшего по соседству в столовой, они долго разговаривали. Владимир на этот раз изменил своей обычной замкнутости. Спрашивать тридцатисемилетнего сына о его личных делах Константин не хотел, ждал, не заговорит ли тот сам об «англичанке». Но их полуночная беседа не выходила из круга общих вопросов.

По словам Владимира, он за эти месяцы начал по уши влезать в смежные с философией психологию, педагогику.

— Это любопытно. По психологии кое-что я читал, но за тобой мне вряд ли угнаться,— добавил отец и про себя отметил, что сын не возразил. («Считает само собою разумеющимся. Да так оно, очевидно, и есть».) — Становишься, значит, на водораздел наук. Что ж, на стыке наук часто рождается новое.

— О новом пока речи нет, впору старое восстановить, что многими перезабыто.

— То есть что было у Маркса и Ленина?

— Не только у них. Что касается педагогики, то проблема школы выпирает на первый план как теоретически, так и практически.

— Что ты имеешь в виду?

— Поговори с Наташей. Ты же знаешь, она приходит с уроков расстроенная, иной раз даже поревет. Малыши второго, третьего классов, не говоря уже о семиклассниках, на уроках невнимательны, не слушаются, шалят. Запомнить всего, что в программах, не могут, у особо старательных развиваются нервные заболевания. Сашенька учится на четверки и пятерки, а как-то мне признался, что свою школу ненавидит.

— Вот тебе раз!

— Наташка бранит программы, родителей за то, что плохо воспитывают детей, не помогают готовить уроки. Но пересмотра требует все, от программ и учебников до методов преподавания и воспитания как в школе, так и дома.

— Беда в зубрежке?

— Не в ней одной. По старинке гонимся за обилием готовых знаний, втискиваем их в детские головки, а жизнь требует от людей первым делом умения мыслить, понимать что к чему, разбираться в знаниях, поток которых все увеличивается. Многое заученное успевает устареть, пока ученик ходит в школу или студент в вуз. В итоге потом на работе человек вынужден переучиваться, а это трудней, чем учиться заново, да еще и не приучили его педагоги к самостоятельному умственному труду. В Америке долго была популярной теория, будто при нынешнем техническом прогрессе рабочий становится бездушным придатком машины и ему скоро останется только нажимать кнопки. Жизнь

этого не подтвердила. Сложность новых машин и устройств, стремительный поток изобретений потребовали от работников повышенного уровня культуры, гибкости мышления. Человек, а не машина остается главной производительной силой. Словом, оказалось, что теперь не только инженер, но и рабочий должен быть культурно развитой личностью. Если так дело обстоит в странах капитала, то и подавно у нас, где это не просто веление научно-технического прогресса, но и наше программное социальное требование. А где закладывается фундамент личности, если не в семье и школе? Вот перед тобой и проблема педагогики.

— Стало быть, по-твоему, назревает реформа преподавания?

— Практически до реформы еще не близко, я высказываю общие соображения, какие напрашиваются. Содержание школьных программ после Октября менялось не раз, особенно по общественным дисциплинам, и все-таки школа завязла одной ногой где-то в тридцатых годах, другой — еще поглубже. Об этом лучше тебе расскажет мой большой друг Митя Варевцев, завтра ты его у нас увидишь. Он кончал со мной философский, но кандидатскую диссертацию защитил по педагогической психологии, работает в учреждениях Академии педнаук. Энтузиаст и проповедник школьного новаторства.

— А не могут, как ты думаешь, вернуться под каким-нибудь предлогом к так называемому комплексному методу преподавания общественных наук?

— Это что в двадцатых годах насаждать пробовали? В таком виде, во всяком случае, нет. Но сам процесс воспитания и образования в целом осуществляется, конечно, комплексно, совместными усилиями семьи, школы и всего общества.

В двадцать третьем году за подписью группы слушателей ИКП опубликована была статья против попыток внедрения так называемого «комплексного метода» преподавания в советско-партийные школы. Автором статьи был Пересветов. Тогдашние «комплексники» намеревались кардинально перестроить преподавание общественных наук на основе «трех китов»: производство, местный принцип, современность. Стремясь исходить из обстановки, какую учащийся видит вокруг себя, наиболее решительные из реформаторов предла-

гали политическую экономию капитализма изучать на примере советских государственных предприятий, забывая, что на них нет капиталистической эксплуатации; изучение географии рекомендовали начинать со своего района, истории партии — с последнего партсъезда и от него вспять — к предпоследнему и далее, до первого...

— Я вашу статейку прочел, нашел в твоих вырезках,— сказал сын.

— В полемическом задоре мы в ней пренебрегли освещением самого принципа комплексности в преподавании и воспитании, сосредоточив огонь на его вульгаризаторах. Связь с производством, с современностью проводиться должна, но не в таких курьезных формах.

— Вы резонно опасались растворения теории в эмпирике и прагматизме, в этом плане статья должна была сыграть какую-то роль. Но у вас речь шла о школах для взрослых. Между тем начатки правильного, в перспективе научного мышления могут и должны постепенно прививаться человеку с детства.

— С детства? Научного мышления?..

— Да, его элементы, со школьных лет. Я не взялся бы декретировать педагогам, как это делать в том или другом предмете программы, сообразуясь с возрастной психологией и так далее, но современность этого требует. Личность человека, основы нравственности, чувств и мыслей — все это начинает формироваться в более раннем возрасте, чем принято думать. На эти процессы можно и должно воздействовать, а у нас самый ранний возраст фактически отдан на волю случая, на самотек. Родители воспитывают будущую историю, говорил Макаренко, а между тем нет на свете большей кустарщины, чем родительское воспитание детей, Каждый мудрует над ними на свой образец, перенимая от отцов и дедов испытанные на себе архаические приемы воспитания, если не бросает вообще своих детей на произвол судьбы. А ведь у нас семья превратилась уже в низовую ячейку социалистического общества, ребенок становится его гражданином со дня рождения. Из семьи он переходит в школу, где методы работы с детьми зависят больше от степени сердечности и разумности учителя,— а их не у всякого хватает,— чем от его научно-педагогической подготовки. Многие из учителей педвуз не кончали, да и в

самих педвузах постановка образования оставляет желать лучшего.

— Да, тут задачи огромные!

— На долгие годы. Ленин считал воспитание новых людей самой трудной и сложной из задач построения коммунизма. Я не хочу сказать, что везде и все учителя у нас учат и воспитывают плохо, нет, но каждый на свой лад. Во всяком случае, нужно добиться, чтобы школа гарантированно давала своим выпускникам навыки правильного диалектического мышления. Без этого наш молодой современник, наш наследник даже разобраться как следует в океане сменяющейся информации не сможет и запутается в ней как в сетях. Любая научная эрудиция может обернуться для него личной катастрофой, а для общества изъяном, поскольку известно, что ученый дурак опаснее невежды... Кроме чисто образовательной стороны дела есть еще сторона воспитательная, с ней связанная, и тут есть о чем поговорить. От школы мы ожидаем новых поколений коммунистической молодежи, а из нее не столь уж редко выходят в жизнь самонадеянные себялюбцы, потенциальные прохиндеи — лицемеры, стяжатели, бюрократы, словом, всякий человеческий сор, чуждый подлинной интеллигентности.

Облокотясь на подушку, Пересветов слушал сына неотрывно. Сказал, вздохнув:

— А в науках я сильно отстал от вас, молодых, за последние годы. Читаю про кибернетику, про математические методы, программирование и прочее и, честное слово, подчас только глазами хлопаю. На кибернетику одно время гонение было...

— Было. И на теорию относительности. Глупостей творили немало.

— В тридцатых годах попадался мне целый сборник статей, ученые авторы громили эйнштейновские идеи в философском аспекте.

— С водой хотели выплеснуть ребенка. Считалось, что и теория относительности, и кибернетика обязательно ведут к философскому идеализму. Под этим флагом пытались их задушить и в результате начали было отставать от Запада, где ученые не очень-то заботятся о философской апробации. В области генетики у нас до сих пор в чести теория Лысенко, объявившая учение Менделя о наследственных генах идеа-

листическим и провозгласившая примат наследования приобретенных признаков. Не думаю, чтобы долго продержался ее научный приоритет при нынешней самокритической атмсофере.

— А как с Гегелем? По печати судя, интерес к нему возрастает. В чьей-то статье прочел недавно о законе отрицания отрицания; с конца тридцатых годов — со времен «Краткого курса» — о нем совсем было позабыли. А ведь это момент диалектического развития «по спирали»: без «возврата якобы к старому», по Ленину, иванами непомнящими можно прослыть.

— Призыв Ленина изучать Гегеля никто и раньше официально не оспаривал, но метафизического хлама в головах некоторых философских старичков еще предостаточно. Настоящая разработка материалистической диалектики, с учетом работ Гегеля и Маркса, в свете достижений современных наук, еще впереди.

Отец рассмеялся.

— Ты чему?

— Так... Твоему тону. О философских проблемах ты говоришь как хозяин. И прекрасно: значит, чувствуешь себя на коне.

Владимир помолчав, сонным голосом заметил:

— Я тут одно любопытное учреждение обнаружил, хочу с ним познакомиться поближе... Экспериментальная группа для слепоглухонемых детей при Институте дефектологии. Понимаешь, такие дети, особенно кто слеп и глух от роду, без специальной педагогической помощи были бы напрочь отрезаны от всего мира. Ведь они лишены главных каналов информации об окружающем. Обучить их есть ложкой и пить из чашки, одеваться, обуваться и умываться не так-то просто. А педагоги умудряются их приобщать к чтению, письму, в перспективе к наукам, искусству, литературе. Необыкновенные вещи мне про них рассказывали... Обещали познакомить со слепоглухой женщиной, автором печатных трудов.

— Очень интересно! А тебя это по какой линии занимает?

— Да ни по какой особой линии пока что... Любопытно понаблюдать необыкновенных людей. Ведь они люди необыкновенные... Живые доказательства...

— Доказательства чего?

— А?..— Владимир начинал посапывать.

Отец тихонько засмеялся и шепотом, для себя, промолвил:

— Да ты спишь, мой милый! Спи на здоровье, завтра договорим. А ты общительней становишься с отцом. Уж не в англичанке ли тут дело?

Представления об англичанках ассоциировались у Пересветова с иллюстрациями к романам Диккенса: затянутые в корсеты худенькие блондинки или рыженькие, с вуалетками на бледных, анемичных, но миловидных личиках. Ему не пришлось долго ждать, чтобы сверить воображаемый портрет с действительностью. Когда он вышел на звонок открыть входную дверь, перед ним стояла стройная розовощекая женщина с него ростом, совсем не худенькая, с аккуратной прической каштановых волос на голове.

— Здравствуйте! — первая сказала она и по-мужски тряхнула его руку, отрекомендовавшись: — Кэт. Володя, кажется, не удосужился вам ничего обо мне сказать, зато я про вас многое знаю.

По-русски она говорила прекрасно, без акцента.

— Слышал о вас уже кое-что от Наташи,— отвечал Константин улыбаясь и добавил:— Слышал только хорошее.

— Она меня еще плохо знает,— отшутилась Кэт.

Нестеснительные женщины обычно настораживали Пересветова, но в этой обезоруживала искренность. Владимир следил за лицом отца искоса. «Хочет знать, понравилась ли,— улыбался про себя отец.— Понравилась, понравилась».

Перешли в столовую.

— Я настроился ждать от вас рассказов об Англии,— сказал Пересветов,— но торопить вас не намерен. Мне привелось побывать за границей только в Германии да несколько дней в Швейцарии. Очень давно.

— Меня отец брал с собой и во Францию, и в Соединенные Штаты, а больше всего мне по душе Советский Союз.

Когда садились за стол, Борис воспользовался поводом воскликнуть:

— Вот теперь наконец вся наша семья в полном сборе: смотрите, нас стало семеро! Семь «я»!

Кэт, поняв намек, запунцовела.

К обеду Владимир ждал своего приятеля Митю Варевцева, и тот с небольшим опозданием пришел. Невысокий, полноватый и несколько рыхлый, но подвижный, с вихрами неопределенного цвета, в очках, внешне он казался полной противоположностью худощавому и статному Володе. Вытягивать из него слова надобности не было, он сыпал ими, увлеченно доказывая неизбежность преобразований в средней школе, где «лед скоро должен тронуться!».

— Пока что,— пояснила шутливо Кэт,— они с Володей в роли добровольных ледоколов.

— Слушаю я тебя, Дмитрий Сергеич,— заметил Борис,— все-то вы с Володей твердите: «Учить мыслить, учить мыслить». А по-моему, мыслит каждый из нас в меру своих мозговых ресурсов и обучается этому не за партой...

— Позволь, позволь! — перебил его Варевцев.

— Дай досказать. Довольно того, что школа испокон веков давала и дает ученику знания, без которых нашему котелку нечего делать, как топке без дров. Она их подбрасывает, и скажите ей за это спасибо, незачем ее задачи пересматривать.

— А если топка сырыми дровами забита? Если они не горят? Что тогда делать? Ясно: заменить их более калорийным углем. О чем мы и толкуем.

— Мыслить человека учит жизнь.

— Жизнь учит нас мыслить житейски, эмпирически, все мы обобщаем свой опыт, исходя из повседневной практики, но сама по себе жизнь не дает нам навыков научного, теоретического мышления,— доказывал Дмитрий Сергеевич.— Тут-то и задача школы, задача специфическая, центральная, определяющая ее лицо и место в системе общественных установлений. А ты хочешь все умственное, а заодно, быть может, и нравственное и эстетическое воспитание ребенка пустить на самотек? Оставить на усмотрение родителей, которые у него, быть может, так загружены на производстве, что им не до детей? А того хуже, может быть, пьяницы... или мещане современного образца, прохиндеи, как Володя любит выражаться.

— Мозговые ресурсы, как ты, Боря, выразился,— вмешался в разговор Владимир,— развиваются у человека на почве его практических действий в общении с себе подобными. Зачем же ты произвольно выдергива-

ешь из общественной среды школу и отрицаешь ее роль в формировании мышления?

— Не отрицаю начисто, но вы замышляете перевернуть школу вверх дном в угоду теории, что она призвана учить мыслить. И у нас, и за границей школа везде существует для сообщения знаний.

Наташа в разговор не вмешивалась, сейчас ей хотелось одного: чтобы обед всем пришелся по вкусу. Кэт заметила:

— Позвольте мне выступить свидетельницей по вопросу о заграничной школе. Над частным пансионом, где я пробыла почти год, шефствовало благотворительное общество «Добрый пастырь». Единственным мужчиной, имевшим право переступить наш порог, был законоучитель баптистской «истинной веры». Он запугивал нас, девчонок, близостью конца света и Страшным судом по случаю второго пришествия Иисуса Христа на землю. Когда я пыталась ему доказать, что все это устаревшие сказки, то была удалена из класса и попала в карцер под видом школьной больницы, куда меня засадили из опасения за мой рассудок. Так закончилась моя попытка мыслить.

— Вот твой идеал, Борис Аркадьич! — хохоча, воскликнул Варенцев.— Школа, где мыслить запрещают.

— Малограмотный старик санитар уверял меня в госпитале,— сказал Пересветов,— что Хиросима и Нагасаки предвещают близкий Страшный суд, на котором бог не оставит американцев без наказания.

— За неимением в двадцатых годах атомной бомбы наш законоучитель для доказательства близости конца света ссылался на повсеместное распространение автомобилей и аэропланов. Цитировал нам книгу профессора Боллунда, где написано, что перед Страшным судом пронесется по небу пламенная колесница, и еще что-то не менее убедительное.

— И это в школе для будущих английских леди!— подивился Константин Андреевич.

— В пансионе действительно кроме беспризорных девочек, за которых платило благотворительное общество «Добрый пастырь», воспитывались дочери аристократов и вообще богачей. На каменном фронтоне здания выбита была надпись: «Наши дочери должны быть колоннами храма»... Вот как у нас вырабатывали походку настоящих леди.

Кэт встала из-за стола и, сняв с полки книжного шкафа несколько толстенных томов «Жизни животных» Брема, положила их стопкой себе на голову, опустила руки вниз и, выпрямившись в струнку, чинно прошлась по комнате.

— Таким способом вырабатывали походку?

— Иначе откуда бы я выучилась так ходить?

— Им бы в преподаватели манер русского трактирного полового,— заметил Пересветов смеясь.— Тот в былые времена молниеносно шнырял между столиками с подносом на голове, уставленным кружками пива.

— Положим,— возразил Владимир,— сама по себе задача сохранения стройности фигуры заслуживает внимания. Макаренко отучал своих коммунаров от сутулости, заставляя спускаться с лестницы не держась за перила.

Под конец застольной беседы Константину Андреевичу захотелось высказать мысль, пришедшую в голову в связи с разговором об эмпирическом и научном мышлении.

— Не знаю, в какой мере выводы из общественной жизни можно переносить в педагогику,— сказал он,— аналогия не доказательство, но история показала, что, например, практика стихийного рабочего движения без привнесения в нее революционной теории марксизма способна порождать у рабочих лишь тред-юнионистское сознание.

— Что ж,— согласился Варевцев,— в какой-то мере эта аналогия, по-видимому, правомерна. Кстати сказать, знаменитый русский врач и педагог Николай Иванович Пирогов характеризовал «ум простой, практический, народный» как «ищущий причину вблизи действия и факта»; между тем сущности и закономерности явлений, как известно, далеко не всегда на виду и часто остаются от практического ума скрытыми. Тут уж дело за наукой.

Кэт пробыла у Пересветовых до вечера. Константин Андреевич ее спросил:

— Про вашу родину газеты пишут, что в школах там до сих пор процветает порка. Надеюсь, вас, девушек, «добрые пастыри» не пороли?

— Пороть не пороли, а наказывали,— отвечала

Кэт.— Запирали в классе одну после уроков, штрафовали. В первый день пребывания в пансионе я забыла в столовой ручную сумочку, ридикюль. Вернулась за ней,— надзирательница ее уже подобрала. И мне влепили штраф по числу вещей в сумочке: носовой платок, кошелек, гребенка, итого три пенса. Я удивилась и спросила: почему бы не взять с меня еще по пенсу с каждого пенса, который у меня в кошельке? За такую продерзость меня заперли в классе и назначили мне пятьдесят линий.

— Каких линий?

— Переписать в тетрадку без помарок и ошибок пятьдесят строк из библии. Я сделала помарку, меня заставили переписывать еще раз. Таким было мое первое знакомство с пансионом.

Копеечные (пенсовые) штрафы с воспитанниц на «благоустройство пансиона» шли, по словам Кзт, в карман директрисы. Среди воспитанниц устраивались «благотворительные базары»: каждой из них выдавалось в долг по нескольку пенсов на покупку конфет, булочек, пуговиц, ленточек и других мелочей с тем, чтобы от продажи этого «товара» подругам «капитал» был умножен, а «прибыль», после покрытия долга с процентами, оставалась торговке. Кто за неделю наторгует больше всех, тот получал в премию открытку с изображением «притчи о талантах».

— Вот так соревнование! Кого же из вас готовили, настоящих леди или мелких торговок? Или зто одно и то же?

— Штрафовали за разговор в послеобеденные часы молчания,— продолжала рассказывать Кзт,— за разговоры двух подруг наедине, за хождение в ботинках, а не в туфлях по лестнице, за чтение Вальтера Скотта в воскресные дни, когда разрешалось читать только священные книги, и за другие нарушения правил. Разговоры подслушивались «префектами» — старшими ученицами для доклада надзирательнице и директрисе. Все зто, словно в насмешку, именовалось «системой доверия». Там была милейшая девчурка Марго, маленькая, рыженькая, дочь трубочиста, плату за нее вносило общество «Добрый пастырь», за что ей по окончании школы предстояло поехать куда-нибудь в колониальную страну миссионершей, проповедницей «истинной веры» в среде туземцев. Марго так была напичкана

всяким вздором, что всерьез боялась попасть в Африке на обед людоедам, и никак не могла поверить, что негры такие же люди, как и мы. На третий или четвертый день, когда мы с ней пригляделись друг к другу, я попросила ее мне объяснить, какие обязанности у префектов. Она огляделась, не подслушивают ли нас, и прошептала мне на ухо, что «префект обязан иметь длинные уши». Когда я потом по секрету рассказывала ей про советскую школу, она долго не верила, говорила, что я, «как Робин Гуд», сочиняю сказки: «И не штрафуют? И линий не пишут? И в дортуар не запирают? Этого не может быть». Мы с ней в баскетбол обыгрывали воспитанниц-аристократок, они нас возненавидели, а с ней не разговаривали, потому что дочь трубочиста.

— Ну,— сказал Пересветов,— слушаю вас, словно читаю Диккенса, воскресшего в двадцатом веке.

— Ты все же не подумай,— заметил Владимир,— что в Англии все школы такие. Там есть где и современное образование получить, буржуазное, конечно.

— Не сомневаюсь, но тем любопытнее, что до двадцатого века дожили там и «добрые пастыри» и розги.

Из рабочих записей Пересветова

«Перед окончательной правкой рукописи для перепечатки набело и сдачи в издательство я внимательно пересмотрел ее, главу за главой. Чувствую потребность как следует разобраться, что же в конце концов у меня получилось, и припомнить, как, в каком порядке я сооружал это громоздкое здание. Без этого я не спокоен, мне все чудится, что я где-нибудь по неопытности обязательно допустил какой-нибудь просчет. Поэтому устраиваю себе нечто вроде подготовки к предстоящему экзамену.

К тургеневскому способу предварительной конспективной разработки всего романа я не прибегал и вообще если намечал себе планы, то большей частью их нарушал или менял. Зато теперь, задним числом, составил конспект романа и даже вычертил наглядную диаграмму с оценкой глав по идейно-художественному качеству и по предполагаемой занимательности для читателя.

Писал я с большими перерывами, иногда во много лет (шутка ли, с 1915 года! Целое сорокалетие). В итоге и план, и сюжет вырастали у меня из жизненного мате-

риала постепенно, по мере написания. Так как повествование строилось на автобиографической канве, то часть происшествий выплывала сама собой, не требовалось их вымышлять, как и часть лиц-прототипов с их наружностями и характерами. Припоминались или вымышлялись встречи, разговоры. Ни писанием в хронологической последовательности действия, ни сроками работы себя не связывал, писал впрок, что «приспичит», чем в данный момент загорелся,— чему, вероятно, и обязан тем, что получалось у меня, кажется, правдиво и живо. Но, конечно, в какой-то степени дилетантски,— что меня, собственно, и беспокоит больше всего, когда оглядываюсь назад: так ли, спрашиваю себя, работают над романами профессиональные писатели?..

А впрочем, бог с ними. «Еже писах — писах».

Как я обычно приступал к написанию того или иного отрывка, сценки? Держа в уме общий замысел книги, искал для начала ту или иную правдивую подробность, припомнив ее или присочинив, не всегда представляя себе, к каким новым деталям или ходам это поведет,— они часто возникали для меня неожиданно. Можно, пожалуй, сказать, что на протяжении всей работы в целом я шел от образа к идее, а не наоборот, будучи уверен, что правдивое изображение жизни меня к дурным идеям не приведет, поскольку они мне чужды. Тут я, пожалуй, следовал за Тургеневым, отрицавшим свою тенденциозность при изображении Базарова и других лиц, писанных им «с натуры».

В результате первых удач с прототипами у меня сложилась уверенность (не знаю, насколько обоснованная), что раз я вижу человека, которого пишу, знаю его склонности, характер, то он у меня скажет и поступит так, как ему (и мне) будет нужно, в какую бы обстановку я его ни поместил. А обстановку, в свою очередь, старался выбирать (конечно, там, где была возможность) такую, в которой сам бывал или о которой мне рассказывали; старался сталкивать его с людьми, мне известными, и так далее. Из этих приемов письма сами собой вытекали и частные сюжетики, а общий сюжет обнаружился в судьбах и развитии характеров Сергея и Тани с их друзьями. Этот, по сути, мировоззренческий сюжет вызревания у них большевистских взглядов долго казался мне недостаточным для романа, я все полагал, что пишу «бессюжетно», описывая про-

нешествия, в которых часто недостает внешнего драматизма и тем более трагедийности. И только в конце концов уверился, что сюжет у меня есть, сюжет не надуманный, не шаблонный, а жизненный, продиктованный эпохой, которую я в этих лицах пишу».

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Пересветову надо было возвращаться на работу, но благожелательная к его творческим начинаниям дирекция издательства еще раз продлила ему отпуск за его счет. На перепечатку и правку ушло около месяца. Сын и дочь прочли рукопись; Наташина оценка была восторженной. Владимир более сдержанно заметил, что главные достоинства вещи, по его мнению, искренность и тот заряд идейности, какой в ней заключен:

— В таком заряде больше всего нуждается молодежь. В пропаганде высоких идей.

Константин Андреевич окончательно решил, что им написан роман, и выбрал название — «Мы были юны». Позвонил Исаковскому, что завершил работу, отрывки которой лет десять тому назад ему читал, и попросил совета, в какое издательство ее направить. Тот посоветовал обратиться сначала в комиссию по работе с молодыми и начинающими писателями, созданную при Союзе писателей. Если они одобрят, это облегчит прохождение рукописи в издательствах. Михаил Васильевич выразил сожаление, что сейчас у него нет времени ознакомиться с ней самому:

— Надеюсь, издадут, тогда прочту с интересом. Можете сказать в комиссии, что я вам рекомендовал к ним обратиться. От души желаю удачи!

Пересветов поблагодарил и повез свое творение в Союз писателей с просьбой о рассмотрении. Секретарь комиссии оказался в отъезде, обещали передать ему рукопись, как только он вернется.

Недели через три позвонили, что Константин Андреевич может приехать ознакомиться с отзывом.

В обширном палисаднике перед старинным особняком на улице Воровского, бывшей Поварской, описанным в «Войне и мире» как дом Ростовых, на невысоком пьедестале восседал изваянный в скульптуре великий писатель, с чьими героями каждый из нас, будто с живыми людьми, свыкался с отроческих лет. Не без вол-

нения Пересветов поднялся по ступеням лестницы, по которым взбегал приехавший домой молодой офицер Николай Ростов, а следом несмело вышагивал его смущенный приятель, не замеченный хозяевами в сутолоке радостной встречи Василий Денисов, будущий герой Отечественной войны 1812 года. Вот здесь кинулась к брату Наташа (повисла у него на шее, болтая ногами, как почему-то запомнилось, хотя в тексте романа этого нет); вот тут Коленька обнял плачущую от счастья мать.

В сердце Константина шевельнулось чувство благоговения, с каким он когда-то переступал порог Института красной профессуры. Примет ли его на этот раз в свои ряды совсем новая, незнакомая среда? Припомнилось, что в двадцать восьмом году случай свел его однажды в редакции «Известий» с Алексеем Максимовичем Горьким, только что вернувшимся из Италии; отнимать у него время разговором о своих юношеских «грехах в области изящной литературы» Пересветов постеснялся, дело ограничилось формальным знакомством.

Молоденькая секретарша, чересчур серьезная на вид, направила его к председателю комиссии по работе с молодыми писателями Павлу Алексеевичу Буланову.

В небольшой комнате с двумя окнами, раскрытыми на залитую умеренно жарким сентябрьским солнцем улицу Герцена, сидели, углубившись в бумаги каждый за своим столом, трое. На вопрос «Кто здесь товарищ Буланов?» поднялся с места один из них, сухощавый, в белоснежной рубашке с засученными по локоть рукавами. Светло-серый пиджак висел на спинке его стула. Короткая узенькая бородка пепельного цвета и усики не ввели Константина в заблуждение. «Вдвое моложе меня»,— подумал «молодой писатель» о председателе комиссии по работе с молодыми. Двое других выглядели не старше.

— Вы нас удивили, написав роман,— любезно заговорил Буланов, пожимая руку посетителю и усаживая против себя за стол возле окна.— О Пересветове мы имели представление, но лишь как о публицисте.

Другие тоже встали и подошли знакомиться. Рыжеватый, с лысиной, был в коричневой пиджачной паре; на другом, полном брюнете с бачками, пестрая рубаха, вся в кружочках и абстрактных чертежиках, спускалась без пояса поверх брюк.

— Рукописей от начинающих к нам поступает немало,— говорил Буланов,— но, как правило, очень слабых, и вдруг почти готовое произведение! (Это «почти», пойманное на лету Пересветовым, слегка его царапнуло.) Лично я рукопись не читал. Я детский писатель,— мимоходом добавил Павел Алексеевич.

— Я старался писать безотносительно к возрасту, то есть на все возрасты, не исключая школьного,— заметил Пересветов и спохватился, не прозвучат ли его слова самонадеянной похвальбой.

Ему дали рецензию, сказав, что он может взять ее с собой, Константин попросил разрешения сначала прочесть ее здесь.

«Роман Пересветова «Мы были юны» произведение самобытное, написанное с талантом на фактах, взятых явно из жизни»,— читал он первые строки. Рецензент сравнивал этот роман с книгами Степняка-Кравчинского, которыми зачитывалась русская демократическая молодежь конца XIX — начала XX века... Хотя Константин печатался далеко не впервые, но сейчас у него захватило дух. Он чувствовал себя кем-то вроде студента-заочника, приехавшего в столицу из глухомани,— и вдруг такой успех?! Лестные слова, какие профессиональный романист благодушно пропускает мимо ушей, повергали его в состояние повышенной экзальтации. Это было второе рождение литератора.

Критические замечания оказались второстепенного значения. Совет рецензента убрать некоторые общеисторические пояснения, вкрапленные в текст, Константина даже обрадовал, он вносил их не столько по соображениям сюжета, сколько ради страховки, чтобы его, историка, не упрекнули в неполноте освещения событий в стране.

Пока он читал отзыв, Буланов куда-то вышел, а вернувшись, сообщил, что есть указание секретаря правления Союза писателей переслать роман на рассмотрение издательства, и стал составлять черновик отношения для подписи в секретариате.

— Хотите поговорить с рецензентом? — спросил он.— Я вас соединю...

Позвонив, он передал трубку Пересветову. Рецензент тепло его приветствовал и пожелал рукописи «зеленой улицы».

— Над ней вам еще предстоит поработать, но это

уже редакционные мелочи, в издательстве вам помогут. А в основном вещь сделана.

Буланов дал Пересветову письмо секретариата правления Союза писателей к директору издательства с просьбой срочно рассмотреть роман и в случае одобрения издать к 40-летию Октября.

Директор издательства и заведующий редакцией художественной прозы, у которых он побывал на следующий день, оба известные литераторы, благожелательно приняли нового автора. Ему обещали направить рукопись, которую он принес в двух экземплярах, двоим рецензентам. На рецензирование уйдет примерно месяц времени.

— Месяц?.. Почему так долго?

— Бывает, рецензенты и дольше держат.

Делать было нечего. В чужой монастырь со своим уставом не ходят.

Неожиданно позвонил Павел Алексеевич Буланов и дал гостиничный номер телефона приехавшего в Москву писателя, члена редколлегии одного из краевых литературных журналов, недавно созданного на юге страны.

— Он услышал о вашем романе и очень им заинтересовался.

— Но у меня ведь материал не южный?..

— Ничего, дайте им экземпляр, пусть прочтут. Что вы теряете? У них в редакционном портфеле не хватает объемистой вещи. Кто знает, авось примут вашу и напечатают. Заодно, может быть, и мне экземплярчик завезете? Я долго не задержу.

Константин так и сделал: созвонившись с приезжим, свез ему экземпляр, другой Буланову. «Ни в один из московских журналов обратиться мне все-таки не посоветовал»,— размышлял он, возвращаясь домой.

Месяц ожидания издательских рецензий казался Пересветову годом, тем более что он удлинился еще почти на целый месяц. Хуже всего, что, перечитывая страницы машинного текста, Константин начал обнаруживать мелкие изъяны, которые почему-то выпадали из поля зрения в рукописных тетрадях. Теперь это волновало вдвойне: в издательстве каждое лыко могут поставить в строку. Зачем он поторопился? Надо было дать рукописи вылежаться, внимательно вчитаться в каждую фра-

зу. Поймут ли, что огрехи эти пустяковые, что не в них суть? Вдруг огулом забракуют?..

В краевом журнале рукопись отклонили. Член редколлегии писал Пересветову, что отстаивал ее, но редактор и другие нашли роман для журнала «недостаточно боевитым». Какой еще особой, дополнительной боевитости они хотели от исторического романа, посвященного революционному движению, событиям Октября, автор не понимал. Павел Алексеевич, которому он позвонил, сказал:

— А!.. Не принимайте близко к сердцу. Подвернулась им, должно быть, другая вещь, может быть, на современную тему. Рукопись они вам вернули в целости? Ну и отлично.

Буланов к тому времени с рукописью ознакомился; читал, по его словам, с интересом: «Доработки кое-какие нужны, но это в редакции вам скажут».

Вот и рецензент тогда, по телефону, заметил, что над рукописью надо еще поработать. Общеисторические справки по его совету Константин еще перед сдачей рукописи в издательство выбросил. Что же еще подрабатывать? Уверенность сменялась сомнениями, точно в груди у него кто-то неуправляемый раскачивался на качелях.

В отсутствие Пересветова звонила по телефону женщина, спрашивала его по имени, отчеству и фамилии.

— По фамилии? — переспросил он дочь.— Не из редакции ли?

— Обещала вечером перезвонить.

— В нерабочее время? Значит, не из редакции.

— Незнакомый голос. Мелодичный такой, меццо-сопрано.

— Кто бы это мог быть?

Вечером действительно его позвали к телефону.

— Слушаю,— сказал он, беря трубку.

— Здравствуйте, Константин Андреевич!

Голос знакомый, но чей же?..

— Здравствуйте, кто это говорит?

— Ирина Павловна.

— Ирина Павловна?..— неуверенно переспросил он.

В трубке тихо рассмеялись.

— Аришу помните? Вы встречали меня у Елены Владимировны Уманской, перед ее кончиной.

— Ирина Павловна! — воскликнул Константин с неожиданным для него самого приливом теплого чувства.— Боже мой!.. Вы не представляете себе, как много вы мне напомнили!

— Нет, отчего же, я понимаю, Лена мне про вас рассказывала. Она к вам очень хорошо относилась.

— Ирина Павловна, мы должны увидеться! Где вы сейчас находитесь?

— Я звоню из своей квартиры, в Замоскворечье. Может быть, вы запишете мой телефон?

— Я мог бы хоть сейчас к вам приехать.

Трубка немного помолчала.

— Сейчас, пожалуй, поздно. А давайте завтра... Нет, завтра я обещала съездить к маме за город. Позвоните мне после выходного или когда вам будет удобно.

— А вы как мой телефон узнали?

— От Лены. Он у вас не изменился, записан у меня с тех пор. Я вам звонила, мне сказали, что вас нет в Москве. Теперь подумала, что вы могли вернуться.

— Спасибо вам! Спасибо за память!..

На следующий день позвонили наконец из издательства. Старший редактор художественной прозы Елена Сергеевна просила его приехать ознакомиться с поступившими рецензиями. Он тотчас явился.

— Одна у нас давно лежит,— Елена Сергеевна назвала фамилию рецензента, известного писателя, прозаика.— Я не вызывала вас, пока не поступит вторая. Теперь она пришла.

Фамилия второго рецензента, критика, попадалась Пересветову на страницах «Литературной газеты».

— Садитесь, пожалуйста, за стол и прочтите их обе. Я отлучусь ненадолго в корректорскую.

Немолодая, хотя значительно моложе Пересветова, с гладко зачесанными, слегка седеющими на висках волосами, Елена Сергеевна производила впечатление человека спокойного и деловитого.

Писатель отзывался о романе с большой похвалой, предлагал издать его к 40-летию Советской власти, хотя и делал ряд замечаний. Самое крупное относилось к первой части: рецензент рекомендовал автору начать не с детства Сережи, а прямо с последних классов

реального училища, чтобы сразу ввести читателя в основной сюжет. Глава о детстве отвлекает в сторону, ее лучше заменить несколькими страничками в порядке возвращения к прошлому главного лица. Константин сокрушенно покачивал головой: выбрасывать десятки страниц, далеко не худших?.. «Ну, подумаю потом»,— решил он.

Вторую рецензию читал бегло, под впечатлением от первой; замечания критика казались мелочными, хотелось добраться поскорей до основных выводов. «Действие романа движется не событиями, которые определяли бы судьбы героев,— прочитал он.— Авторский произвол — вот единственная причина и движущий механизм смены эпизодов...— Ого! Константин взъерошил волосы пятерней.— Весьма несовершенны приемы, какими сделаны у К. Пересветова человеческие характеры.— О каких приемах идет речь, в чем их несовершенство? ...Да и не делал я характеры, брал с живых людей... В чем именно авторский произвол? Ни одного примера.— Даже центральные фигуры действующих лиц не выглядят живыми людьми...» «Неестественно звучит речь героев»...

«Ну раздраконил!» — шептал Пересветов, расстегивая воротник рубашки. Два-три замечания о языковых погрешностях сильно его ужалили, эти огрехи он успел заметить сам и исправил их в рабочем экземпляре. Основное в рецензии не убеждало, но ошарашивало. Лихорадочно перебрав заново листы первого отзыва, Константин отыскал в нем строки: «Нет никакого сомнения в том, что в советскую литературу пришел новый талантливый писатель — К. А. Пересветов. Созданный им образ юноши большевика Сережи Обозерского привлечет к себе симпатии советской молодежи. Он придется ей по сердцу своей ненавистью к старому миру, своей нравственной чистотой, широтой кругозора, страстностью, с какой отдается служению революции...»

— Кому же из них я должен верить? — обратился он к вернувшейся в кабинет Елене Сергеевне.

Она с улыбкой развела руками.

— Обычное расхождение рецензентов во мнениях. У каждого свое восприятие художественного произведения, особенно среди писателей и критиков.

— Расхождение расхождению рознь! Нельзя же так

голословно дискредитировать рукопись: приемы не годятся, люди неживые, речи неестественны,— и ни одного конкретного примера и доказательства. Какие приемы? В чем неестественность? Допустим, что рецензент двадцать раз прав,— так пусть докажет, а он просто охаял рукопись, повернувшись к ней спиной. Что это за наездничество? Что могу я, автор, извлечь из такой, с позволения сказать, критики? Нет, я этого так не оставлю. Я буду отвечать ему письменно.

— Отвечать рецензентам не принято. К тому же он не отвергает рукопись начисто. Ведь он пишет...— Она взяла со стола рецензию.— «Интересно по замыслу»... то же по материалу. Находит у вас «стремление донести до читателя правду о виденном и пережитом» и так далее. Предлагает передать рукопись на литературную обработку, значит, не отклоняет ее.

— Так он просто непоследовательный человек! Раз люди не живые, говорят не по-людски, какая же обработка поможет? Мертвому припарки?

— Ну вы уж чересчур принципиальничаете,— Елена Сергеевна улыбнулась.

— Как же в таких случаях поступает издательство, получив два диаметрально противоположных отзыва?

— Бывает, посылаем на третью рецензию.

— Как, еще два месяца ждать?!

— Да вы не волнуйтесь. Взгляните на дело практически: повторяю, критик рукопись вашу не отклоняет, а мнение Николая Севастьяновича (назвала она по имени-отчеству писателя-рецензента) высказано достаточно веско. Зайдите к заведующему редакцией, поговорите. Кажется, на рукопись был еще чей-то положительный отзыв... Укажите на это.

Пересветова взволновала не столько угроза новой отсрочки, сколько обида на безапелляционную и, как ему казалось, несправедливую хулу. Голословность обвинений отнимала возможность их опровергать, чувство беззащитности выводило из себя. В беседе с заведующим редакцией он, стараясь избегать просившихся на язык резкостей, изложил претензии ко второму рецензенту и заявил о намерении письменно ему ответить. Заведующий, видный литературный критик, возразил:

— Кто будет читать ваш ответ? Я, который незнаком с рукописью? А сам рецензент прочтет и положит в стол, только и всего.

— Но должен же я реагировать на необъективный отзыв?

— Необъективный? По какой причине? Личных счетов у него с вами не могло быть.

— О причине понятия не имею. Не хочу приписывать дурных намерений человеку, которого в глаза не видал. Возможно, он просто недостаточно внимательно читал рукопись.

— То есть вы обвиняете рецензента в недобросовестности?

— Обвинять у меня данных нет. Допускаю, что причина во мне самом: не сумел угодить на его вкус, читать ему стало скучно, вот он и поспешил с выводами.

Заведующий редакцией рассмеялся. Но Пересветов продолжал:

— А как вы иначе истолкуете, например, следующее место в рецензии: он пишет, что мой Сергей будто бы «ко времени окончания реального училища становится профессиональным революционером». Одно из двух: либо рецензент не читал ленинского «Что делать?» и не знает, что такое профессиональный революционер; либо он плохо читал рукопись, где ясно сказано, что Сергей становится членом большевистской партии лишь на фронте, перед Февралем, через полтора года после исключения из реального училища и ареста жандармами. Первое предположение, что рецензент не читал Ленина, согласитесь, было бы с моей стороны некорректным, остается второе. А уж по каким причинам он невнимательно читал рукопись, этого я не знаю.

Заведующий, улыбаясь, качал головой. Подумав, он попросил секретаршу вызвать к нему Елену Сергеевну. Они посовещались и решили, что она сама прочтет роман и скажет, есть надобность в новой рецензии или можно приступить к редактированию. Взбудораженному автору обещан был ответ недели через две-три, не раньше: на очереди у Елены Сергеевны еще несколько рукописей.

Копии рецензий Пересветов уносил с собой и в троллейбусе еще раз перелистал их, а дома тотчас поделился новостями с сыном.

— Знал ведь я, что литературные вкусы у людей раз-

личны, у писателей тем более, но что различия могут дойти до такой степени, как у моих рецензентов,— этого я представить себе не мог. А вот теперь испытал на собственной персоне: что для одного белое — для другого черное! Черт знает что такое! В политике это не редкость, там программные, социальные расхождения, а здесь что?

Владимир советовал отцу «не распаляться», положительный отзыв писателя более основателен и объективен, в редакции должны это понять. Но в отце разыгрался полемический зуд. Он готов был позабыть, что перед ним не меньшевик или эсер, которых он разделывал «под орех» когда-то в газетной рубрике «Из белой печати», а советский литератор, который высказывал свое мнение.

— Да ведь он пытается под корень подрубить роман! — доказывал Константин Андреевич сыну.— Среда, из которой вышел Сергей, ему не нравится: из нее, видите ли, мог вырасти лишь меньшевик, а не большевик; интеллигентская рефлексия и колебания до вступления в партию большевиков делают Сергея в глазах этого критика опять-таки меньшевиком. Сергей, пишет он, «человек книжный». Как будто все мы, члены партии, рождались на свет готовыми большевиками! Как раз именно интеллигентское происхождение Сергея дает мне возможность яснее показать необходимость огромной работы над собой для каждого, кто хочет стать настоящим коммунистом! Ничего этого он решительно не увидел и не понял в романе. Сергей, видите ли, «не типичен» для большевиков: но типично то, что выражает эпоху, а она в каждом из нас выявляется посвоему, в интеллигенте не так, как в крестьянине или в рабочем. В ленинской партии выходцы из интеллигенции, в одном ряду с рабочими, сыграли огромную роль, сам Ленин, наконец, из интеллигентов. Ведь это азбука,— а ему до нее словно дела нет.

— Ты вполне прав, конечно,— соглашался Владимир.— Вдвойне прав, если учесть, что нынешний массовый читатель стал образованнее прежнего, для него внутренний мир твоего Сергея чуждым не будет, заинтересует его. Насчет социальной среды он ерунду городит, выводить политическую позицию персонажа непосредственно из его классовой принадлежности не дело марксиста.

— Конечно! Это явная вульгаризация, экономический материализм, а тут даже махаевщиной отдает...

— И все-таки протест писать я тебе не советую. Они же сказали, что читать никто не станет. Зачем же время тратить без толку?

— Но ведь дело не только во мне, он и других авторов может так же грязью обливать...

Пересветов все-таки на следующий же день свез в издательство отстуканный на машинке обширный ответ критику.

Спустя несколько дней, созвонившись с Ириной Павловной и собираясь к ней, Пересветов невольно поглядывал на фанерную книжную полку, памятную по Институту красной профессуры. В ряду старых книг стояли подаренные Леной тома Плеханова, в мягких переплетах темно-желтого картона.

Она все-таки поставила его в глупое положение. Иди теперь к женщине, на которой его собирались женить! Если Лена и с ней об этом говорила, он напрямки заявит, что жениться ни на ком не собирается. Впрочем, зачем опережать события, может статься, Аришин муж нашелся и возвратился к ней.

Константин не отдавал себе отчета, как сильна в нем подспудная жажда личной жизни, подавляемая в последние десять лет. Он был уверен, что излил ее остаток на детей и внуков, и теперь недоумевал, сердился на себя, чувствуя, что предстоящее свидание занимает его больше, чем он мог ожидать. Ирину Павловну он видел всего несколько раз, в сущности мельком, в памяти сохранилось даже не лицо, а впечатление свежести, энергии и, хитрить перед собой он не хотел, женской привлекательности.

Почему, однако, с назойливостью возвращается к нему мысль, что муж к ней мог вернуться? Разве это его касается? Поскорей бы развеялась эта досадная неопределенность, возникшая с той минуты, как услышал в телефоне ее голос. Хорошо бы, если б муж к ней действительно вернулся.

В таких размышлениях он сошел с троллейбуса на указанной ему остановке, обогнул угол кирпичного пятиэтажного дома незатейливой постройки 30-х годов и очутился в обширном дворе с клочками травы на притоптанном глинистом грунте. Отыскал пятый подъезд,

поднялся по лестнице на третий этаж и позвонил. Ему тотчас открыли.

Из полутемной передней Ирина Павловна провела его мимо выглянувшей из кухни соседки в свою комнату. Здесь, на свету, снимая синий с белым горошком фартук, она с улыбкой вглядывалась в его лицо, а он смотрел в ее карие глаза, тоже улыбаясь и недоумевая, как это он минутой раньше силился и не мог вызвать в памяти ее облик, оказавшийся таким знакомым. На ней была белая блузка с отложным воротником.

Черты лица у Ирины Павловны были просты и правильны, губы мягко очерчены, щеки подернуты смугловатым румянцем; волосы, почти черные, с коричневатым оттенком, поддерживались на голове заколкой. В целом лицо давало больше материала живописцу, чем скульптору, особенно когда она улыбалась, а карие глаза смотрели открыто, как бы говоря: «Я такая, какой вы меня видите».

— Вы похудели,— заметила она, приглашая Пересветова сесть в мягкое кресло, за старинный мраморный столик с разноцветной инкрустацией, и садясь против него на широкую тахту.

— Постарел, хотите сказать?

— Ну, может быть, немножко. Да все равно вы моложе своих лет.

— А вы, по-моему, не постарели.

— Скажите, что было с вами в эти годы?

— Долго рассказывать. Вы же меня совсем почти не знаете. Лучше сначала расскажите о себе.

— Так ведь и мне долго рассказывать, вы меня уж совсем не знаете... Давайте лучше я вас сперва чаем напою.

Она быстро вышла. Пересветов огляделся вокруг. Комната была тесна для стоявших в ней тахты, кровати с высоким пружинным матрасом и подушками, стола, круглого мраморного столика, швейной зингеровской машины, громоздкого шкафа красного дерева, придвинутого вплотную к двери. Впечатление тесноты смягчал веселый яркий свет из широкого окна, выходившего на освещенный солнцем двор.

На шкафных дверцах выделялись великолепные разводы пламени в виде развернутого павлиньего хвоста. По стенам висели картины: одна из них, написанная

маслом, изображала городское кладбище, заполненное народом в весенний троицын день; другая, акварель крупных размеров, светлокудрую крестьянскую девушку у изгороди; на третьей, пастельной, ранним зимним утром лошадка тащила за собой по убегающей в опушку леса дороге убогие крестьянские дровни. Константин смутно припомнил, что Ариша, по словам Уманской, из богатой семьи.

За чаем разговорились. Когда Ирина Павловна узнала, что он написал роман, это очень ее удивило. Отставив недопитую чашку, она слушала с широко раскрытыми глазами. Поговорили уже о чем-то другом, а она неожиданно вернулась к роману, рассудительно заметив:

— Его напечатают в двух случаях: если он так хорошо написан, что нельзя забраковать, или если вы заручитесь солидной поддержкой.

— Коли он плох, так я сам не захочу его издавать.

— Нет, вы слушайте, что я хочу сказать. Не знаю, как у писателей, а про кино я слышала, что там ставят картину, когда сценарист берет в соавторы режиссера. А то бракуют. Так говорят.

— Ну мало ли чего говорят. Для меня побочные ходы исключены, пусть судят по качеству.

— Вы мне дадите почитать?

— Пожалуйста, если хотите.

Ирина Павловна перехватила брошенный им взгляд на висевшие над тахтой фотографии.

— Это я с мужем, перед войной, и наш сын Максимка, ему здесь пять лет. Такой был чудесный мальчик! Вернется с прогулки, расщебечется, обязательно расскажет, что он на улице увидел, а за игрушки возьмется или за книжку, его в доме не слышно и не видно. И такой добрый, конфетку получит, обязательно бежит со мной поделиться. У него был двоюродный брат, хулиганистый мальчишка, и вот прибегает раз ко мне Максимка: «Мама! Димка дерется, а я ударить его не могу, ведь я старше!..» Он у меня после восьмилетки окончил строительный техникум, а сейчас проходит службу в армии. А это папа с мамой... Она этим летом что-то засиделась со своей племянницей на даче... Папа умер в Ленинграде. Максим вместе с ним там блокаду перенес. А муж не вернулся с фронта.

Аришина мама, женщина полная, с добрыми глазами и пышной прической, снялась в платье с буфами на рукавах и крупной брошью на груди. Отец выглядел молодцеватым мужчиной с лихо закрученными усами. На его груди белела манишка.

— А картины эти подлинники,— Ирина Павловна назвала имена известных русских живописцев.— Отец их собирал, до революции он был человек богатый. После него нам с мамой не одну картину продать пришлось, это уже остатки... Вон там, за шкафом, стоят еще несколько небольших полотен.

— Помнится, Лена говорила, что вы в Китае побывали?

— Да, летала к мужу через Среднюю Азию ненадолго, в тридцать восьмом году. Не полагалось этого, но знакомые летчики устроили разрешение. Одели меня в военную форму, принялась было там вести хозяйство в группе наших добровольцев, но японцы начали наступать, и китайское командование разбросало нашу группу по разным участкам фронта...

— Много, наверное, интересного повидали?

— Многое уже забылось. Из китайских слов прочнее всего врезалось в память тзиньбао — воздушная тревога. Поднимутся наши в воздух, и дрожишь, не знаешь, все ли вернутся.

— Бывало, что не возвращались?

— Конечно. При мне один замечательный парень, молодой советский офицер, погиб. Пошел на таран в воздушном бою на своем «чижике»-истребителе и рухнул вместе со сбитым японским бомбардировщиком на землю недалеко от нашего полевого аэродрома...

Технической или другой какой-либо специальности Ирина Павловна не имела, работала в прошлом машинисткой, а сейчас заведовала канцелярией в управлении спецмонтажа.

Пересветов на другой же день привез ей свою рукопись, а когда после этого позвонил, она сказала:

— Вы не так, как многие другие, пишете. Чувствуется, что все это с вами самим было.

— А это хорошо или плохо, что не так пишу?

— По-моему, хорошо. Выдумки бывают интересные у некоторых писателей, но они не так задевают...

Ей нужно было зачем-то в центр города, они перед вечером встретились на площади Свердлова. Она сказала, что прочла роман почти до конца, и решительно заявила:

— Напечатают. Не знаю, к чему бы могли придраться? Я не критик, конечно, но... Знаете, я ведь не поверила, что вы можете писать как настоящий писатель,— призналась она смеясь.— Наверно, потому, что живого писателя никогда в глаза не видала.

В последующие недели они виделись несколько раз, то у нее, то в Центральном парке имени Горького: осенние вечера еще не успели захолодать. Гуляли по набережной Москвы-реки. Вспоминали Уманскую; рассказывали каждый о своей жизни. Говорить с ней Константину было легко, ему нравилась ее отзывчивость и искренность, их он особенно ценил в людях.

Теплым вечером Пересветов провожал Аришу домой по длинной и малолюдной в этот час замоскворецкой улице. Рассказал о смерти своей жены и обмолвился, что решил больше не жениться.

— Да? — Кажется, она немного удивилась.— Почему же? Как знать наперед, что будет... Но вы все-таки знали, что Оля к вам не вернется,— добавила она, помолчав,— а я двенадцать лет верила, что он жив. В пятьдесят четвертом году получила извещение: обломки самолета подняли из болотной топи в Белоруссии. Парашют уцелел; Виктор не успел спрыгнуть...— Ирина Павловна тяжело вздохнула и тихонько, словно про себя, вымолвила:— Ох, не везет мне...

Слова эти звучали неоглядной искренностью, не чувствовалось в них нисколько опаски попасть в ложное положение женщины, ищущей мужа, ни вообще какого-либо расчета. Что подумалось, то и сказалось.

Константин и не придал в тот момент ее словам особого значения. Конечно, «не везет» относилось к гибели мужа. Однако постепенно выплыло сомнение: ведь Уманская тогда намеревалась сказать ей то самое, что ему; и если сказала, то его слова о решении не жениться Ирина Павловна могла принять прямо на свой счет.

Что же выходит? Ни с того ни с сего, без всякого повода объявить женщине, которую ему «сватали» (!), что жениться он не собирается. Что она могла подумать? Поверит ли она после этого в его хорошие дружеские

чувства? Не разобидится ли? Чего доброго, почтет за ухажера, охотника до развлечений без записи в загсе?

Как он мог не подумать о такой возможности? Зачем вообще было заговаривать о женитьбе, что его тянуло за язык? Как они встретятся теперь после такой его бестактности?

Эти неприятные мысли ночью долго не давали ему заснуть. Впрочем, может быть, он зря усложняет дело? Отчего не взглянуть на все проще: ведь после первого ее телефонного звонка он с легким сердцем решал при случае рассеять неясности ложного положения, в которое могло поставить их вмешательство Елены,— вот он и выполнил это свое решение.

Но почему же теперь он размышляет о случившемся не с легким сердцем? Или переменилось что-то с тех пор? Что же? Почему так беспокойно ему от мысли, что он мог ее разобидеть? В конце концов, не в том же дело, подумала она о нем хорошо или плохо, при случае он сумеет доказать, что он не ловелас. Выходит, дело в нем самом?.. Ему, оказывается, стало небезразличным отношение к нему женщины, о которой он столько лет не вспоминал? А может быть... может быть, ее слова доказывают, что и он стал ей не безразличен? При этой мысли сердце его билось сильнее.

Как теперь они встретятся?.. Не оборвется ли по его глупости ниточка взаимного доверия, начавшая возникать между ними? С этим опасением он пробудился утром следующего дня. По счастью, встречи не нужно было долго ожидать, вчера они условились, что сегодня, в воскресенье, он будет у нее около полудня. Позавтракав, Константин прилег на Володин диван с книгой, но не читалось. В голове чувствовалась тяжесть после неспокойной ночи.

Произошло же все непредвиденно просто. Войдя в прогретый солнцем двор, Костя заметил Ирину Павловну с ведром в руке, которое она несла, отведя для равновесия свободную руку в сторону, как это делают деревенские женщины, и, глядя себе под ноги, чему-то своему улыбалась. Возле крыльца она подняла глаза, увидела его, от неожиданности едва не расплескала воду и, покраснев от своей неловкости, рассмеялась. Преграда, построенная между ними Костиным воображением, рухнула.

Он отнял у нее ведро, они поднялись на третий

этаж. В доме чинят водопровод; жильцам сегодня приходится брать воду из колонки.

Если бы Константин мог проникнуть в мысли Ирины Павловны, когда она говорила, что ей не везет, мнительность его не разыгралась бы столь безудержно. Уманская действительно советовала ей выйти за Константина Андреевича. Ирина возразила. Он, конечно, человек симпатичный, безусловно порядочный, с ним можно связать свою судьбу, но он герой не ее романа. «Не потому, что он старше меня,— говорила она Лене,— просто он не так и не настолько мне нравится, чтобы хотелось выйти за него замуж». Чувства входили в Аришино сердце и уходили из него не просто и не скоро. Позвонила она Пересветову, не думая о замужестве. Недостатка в претендентах у нее не было, но она вся ушла в заботы о матери, о сыне, годами жила надеждой на возвращение отца ее ребенка и мысли о новом замужестве для себя не допускала. Преданность своим близким родным людям не оставляла места для других чувств.

Возвратясь вчера домой, она думала о Пересветове не так и не то, что он предполагал. Она перебирала в памяти всякие мелкие подробности их встреч. Как-то они садились в переполненный автобус; женщина с округлым животом, очевидно, беременная, сердито оттесняла Аришу из очереди, чтобы раньше подняться на подножку; Ариша не уступила и вошла в автобус первой, а Константин уступил дорогу другим и вошел последним. Когда они сошли у своей остановки, он спросил: всегда ли Ирина Павловна бывает такой настойчивой, как сегодня? Она догадалась, почему он спрашивает, и вспыхнула.

— Это вы о той женщине? — Константин промолчал.— Если она в положении, могла войти с передней площадки, а не ломиться в общую очередь. Она нахальная.

Константин продолжал молчать.

— Впрочем, вероятно, вы правы,— признала она.— Надо было ей все-таки уступить.— И тихонько добавила: — Вы умный.

Вспоминая эту пустячную царапину в их отношениях, Ирина думала, что хорошо иметь рядом с собой друга, которому хочется, чтобы ты была лучше, и который не постеснялся сказать, что ты поступила плохо.

В другой раз она пригласила его к ней зайти, а на

вопрос, в каком часу, ответила: «Когда хотите, я весь день дома».— «Какое же я имею право располагать вашим временем? — возразил он.— Назовите удобный для вас час». Константин приходил иногда с пакетом яблок или апельсинов, но ни разу с вином. Истолковать его слова о нежелании жениться как домогательство легких отношений в голову ей не пришло. Его рассказ о смерти жены лишний раз пробудил в ней мысли о собственной неудавшейся жизни, вот она и сказала печально, что ей не везет.

Может быть, в тайниках души у нее и зарождалась надежда, которую разрушали Костины слова, но ни он, ни она не отдавали себе полного отчета в том, что между ними происходит. К давнишнему пожеланию Уманской ни один из них серьезно не относился. «А вот костюм сидит на нем мешковато,— думала Ирина Павловна.— Ему бы сшить на заказ, при его фигуре он сразу по-другому будет выглядеть».

ГЛАВА ПЯТАЯ

Занятый своими делами, Пересветов не искал встреч с историками, но неожиданно прочел в газете траурное объявление о кончине академика Таисии Плетневой. Она была его сверстницей, с ней связаны воспоминания о семинаре Покровского, о внутрипартийных дискуссиях, которые развели ее с мужем-троцкистом. Тридцать лет по окончании Института красной профессуры ничто не отвлекало ее от научной работы. Она стала автором ряда учебников, доктором исторических наук, академиком СССР.

Придя в здание Академии наук СССР на Ленинском проспекте отдать Тасе Плетневой последний долг, Пересветов нашел там старых знакомых. Особенно тепло встретились с товарищем по семинару Адамантовым. Лицом тот почти не изменился, но пополнел и поседел. Работает в Институте истории, ездит на заграничные симпозиумы.

Еще свежа была память о недавних событиях в Венгрии и неудавшихся попытках империалистов использовать их в целях восстановления в этой стране капитализма. Адамантов заметил, что в борьбе классов и партий на Западе многое повторяется из нашей отечественной истории.

— Еще бы! — отозвался Пересветов.— Если б Западу наш опыт!.. Знаете, в чем я упрекаю вас, историков? Сам-то я, в силу разных обстоятельств, от вас отбился... Вы недостаточно освещаете историю помещичье-буржуазных и мелкобуржуазных партий в царской России. Врагов надобно знать не хуже, чем друзей. Вся дореволюционная история большевистской партии протекала в борьбе с кадетами, эсерами, меньшевиками, черносотенцами, притом в значительной части в стенах государственных дум. Без знания всего этого нельзя по-настоящему глубоко изучить и историю нашей партии. Разве не говорил Ленин, что «актеры» на политической сцене семнадцатого года отлично знали друг друга по репетициям пятого года и думского периода межреволюционных лет? Не зная всех этих актеров, нельзя претендовать на полное понимание февральской и Октябрьской революций. А спросите у рядового студента, что он знает о кадетах, эсерах и прочих, кроме ярлыков и классовых характеристик? Почти ничего. В результате, между прочим, он и на борьбу партий в странах Запада взирает как баран на новые ворота.

— Что верно, то верно,— соглашался Адамантов,— кое-что о них у нас издано, только книги эти на издательских задворках и мало кого занимают.

— Возьмите парламентское политиканство русских кадетов,— продолжал Константин Андреевич.— В думах они становились в позу оппозиции царским министрам, и те иной раз не скупились на резкую полемику с ними, зная, что в решающем голосовании кадеты будут с правыми против левого блока. И волки сыты, и овцы целы: безвредная для царизма кадетская оппозиция помогала ему обманывать народ, сея иллюзии о «парламентской» монархии в России. Точно та же игра и в западных странах между реакционерами и буржуазными либералами.

— Да, да, совместно обманывают народ видимостью «демократии».

— А эти контрреволюционные путчи и перевороты, террористические акты, фашистские провокации всякого рода? Разве это не методы пуришкевичей, столыпиных и дубровиных?

— Я лично, как вы знаете, занимаюсь экономической историей царской России, не политической...

— Знаю, лично к вам я не предъявляю претензий.

А помните, в семинаре Покровского у нас специальные доклады были о кадетах, октябристах, трудовиках? Монографии студентов издавались под редакцией Покровского.

— Да, да, тематика исследований потом как-то сузилась, история партии и революционного движения стала заслонять все остальное...

— Да и сама история начинала подчас вращаться вокруг одного имени...

Стали вспоминать, кто уцелел из их бывших однокурсников по ИКП, и недосчитались большей половины. Репрессированы были не только уклонисты, но и многие сторонники линии партии.

— В этой трагической лотерее,— заметил Адамантов,— Тася Плетнева и мы с вами уцелели, что называется, выиграв по трамвайному билету...

Начинались надгробные речи. Их беглый разговор продолжался в автобусе по пути на кладбище Новодевичьего монастыря. Переключение Кости на художественную литературу удивило Адамантова.

— Впрочем,— сказал он, узнав о содержании романа,— вы и тут остаетесь историком, значит, вам и карты в руки. Заранее претендую на авторский экземпляр! А пока что ждите от меня по почте мою книгу об аграрной реформе Столыпина. Переиздание подписано к печати.

Буланов просил Пересветова позванивать и однажды сказал:

— Не мешало бы вам понемножку входить в наши писательские дела. На днях в Центральном Доме литераторов обсуждается интересный роман. Почему бы вам туда не заглянуть?

— А меня впустят?

— Сошлитесь на меня, скажите, что я пригласил вас.

— Спасибо, приду обязательно.

Он пошел не столько из-за романа, который не успел прочесть, а только перелистал в библиотеке, сколько из интереса к писательской среде, желая поскорее окунуться в атмосферу литературной общественности.

Дискуссия состоялась в старом здании, где некогда толстовский Пьер Безухов подвергался обряду посвяще-

ния в масоны. В зале средних размеров, но очень высоком, со сводчатым потолком и антресолями, тесно было даже стоять. Пересветов протолкался на хоры по деревянной извилистой лестнице и стал с краю у массивных резных перил, возле занятых уже стульев. Зал называли «деревянным», стены его выложены панелями цвета мореного дуба. Стол президиума и головы сидящих внизу видны были сверху, как с театральной галерки.

Пересветова тронули за рукав. Оглянувшись, он увидел улыбавшуюся ему Антонину Григорьевну, женщину немногим его моложе. Они были знакомы еще до войны, она тогда работала в «Известиях» очеркисткой, а впоследствии была принята в Союз писателей. Жестом она выражала готовность потесниться для него на стуле. Он поблагодарил, прося не беспокоиться. Тогда она поменялась местами с соседкой и пересела на крайний стул, где могла переговариваться с Пересветовым, не мешая другим.

Антонина Григорьевна уже слышала о его обращении с рукописью в издательство. Она защищала обсуждаемый роман от нападок «лакировщиков», приписывающих автору «очернительство». «Писатель вправе, даже обязан изображать отрицательные явления,— согласился Пересветов,— лишь бы темные краски не переходили во «вселенскую смазь».

— А разве вы это нашли в романе?

— Нет, но... неужели у нас полезные начинания не могут найти поддержки ни в какой партийной или иной организации? Конечно, на практике всякое бывает...

— Автор вправе сгущать темные краски.

— Но тогда,— иронически возразил Пересветов,— вам придется амнистировать лакировщиков, сгущающих светлые краски.

— Нужна самокритика прежде всего...

— Тут еще играет роль литературная форма: в фельетоне, например, или в сатире можно до любого предела сгустить краски...

Внизу постучали по столу. Открывалось обсуждение.

— Видите Николая Севастьяновича? Вашего рецензента,— спросила Антонина Григорьевна полушепотом.— В президиуме, с совершенно побелевшей головой.

По портретам Константин помнил писателя, а сейчас

без подсказки, пожалуй, не узнал бы. Четверть века тому назад, когда Горький в печати впервые отметил талант начинающего пролетарского писателя, шевелюра у Николая Севастьяновича была темной. Лишь приглядевшись, можно было на расстоянии различить те же крупные черты серьезного и доброго лица.

— Он очень болен,— продолжала тихонько осведомлять Константина Андреевича соседка.— Удивительно, что пришел сегодня. Его редко можно здесь встретить, только на партсобраниях и то не всегда. Живет все время за городом, в Переделкине.

Пересветову захотелось с Николаем Севастьяновичем поговорить. Антонина Григорьевна обмолвилась, что с ним знакома, но к посредничеству Константин решил не прибегать и, как только объявили перерыв, спустился вниз. Протиснувшись к президиуму, подошел и назвал себя. Лицо старого писателя просияло.

— Очень, очень рад вас видеть! — радушно сказал он, поднимаясь с места и крепко пожимая руку Пересветову.— Надеюсь, мы не ограничимся беглым знакомством? Мне интересно с вами побеседовать, а тут негде... видите, какой содом. Милости прошу ко мне, приезжайте без церемоний в Переделкино, посидим, чайку попьем, побалакаем!

В толкучке действительно трудно было о чем-нибудь толковать, а вопросы к нему у Константина были серьезные. Николай Севастьянович со стариковской аккуратностью записал на вырванном из блокнота листочке свой телефон, адрес, даже схемку начертил, как найти дачу.

До писательского поселка, размещенного в сосновом бору, Пересветов дошел от станции минут за десять. По сторонам прямых и длинных улиц-аллей тянулись высокие заборы, из-за них выглядывали крыши дач, балконы и окна мезонинов, иногда вторые этажи уютных, окрашенных в разные цвета домиков. Легкий осенний холодок бодрил, шагать боковой тропинкой, осыпанной опавшими листьями, ногам было мягко и приятно.

Дача Николая Севастьяновича оказалась скромным одноэтажным домиком финского типа. Обширный участок был под сосняком, лишь на узкой полянке виднелись грядки клубники да кусты смородины.

Хозяин стоял у крыльца в пальто и шляпе. Заметив вошедшего в калитку гостя, он помахал приветственно рукой и, опираясь на палку, медленно двинулся навстречу по тропинке. Видя, что ему быстрые движения трудны, Константин ускорил шаги.

С одышкой осилив ступеньки крыльца, Николай Севастьянович повел гостя в переднюю, оттуда в небольшую столовую и через нее в кабинет с письменным столом, кушеткой и книжными шкафами. За зеркальным сплошным стеклом окна под нависшими кистями красной рябины две синички прыгали по квадратной дощечке, подбирая насыпанные для них зерна.

— Люблю здесь сидеть,— сказал хозяин, приглашая Пересветова к креслам у окна, возле крохотного столика.— Этот уголок живой природы всегда меня успокаивает. Синички нас не забывают, зимой снегири наведываются. А вон на той сосне приделан балкончик для белочки...

Вошла и любезно поздоровалась с гостем Екатерина Александровна, супруга Николая Севастьяновича, хрупкая седенькая женщина. Хотя Пересветов и пообедал дома, его все-таки усадили в столовой за чашку кофе. Дачу они, по словам Екатерины Александровны, арендуют у Литературного фонда. Обходится не так уж дешево, за выплаченные в течение двадцати лет арендные деньги можно было бы купить домик попросторней, да он им двоим не нужен. Дети живут сами по себе, отдельно. А они с Николаем Севастьяновичем зиму и лето здесь, в его годы и при его здоровье город ему противопоказан: сердце изношено, да еще остатки давнего туберкулеза...

— Короче сказать,— заключил писатель объяснения супруги,— без здешнего круглогодичного кислорода я бы давно уже отбыл в Могилевскую губернию.

Из столовой вернулись в кабинет.

— Вот у вас Сережа говорит,— заметил Николай Севастьянович,— что лучшие минуты жизни он переживает в общении с людьми. Здесь его душевный стержень, уключина души, враждебной себялюбию, за это я его полюбил, читая вашу рукопись. Маркс писал об огромном богатстве, каким для каждого является каждый другой человек. Не все, к сожалению, понимают, какое это действительно богатство, и безрассудно проматывают его по мелочам, а то и просто плюют на всех,

живя по правилу «мышка тащит корку в свою норку». Я пишу сейчас роман, вероятно последний в жизни, и назову его «Чужое горе». Оно должно для всех стать своим, только тогда люди заживут счастливо. А вы какой следующий роман думаете писать?

— Следующий?.. Хотелось продолжить рассказ о жизни Сергея. А вы уверены, что я еще роман напишу?

— Что значит — напишете ли? Должны и безусловно сумеете написать. Или вы в свои силы не верите? Откуда у вас такие ликвидаторские сомнения?

— Мне трудно даются сюжеты. Пишу я довольно легко, когда надумаю, что именно писать. А вот надумываю с большой натугой... Выдумывать не могу, вот беда, мне нужен подлинный факт, чтобы от него оттолкнуться, нужно действительно существовавшее лицо как основа вымысла. Ну Сергея я выбрал, так ведь он в действительности в шестнадцатом году на войне погиб. Я и так продлил его жизнь до советских лет. А новый роман хочу писать на основе подлинных событий, случившихся не с ним, так со мной или с кем-либо в советское время.

— И отлично! — воскликнул Николай Севастьянович.— Вы доказали, что умеете отбирать нужные факты. В чем же дело? Жизненный опыт у вас немалый, отбирать есть из чего.

— Да, но вот Белинский даже у автора «Записок охотника» находил лишь талант описывать жизнь как она есть, а в воображении художника ему отказывал. Что же мне о себе после этого думать?

— Позвольте! Во-первых, то был отзыв о молодом Тургеневе, до появления его романов Белинский не дожил. Во-вторых, Белинский и Герцену в творческой фантазии готов был отказать, а дай бог нам с вами хоть десятую долю их талантов! В-третьих, я вам вот что скажу...— Неожиданный кашель прервал его увлеченную речь.— Нам, советским писателям,— продолжал он, откашлявшись,— повезло, как никаким другим. Жизнь у нас сплошь и рядом обгоняет всякое воображение. Разве Октябрьская революция и вся наша советская действительность за истекшие сорок лет не оставила позади художественные вымыслы любого писателя? А вы жалуетесь, что жизнь у вас в романе преобладает над фантазией. Нашли о чем горевать! Да этим хвастаться нужно! Жизнь — первоисточник искусства, так припадайте же к ней смелее! Черпайте из нее — источник

бездонный! Весь вопрос только в том, какая жизнь: действительно ли это наша, новая, правдиво ли она отражена у вас, умело ли вы ее обобщили.

— Николай Севастьянович, теоретически все так, но вот прочтите, что пишет второй рецензент. Он мои литературные данные оценивает далеко не столь лестно, как вы.

Пересветов извлек из портфеля копию рецензии критика.

— А, вот кто ваш второй рецензент,— заметил Николай Севастьянович, взглянув на подпись.— Ну-ка, что он написал...

Надев очки, он молча и внимательно прочел рецензию. Положил на стол вместе с очками и решительно сказал:

— Слушайте! На всякий чих не наздравствуешься. Эти литературные стиляги не признают искусства без выкрутасов. Им дела нет, что книга обязана учить жить, иначе ей грош цена. Они на одно ухо оглохли. Ваш Сережа должен остаться в советской литературе. Вам удалось опоэтизировать нашу с вами юность, поэтому я мелочами пренебрег, не в них суть, вы их исправите в работе с редактором... Но как они там, в издательстве, решили? Новые рецензии собирать?

Узнав, что рукопись читает Елена Сергеевна, он сказал:

— А, знаю, женщина толковая. Думаю, разберется.— Провожая гостя, Николай Севастьянович говорил ему: — Вам надо писать, обязательно надо! Самое трудное — создать образ положительного героя, вам это удается. Дорожите каждым положительным лицом... Впрочем, я вам не указ, у меня недостаток: отрицательные типы плохо получаются. А без них тоже нельзя в литературе,— мещанство, пороки мы должны каленым железом выжигать из нашей жизни, беспощадной сатирой! Мы бойцы за нового человека...

Уходя на станцию, Константин думал, что в произведениях этого автора ему запомнилась действительно галерея добрых, честных людей, а дурные выходят у него злодеями, в реальность которых не совсем веришь. Может быть, в хороших людях он пишет самого себя? Человек на редкость душевный, прозрачный, чистый. Антонина Григорьевна говорит, что в Союзе писателей его кто-то называл «писательской совестью». О таланте

его есть разные мнения, одни его ценят, другие считают автором старомодным и сентиментальным. «Недостаток», сказал он о своем неумении писать дурных людей. Не перекрывается ли этот недостаток с лихвой достоинствами?

«Пишет роман о чужом горе... Все мы порядком очерствели в суровые годы, жестокости всякого рода приглушали в нас чувство сострадания, а ведь без него человек — не человек...»

Он сказал «надо писать»; в издательстве к Пересветову благожелательны, над ним так трогательно шефствуют в комиссии «молодых» и этот маститый писатель... Чего же ему сомневаться?

Однажды Константин застал у Ирины Павловны невысокую моложавую женщину с кокетливо взбитыми светло-желтыми кудряшками. Нос и щеки были у нее припудрены, губки подведены. Сама Ирина Павловна к косметике не прибегала.

— Моя единственная Лёлечка,— отрекомендовала она гостью.— Лучшая моя подруга детства.

— И товарка по несчастью,— добавила та, пожимая Костину руку.— Такая же горемычная вдова-солдатка. Только я уж совсем одинешенька, ни сына, ни мамочки.

— Садитесь, Константин Андреевич,— говорила хозяйка,— чайник вскипел, сейчас принесу... А ты чего вскочила со стула?

— Мне нужно идти, Ариша. Забежала на четверть часа, а торчу у тебя больше часа.

— Ну посиди хоть для приличия, неловко: ко мне пришли, и ты сразу уходишь?

— Помилуйте,— вмешался Константин,— может быть, я помешал?

— Что вы, что вы!.. Нет, право, мне пора.

— Вас, как я понял, дома никто не ждет?

Лелечка рассмеялась, переглянулась с Аришей. — Это ничего не значит.

Ирина Павловна проводила ее до передней и вернулась. По ее словам, с Лелей они в одной школе учились, потом долго не виделись.

— Вот человек, от которого я никогда не видела ни корысти, ни зависти, а их так часто встречаешь у людей. Если бы не одна слабость, цены бы ей не было.

— Курит, что ли? — в комнате чувствовался запах сигареты.

— Это уж я не считаю, хотя сама табачного дыма не выношу. Нынче женщины многие курят.

— Так что же у нее за слабость?

— К вашему брату, мужчинам.— Ирина Павловна усмехнулась.— Вы думаете, почему она ушла? Чтобы нас с вами наедине оставить.

— Да?..

— Когда мы несколько лет тому назад свиделись и она узнала, что я живу без мужа, она обозвала меня дурочкой. Стала приводить мне одного за другим женихов, знакомила. Мне они не нравились, а она твердила: «Лови галку, лови ворону, поймаешь ясного сокола». Меня такой рецепт не устраивал.

— Что же она себе сокола не залучила?

— Вы думаете, легко немолодой женщине замуж выйти? По любви на молоденьких женятся; вдовцы выгод от нового брака ищут: московскую прописку, жену — заведующую продмагом или хотя бы продавщицу.

— Разве не бывает вторых браков по любви?

— Бывают, наверно, только не судите по старому времени. Люди меркантильнее стали.

— Люди всегда бывали всякие. Старого времени вы не знаете. Сколько вам лет было в семнадцатом году?

— Шесть лет. Да я не про царское время говорю, про первые советские годы. Сама я коммунисткой не была, муж был коммунист. Материально мы жили плохо, только нас это не очень удручало. Теперь другое дело, рай в шалаше никого не соблазнит. А у Лелечки комната всего девять метров, работает экономисткой в строительной организации, побочных доходов никаких, так что невеста не из завидных. Успехом у мужчин пользуется, да жениться не хотят. Обходятся «амбулаторным способом», как один из поклонников ее мне цинично признался. Я его отругала тогда...

— Хм...

— А человек она хороший, добрый, жаль мне ее.

Константин был не мальчик и понял, что Ирина Павловна задела в нем подавленные, на годы замурованные в глубине души неуправляемые желания и чувства. Должен ли он им противиться? Во имя чего? Только во имя

раз принятого решения, о котором он ей опрометчиво заявил? Не оказалась ли она мудрее, ответив: «Как знать, что будет?»

Нечто подобное творилось в эти дни и с Ириной. Сначала она говорила себе: «Он меня не раздражает». Оглянувшись однажды на несколько недель, истекших с ее звонка Пересветову, удивилась: они встречаются почти через день. Впервые после потери мужа она дружит с мужчиной, чувствуя к нему нарастающую близость. Совет Уманской предстал ей в новом свете. Елена желала ей добра.

Но ведь он решил не жениться... Ну и пусть. В самом деле, разве дело в формальностях? Разве можно (да и нужно ли?) предугадывать наперед решительно все, что может случиться? Почему нельзя без всяких условий и расчетов отдаться влечению, созревающему в измученном долгим одиночеством сердце?..

Оба они поняли почти одновременно, что их одиночество близится к концу. Ни ему, ни ей не захотелось противиться тому, что рано или поздно могло произойти между ними.

— Вы меня еще не знаете,— говорила Ариша Константину полушутя.— Я в душе буржуйка. Меня муж тряпичницей называл. Любила и сейчас люблю, чтобы платье на мне хорошо сидело, не было крикливым, но и от моды не отставало бы. Тогда в нем совсем иначе себя чувствуешь.

Он застал на этот раз Ирину Павловну за стиркой белья, они разговаривали на кухне. Засучив по локоть рукава домашнего халата, она с силой выжимала мыльную воду из свернутого жгутом платья. День был воскресный, они собирались поехать на электричке в Томилино, где мать Ирины вместе со своей старшей сестрой и с племянницей снимали полдачи.

— Еще люблю, чтобы меня дома ничто не раздражало, ни мебель, ни стены, ничто. Я не говорю про нынешнюю комнату, нам просто тесно в ней втроем, тут уж не до обстановки. Обои даже переклеивать не хочется, а надо бы,— не терплю эти розовые цветочки... От прежнего у нас остался мамин шкаф, папин мраморный столик да стулья, которые в комнате не умещаются, а продавать — разрознять дюжину жалко. Из-за них война с соседкой,

грозится на лестницу выбросить...— В углу передней, у входной двери, высилась горка перевернутых и связанных бечевкой стульев.— Вы, конечно, осуждаете меня за мещанские интересы?

Она с испытующей полуулыбкой оглянулась на него через плечо.

— Подожду, пожалуй, с окончательным выводом.

— И еще я сумасбродка порядочная.

— Вы? Что-то непохоже.

Продолжая стирать, она рассказала случай из своего детства. Однажды молодой человек, ухаживающий за одной из многочисленных ее двоюродных сестер, поддразнил Аришу, сказав, что она побоится спрыгнуть с небольшой плотинки между двумя прудами на деревянный настил, по которому прозрачной пленкой струилась вода, скатываясь в неширокий, у берегов подернутый зеленой ряской омуток. Они брели по этой плотинке компанией.

— Я недолго думая махнула через перила прямо на мокрые доски. Я не знала, что они такие скользкие, ноги мои поехали, я шлепнулась и моментально съехала в воду как на салазках. Мои на плотине ахнули от ужаса, плавать я еще не умела. Маруськин кавалер перепугался, бросился меня спасать, но там оказалось мелко, он протянул мне с берега руку, и я выбралась на сушу в мокрущем платье, вся в налипшей на него зелени. Хохоту было сколько! Ну и страху все набрались, я больше всех... Потом, уже замужем, втемяшилось мне прыгать с парашютом. Муж ни в какую, не разрешает ни за что. Тогда я подговорила одного из летчиков, его товарища, он мне это дело устроил. Выйдя на крыло над аэродромом, я думала, что умру со страху, закрыла глаза, но прыгнула благополучно и приземлилась на лугу. Зато мне дома был скандал... Да вы присядьте, Костя, что вы все стоите? — сказала она, обмахивая сухой тряпкой стул, хотя он не был мокрым.— Я сейчас кончу, развешаю и будем собираться.

Они уже звали друг друга без отчеств, по именам. Ирина обещала его сегодня познакомить со своей двоюродной сестрой Зиной.

— Она всегда меня за что-нибудь прорабатывает. Я неуч, а Зиночка у нас образованная, семь или восемь иностранных языков знает. Мы ее зовем бабушкой китайского императора.

Она старше Ариши. Работала в Книжной палате, а перед уходом на пенсию — в архивах по разбору документов, похищенных фашистами с советских территорий и возвращенных нами после Победы. В личной жизни Зинаиде Алексеевне не повезло. От мужа, с которым свела ее судьба, она вскоре ушла, сочтя его «копеечной душой», оставила ему удобную хорошую квартиру и жила со своей матерью в крошечной комнатушке, в деревянном доме.

— А я так и осталась без высшего образования,— продолжала Ирина Павловна, заканчивая стирку.— В двадцатых годах у нас лабораторный метод вводили в школе, кто хотел — учился, а кто не хотел — лентяйничал. Окончив школу, я все-таки решила поступать в вуз, экзамены выдержала на юридический факультет, да не прошла по возрасту; восемнадцати не исполнилось. Решила, год обожду, опять сдавать буду, а тут скоропалительно выскочила замуж. Муж не дал мне продолжать образование, до сих пор за это на него сержусь. Он дома не сидел, все в полетах, вот ему и мерещилось невесть что. Молодая была, ухажеров хватало, да я их отваживала, остра была на язычок. А потом Максимка родился, не до учения стало. Не любила ни кухни, ни домоседства, мечтала сделаться знаменитым юристом...— Она печально усмехнулась.— Что поделаешь! Бодливой корове бог рог не дает... Сейчас белье развешаю и переоденусь.

Поднявшись со своей спутницей по шатким ступенькам на балкончик, упрятанный в кустах сирени, Константин увидел трех старушек, таково было первое впечатление. Рядом с цветущей Аришей Зинаида Алексеевна скорее выглядела ее тетушкой, чем кузиной. Мария и Елизавета Ивановны внешне были схожи, обе одинаково седенькие, но в то же время разные. Младшая, Мария, полнее (не такая полная, впрочем, какой Пересветов видел ее на карточке), черты лица у нее покрупней, чем у сестры, взгляд светится приветливостью; а у старшей, Елизаветы Ивановны, черты мельче, выражение лица суховатое, глаза смотрят колюче. Когда расселись на плетеных стульях вокруг некрашеного тесового стола на балконе, Аришина мама полюбопытствовала, где гость квартирует, сколько у него детей. Старшая сидела мол-

ча, время от времени двигая челюстями, словно пожевывая. Когда она что-то произнесла, голос у нее оказался низкий, почти мужской. А у Зинаиды Алексеевны, ее дочери, голос был тоненький, почти детский. Она сказала, что фамилию Пересветова помнит по двадцатым годам, читала его книгу о зарождении меньшевизма.

— В Книжной палате нас привлекали к составлению каталога личной библиотеки Владимира Ильича Ленина в Кремле. Каталог недавно вышел из печати, можете в нем отыскать название вашей книги, изданной под редакцией Покровского.

— Неужели?.. Может быть, Владимир Ильич успел еще прочесть ее?

— Не думаю. Выход ее датирован, если не ошибаюсь, тысяча девятьсот двадцать третьим годом, Ленин тогда уже сильно болел, вряд ли врачи разрешали ему читать что-либо, кроме самого необходимого.

Когда старушки сестры ушли в комнаты и на балконе остались они втроем, Зинаида Алексеевна спросила:

— Как вам нравится наша Ариша?

Ирина и Константин, переглянувшись, улыбнулись.

— Ирина Павловна прекрасная женщина.

— Она всем нравится, только не очень этим обольщайтесь, чтобы впоследствии не разочароваться. При всех ее достоинствах, более неаккуратного в исполнении своих обещаний человека трудно сыскать. Если она вам скажет — приду тогда-то, так и знайте, что опоздает.

— Я этого за ней не замечал.

— Значит, для первого знакомства она решила вам показаться лучше, чем она есть. Мы ждали ее вчера, обещала приехать ночевать, а явилась только сегодня.

— Зиночка, я вчера занята была.

— Не обещай, если собираешься быть занятой. Взяла у меня Хемингуэя на недельку, а держишь месяц.

— Прости, родная, забыла привезти книгу, я прочла ее.

— В детстве она была отчаянная проказница,— продолжала Зинаида Алексеевна.— Ты рассказывала ему случай с политграмотой?

— Нет.

— У них в средней школе,— это здание рядом с нынешним планетарием,— пояснила она,— политграмоту преподавал мальчишка — учитель двадцати двух или двадцати трех лет, а у нас с ней дядя, старший брат на-

ших матерей, был священник. Уважаемый в духовном мире человек, настоятель церкви, что перед входом в парк Сокольники, церковь новой по тем временам архитектуры. Вот Ариша наслушалась политграмоты в школе и давай доказывать дяде, что бога нет. Тот сперва с ней спорил, потом рассердился: «А собственно говоря, что я с тобой, соплей, разговариваю?» Так что же вы думаете? На следующем уроке политграмоты она стала приводить дядины доводы о бытии божием и едва не загнала в угол молоденького учителя, опешившего от такой дерзости. Ее отца потом вызывали, спрашивали, как он ее воспитывает. А Павел Семенович, хоть и числился англиканского вероисповедания, в бога не верил. Ну,— обратилась она к Арише,— когда же ты думаешь нас в Москву перевозить? По ночам уже мерзнуть начинаем. В последние дни заметно похолодало.

— На вторник беру выходной и приеду за вами на такси.

Константин предложил помочь им при переезде, но Ирина Павловна поблагодарила, сказала, что сама справится.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Как ни разнились среда и условия, в каких протекало детство Ирины Павловны и Константина Андреевича, была общая черта: ту и другую семьи сильно перекорежили годы революционных перемен. Аришин отец Павел Семенович Кремер, сын варшавского аптекаря, человек в высшей степени энергичный и предприимчивый, окончил два высших учебных заведения: рижский коммерческий институт и юридический факультет юрьевского[1] университета, единственного в царской России, куда принимали евреев. Обнаружив незаурядные способности к коммерции, начал затем довольно быстро богатеть, пускаясь в различные предприятия, порой недолговечные и рискованные, но дававшие кое-какие деньги. Из этих предприятий Ирина Павловна, по семейным преданиям, помнила издание в годы первой русской революции биржевого листка, разглашавшего сведения о колебании курсов акций, за что листок, происками финансовых воротил, власти быстро прикрыли.

[1] Юрьев — Дерпт, теперь Тарту, город в Эстонии.

Другой памятный Арише коммерческий шаг отца был подсказан ему обстоятельствами женитьбы. Живя в Москве (высшее образование давало еврею право жительства в ней), он однажды прогуливался по Московскому Кремлю и заприметил возле царь-пушки дородную румяную девицу. Казалось, ей недостает лишь одежды боярышни, чтобы выглядывать из окон возвышавшихся по соседству старинных хором. Мария Ивановна была младшей дочерью в многодетной семье дьякона из подмосковного Павлова Посада. Мать у нее умерла, когда Маше было одиннадцать лет, старшие сестры повыходили замуж, и девочке приходилось вести домашнее хозяйство у отца и братьев. Ко времени ее знакомства с Павлом Семеновичем скончался и ее отец, братья женились, а Мария Ивановна работала экономкой в известном детском приюте Бахрушина в Сокольниках. Ценя ее за трудолюбие, скромность и приятную внешность, Бахрушин сватал ей женихов, обещал приданое, но никто ей не приглянулся. После ее третьего отказа он сказал: «Ну, барынька, больше я тебе не сват и приданое не даю». Перед атакой Павла Семеновича она не устояла, и он ее взял без приданого.

Сватовство едва не застопорилось из-за непредвиденной формальности: брака без церковного венчания невеста себе не мыслила, и жених ей не прекословил, но православная церковь соглашалась принять новообращенного в свое святое лоно лишь после многодневного поста. Надолго отказываться от скоромной пищи такому гурману, каким был Павел Семенович, не улыбалось. Кто-то ему присоветовал обратиться к представителям англиканской церкви, у них обрядность попроще, и там его привели в христианскую веру без проволочек. Брак с христианами иных вероисповеданий православной церковью не возбранялся.

В Аришиных устах воспоминания о родителях выглядели серией полуанекдотических семейных былей, над которыми она сама и слушавший ее Константин добродушно посмеивались. Брак с Марией Ивановной никаких материальных благ молодому мужу не сулил, но он сумел извлечь и тут выгоду. Новообращенный англиканец, используя новые родственные связи, обзавелся солидными знакомствами в высшей духовной сфере и вскоре по договоренности с епархиальными властя-

ми занялся переоборудованием церковных подворий в торговые помещения для сдачи в аренду.

Таково было второе предприятие отца, которое дочь помнила по рассказам. Но главное, козырное, было еще впереди. Прослышав о разведанных в Подмосковье залежах бурого угля и учтя все выгоды их расположения в центре Европейской России, Кремер выступил с проектом акционерного общества для их разработки. За идею ухватились французские капиталисты, и в результате он сделался одним из учредителей-акционеров русско-французского общества. Много позже этот вираж в его биографии причинял ему некоторые неприятности, но тогда, перед революцией, он успел быстро разбогатеть.

По словам дочери, отец не был скаредом. Домов себе не строил, имений не покупал, в Москве арендовал на углу Садового кольца и Малой Бронной двухэтажный дом для семьи и одновременно для конторы акционерного общества, а на лето снимал семье дачу где-нибудь на берегу Волги или отправлял жену с детьми на курорт в Крым. Имея немалые доходы, не скупился на пожертвования, дал крупную сумму на строительство института инженеров транспорта, за что получил право щеголять в форменной фуражке с бархатным околышем и кокардой путейца. Поддерживал театральные начинания, а у себя дома закатывал шикарные обеды и ужины для многочисленных гостей. Сам вина почти не пил, ставил для виду рядом с прибором подкрашенную водичку, но гурманом был большим. Тут Ариша со вздохом призналась Косте, что, увы, должно быть, унаследовала от родителя этот крупный для женщины, не желающей толстеть, недостаток.

— Но я стараюсь себя обуздывать...

В Москве перед революцией частные автомобили насчитывались единицами,— так вот, Кремер обзавелся автомобилем, купив его, кажется, у кого-то из великих князей.

— У нас, детей, не было только птичьего молока,— вспоминала Ариша.— Нам нанимали гувернанток, учили музыке, французскому языку, который я потом за ненадобностью забыла почти начисто. Одевался отец у лучших московских портных, и помню, при советской уже власти, во время нэпа, мне исполнилось тринадцать лет, он повез меня к портнихе и заказал самое модное

платье, в котором меня принимали за невесту. Девчонкой я очень быстро росла и развивалась.

— Сколько вас было в семье, детей?

— Трое. Брат погиб от несчастного случая, провалился под лед на озере Балхаш. Он там работал на строительстве. А сестра скончалась от неудачных родов.

После Октябрьского переворота многие из прежнего делового окружения Павла Семеновича удирали за границу, усиленно звали его с собой, но он сказал, что родину никогда не покинет, какие бы временные недоразумения с ней у него ни происходили (дело было в 1918 году, в дни его кратковременного ареста в связи с национализацией акционерного общества). При Советской власти он в годы самой тяжкой транспортной разрухи честно работал, на положении спеца, инспектором железных дорог.

Когда Ариша начинала рассказ, Константин слушал с инстинктивным предубеждением против ее отца, капиталиста. Она, вероятно, что-то в нем невольно приукрашивает, думалось ему. Дочери это простительно. Потом он подумал, что у плохого человека вряд ли могла бы вырасти такая дочь, сохранившая к отцу теплые чувства. Она ему все больше нравилась.

Хотя Аришины родители женились по любви, несходство их характеров и склонностей било в глаза. По словам дочери, собольи шубы и наряды, какие отец покупал Марии Ивановне, висели у нее в гардеробе годами не надеванные. В гости она с мужем не ездила, дома к гостям выходила неохотно, больше возилась с детьми да по кухне, где под ее командой орудовал квалифицированный повар с кухаркой и судомойкой. А ее муж был, как говорится, создан для светской жизни и особенно любил общество артистов. Он дружил с видным театральным деятелем бывшим инженером Экскузовичем, управляющим государственными академическими театрами в двадцатых годах. Когда после национализации подмосковного угля нижний этаж дома на Малой Бронной отошел в ведение жилотдела, Аришин отец, предвидя возможность дальнейшего уплотнения, поспешил уступить часть верхнего этажа под гостиницу для приезжавших на гастроли в Москву петроградских актеров. Продолжая и в годы разрухи по силе возможности хлебо-

сольничать, Павел Семенович приглашал их иногда к своему столу. Среди таких избранных гостей у него бывал и Федор Иванович Шаляпин, с которым Кремера познакомил Экскузович.

О пребывании в их доме великого певца Ирина Павловна рассказывала с особым оживлением. По ее словам, «с мамочкой тут вышел целый анекдот». Жена Федора Ивановича Мария Валентиновна приехала тогда в Москву немного раньше мужа и до его прибытия успела подружиться с Марией Ивановной. Когда он приехал, Павел Семенович сказал жене, чтобы к обеду она вышла не в затрапезном, а в парадном платье, так как Федор Иванович любит резать правду-матку в глаза и может здорово ее оконфузить, если найдет, что одета безвкусно. Мария Ивановна отвечала, что, коли так, он ее вовсе не увидит. И добрый месяц, пока Шаляпин у них гостил, ни разу к столу не вышла. Поступком этим она так его заинтриговала, что, столкнувшись с ней однажды случайно в антресолях, он ей церемонно откланялся и, провожая ее взглядом, стукнулся затылком о низкую дверную притолоку. «Так тебе и надо, Федор Иванович! — приговаривал он, потирая ушибленное место.— Не будь любопытен! Смотри, превратишься в соляной столб!»[1]

Мария Валентиновна говорила, что ни от одной женщины Шаляпин не терпел такой чувствительной обиды. На его спектакли в Большой театр, впрочем, Мария Ивановна ходила, сидела в ложе вместе с его женой.

Константина интересовало, пел ли когда-нибудь Шаляпин у них дома. Арише было восемь лет, она запомнила в его исполнении единственную песенку «Шел козел дорогою». Должно быть, он напевал ее, будучи в хорошем настроении.

Ирина Павловна показала Пересветову личное письмо Федора Ивановича ее отцу, протершееся от времени на сгибе листа почтовой бумаги, с выражением благодарности за гостеприимство, книгу Станиславского с авторской надписью Павлу Семеновичу. Один из известнейших теноров Большого театра не скрывал, что был обязан Кремеру: Павел Семенович, услышав его в двадцатых годах на провинциальной оперной сцене, пришел за кулисы и спросил, не желает ли он попробоваться в

[1] По библейскому сказанию, жена Лота, бежавшая из погибающего города Содома и нарушившая божий запрет оглядываться назад, превратилась в соляной столб.

Большой? Удивленный артист отвечал, что, разумеется, он не прочь. «Так ждите телеграмму». Спустя немного времени артиста вызвали в Москву, пробу он выдержал блестяще и многие годы радовал всех своим пением.

Николай Севастьянович тем временем перечитал вторично роман Пересветова в рукописи и говорил при встрече:

— Знаете, кого мне ваш Сергей напоминает характером? Неудержимым темпераментом, искренностью, чистотой души, самокритичностью? Белинского, каким мы его знаем по его переписке и сочинениям. Мне даже пришла дерзкая мысль: а не сделать ли вам его во второй книге литературным критиком?

— Что вы! — удивился Пересветов.— Характер у Сережи был действительно... при грозе порывистый, но ведь я не настолько знаю советскую художественную литературу, особенно критику. Да и, мне кажется, из него скорее мог бы выйти писатель, чем критик. Скорее, чем из меня.

— Почему вы так думаете?

— Он был сердечнее, постоянно болел за товарищей. Меня тогда больше занимали хорошие идеи, чем окружающие люди. Я старался быть рассудочнее, на первый план ставил теорию, политику, а он — нравственность. В принципе, конечно, такое противопоставление неправомерно, но ведь мы с ним оба тогда во многом еще плутали.

— Ну так пишите его писателем.

Константин усмехнулся.

— Да как же писателем, раз я сам еще не знаю, настоящий ли я писатель?

— Вы опять за свое?

— Да ведь как же, Николай Севастьянович! Лишь к концу жизни я разлакомился трудом, к которому тянуло с юности. Алексей Толстой вон дня не пропускал, чтобы не написать страницу, а я такой привычки выработать в себе не успел. И в писательских наблюдениях натореть не успел, пробавляюсь запасом обычных жизненных впечатлений. А меня снедает желание откликнуться разом на все, чем мы живем. Это Горькому удалась под конец жизни эпопея «Клима Самгина», и то он закончить ее не успел,— так ведь мне же с ним не

тягаться. Наконец, писателем он стал не в шестьдесят лет... А жажда писать меня снедает. Хочется дать книгу мировоззренческую, с картинами идейной жизни, чтобы она не только была пропитана нашими чувствами и мыслями, но и заражала бы ими, пропагандировала их по всем направлениям. Все мне кажется важным, решительно все... Боюсь, кончится это плохо, ни на чем не остановлюсь.

Николай Севастьянович, терпеливо слушавший его излияния, улыбнулся.

— Ну, в требованиях к себе вы максималист. Спрашиваете с себя по большому счету. Простите, мне это как раз и доказывает, что вы писатель. Подумаешь, глаза у него разбегаются, обо всем хочет писать, не знает, на чем остановиться! Чушь! Сядьте за работу, образ сам выплывет, тема наклюнется, поверьте моему опыту. Переберете один сюжет, другой и на чем-то остановитесь. Чем шире ваш круг интересов, круг внимания, тем проще будет отобрать то, что нужно, не спеша и не разбрасываясь.

— Да как же в мои годы не спешить?

— А что годы? Они вам позволяют написать еще не один роман. Это у меня здоровье действительно подорвано... Второй-то как, двигается ли он у вас?

— Второй роман? Отложил покамест. Мечусь в поисках материала, а собрать себя всего, как на первой книге, не могу.

— Так вы еще первый роман не издали. Естественно, вы продолжаете в нем жить, как в старом дому, вам трудно переключиться. Возьмите передышку, не подхлестывайте себя. Займитесь личными делами.

Константин вздохнул и улыбнулся.

— Николай Севастьянович, вы точно в воду смотрите. Действительно, личные дела у меня подоспели.

— А что такое?

— Только вы надо мной не смейтесь. Полюбил и женюсь, кажется.

— Так поздравляю вас! Что тут может быть смешного?

— Да ведь мне под шестьдесят.

— И тут возраст его не устраивает! Да ведь женятся и гораздо позже. Вы знаете, как это важно, в наши с вами годы семейное гнездо: работа пойдет лучше! Вейте его себе на здоровье!

— Я не из-за семейного гнезда и вообще не из каких-то расчетов или соображений. Наоборот, у меня до последнего времени было твердое решение не жениться. А тут как наваждение какое. Не думал я, что это со мной еще может произойти. Просто полюбил — и все тут. Она значительно меня моложе.

— Тем лучше! Значит, и вы молоды. Человеку столько лет, сколько он чувствует. Но почему вы сказали «кажется, женюсь»? Не решено еще?

— Для меня решено. Думаю, что и для нее, хотя поговорить нам об этом было еще некогда. Вчера только все прорвалось, как-то неожиданно... Думаю, поворота не будет.

Пересветов рассказал своему новому другу об Ирине Павловне, об их отношениях до вчерашнего дня. Тот первым делом одобрил соотношение возрастов.

— Чересчур молодые жены,— заметил он,— в нашем возрасте ни к чему. А женщина в сорок пять для ваших пятидесяти восьми — какой же это неравный брак? Вполне нормальный. Человек она, видать, стоящий. И хорошо, скажу я вам, что повстречалась на вашем пути не писательница, которой самой нужен уход и присмотр, а простая женщина, стосковавшаяся по семейной жизни. Я не пророк, но по всему вижу, вы будете благодарить судьбу. Не каждому в ваши годы приходит счастье полюбить. Что она вас будет любить и уважать, в этом у меня нет сомнений. Очень, очень за вас обоих рад! Надеюсь, вы привезете к нам Ирину Павловну, представите ей нас с женой!..— На прощание старый писатель похлопал гостя по плечу: — А вот что вы с Горьким были знакомы и своих мальчишеских повестей не решились ему показать,— это ваша непростительная промашка. Горький чувствовал себя ответственным за литературную молодежь, он бы вас окрылил и в полет пустил, и вы давно бы уже стали писателем.

Из Томилина в тот раз Ирина Павловна с Пересветовым приехали в Москву поздно. Метро уже не работало, они решили с вокзала идти пешком. Пока с Комсомольской площади добрались до Замоскворечья, наступила глубокая ночь. Вдобавок начинал накрапывать дождик, и Ариша не разрешила своему провожатому шагать через всю Москву на Ленинградский проспект. Они

поужинали у нее, и в первый раз за эти недели Константин не ночевал дома.

А на другой день он поехал в Переделкино, где и состоялся только что приведенный его разговор со старым писателем.

У Пересветовых весть, что отец женится, принята была так, как нужно. Встречи с незнакомкой, не сразу узнанной им по телефону, секретом не были, домашние о них знали (о совете Уманской он, впрочем, умалчивал). Наташа даже сказала как-то брату, что хорошо бы их отцу не остаться до конца жизни одиноким.

Ирину Павловну Константин вскоре привел к ним домой и без дальних слов представил как свою жену.

— Папа,— предложил Владимир,— вы с Ириной Павловной займете твой кабинет, а я перееду к Кэт, нам с ней обещают дать этой зимой однокомнатную квартиру.

Ирина Павловна, однако, воспротивилась. Она не хочет их стеснять и уже нашла временный выход из положения. Оставить маму и сына ей нельзя; пойти к ним в комнату четвертым жильцом Константин Андреевич тоже не может, но у знакомых Ирины Павловны пустует зимой дача в Быкове, которую нужно отапливать, они разрешают поселиться там до весны. К весне, может статься, подойдет его очередь на комнату, а потом они постараются обменять свои две на отдельную квартиру и поселятся семьей, вместе с ее матерью и сыном,— он скоро вернется из армии.

— Пока на электричке в Москву буду ездить, и на работу, и к ним, в Быкове многие так делают.

— Мне тоже придется в Москве часто бывать,— заметил Константин.— Здесь недалеко.

— Папочка,— улучила минутку шепнуть отцу Наташа,— какая она красивая! Энергичная. Вообще она мне очень нравится!

— Она всем нравится,— прошептал он в ответ с улыбкой, вспоминая слова Зинаиды Алексеевны.

Наконец Елена Сергеевна позвонила: рукопись она прочла, роман решено издавать, ей поручили редактирование. Она просит Константина Андреевича приехать для подробного разговора.

— Ныне отпущаеши! — кладя трубку и смеясь, воскликнул он.

В издательстве быстро договорились о необходимых доработках. Рекомендованные Николаем Севастьяновичем сокращения были уже в рабочем экземпляре произведены, оставалось выбросить несколько побочных эпизодов, тормозивших течение сюжета, подсократить число третьестепенных лиц, оставив из них самые необходимые и характерные. Язык романа, по заключению Елены Сергеевны, правки не требует, за исключением отдельных мелочей, отмеченных на полях рукописи.

В ближайшие дни с Пересветовым подписали издательский договор и выдали ему денежный аванс в счет гонорара.

Наконец-то позади месяцы томительной неопределенности, «качелей», как он мысленно ее именовал. Какое счастье! Оформив свой уход с работы в исторической редакции, он приступил к правке рукописи на сей раз впервые с чувством полного удовлетворения, словно взобравшись наконец на вершину крутой горы. Спуск в долину сулил несравненное наслаждение увидеть свою книгу напечатанной.

Победа, однако, не опьяняла его: по опыту журналиста он знал, что как раз теперь особенно ответственным для него становится каждое движение пера. Еще вчера он мог сколько хотел мудрить над текстом, корежить его и так и сяк, примериваясь, как будет лучше. А теперь — стоп: что написано пером, не вырубишь топором. Завтра у каждой его строки, у каждого слова появится новый хозяин — читатель. Исправлять, улучшать текст можно только сейчас или никогда.

Елене Сергеевне он, в порыве внутреннего ликования, пообещал доделать рукопись «буквально в несколько дней», а продержал ее у себя недели две, в который раз перечитывая заново, раздумывая над каждой страницей. Перо будто потяжелело в его руке. Далекий от претенциозных сопоставлений себя с литературными гениями, Константин не забывал слов Гоголя, что он скорее умрет, чем выдаст читателю вещь недоношенную, не доведенную до «перла создания». К этому, в меру своих сил, стремился и Пересветов, а в какой степени ему это удастся,— пусть о том судят читатели.

Время шло. Поселившись на чужой даче в Быкове, супруги зимой ездили в Москву — Ирина ежедневно, Константин через день-два, то в библиотеку, то к своим на Ленинградский. В дачном саду, в один из ясных осенних вечеров, они терпеливо дожидались часа, когда на потемневшем небе появится медленно плывущая светлая точка — первый в мире спутник Земли — советский!..

Трехкомнатная дача с мезонином двоим была велика, они облюбовали для себя комнатку поближе к котлу водяного отопления; Ариша пригнала машину с углем с ближайшего к Быкову склада; Константин осваивался с задачей поддержания в комнатах должной температуры. Он обзавелся новой пишущей машинкой и принялся для начала перепечатывать разрозненные черновые отрывки, заготовленные для второго романа о Сергее.

Вдвоем, в полном отрыве от людей, даже без радиоприемника, точно на необитаемом острове, они переживали настоящую робинзонаду, «рай в шалаше», медовый месяц, счастливые происшедшим. Ариша вскоре стала говорить, что даже не может вспомнить, как это она жила одна? А в Косте изо дня в день таяло и постепенно исчезало тягостное внутреннее напряжение, в каком он жил последние десять лет со дня смерти Ольги. Оглядываясь назад, он заключил, что сравниться с тогдашним ударом по силе для него могло только первое горе, постигшее его в далеком прошлом,— Сережина гибель.

Они с Аришей подошли друг другу характерами. Возвращаясь вечерами с работы и принимаясь за приготовление ужина, Ирина просила его петь, он пел во весь голос безо всякого аккомпанемента одну за другой песни, арии, романсы. Из песен больше всего ей нравилась «Помню, я еще молодушкой была», из арий — «Я вас люблю, люблю безмерно» (из «Пиковой дамы»).

— Скажи,— спрашивала Ариша,— я хоть чуточку, хоть чем-нибудь тебя раздражаю? Только откровенно!

— Ничем, ничуточки!

— И ты меня ничем. Ну вот нисколько, ничем! Это очень важно, правда? Ведь очень редко так бывает между людьми, даже близкими. Даже если друг друга любят, обязательно найдется какая-нибудь черточка, которая досаждает другому. Но ты, может быть, просто не хочешь меня огорчить? Ты такой музыкальный, те-

бе не может нравиться, что у меня ни капельки слуха.

От избытка чувств она пыталась иногда распевать так неумело и фальшиво, что Костя вместе с ней самой начинал смеяться.

— Мне мой первый муж говорил: «Делай со мной что хочешь, только не пой, красавица, при мне!»

— А мне нравится, что ты поешь,— возражал Костя.— Любишь петь — ну и пой, пожалуйста, на здоровье! Кто сказал, что у тебя слуха нет? Наоборот, в тебе композитор гибнет, ты каждую песню каждый раз на новый мотив поешь...

У Ирины Павловны домашние дела и поездки в город отнимали большую часть дня, на чтение времени не оставалось. Зато если она брала в руки книгу или газету, то погружалась в нее так, что Константину приходилось ее окликать несколько раз, чтобы поговорить с ней. Она сетовала на свою необразованность, хотя русскую и иностранную художественную классику знала, читала и основные произведения советской литературы. Вкусы их в живописи и литературе почти сходились, Ирина лишь не была так строга в приверженности к реализму, как Константин; она охотно перечитывала Оскара Уайльда; в Третьяковке, где они за зиму два-три раза побывали вместе, дольше мужа застаивалась перед картинами Врубеля.

В романах и повестях Ариша по-детски не любила «плохие концы». Вообще в ней было немало детского. Зинаида Алексеевна, в один из выходных дней навестившая супругов в их уединенном «шалаше», выдала Аришину слабость — пристрастие к шоколаду.

— Ни разу не видел, чтобы она им лакомилась,— удивился Константин Андреевич.

— Она боится растолстеть, поэтому избегает есть много сладкого, а купите ей шоколадных конфет и не успеете оглянуться, как опустеет коробка.

— Кто тебя просит обо мне сплетничать? — возмущалась, топая ногой, Ариша.

Костя на следующий же день принес жене коробку шоколадных конфет. Вынув из нее несколько штук и угостив его, она попросила остальные спрятать подальше и выдавать ей, когда попросит, по одной.

— Нет, лучше по две,— поправилась она.— Или по три...

...Однажды в вагоне электрички по дороге в Быково скамью против Кости с Аришей заняла супружеская чета с девочкой трех-четырех лет. Из рук ребенка то и дело вырывался, подлетая к потолку, красный воздушный шарик, отец должен был его поддерживать за ниточку. Ему это надоело, и он решил привязать нитку к запястью руки девочки, но та закапризничала, вырвала у него руку и сердито закричала:

— Не трогай! Не тебе купили!..

Отец привязал шарик к ее руке, не обратив внимания на ее слова. Зато Пересветов над ними задумался. В три-четыре года малышка знает, что игрушку «купили» именно ей. Это ее собственный воздушный шарик, играть в него никто другой не имеет права, даже папа. «Мой», «моя», «мое», «никому не дам!» — вот что с пеленок вбито крепко в голову этой крошке и будет сопровождать ее всю жизнь.

Отец и мать нисколько не задумываются, что означают слова «не тебе купили», считают их вполне естественными, потому что действительно шарик куплен для девочки. Лица у обоих простые, на взгляд приятные, семья, должно быть, рабочая. Не может быть сомнений, что они не хотели и не хотят, чтобы их дочка росла эгоисткой, собственницей и мещанкой, просто они растят ребенка по старинке, как их самих растили родители. Растили не при царе Горохе (на вид им лет по тридцать), но все же во времена́, когда советской власти было, в общем, не до вторжения в вопросы семейного быта, идеи Макаренко мало кому были известны даже понаслышке.

«Сорок лет, как свалили власть помещиков и капиталистов,— думал Константин, поглядывая на эту дружную по виду счастливую семейку,— а стена старого быта в его семейных устоях, пожалуй, как следует даже и не расшатана». Увы, прав был Маркс: психические черты людей меняются медленнее социальных отношений.

«Не тебе купили»... От кого-то когда-то он, кажется, уже слышал эти слова. Должно быть, давно. Может быть, ребенком?..

Стоп! «Не ты покупал! Не твои бабки!..» В воображении мигом возник тщедушный облик обозленного мальчонки с уродливо разросшимся передним зубом. Санька Половиков! Тот самый Половиков, с которым он столк-

нулся в штрафном батальоне и который сказал ему, что татарчонка Юсупку «пришили» во время колчаковского наступления на Казань...

Чередой потянулись в Костиной памяти сцены далекого детства. Весь тот вечер развертывался перед ним их свиток, и он, как повелось с тех пор, когда кончилось его одиночество, делился ими с Аришей.

Ребенком в селе Загоскино Пензенской губернии, где его отец до 1906 года служил священником, Костя в семье рос один (сестра была на шесть лет его моложе). Когда же Андрей Яковлевич Пересветов, с семинарских времен не веровавший в бога, а в пятом году стяжавший себе славу «красного попа», добровольно сложил священнический сан и стал студентом Казанского университета, Костя, поступив в реальное училище, жил вместе с отцом «на хлебах», опять-таки среди взрослых, в общежитии студентов и гимназистов старших классов. При всей общительности, мальчик привык находить какое-нибудь интересное занятие, независимое от окружающих. В классе, если урок скучен, рисовал учителя или соседа по парте, вычерчивал буквы алфавита замысловатым шрифтом или карту необитаемого острова, где в мечтах жил Робинзоном, а Пятницей с ним — Юсупка с соседнего двора. На летние каникулы Костя уезжал к маме, жившей у своего отца в селе Варежка; там его брал с собой на охоту дядя Толя, мамин старший брат; с тех пор Костя на уроках разрисовывал свою общую тетрадь ружьями и летящими утками. Заручившись на вечер интересной книгой, он мог забыть про заданные уроки и до рассвета не уснуть, заложив щели в дверях, чтобы не заметила огня хозяйка квартиры.

У Кости одно увлечение сменялось другим. Он выстругивал шхуны из деревянных чурок, оснащал парусами и пускал по озеру Кабан; бумажные голуби разной окраски делали его владельцем воображаемой голубятни. Вдвоем с Юсупкой они смастерили самодельное ружье со стволом из обрезка водопроводной трубы, с оконным шпингалетом вместо затвора и тугой резинкой вместо боевой пружины. Порох гимназисты научили их делать из серы, угля и селитры, дробь катали из обрезков свинца, и с этим ружьем они бродили по завокзальным камышам, охотясь на куликов и чибисов.

Отдаваясь чему-либо, Костя забывал все остальное. Казанцы в те годы впервые увидели аэроплан. Показательные полеты совершал один из первых русских летчиков Васильев. Костя с Юсупкой оказались в гурьбе мальчишек, прорвавшихся на летное поле к машине, и даже в числе счастливчиков, которым удалось погладить моноплан «Блерио» ладонью. Конечно, аэроплан стал Косте сниться, и он месяца три занимался сооружением моделей монопланов и бипланов разных систем по снимкам в журналах и рекламных брошюрках.

Юсупка надоумил его применять для их изготовления легкие и прочные камышинки: расщепленные и подогретые над лампой, они принимали нужный изгиб, закреплявшийся при быстром погружении в холодную воду. Оклеив каркас крыльев папиросной бумагой и приладив к фюзеляжу моноплана пропеллер с резинкой, Костя потерпел первую аварию: его «Блерио» грохнулся, не пролетев и трех саженей. Но все же он поднимался с земли!..

В приложениях к журналам появлялись чертежи «Как устроить летающую авиамодель», устойчивую в воздухе, но журнальные модели не походили на настоящий самолет, а Костины походили в точности, хотя и не летали. Его увлекало воображение, а не техника сама по себе. Он охладел к авиастроению, увлекшись чем-то еще...

В какую несусветную даль отодвинуло время эти блаженные годы отрочества! Какой длинный путь пройден с тех пор... В шестнадцать лет он начал сознательно отучать себя от дилетантства, разбросáнности, остановившись на главном в его жизни деле революционера. Давным-давно он уже не рисует, а подавал какие-то надежды: во втором классе казанского реального училища видный по тому времени местный художник-педагог старик Пашковский заставлял его на уроках рисования исправлять рисунки других учеников. С этим у него связано до сих пор возбуждающее краску стыда воспоминание о жестокой шалости. В рисовальном классе парты расположены были амфитеатром и тянулись полукружием одна над другой. И вот однажды, очутившись при обходе парт прямо над лысиной любимого учителя, на которую падали из окна лучи солнца, Костя вынул из кармана лупу и, собрав лучи в пучок, прицелился ими в самую середину лысины. На его беду, Пашкет (как фа-

мильярно именовали старика реалисты) обернулся и выслал шалуна вон из класса.

И в этой дурной шалости повинился Арише Костя в тот вечер.

Тогда-то, во втором классе, одиннадцати лет от роду, Костя пережил первое серьезное разочарование в товарище. С Санькой Половиковым они жили в соседних домах. Костя заходил к однокласснику поиграть в бумажные солдатики,— они их сбивали выстрелами из игрушечных пушек. Санькина младшая сестра Валя подбирала «раненых». Поиграв часок, мальчики садились вместе готовить уроки к завтрашнему дню.

У Половиковых Костю поили вкусным кофе со сливками и с домашними пирожками, тогда как у хозяйки общежития был лишь пустой чай с булкой. Санька выпрашивал, а при случае воровал у матери деньги, в кармане у него всегда бренчало серебро, в то время как Костя лишь изредка получал от отца медный пятачок на копеечные булочки, которыми школьный сторож торговал в коридоре во время перемен. Половиков платил, когда они брали на пристани лодку покататься по Казанке в разлив или садились на карусельных коней во время ярмарочных «балаганов».

Санька уговорил Костю играть «в общую казну» в бабки во дворе, с другими мальчишками. Властолюбивый и капризный Санька оживлялся при выигрыше, а проигрывая, злобился до пены у рта. В общем мнении он прослыл «жилой».

Однажды у Половиковых Костя услышал, как Санькина мама в соседней комнате спрашивает сына:

— Поить, что ли, кофеем твоего репетитора?

Какого репетитора?.. Раньше Саньке нанимали репетитора, а теперь Костя почти каждый вечер с ним готовит уроки. Сегодня Костя мог бы уроков не учить: задачки и перевод с немецкого сделал в классе, по закону божию о всемирном потопе и так знает, по грамматике о прилагательных запомнил из объяснений учителя. Пятый урок — рисование, не учить. Но Санька ленив и туп. Сейчас они поиграют в солдатики, потом Санькина мать, толстая громогласная женщина с двойным подбородком (щуплый Санька в отца), усадит их за кофе, а после кофе — за книги. Костя будет вдалбливать Саньь-

ке заданное, тот — рассеянно поддакивать, вертясь на стуле и кусая ногти, а его мать закричит из-за двери:

— Ты что, балбес, не слушаешь, что тебе объясняют?

Кончится тем, что Санька спишет у Кости перевод и решения задач, не поняв и десятой доли. Провожая Костю, Половикова потреплет его по щеке и скажет:

— Приходи завтра, опять поиграете.

И так каждый раз.

Сообразив все это, Костя почувствовал себя так, будто его окунули в холодную воду.

Дней пять он под разными предлогами уклонялся от Санькиных приглашений. Неопытным отроческим умом он понял все же, что им пользуются как даровым репетитором, чтобы не брать платного. Его чувства и наивные понятия о жизни не могли примириться с неожиданным вторжением корысти в дружбу. Санька возбудил в нем брезгливость, противно стало смотреть Саньке в глаза.

Тот почувствовал перемену, забеспокоился и стал заискивать, угощая пирожками с вареньем. Костя не брал под предлогом, будто у него заболели зубы.

Накануне классной диктовки по русскому языку Санька без обиняков попросил его помочь подготовиться и позвал к себе с уроков.

— У нас пообедаем.

Обедать к ним Костя не пошел, а отказать в помощи постеснялся и пришел вечером. Половикова была с ним особенно ласкова и кроме кофе угостила сливочным кремом. Но дружба между мальчиками дала трещину, и развязка быстро наступила.

— Все это я запомнил на всю жизнь, до мелочей,— рассказывал Костя Арише.

В воскресенье играли во дворе в бабки, по-прежнему в общую с Санькой казну. Костя был в ударе, бил без промаха, и они «выставили» своих противников начисто. Один Юсупка имел еще бабки и желал продолжать игру.

— Не буду с ним одним играть,— заявил Санька, завязывая мешок с бабками.

— Дай я с ним сыграю,— сказал Костя.— Нельзя отказываться, раз мы выиграли.

— Вот еще! Стану я церемониться с Юсупкой.

— Жила Санька, жила! — закричал тот.— Жад-

ный! Боишься проиграешь? Дай Коське бабки, что тебе, жалко? Он со мной играет.

— Дай, Саня, три пары! — настаивал Костя.

— Не дам.

— Дай, говорю! Это наши общие с тобой бабки.

— А ты их покупал?

— Так я же сегодня четырнадцать пар выиграл! — Костя возмутился.— Если не дашь, не стану с тобой заодно играть!

— Подумаешь, загрозил! Иди, пожалуйста, играй, с кем хочешь. Мастер играть на чужие. Небось у тебя ни копейки нет на свои бабки.

— Ах, ты вот как?!

Мальчики сошлись лоб в лоб, точно козлята. Лица их пылали ненавистью.

На них смотрел весь двор, где Половиков, сын домохозяина, привык первенствовать. Костя уступить не мог, из чувства обиды и презрения к Саньке. Тот, разозлившись на обычно сговорчивого приятеля, оскалив свой дурной зуб, выпалил первое, что соскочило с языка:

— Нищий!

В тот же миг Костя ударил его по лицу. Санька размахнулся мешком с бабками — в мешке звякнули чугунные битки-плитки, но удар пришелся по спине Юсупки, который бросился их разнимать.

— Уйди! — завопил Санька со слезами бешенства и вторично ударил мешком Юсупку, срывая злость.

Маленький татарин стерпел, ухватил реалистика за кисти рук и твердил одно:

— Не дам драку! Не дам драку!

Костя повернулся и ушел. С тех пор они с Половиковым в классе не разговаривали. Санькина сестра Валя, как-то встретив Костю, обрадовалась и спросила: отчего он к ним не заходит? Костя покраснел и отвечал:

— Так.

Зато с Юсупкой дружба у него окрепла. Костя выпросил у отца пятиалтынный, купил бабок, они с Юсупкой сложились и стали играть в общую казну.

К весне они подкопили денег, наняли в половодье на пристани ялик на целый день и, прихватив самодельное ружье, пустились в «кругосветное путешествие», на которое отваживались только самые отчаянные из казанских юных мореходов. По пересекавшему город Булаку, который зиму и лето курился на дне оврага смрадными

испарениями сточных труб, а весной преображался в полноводный канал, кругосветчики спускались в Казанку, по ней — в Волгу; по Волге — до залитых ею завокзальных лугов, где река в разлив прямиком достигала Казани. По многоверстной шири этого разлива путешественники возвращались в город, преодолев бурное течение под железнодорожным мостом.

Маршрут этот, верст в двадцать пять, едва не стоил жизни нашим искателям приключений. Их ялик над дамбой у волжских пристаней, гонимый сильным течением, налетел на скрытую под водой тумбу и опрокинулся — к счастью, в сторону дамбы, а не ее крутого откоса, где утопающие не достали бы ногами дна и упустили бы лодку. Дно оказалось под ногами, они успели вцепиться в борт ялика, кое-как его перевернули, вычерпали воду и даже спасли затонувшее ружье. До нитки мокрые, согрелись, работая веслами, и к вечеру подъезжали к городу с песней «Врагу не сдается наш гордый «Варяг», счастливые избегнутой опасностью. Нечего говорить, что за дорогу Костя успел пересказать своему другу множество вычитанных из книг мореходных историй и приключений.

По счастью, ни тот, ни другой не подхватили простуды.

Вот этот-то Юсупка, по словам Половикова, бился и отдал жизнь за власть Советов в гражданской войне. А что Санька, повзрослев, очутился в лагере белогвардейцев, Костя не сомневался. Другого пути у таких звереныщей в те годы не было.

«Не твои бабки»... Но Саньке сам бог велел расти жадюгой, на то были свои причины, и время было другое. А зачем же сегодня эта милая девчушка, дочка таких симпатичных родителей, советских людей, заговорила вдруг Санькиными словами? Почему эти слова такие живучие? Было над чем задуматься. Пустой случай в глазах Пересветова вырастал в серьезнейшую педагогическую проблему. Барьер перед психологией индивидуалиста-собственника в душе ребенка должно воздвигать со дня появления его на свет, с пеленок, и никто, кроме родителей, делать это не в состоянии. Их упущения могут оказаться неисправимыми ни в детском саду, ни в школе. Попробуй-ка из кривого саженца прямое дерево вырастить!..

В первую же встречу с Владимиром Пересветов поделился с ним впечатлением от вагонной сценки. Тот выслушал отца и сказал:

— Тут лишь краешек проблемы, на кардинальное решение которой не хватит, может быть, жизни целого поколения. Одной пропагандой педагогических знаний среди родителей тут не возьмешь, хотя она, конечно, необходима в самых широких масштабах.

— Давно бы надо макаренковское письмо к родителям миллионными тиражами переиздать,— прервал его отец.— Подумай, я его только в собрании сочинений нашел, в четвертом томе. Да самый факт, что я его до сих пор не читал,— это я, историк, журналист, а теперь и писатель! — уже сам по себе говорит, в каком забросе у нас до сих пор педагогика!.. Что же спрашивать с рядового читателя?

— Педагогические знания должно прививать будущим отцам и матерям со школьной скамьи, но и зто в конечном счете ничего не решает. Нужно научить людей подниматься всегда, когда зто необходимо, с привычной для нас эмпирической основы житейского мышления на научную ступень. Каждый должен привыкнуть сверять свой личный, семейный, групповой опыт жизни с опытом и выводами всего человечества, зафиксированными в науках, в педагогике в частности. Наука должна войти в повседневный семейный обиход, как она входит теперь на завод, в любое производство. К зтому нас рано или поздно приведет все движение к коммунизму, но на передний план, естественно, выступает школа.

— Словом, ты меня переадресовываешь к Дмитрию Сергеевичу Варевцеву. Кстати, они с чего конкретно думают начать перестраивать школьное образование?

— Кажется, уже договорились с одной из московских школ. В принципе им разрешено экспериментальное преподавание математики и русского языка в младших классах начиная с первого. Сказали: «Апробируйте любые программы и методы, только чтоб не калечить детей, за это взгреем».

— Как же они собираются преподавать?

— Детально я с их планами не знакомился. В общем, попытаются развивать у малышей самостоятельность мышления, начатки рефлексии, привычку к самооценкам, к сомнениям в легких и очевидных на первый взгляд ответах, к обнаружению и разрешению противо-

речий. Начинать обучение с наглядно знакомых детям вещей, как это практикует традиционная педагогика, они отказываются, не желая примитивно дублировать обыденную жизнь, питающую мышление эмпирическое. Вместо этого хотят давать ребятишкам сразу общие понятия, позволяющие разбираться в сути вещей, в противоречивости явлений, в причинах и закономерностях развития. В математике, например, предполагают начать не со счета и не с цифири, а с понятий о величине — «больше», «меньше», о равенстве и неравенстве, о множествах... То же с записью математических действий: сперва буквенная — а, б, икс, игрек и прочее, и лишь потом цифры.

— Алгебре учить раньше, чем арифметике?

— Нечто подобное, но самым начаткам алгебры, конечно.

— Любопытно! Ну а с русским языком как?

— Тоже начнут с понятия: что такое «слово»? Каковы его роль и значение? Со смыслового и звукового анализа слова, с его грамматического состава; записывать будут сперва не буквами, а фонетическими знаками, обозначениями частиц, из которых слово состоит. Конечно, все это преподаваться будет с учетом психологии детского восприятия... Да ты поговори лучше с самим Митей, если интересуешься. Он сейчас, правда, сильно занят, но вот переедете в город, я его к вам как-нибудь затащу.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

К весне очередь на комнату еще не подошла, и владельцы дачи любезно предоставили Ирине с мужем на лето «стеречь» их московскую квартиру, на четвертом этаже дома с балконом, выходившим на Садовое кольцо. С этого балкона супруги смогли наблюдать шествие участников Всемирного фестиваля молодежи. Не стерпев, они спустились вниз и влились в толпу, кликами восторга сопровождавшую длинную вереницу празднично украшенных автомашин с разноплеменными делегациями. В машину негритянской делегации Ариша бросила букет цветов, заслужив в ответ серию воздушных поцелуев...

В годовщину хиросимской трагедии, 6 августа, вечером они пришли на грандиозный траурный митинг участников фестиваля. Сотни факелов над головами несметных толп напомнили Косте берлинские митинги коммунистов при факельном освещении, которые он посещал с Флёнушкиным в догитлеровской Германии 1927 года. Полмиллиона участников фестиваля почтили память жертв американского варварства. «Не бывать атомной войне!» — провозглашали лозунги на транспарантах. От имени оставшихся в живых и от имени павших выступила японская девушка, пережившая ужасы Хиросимы...

В «чужой» московской квартире жила с ними этим летом и Мария Ивановна. Старушка спокойная, безобидная и очень трудолюбивая, она все кухонные заботы взяла на себя. Вот только ходить за продуктами по магазинам ей было трудно, эту обязанность поделили между собой супруги.

С Константином его теща подружилась. В минуты досуга она охотно делилась воспоминаниями о своем прошлом. Семейная история людей, с которыми жить, не интересовать его не могла, к тому же в нем продолжал жить историк.

При нэпе Аришин отец не утерпел и в последний раз проявил «частную инициативу»: организовал контору, которая принимала заказы на книги и высылала их наложенным платежом. Просуществовав несколько месяцев, она сдала свои дела государственному учреждению «Книга — почтой».

Деловую жилку Кремера ценили в хозяйственных кругах, и его назначили коммерческим директором одного из трестов в Москве, а через несколько лет перевели в Ленинград представителем Балхашстроя, заказы которого выполнялись на ленинградских заводах.

Перевели по его просьбе, ввиду изменившихся семейных обстоятельств. Дело в том, что расхождения в привычках и образе жизни супругов должны были рано или поздно сказаться. Жена однажды, взяв телефонную трубку, случайно подслушала по отводному проводу интимный разговор мужа с партнершей Шаляпина по Мариинскому театру. В решительности Мария Ивановна не уступала своему мужу, а бракоразводные дела вершились тогда без особых хлопот: что она с ним развелась и вернула себе девичью фамилию, Павел Семенович узнал от нее на другой день.

От детей они свой развод первое время, по взаимному уговору, скрывали. Строгость в требованиях нравственности сочеталась у Марии Ивановны с личной кротостью, она сумела остаться в хороших отношениях не только с покинувшим ее мужем, но и с его новой женой.

— Что папа с мамой друг другу не пара, я понимала,— говорила Косте Ариша.

Видя, что отец не решается сказать ей правду, шестнадцатилетняя дочь в один прекрасный день приехала в Ленинград и явилась к нему без предупреждения. Расцеловалась в его присутствии с Надеждой Михайловной, и все у них стало на свои места.

Начало Великой Отечественной войны застало Кремера в должности директора ленинградской конторы строительства Дворца Советов в Москве. (Строительство это, на месте снесенного храма Христа спасителя, потом было прекращено.) Его дочь в те дни проводила на фронт

своего мужа, летчика, и осталась в Москве с Марией Ивановной, а Максим гостил у дедушки в Ленинграде, где и пробыл затем с ним и Надеждой Михайловной всю блокаду. Там девятилетний мальчик едва не погиб от дистрофии, а однажды, войдя к деду в кабинет, увидел его прилаживающим к люстре веревочную петлю. Вбежавшая на Максимкины крики Надежда Михайловна вырвала веревку из рук полуобезумевшего мужа. В прошлом гурман, он тяжелее других переносил голодовку.

Надежда Михайловна, не имевшая детей, любила Максима как родного; живой и послушный мальчик стоил этого. Она оставила бы у себя его и после того, как Павел Семенович незадолго до окончания войны скончался, но Ариша, как только прорвали блокаду, взяла сына к себе в Москву...

Летом Константин Андреевич с Ириной Павловной все еще «стерегли» чужую квартиру в Москве, а рукопись романа тем временем была подписана в набор, затем и в печать и была отправлена в типографию.

Увы! «Пытки ожидания» на этом не кончались. Теперь Константин неделями стал ожидать верстку из типографии. Как истый новичок, осаждал редакцию звонками: скоро ли? Почему так долго?.. С ним творилось то же, что в молодости, когда он, бывало, только что отошлет в типографию свою статью, как уже считает часы до выхода номера газеты.

Издательские сроки не переставали казаться ему непомерно длительными. Перечитывая страницы, набранные типографским шрифтом, он находил кое-где мелкие шероховатости слога, не замеченные в машинописном тексте: что-то ему хотелось выбросить, что-то добавить,— издательство протестовало: существующие правила ограничивают авторскую правку, особенно переверстку, сопряженную с дополнительными задержками и расходами. Он не Лев Толстой, которому дозволялось возвращать в типографию корректуры перекореженными до неузнаваемости; современному автору предоставляется сколько угодно сетовать по поводу «рабства», в какое он попадает к полиграфистам, перешагивая порог типографий,— правила есть правила.

К сороковой годовщине Октября роман запаздывал. Наконец автору показали сигнальный экземпляр книги,

а недели две спустя роман появился на прилавках московских книжных магазинов. Из «Книжной лавки писателя» Константин привез на такси в Быково (куда они с Ириной осенью снова перебрались до весны) связки заказанных им заранее экземпляров, пахнущих свежей типографской краской, и на одном из них надписал: «Моей единственной Арише в залог нашей любви до конца дней».

Он все еще переживал свое второе рождение литератора. Уж, кажется, незачем знакомиться с собственной книгой, а он все-таки опять перечитал ее до последней запятой, мысленно ставя себя в положение читателя, раскрывающего ее впервые. Можно бы кое-что еще улучшить, но в целом роман его удовлетворил.

Теперь-то наконец он вздохнул полной грудью... и стал ожидать — опять ожидать! — отзывов в печати.

Прежде чем на книгу отозвалась печать, начали приходить письма читателей. Писали издательству, оно пересылало автору. Первое такое письмо вынула из почтового ящика Ирина Павловна и, нетерпеливо отстраняя мужа рукой, стала читать про себя.

— Слушай, что он пишет! «Сказать, что роман мне понравился, значит ничего не сказать. До сих пор хожу под впечатлением от него...» «Как свято сохранил автор в романе дружбу и любовь...» Нет, лучше читай сам...

— Ну что ты разволновалась?

— Да как же, ведь это о твоей книге!.. Посмотри на подпись, кто это пишет?

— Учащийся техникума связи, двадцати двух лет...

Письмо заканчивалось вопросом: живы ли герои книги, пишет ли автор продолжение?

Костя не меньше жены был взволнован этой первой весточкой от читателя. А Ирина и потом не могла спокойно вскрывать такие письма. Особенно растрогала ее девятиклассница: желание видеть у себя на полке роман «Мы были юны» привело ее к мысли «потерять» библиотечную книгу (!). Ариша настояла, чтобы Костя послал этой девушке экземпляр с авторской надписью. «Читала всю ночь,— говорилось в другом письме,— пришлось и поплакать и посмеяться...»

Писали пожилые, которым роман напоминал их собственную юность, старую среднюю школу. Но внима-

тельнее всего Пересветов вчитывался в письма читателей из молодежи. «Не будь таких, как Сергей и Таня,— писал один из них,— не победила бы революция». «Я сожалею, что не родился раньше,— писал другой,— я выбрал бы тот путь, которым шел Сережа». «Мысленно я на месте Сергея и делаю все точно, как он»,— говорилось в письме третьего.

Почти каждый просил сообщить ему о судьбе героев книги. Что они списаны с живых лиц, в этом никто из них не сомневался. Спрашивали: «Есть ли еще книги у К. Пересветова?»

Большую радость доставило ему прочесть в одном из юношеских писем такие строки: «Книги о подвигах героев многому учат, ими восхищаешься, но подумаешь о своей жизни, и прочтенное покажется таким далеким от тебя. Себя с ними не сравнишь, ведь они герои. А вот книга «Мы были юны» так написана, будто про близких тебе товарищей. В ней все доступно... Книга перевернула у меня что-то внутри, я стал смотреть на жизнь другими глазами...»

Такие отзывы служили Пересветову высшей наградой. Он показал письма Николаю Севастьяновичу. Тот внимательно прочел их. Прочтя, неторопливо снял и протер очки и сказал:

— Вы достигаете целей тех же, что и авторы книг о геройствах, но только более домашними, если можно так сказать, средствами. Есть круг читателей, особо на это отзывчивых. Все дело в той нравственной высоте, на которую вы поставили Сережу и его друзей. Геройств они как будто не совершают, но читатель чувствует и верит, что на это они способны, и примеряет к себе: а таков ли я? В результате книга побуждает становиться лучше, чище, укрепляет веру в собственные силы не меньше, чем описание самих геройств. А для некоторых читателей даже больше.

Рецензии, появившиеся полгода спустя в некоторых московских изданиях, в еланской и пензенской газетах (в романе угадывались местные события, литературные портреты земляков), были положительными. Но потому ли, что роман не вызвал противоречивых оценок, по другой ли причине,— настоящего критического разбора произведения в печати не появлялось. Без этого успех казался рядовым, половинчатым. Не на фурор, а на более пристальное внимание критики автор все же надеялся,

критика была ему нужна, хотелось выверить на ней свои дальнейшие планы.

Николай Севастьянович на его сетования отвечал:

— Вы что же, не знаете сами, в каком направлении вам работать? Вас похвалили, вы на правильном пути, никто в этом сомнений не высказал. Наше поколение уходит, пишите о нем, пока мы с вами живы... А письма читателей берегите, старайтесь вникнуть, какие места книги до них доходят, глубоко их задевают. У меня вон целый сундук писем, с некоторыми читателями переписываюсь годами, советуются со мной по разным интимным вопросам... Иной раз из их писем сюжеты для рассказов беру.

...В госпитале, когда Константин писал лежа на койке, ему по ночам порою снились буквы. Они бежали одна к одной, нанизываясь в слова и строки, иногда со смыслом, который тут же забывался. Сны отражали повседневную реальность его усердного труда над «писаниной». Раз он ночью пробудился: в памяти стояло четверостишие, сложенное во сне и как будто осмысленное. Удивленный, он повторил его про себя несколько раз. Боясь позабыть, отыскал в темноте карандаш, тетрадку и на ощупь каракулями записал:

Уронил слезу на землю месяц,
На земле взошла слеза росою,
Увидал себя в росинках месяц
И с тех пор не плачет, а смеется.

Нерифмованная белая строфа казалась ему скорее курьезной, чем содержательной. Иначе отнеслась к ней Ирина Павловна, когда он рассказал ей про этот случай.

— Ты это про самого себя сочинил,— сказала она.

— То есть как?

— Ранение оторвало тебя от жизни. Ты очутился ну точно как на Луне. Все свои надежды ты связывал с повестью; будут ли у тебя читатели, ты не знал. И вот они тебе пишут: тебя услышали на земле! Надежды твои сбылись, и слезы сменились радостью.

— Выходит, то вещий сон был?

— А что же? Я верю, такие сны бывают. Наука может когда-нибудь их объяснить.

— Интересно ты говоришь! Ни разу мне такое в голову не приходило. Я считал, что ничего тут нет, кроме

бездумного набора образов. Вроде современных электронных машин: пустые стишки складывают без всяких переживаний.

— Ну нет, ты не машина, ты человек. У тебя было сердце.

— Интересно!..— задумчиво усмехаясь, повторял Костя.— Если даже не правильно, то все равно интересно.

Одно из читательских писем привело Ирину Павловну в чрезвычайное возбуждение. Восемнадцатилетняя девушка утверждала, что такой любви, как в романе у Сережи с Таней, «не бывает». Автор просто-напросто ее «выдумал», чтобы «унизить современную молодежь»: вот, дескать, какие раньше идейные были девушки и юноши, «на всю жизнь» влюблялись! «Считаете нас за дураков, товарищ автор, напрасно стараетесь, все равно вам никто не поверит, в вашу агитацию...» И т. д.

Аришу это письмо сначала глубоко возмутило. Потом она перечитала его раз, другой и сказала:

— Знаешь, Костя, а мне эту девушку жаль. Ну откуда ей знать, в ее восемнадцать лет, какая любовь бывает и какой не бывает? Должно быть, она ничего хорошего не видала в жизни, одну грязь... Вот и злится, а на кого? На тебя? Нет, на свою жизнь. Ты ей обязательно должен ответить.

Константин старался не оставлять письма читателей без ответа. Он объяснил девушке, что любовь Сережи и Тани им не выдумана, как не выдумана и переписка между ними, частью приведенная в романе. Сослался на положительные отзывы многих ее сверстников и сверстниц, некоторые процитировал из их писем дословно. «Всегда была и нынче есть такая любовь,— писал он,— и всегда будет. И вы ее, может быть, сама узнаете, желаю вам этого от души».

Пересветова стали приглашать на читательские конференции по его роману. Первые две, в одной из московских библиотек и в средней школе, его не удовлетворили. В ходе обсуждения выяснялось, что читали роман только выступавшие, а остальные понятия о нем не имели; складывалось впечатление, что для организаторов конференции галочка о проведенном мероприятии была важнее сути дела.

Иные впечатления вынес он из поездки в Еланск,

куда его пригласили студенты местного педагогического института. И дело было не в том, что на родине Сережи Обозерского автора встретили и проводили овациями. Удовлетворил его обстоятельный, квалифицированный разбор книги студентами филологического факультета и их педагогами. Ораторы не скупились на похвалы, но и честно выполнили просьбу автора, высказанную им перед прениями: откровенно отмечать места, читаемые с пониженным интересом. Как он и ожидал, ими оказывались преимущественно страницы, сохранившие открыто публицистическую окраску, а наибольший интерес вызывали удовлетворявшие его самого в художественном отношении, основанные на действительных фактах.

Услышав от него, что, по мнению одной из читательниц, такой любви, как в его романе, «не бывает», выступающие ополчились на «любовную пошлятину». Один из студентов-филологов сказал: «Старая классическая литература сильна была изображением любовных трагедий — Анна Каренина, пушкинская Татьяна,— а здесь любовь вполне счастливая, возникающая на почве общих убеждений и совместной борьбы за них. Я стал смотреть на любовь мужчины и женщины по-новому».

Константин посетил в Еланске и Сережину могилу, и могилу своего отца, в дни февральской революции застреленного провокатором, которому Андрей Яковлевич пытался помешать поджечь здание жандармского управления с архивом документов, разоблачавших царских охранников.

Студенческая конференция возместила Пересветову молчание серьезной критики в печати. Читательские конференции — дело огромной важности, но он уже знает по опыту, что не всегда они удаются. До сего дня гораздо больше давали ему читательские письма, да ведь их мало, редкий читатель берется за перо, если даже книга серьезно его задела, а напишет — так очень кратко, лишь о самом главном. Даже обстоятельная литературная критика вряд ли способна заменить писателю непосредственный контакт с читателем. Литературный критик сам тоже должен знать читателя: чтобы направлять в нужную сторону его вкусы и интересы, их необходимо внимательно и настойчиво изучать. В зависимости от времени они меняются. До революции изучением чита-

тельских интересов занимался в одиночку, рассылая тысячи анкет-вопросников, ученый библиограф Рубакин; Пересветову попадались его книги. Делается ли теперь Союзом писателей что-нибудь подобное? Возможностей для этого теперь ведь гораздо больше. «Это надо будет выяснить»,— думал Константин.

Вернувшись из Еланска, он узнал от Ирины Павловны, что она в его отсутствие на свой страх и риск одолжила Лелечке пятнадцать тысяч рублей (полторы тысячи, по позднейшему курсу 1961 года).

— Будешь меня ругать?

— Почему ругать? Без достаточных причин ты, наверное, так не поступила бы. Зачем ей понадобились деньги?

— На вступительный взнос в жилищный кооператив. Строительная организация, где она работает, дает ей однокомнатную квартиру. Она надеется, что с собственной квартирой сумеет выйти замуж. Устроить, как она выражается, свою жизнь.

— Гм! Причина уважительная.

— Взять ей деньги иначе было совершенно негде. Нам главные покупки я уже сделала. Обещает, конечно, долг отдать, но откуда она возьмет? Плата за кооперативную квартиру выше, чем за коммунальную.

— Как откуда? Подстрелит себе ясного сокола с кошельком в кармане.

— Я в это не очень верю и все-таки не смогла ей отказать. Вернее, сама ей предложила. Ты не очень на меня сердишься?

— Да нет, что же, и я, наверное, так поступил бы для хорошего товарища.

— А что я не дождалась твоего приезда, не обижаешься?

— Со взносом можно было не спешить?

— Квартиру могли закрепить за кем-нибудь другим.

Костя помолчал и улыбнулся.

— А ты все-таки,— сказал он,— я вижу, ради своей Лелечки готова была пойти на скандал с мужем?

— Не знаю. Ты хочешь меня так понять?

— Ну ладно, скандала не будет. А про меня ты все-таки подумала плохо. Сознайся?

— Да вовсе нет! — воскликнула она, смеясь и обни-

мая мужа.— Неприятно было, что не могла тебя дождаться. Деньги ведь из твоего гонорара.

— Вот это уж отношения к делу не имеет,— недовольным тоном сказал он, высвобождаясь из ее объятий.— Чтобы я от тебя никогда больше этого не слыхал! Деньги твои настолько же, насколько мои.

Еще живя с детьми на Ленинградском проспекте, Константин знал, что сын бывает у слепоглухонемых, беседует с ними. Владимир настойчиво овладевал дактильной (ручной) азбукой — способом разговаривать через соприкосновение рук, пальцев. Сначала отцу были не совсем ясны мотивы этого увлечения сына. Что работа по воспитанию детей, лишенных слуха и зрения, должна интересовать психолога, педагога, понять было нетрудно,— но философа? Какое отношение имеет она к философии?

— Самое непосредственное,— отвечал ему Владимир.— Не первое тысячелетие философы всего мира бьются над вопросом о происхождении и сущности человеческого сознания, здесь коренной водораздел между идеализмом и материализмом. И вот впервые появляется возможность разрешить этот вековечный спор не умозрительным только, теоретическим путем, а опытным, так сказать, лабораторным. Практически проверить теорию философии подобно тому, как ученый-химик проверяет свою теорию в пробирке, а современный физик в синхрофазотроне.

— Каким образом?

— Педагоги слепоглухонемых располагают уникальной, недостижимой в работе со зрячеслышащими детьми возможностью контролировать всю притекающую извне к ребенку информацию и его реакцию на нее. Изо дня в день читают в его душе, регистрируя ход восприятия впечатлений, зарождение представлений об окружающем, потребностей, желаний, мыслей. Заглядывают, так сказать, под его черепную коробку. Наблюдения облегчаются тем, что у слепоглухонемых психические процессы протекают замедленно, расчлененно. В итоге накапливается бесценный материал для фундаментальных выводов о происхождении того, что мы называем человеческой психикой, сознанием, душой человека.

— А выводы эти общезначимы?

— Конечно, если только у ребенка не нарушены нормальные мозговые процессы.

— И что же дает эксперимент для философии?

— Блестяще подтверждает правоту марксистских положений о чисто социальном происхождении человеческой психики. Воочию доказывает, что человек рождается лишь с ее задатками, которые неминуемо глохнут вне человеческого общества. Известны редкие случаи, когда грудной младенец попадал в условия жизни диких животных и, вырастая в их среде, не мог даже научиться ходить на двух ногах, не говоря уже о развитии у него человеческой психики. Биология сама по себе оказывалась бессильной вдохнуть в него «душу», как и мифический господь бог. Но то были отдельные редкие примеры, они могли еще толковаться учеными так и сяк. Другое дело систематические научные наблюдения в условиях правильно поставленного эксперимента, опровергнуть выводы которого путем умозрительных спекуляций идеалистическая философия бессильна. Результаты эксперимента еще впереди, еще ждут широкого опубликования, но можно не сомневаться в их мировом научном значении. Да, в мировом.

— С чего же начинается зарождение и развитие человеческой психики?

— С ложки.

— То есть как с ложки?

— Фигурально выражаясь, конечно. С обучения самообслуживанию. Ребенка обучают стоять и ходить на ножках, есть сидя на стульчике за столиком, умываться, одеваться и так далее, сперва с помощью взрослых, а затем самостоятельно. Словом, его первые впечатления и представления о внешнем мире связаны с его действиями в человеческой среде, с предметами человеческой культуры, которыми он обучается пользоваться. А уж дальше перед ним открываются одна за другой остальные стороны нашей жизни, причем решающую роль играет овладение словесной речью, бурно ускоряющей развитие человека, его личности. Для слепоглухонемого это сначала речь жестовая, затем при помощи дактильной, пальцевой азбуки, потом письменной азбуки Брайля для слепых; наконец, недавно сконструирован специальный аппарат, телетактор, на котором учитель и вообще каждый, умеющий обращаться с пишущей ма-

шинкой, может со слепоглухонемыми беседовать, читать им книги, лекции.

— И они проходят те же предметы, что в общей школе?

— За исключением пения. Обычное рисование заменяется рельефным. Лепка из глины дает возможность проверять правильность их представлений о предметах, о внешности людей.

— А сколько у нас в стране слепоглухонемых и сколько из них обучаются?

— В стране их немало, а обучаются пока человек пятьдесят с лишним. Еще не все родители знают, что наше государство, единственное в мире, берет на себя воспитание и полное содержание слепоглухонемого. Начал эту работу в двадцатых годах недавно скончавшийся ученый дефектолог Иван Афанасьевич Соколянский, продолжают его ученики — Александр Иванович Мещеряков, слепоглухая Ольга Ивановна Скороходова[1]. Ольга Ивановна умеет говорить вслух, хотя себя и не слышит. С ней и Соколянским переписывался Горький, придававший работе со слепоглухонемыми огромное значение для всего человечества.

— По-моему, у Диккенса я читал о слепоглухой американке. Кажется, и сейчас живет в Америке слепоглухая женщина, чуть ли не писательница. Или я что-то путаю?

— Нет, не путаешь. Диккенс писал в 1842 году про Лору Бриджмен, она первая из известных слепоглухонемых подверглась специальному обучению. А писательница Эллен Келлер жива и сейчас[2]. Клерикалам удалось воспитать ее в духе религии, о ней раструбили по всему свету как о «чуде озарения человека, пребывающего в безмолвном мраке, силой божественного слова». На самом деле Келлер росла девочкой неверующей и весело смеялась, когда взялись внушать ей сказки о сотворении человека богом из горсти земли, женщины из мужского ребра и тому подобное. Потом ей все-таки сумели привить веру в бога. Выдающейся писательницы из нее не вышло, она чаще всего перефразирует вычитанное из книг. Наша Ольга Ивановна далеко обогнала ее

---

[1] А. И. Мещеряков скончался в 1974 году, О. И. Скороходова — в 1982-м.

[2] Э. Келлер умерла в 1968 году.

в образованности, публикует научные статьи, готовит кандидатскую диссертацию по психологии.

— Какой же нечеловеческий труд ей понадобился, чтобы подняться на такую высоту!

— Да, жизнь ее — подвиг. Конечно, слепоглухим все дается неизмеримо труднее, чем нам, зрячеслышащим. Но если ты думаешь, что для слепоглухого, да в конце концов и для всякого человека, самое трудное овладеть науками, учиться в аспирантуре и защищать диссертации, то ты ошибаешься. Труднее всего начальные ступени очеловечения, все та же «ложка». Недаром Лев Толстой говорил, что от пятилетнего ребенка его отделяет всего один шаг, а пятилетнего от новорожденного целая пропасть. Между прочим,— добавил Володя,— некоторые буржуазные психологи объявляют первым шагом к очеловечению овладение словесной речью. Эта ошибочная точка зрения представлена была на сцене наших театров пьесой «Сотворившая чудо»: в ней «озарение» героини, Эллен Келлер, начинается с произнесения ею слова «вода». На деле речь возникает на основе человеческой деятельности. Это лишь в библейских сказках о сотворении мира «по слову божию» вначале было слово. Вначале было дело, в этом гётевский Мефистофель прав.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Кто всю жизнь прожил своей семьей в отдельной квартире, тому не оценить в полную цену ордер на комнату в двенадцать с половиной квадратных метров в новых домах на Ленинских горах, полученный Пересветовым.

Миновав Лужниковский мост и поднявшись на гору в дождливый день поздней осени, супруги сошли с троллейбуса номер 28 и увидели в отдалении справа воздушно-стройную громаду здания МГУ, а слева огромный пустырь, пересеченный отрогами глубокого оврага. За пустырем тянулась гряда многоэтажных домов, овраг пересекала насыпь с будущим бульваром Университетского проспекта, только что засаженным колебавшимися на холодном ветру тощими прутиками будущих развесистых деревьев. У счастливых новоселов достало, однако, бодрой фантазии разглядеть в этом пейзаже залоги светлых дней. Ирина Павловна «ненавидела жить в

центре города» с его повседневными шумами и запахами перегоревшего автомобильного бензина. Она давно лелеяла мечту выбраться когда-нибудь на городскую окраину и связала с Ленинскими горами самые радужные надежды на свежие юго-западные ветры, овевающие нашу столицу большую часть года. С тех пор как ее стареющая мать стала часто болеть, Ариша пополняла недостачу медицинских знаний регулярным просмотром журнала «Здоровье», а теперь считала себя ответственной еще и за состояние здоровья мужа.

Прохожие указали им, где Молодежная улица,— совсем близко, за пустырем,— и пять — десять минут спустя, пройдя широкими и грязными, еще не замощенными проездами между домов, они разыскали нужное им домоуправление и сделались обладателями «своих» ключей.

— Какое счастье! Мы в своей комнате! — ликовала Ирина Павловна.

Вторая, большая комната квартиры, площадью в девятнадцать метров, с балконом, еще пустовала. На следующий день, перебираясь с вещами, они застали в ней тоже супружескую пару: пожилого гражданина в очках и его более молодую супругу.

В бытовых устройствах промелькнула неделя, другая, и Аришино ликование несколько померкло. Партнером ее по кухне оказалась не соседка, приходившая с работы в больнице под вечер усталой, а ее муж, пенсионер, занимавшийся домашним хозяйством. Он первым долгом выразил удивление: за стеной квартируют двое? А в жилотделе ему сказали, что у него будет одинокий сосед. Узнав, что Ирина Павловна здесь не прописана, он принялся хлопотать перед соответствующими органами, чтобы ей воспрещено было здесь хозяйничать и ночевать. Из хлопот ничего не вышло, поскольку прописку Ирина Павловна имела московскую. Тогда на семи кухонных метрах возгорелась холодная война, подробно описывать которую тому, кто смотрел телефильм «Волшебная сила искусства» с Аркадием Райкиным в главной роли, нет надобности. Стол-тумбочка Пересветовых от окна был переставлен вплотную к двери, под потолком протянулась веревка с мокрым бельем. Вечерами Ирину Павловну встречали клубы пара из кипящего на плите без надобности чайника,— а открывать форточку на кухне сосед категорически запретил, боясь

простуды. Единственное, за что Пересветовы могли быть ему благодарны, это за его отказ оплачивать квартирный телефон. Аппарат был установлен в комнате Пересветова как его личный.

Квартирные баталии могли свести с ума, но у наших немолодых молодоженов хватило юмора и оптимизма сносить их около полутора... не месяцев, а лет, подыскивая подходящий обмен. Энергичной Ирине Павловне сначала удалось обменять свою замоскворецкую комнату на другую, в том же доме на Молодежной, где они теперь жили. Оставался шаг до желанной цели: вымененная комната предложена была соседу в обмен на его, примерно равную по площади комнату. Однако он заломил такую сумму в вознаграждение за приобретаемую Пересветовыми «отдельность», что Ирина Павловна возмутилась.

— Ну его к черту! — сказала она в сердцах.— Найдем квартиру получше этой.

Не ограничиваясь повторными объявлениями в рекламном бюллетене и на витринах Мосгорсправки, отклонив ряд предложений из-за разного рода неудобств, она принялась обходить соседние дома, выспрашивая у лифтерш и мусорщиков, не слышали ли они о желающих «разъехаться с соседями»? Уезжать с Юго-Запада Москвы супругам не хотелось. И наконец счастливый случай подвернулся: свои «две в разных» они обменяли в одном из близлежащих домов на отдельную двухкомнатную, притом не стандартной планировки, с длинным широким коридором, с балконом во двор да еще с великолепным видом из окна на здание МГУ.

Торжество их, особенно Ариши, было неописуемым. Она теперь уже по нескольку раз в день восклицала:

— Неужели мы в отдельной квартире?! Какое счастье, Косточка!

Она прозвала мужа «Косточкой» за худобу, которая, впрочем, ее заботами мало-помалу становилась все менее заметной.

Способность радоваться от души малейшей удаче нравилась в Арише Константину, а тут удача выпала из ряда вон выходящая. Николай Севастьянович, навестив их, долго стоял у окна, любуясь панорамой. В бинокль (Аришин, отцовский) можно было рассмотреть крыши домов даже в Кунцеве.

— Здесь вам должно хорошо работаться,— удовлет-

воренно заметил он.— Успокаивает не хуже, чем меня мои синички за окном.

И в самом деле, вид из окна действовал успокоительно. Косте вспомнился сон в госпитале, как он с высокого балкона любуется московскими улицами. Жизнь превзошла мечту, подарив ему Ленинские горы.

На старый адрес Константина пришло объемистое письмо из Ленинграда. От его сестры Люды в нем было несколько строк, зато Федор Лохматов вложил в конверт страниц восемь тетрадных, убористо исписанных.

«Спасибо тебе за дарственный экземпляр романа! — писал Федя.— Сергей у тебя как живой, и вообще всех нас узнаю, хоть и под другими фамилиями. Но не в этом главное, а в том, что тебе удалось перенести меня в ту атмосферу, в какой мы жили в начале той войны, глотнуть воздуха, каким дышали. Большое тебе спасибо! Продолжай писать, нынешним школьникам нужно знать, как мы тогда росли, чему учились. Прочтя твою книгу, мы с Людой пустили ее по кругу своим старшеклассникам. Если можешь, пришли еще два-три экземпляра на сей предмет.

Ты, конечно, не перестаешь удивляться, как это шалопай Федька, па уроках в ремесленном училище отливавший кастеты для продажи хулиганам, отважился на педагогическую деятельность. Думаешь, наверное, что под старость я решил остепениться. Между тем, брат, меня немцы остепенили, укоротив ногу. Поневоле надо было подыскивать оседлую профессию.

Ну и еще ряд соображений... В бытность чекистом я побывал однажды в коммуне имени Дзержинского, у Антона Семеновича Макаренко. Большое впечатление произвели на меня заведенные им порядки. Самых отпетых ребят он ставил на твердую советскую стезю. Кроме того, ведь я за свою бродячую жизнь начинился всякими сведениями, захотелось передать их ребятишкам. Столько лет воевал с призраками прошлого, пора пришла позаботиться о будущем. Ты помнишь, наверное, во времена оны я книги глотал в неудобоваримом количестве. Кое-что в голове осталось. Больше всего читал, пожалуй, из истории, на преподавании этой науки я остановился. Как тебе известно. я прошел после войны

учительские курсы, и меня назначили в одну из средних школ. Только, знаешь, преподавание скоро перестало меня удовлетворять, потянуло к воспитательной работе. Напросился в замы директора по воспитанию, годика через два утвердили директором школы.

Спросишь, чем преподавание меня не устраивало? Такие предметы, как история, литература, очень даже воспитательные, да вот беда: не ощущаешь нужной отдачи. Слушают тебя, уроки учат, на вопросы отвечают, пишут иной раз неглупые сочинения, да ведь знания даешь им не для самих знаний. Думаешь: вот научил их уму-разуму, теперь они знают, как надо жить. Ан нет: знать, как надо жить, это одно, а жить, как надо, это другое. Тут не только знания, но и одного желания мало, нужно еще умение честно жить, привычка. Приобретается ли она в стенах нынешней школы? Во всяком случае, на уроках — в малой степени. Несколько больше во внеурочное время, из общения с товарищами. Одни, пускай большинство, не хочу излишне чернить действительность, выходят из школы с более или менее твердо усвоенными добрыми правилами, но другая часть о правилах забывает, едва перешагнув за порог выпускного класса. И живут каждый на свой лад в убеждении, что ни Павка Корчагин, ни Чапай, ни Олеко Дундич к ним отношения не имеют, задавали и проходили их потому, что программа требует. Да еще хорошо, если преподаватели были сносные, а то иногда получается по анекдоту: «Кто убил Ленского?» — «Евгений Онегин» и наша учительница литературы Лизавета Анисимовна».

Значит, думаю, школа должна учить жить не одними словами. Но как? Тут и пришел мне на выручку до сих пор недостаточно у нас оцененный опыт Антона Семеновича.

Ты возразишь: почему не оцененный? В принципе он сомнениям не подвергался; другое дело, как проводить его в обычной школе, ведь у Макаренко была своеобразная школа-коммуна для бывших беспризорников... К сожалению, такой вот отговоркой отделываются слишком многие деятели нашего народного образования. Поставят в угол портрет Макаренко, откланяются ему по ритуалу, а принципы его сложат за спину портрета на полку, пусть себе покрываются пылью времен. Они, дескать, гожи были «в железные годы», не в наши. Между тем он утверждал, что его опыт может быть при-

менен в обычной школе, только формы применения надо подыскать. Стало быть, нужны эксперименты применительно к нынешним школам. И вот я пришел к мысли о таком эксперименте и провожу его в жизнь с начала текущего учебного года.

Ты знаешь, что XX съезд партии принял решение об организации у нас, наряду с обычными средними школами для приходящих учеников, сети школ-интернатов для детей-сирот и тех детей, воспитание которых родители пожелают доверить государству. Условия в интернатах показались мне подходящими для задуманного эксперимента, и я добился перевода в один из них, открывшийся в Ленинграде минувшей осенью.

Главным новшеством в моем педагогическом эксперименте я считаю разновозрастные отряды по образцу макаренковских, сформированные из учеников с четвертого класса по десятый. В чем тут основная воспитательная идея? В том, чтобы по возможности возместить воспитанникам отсутствие привычного домашнего очага, используя послеурочный их досуг для полноценной подготовки к будущей жизни взрослых советских граждан.

В школе для приходящих ученик проводит среди сверстников-одноклассников лишь часы уроков, возвращаясь после них в семью к родителям, братьям, сестрам. В интернате же он проводит круглые сутки в рамках коллектива одногодков, с которыми сидит на уроках за партой: в помещении класса готовит заданные уроки, в отведенной классу спальне спит, рядом с одноклассниками садится за обед и ужин.

Теперь смотри, что выходит. Возрастное разобщение ребятишек на уроках оправдано целями последовательного усвоения школьных программ. Но где основания изолировать возрасты один от другого во внеучебные часы? Разве это разумная подготовка к будущей взрослой жизни в семье, на производстве, всюду? Ведь там вокруг человека будут не одни его сверстники, так зачем же такое искусственное вырывание подростка и юноши из естественной для его роста и развития среды на весь длительный школьный период? Нелепость!

Между тем отменить эту нелепость в интернатах люди не решаются. Уверяют, будто одноклассникам легче вместе уроки готовить: легче списывать друг у друга — это да, выезжать всем классом за счет лучших уче-

ников. А в разновозрастном отряде за младшими постоянный глаз старших, комсомольцев; они помогут малышу решить задачку, если сам не сумеет, объяснят непонятное, как это дома делают старшие, но сдирать у товарища не дадут, чтобы не позорить этим своего отряда в соревновании с другими отрядами за школьное знамя. В честном отношении каждого к урокам заинтересован у меня весь отряд, потому что за чью-либо провинность у нас при подведении итогов соревнования убавляют очки всему отряду. Своего рода круговая порука,— а в классе ее механизм действует шиворот-навыворот: кто списывает, того покрывают да еще отдуют, если кто вздумал наябедничать учителю. Такова традиция веков, и без разновозрастных отрядов одолеть ее трудно.

Или вот еще опасаются, как бы старшие не стали колотить или эксплуатировать младших. Как будто речь идет о бурсаках времен Помяловского или о воспитанниках кадетских корпусов царского времени, а не о комсомольцах Советского Союза. Паршивые овцы, конечно, в любом стаде могут завестись, разве среди одногодков их не бывает? Как раз наш отряд воспитывает у старших чувство ответственности за порученных им малышей, готовит их к роли отцов и матерей в не столь уж отдаленном будущем... Младших же повседневное соседство со старшими заставляет умерять и вводить в границы свою шаловливость.

Извини, дорогой Костя, отнимаю у тебя время на чтение про то, что у меня болит, но, зная тебя, рассчитываю, что мои нынешние дела тебе не будут безразличны. Увидимся — расскажу о них подробнее, а пока хватит. Жду такого же письма о твоих делах, в том числе литературных.

Целую крепко! Передай, пожалуйста, сердечный привет незнакомой мне Ирине Павловне и твоим детям. Как-нибудь выберусь в Москву.

Твой Федор».

Хотя Константин и преподавал в вузах, в педагогике он считал себя профаном и Федино письмо решил показать Дмитрию Сергеевичу. В одну из поездок на Ленинградский проспект к детям он застал у них Варевцева. Прочтя письмо, тот сказал:

— Возможно, ваш друг в чем-то прав, опыт и учение Макаренко должны применяться в наших школах. Но

проблема воспитания дело специфическое, требует особых исследований. Меня она занимает в другом аспекте, со стороны учебно-образовательной. Мы пытаемся разработать такие программу и методику, которые стимулировали бы формирование личности учащегося, уча его научно мыслить. В конечном счете, этим мы также учим его жить, не замыкаясь в узких рамках своего практического опыта, а используя научно-обобщенный опыт всего человечества.

— А если бы те и другие искания объединить в одной школе? — несколько наивно предложил Пересветов.— К эффективно поставленным учебным занятиям добавить еще и разумно построенную ученическую организацию, помогающую педагогам в воспитательной работе. Или хотя бы для начала вам обменяться опытом с Федором Лохматовым?

— Когда-нибудь, может быть, и появится такая школа, но, знаете, до этого еще далеко,— возразил Варевцев.— На первом этапе мы начинаем с учебного эксперимента в его чистом виде, не осложняя посторонними исканиями. Не потому, что мы в принципе их исключаем, нет, но сверять результаты нам необходимо с обычной школой, где никакие новшества не вводятся, иначе итог не будет доказателен. Да и работаем мы пока что с начальными классами, которые в отряды Лохматова не входят. Поэтому контакты ни ему, ни нам сейчас пользы не принесут, лишь отвлекут обе стороны от собственных задач.

Итак, Федина затея у Дмитрия Сергеевича особого интереса не вызвала. Константин показал письмо Владимиру. Тот заметил:

— Опереться в воспитательном процессе на старших учеников — идея стоящая. Но знаешь, между прочим, какие воспитатели вот уже полтораста лет практикуют ее в реакционных целях? Английские аристократы. Это, разумеется, нисколько не порочит идей Макаренко. Он сумел чуждый нам опыт перелицевать в пролетарски-демократическом духе, отбросив его отвратительные черты и развив сторону прогрессивную. В английских частных, так называемых публичных школах, с очень высокой платой за правоучение, новички отдаются под власть учеников старших классов. Те их муштруют, как хотят, приучая к беспрекословному повиновению, порют розгами. Эта «система старшинства» осечки не дает и

своей цели консервировать в обществе сословно-кастовые традиции, в общем, достигает. Из выпускников публичных школ вербуются студенты привилегированных университетов — Оксфордского, Кембриджского, а эти университеты поставляют кадры высшего чиновничества: судей, прокуроров, министров. У Макаренко же все строилось не на унижении личности, не на розге, а на глубоко гуманном подходе, на лучших традициях товарищества. Один и тот же воспитанник, старший или младший — одинаково, сегодня подчинялся, завтра приказывал, в зависимости от поручения, какое даст ему отряд или дирекция. Интересы коллектива стояли превыше всего, дисциплина вырабатывалась сознательная, социалистическая, а не палочная. Интересно, что у Федора Васильевича получится... Во всяком случае, его затея перспективна и симптоматична для данного момента в жизни советской школы.

Среди читательских писем одно, полное восклицательных знаков, особенно взбудоражило Костю: писал его одноклассник по пензенскому реальному училищу Петя Сацердотов:

«Помнишь, Костя, как на Суре в разлив на лодках катались с гимназистками, ты «Дубинушку» запевал, мы подхватывали: «Ты в лесочек сходи, там дубину сломи на поганую царскую спину»? Еще монаха пьяного встретили на островах, он в шалаше ночевал. А помнишь, вы с Юркой Ступишиным приносили мне гектограф прятать от полиции на случай обыска!.. Ты, может быть, не знаешь еще, что Юрка-то Ступишин в 1944 году погиб на фронте...

А помнишь, как мы на переменах дурачились, пели «Бродяга к Байкалу подходит, рыбачью он лодку берет, унылую песню заводит, про родину что-то поет: поет он о Франции милой, где славу оставил и трон, оставил наследника сына и старую гвардию он»?.. А Мечика я тебе адрес даю, ты ему напиши обязательно и книгу свою пошли, у него, в его северной глуши, конечно, и в мыслях нет, что ты мог так чудесно написать про пензенскую реалку! Его и нашего историка Дим Димыча я сразу узнал, хотя они у тебя под другими именами. А помнишь орясину Артюхова, которого расстреляла губчека? По-моему, это его ты вывел в одном из персонажей под

другим именем. Но кого ты взял прототипом для Сережи, я что-то догадаться не могу, наверное, кого-то не из пензяков...»

О себе Петя писал, что после «реалки» окончил Петроградский лесной институт, побывал в геоботанических экспедициях, но вскоре вернулся в родную Пензу и в ней обосновался. Работал по устройству заповедников Среднего Поволжья, затем в пензенском ботаническом саду. Защитил докторскую диссертацию по геоботаническому описанию растительности заповедника «Сосновый бор»; основательно пополнил пензенский гербарий, а в годы Великой Отечественной войны уберег от разорения, добившись передачи его местному педагогическому институту, в котором преподавал. Его усилиями в Пензенской области сохранен нераспаханным целинный участок степной растительности. Теперь Сацердотов на положении пенсионера, вынужден был недавно даже и общественную работу оставить из-за обострившейся болезни сердца. Она пока что не позволяет думать о поездке в Москву, но, может быть, Костя сам приедет в Пензу повидаться? Они с женой, Анной Ивановной, примут его с распростертыми объятиями! С Мечиславом он связи не терял,— раза два в год обмениваются письмами или открытками. Любовь к лесу их неразрывно объединила.

Костя сейчас же ответил старому товарищу. Одновременно написал Мечику и обоим выслал по экземпляру своей книги с авторскими надписями.

Мечислав писал в ответ:

«Дорогой Костя! От твоего письма и романа так сильно повеяло нашей молодостью, что у меня кружится голова и текут слезы! Не знаю, как тебе, а мне никогда после не жилось так легко и беззаботно, как тогда в Пензе, и друзей ближе тебя у меня никогда не было. Я считал, что утерял тебя навсегда, лет двадцать ни слуху ни духу, а время сам знаешь какое, войну пережили страшную, она и здесь к нам подбиралась, на севере. Я с тех пор, как ты у меня был, перевелся в другое место, переписка с тобой оборвалась...

Реалку и охоту нашу с тобой ты описал прекрасно, хотя и не точно,— на то художники, чтобы примысливать что-нибудь. Честно сказать, ты выделялся разными

способностями, но что ты сделаешься писателем, я не предполагал.

С горестным чувством я узнал от тебя об Олиной смерти. Вот была девушка-герой! Как сейчас вижу ее в пестрой косынке рядом с тобой в колонне добровольцев весной 1919 года. За тебя рад, что ты снова нашел подругу жизни, передай ей мой душевный привет.

Моя неразделенная любовь Соня во время войны пела в пензенской опере Людмилу, Татьяну, Княгиню в «Русалке» и другие первые партии. Ну а с Татьяной Ивановной, которую ты видел, когда приезжал на охоту, у нас теперь уже двое сыновей, старший радистом на Северном флоте, младший пошел по моей лесной специальности. По-человечески я доволен своей семьей да и в целом судьбой своей тоже. Работаю сейчас в заповеднике, делаем, между прочим, опыты содержания глухарей в вольерах. Приезжай, посмотришь! Возле заповедника есть кварталы, где разрешен отстрел, так что весной могли бы смотаться с тобой на ток, старину вспомнить.

А что, если списаться с Петей Сацердотовым да встретиться нам втроем в Москве? Болезни сердца я знаю, в нашем возрасте они то прихватят, то отпустят, это и со мной случается; а у них в Москве дочь, они давно ее не навещали.

Несколько лет тому назад я навестил Пензу (видел мельком Соню, постарела, как и все мы. Замуж вышла. В опере уже не поет, преподает пение) — и, ей-богу, многие улицы не узнал! Мою бывшую Поповку, впрочем, разыскал под горой на том же самом месте, она приметна (даже дом наш старый хоть и захирел, а стоит все там же!), а вот твою Малую Федоровку так и не нашел, все новыми домами застроено...

Примите там, в Москве, наши поздравления с первым полетом человека в космос! Молодец Юра Гагарин!..

(С Соней вспоминали старое, тебя, Юркины «Зори». Говорил-то больше я, она помалкивала и вдруг вздохнула и говорит: «Ах, Мечик, у нас тогда были идеалы!»)»

Федя Лохматов выбрался в Москву не скоро. Встреча вышла радостной, хотя он и был сильно удручен: с директорства в интернате ему пришлось уйти.

— Враги живьем съели!

— Враги, говоришь? — подивился Костя. — Неуже-

ли страсти разгорелись вокруг твоего эксперимента?
— А ты думал? Обвиняли невесть в чем.

Если когда-то он напоминал ловкого медвежонка, то теперь, располневший и начавший седеть, опираясь на палочку и слегка прихрамывая на ногу с протезом, вызывал в памяти детскую сказку про медведя «на липовой ноге, на березовой клюке».

— Мальчишка двойки стал получать — разновозрастный отряд винят; малыш расшибся, сорвался с лестничных перил, катясь вниз,— это он в отряде избаловался; попадется в уборной с папироской в зубах — это его в отряде старшие курить научили... Все валить стали на разновозрастные отряды, как будто без них никаких чепе в школах не бывает! И кто валил? Свои же учителя, недовольные «новшествами». Мне бы сначала в педколлектив единомышленников подобрать,— моя ошибка! Так ведь времени не было, учебный год начинался. И кто же знал, что среди учителей, инженеров ученических душ, найдутся такие двоедушники, в глаза говорят одно, а за глаза делают другое? Скажи, как можно доверять таким детей воспитывать? — Федор горестно махнул рукой и заговорил о чем-то еще. Им было что порассказать друг другу о прошедших годах.

После ужина Ирина Павловна постелила гостю в Костином кабинете, и мужчины еще долго толковали.

— Зарезали-таки мой эксперимент,— вернулся Федор к своему больному месту.— А ведь за полтора года у нас начала подниматься дисциплина, да и успеваемость вовсе не падала. Представь себе, исчезли шпаргалки! Летом я вывез своих школьников на один островок под Ленинградом, мы своими силами оборудовали там пионерский лагерь и жили самостоятельным мирком два месяца, поддерживали связь с городом на лодках. Ребята были в восторге, а меня обвинили — как ты думаешь, в чем? В отрыве от родительской и вообще городской общественности, в риске здоровьем школьников, в желании оригинальничать и еще бог знает в чем. А ученический коллектив вернулся с этого необитаемого острова здоровехоньким, веселым и еще более сплоченным, чем был.

Константин заметил, что в лице старшеклассников, пожалуй, действительно могут выявиться резервы, способные подкрепить воспитательную работу учителей. Федор сказал:

— Не одни старшеклассники, а весь ученический коллектив со мной сотрудничал. Посмотрел бы ты, как у меня пионеры друг друга воспитывали! Комсомольцы чувствовали свою ответственность за малышей, но разделения на воспитуемых и воспитателей не существовало. Ведь тут все дело в том, чтобы им было весело и интересно жить, чтобы их скучной формалистикой не засушивать. В отрядах царило равноправие. Каждую учебную четверть мы итоги соревнования подводили, за первые места отряды поощрения получали. И все это рухнуло в тартарары, стоило мне только на полтора месяца слечь в больницу с инфарктом. Возвращаюсь — у меня уже новый завуч (моего прежнего сняли), встречает меня ядовитой репликой: «Федор Васильевич, у нас теперь обыкновенная школа-интернат». Начали они с роспуска совета отрядных командиров, который, видите ли, «вмешивался не в свои дела», школьников развели по классным спальням. Комсомольцы подходят ко мне с унылыми лицами. Подвал мы с ними хотели переоборудовать под школьную мастерскую, думали производство радиоаппаратуры осваивать силами ребят, а смотрю — подвал углем завалили, старые парты в нем одна на другую нагромождены. С директорства не сняли меня, ждали, что сам уйду, ну я и ушел. Назад дело повертывать сил не хватило бы, инвалидом становлюсь... А работать по старинке — увольте, говорю, вкусивши сладкого, не захочешь горького. В районо старались подсластить пилюлю, представить дело в лестном для меня свете, дескать, при твоей энергии все шло как по маслу, а без тебя стало разваливаться, вот и пришлось поворачивать оглобли. Ушел на пенсию. Отдышался немного и вот решил съездить сюда. Может быть, в Москве откроются какие-нибудь перспективы.

— Инфаркт-то с тобой отчего приключился?

— Кто его знает? Раньше не в таких переделках бывал, хоть бы что, а нынче «старам стала, умом плохам», как Пушкин своей жене писал, из Оренбурга, кажется. А знаешь, что меня на создание разновозрастных отрядов подвинтило? — Федор оживился.— Ленинградская блокада. Школа, где Люда была завучем, не прекращала занятий в самые тяжелые дни обстрела и голодовок. Приковылял я к ней из госпиталя в январе сорок второго. На моих глазах ряды учителей все редели: кто ушел на фронт, кто от истощения сваливался и

помирал. И классы редели, школьники уроки пропускали, а потом нам сообщают: тот умер, этот умер. Страшно вспоминать! Осиротевшие жили у нас, некоторых к нам родственники направляли, не имея чем прокормить и отогреть. И у нас в подвале, куда от бомбежек перенесли занятия, сам собой сложился разновозрастный ученический коллектив. Старшие опекали младших, уступали им места у теплой буржуйки; малыш прихворнет, восьмиклассник ему пайку морковного хлеба свою отдаст, хотя самому, рослому, труднее голодать. В общественных делах, будь то добывание дров, утепление окон, доставка воды из канала на санках или раскопка рухнувшего от бомбы соседнего дома, где под развалинами люди,— везде наш детский коллектив работал дружно и часто без нас, взрослых, комсомольцы нас заменяли. Это тебе не просто школьные беседы, как жить, а суровая школа самой жизни. По своей инициативе ребята дрова доставляли замерзавшим в соседнем доме семьям, жестяные бочки им растапливали, воду носили. Черт побери! — Федин голос дрогнул.— После войны я встречал наших ребят повзрослевшими... и девчат тоже, ведь у нас были и школьницы,— так каждый раз я точно с однополчанами по фронту вижусь. Из каждого и из каждой, уж в этом ты мне поверь, вышел настоящий советский человек.

Костя предлагал Федору остановиться у них на все время пребывания в Москве.

— Вот только подоконник у нас поуже, чем тот, на котором ты спал в двадцать третьем году в общежитии ИКП на Крымской площади,— пошутил он.— Но, может быть, примиришься с обыкновенной постелью.

Тот, однако, поблагодарил и отказался, его вещи уже в гостинице, где-то за ВДНХ.

— Мне придется по Москве рыскать без расписания, не хочу Ирину Павловну затруднять моей персоной. Хочу заглянуть в здешние интернаты, потолковать кое о чем в Мосгороно.

Через несколько дней он привел к Пересветовым сравнительно молодого педагога, недавно назначенного директором одной из московских школ-интернатов, и представил его как своего единомышленника.

— Я уж подумывал, не один ли это я в поле воин,

с ума спятивший авантюрист, решивший лбом стену пробивать? Ан нет, существуют, оказывается, и без меня энтузиасты макаренковских методов воспитания.

— На ловца, значит, и зверь бежит? — пошутил Пересветов, пожимая твердую ладонь крепко скроенного невысокого мужчины, шатена со смуглым лицом южного типа. С висков на скулы спускались у него подбритые, скорее символические, чем настоящие бачки, а над выпуклым лбом обозначалась по направлению к макушке лысинка.— Вы меня извините за непроизвольный экскурс в область зоологических сравнений,— счел нужным добавить Константин.

— Ничего, нам с Федором Васильевичем нужно уметь кусаться,— отшутился тот и представился: — Леонард Леонович До́линов.

— Стало быть, и вы патриот разновозрастных отрядов?

— Эти отряды лишь один из элементов системы Макаренко. В интернате, который я принимаю, пока еще их нет, думаем завести.

— Мосгороно и районо об этом вашем намерении знают?

— Конечно. В Москве сейчас начинаются поиски нового. Такие отряды уже есть, например, в одном из интернатов в Химках.

— Возникают в порядке частной инициативы?

— Навязывать эксперименты никому, конечно, нельзя. Тут нужен энтузиазм, заинтересованность в успехе.

— Идейная заинтересованность,— уточнил Лохматов.— Преданность идеям Антона Семеновича.

— А что вы считаете главным у Макаренко?

— Принцип воспитательной работы в школе через ученический коллектив,— отвечал Долинов.

— То есть самовоспитание учащихся?

— Можно и так сказать, но самовоспитание под руководством учителя, разумеется, взрослого воспитателя. Он направляет работу учеников, исправляет их промахи, в то же время старается по возможности ни одного серьезного воспитательного мероприятия не проводить в обход ученического коллектива. У нас широко популяризуется опыт Василия Александровича Сухомлинского, директора павлышской средней школы на Украине. В его методике главное — непосредственное

нравственное влияние учителя на учащихся, индивидуальная работа с каждым, личный пример учителя. Однако любая воспитательная мера еще эффективней, когда проводится через ученический коллектив, с вовлечением школьников в организованное коллективное действие, воспитывающее сильнее словесной дидактики. Цель, разумеется, одна, к ней с разных концов ведут оба пути, они перекрещиваются, а на практике один — силою вещей все-таки выдвигается сейчас на первый план. Какой из двух? По-моему, работа через ученический коллектив.

— Вот на этом мы с Леонардом Леоновичем сошлись,— сказал Федор.— Встретились в гороно, ожидая приема у завотделом школ-интернатов. Сухомлинского превозносят по заслугам, но нельзя же им затенять фигуру Макаренко.

— Не все вопросы интимной жизни ученика позволительно выносить на обсуждение коллектива,— продолжал Долинов.— Тут Сухомлинский прав, он писал об этом. Тут нужен такт. Однако мы обязаны считаться с реальностью сегодняшнего дня. Посудите сами, могу ли я, принимая сейчас интернат, поставить главную ставку на проведение гуманнейших идей Сухомлинского сорока двумя моими педагогами? Все ли они подготовлены для этого? Очевидно, требуется время, да еще вопрос, удастся ли всех переучить в нужном направлении. Нужны новые, молодые кадры. Провести же организационную работу с ученическим коллективом я могу немедленно, а уж на почве этого потом и все остальное. Выбор, с чего начинать, для меня ясен. Очевидно, и в масштабе страны разбудить общественную активность школьников, развивая их самоуправление и соревнование, можно быстрее, чем переучить трехмиллионную массу учителей работать по Сухомлинскому, на что требуются годы и годы. Кстати сказать, у Федора Васильевича его эксперимент не сторонники методики Сухомлинского сорвали, а противники вообще всяких новшеств и перемен, привыкшие работать по старинке. «Шкрабы», словом. Школьные консерваторы. Они, я думаю, и Сухомлинского не очень-то почитают.

— Почитают,— возразил Лохматов.— На словах они и Макаренко почитают. Поговори с ними, так они «в принципе» за все новое, современное, только сами пробовать его не хотят, ждут, пока им другие разжуют

да в рот положат. Или зубы на нем сломают... Ты, Костя, здесь, в Москве, Леонарда Леоновича из поля своего зрения не выпускай. Потолкуй с ним, он сочинения Макаренко и Сухомлинского назубок выучил, а я ведь больше с практической стороны к ним прислонился.

— Не слушайте его, Константин Андреевич, он прибедняется. Я еще только впервые берусь за интернат, а он...

— А он уже на одном интернате обжегся, хотите вы сказать? — подхватил его реплику Федор.

— Все мы на чем-нибудь обжигались, не в этом суть... За битого двух небитых дают.

— А где вы раньше работали? — спросил Пересветов Долинова.

— Воспитателем в Нахимовском училище, в одном из южных городов. Я пединститут окончил, в училище историю преподавал. А заодно еще гимнастику.

— Вот тебе, Костя, и родная душа сыскалась! Историк и спортсмен. Ведь он когда-то заядлым футболистом был,— кивнул Федя на Пересветова.

— Ну футбол теперь даже мне не по годам, не говоря про Константина Андреевича.

— А вам сколько лет?

— В прошлом году разменял пятый десяток.

— Счастливец! — вздохнул Лохматов.— Кабы мне сорок один, я не на одном бы еще интернате обжегся. Не побоялся бы второго инфаркта.

— Федя,— сказал Константин,— я после нашего прошлого разговора думал о разновозрастных отрядах. Пожалуй, наш с тобой личный опыт в их пользу говорит. Пошел бы ты в революцию, если бы собраний нашего кружка, лежа на печке, не подслушивал? Если бы тебе Сергей «Капитал» Маркса не давал читать? Выходит, на квартире у твоей тетки Прасковьи Илларионовны у нас нечто вроде разновозрастного отряда складывалось. И в моей судьбе тот же Сережка Обозерский огромную роль сыграл, а он на три года старше меня был и несравненно начитанней. Да и с отцом я в Казани жил на хлебах в компании старшеклассников и студентов, что-то в меня от них западало.

— Не сомневаюсь, Костя, у нас с Леонардом Леоновичем в союзниках сама жизнь, она свое возьмет. И в обычной школе, не в интернате, общеученическая общественность, объединяющая школьников разных клас-

сов,— те же учкомы,— должна немалую воспитательную роль сыграть. Это неплохо, что мы с вами,— обратился он к Долинову,— не принадлежим к сонму старых шкрабов, сжившихся с рутиной, не способных взглянуть на судьбы школы со стороны. Не знаю, существует ли общественный аппарат консервативнее школы. Сдвинька с места махину в сорок миллионов учащихся с тремя миллионами педагогов...

— Двигать школу партия будет руками молодежи, пришедшей из педвузов. Я приглядываю себе таких, пусть не очень опытных для начала, лишь бы не косных и, главное, не равнодушных к делу...

В министерстве просвещения шло одно из педагогических совещаний с представителями местных органов образования. Лохматову по его просьбе разрешили выступить и поделиться своим опытом работы в интернате.

— Слушали не без интереса,— рассказывал он Косте.— Но придрались к формулировке и приписали мне, будто я Макаренко противопоставляю Сухомлинскому. А что я сказал? Что цель у них в принципе одна, а методика, сказал я, в принципе разная. Вот это второе «в принципе» меня и подкузьмило. Кто-то заявил, что «только враги советской педагогики могут противопоставлять Макаренко Сухомлинскому». Это называется меня поняли! Во враги записали. Я потребовал, конечно, слова, объяснил, что хотел сказать, но вопрос о разновозрастных отрядах, о чем единственно по поводу моего сообщения стоило толковать, был уже скомкан. В общем, получился у меня в Москве первый блин комом.

— Но ты подчеркнул, что оба подхода вполне совместимы?

— Конечно, одно другое дополняет. Говорил, что оба метода воспитательной работы в советской школе мы проводим и будем проводить.

— Ну какой же ты враг советской педагогике? Тебя просто не поняли. Скажем, на лекции или на консультации профессор лично контактирует со студентами, а на семинаре руководит их коллективной учебной деятельностью. Зови эту разницу методически принципиальной или не зови, дела не меняет, одно с другим пре-

красно сосуществует. Так что никакой ты ереси, помоему, не высказал.

Провожая Федора на Ленинградский вокзал, Константин рассказал ему об учебных замыслах Варевцева с его товарищами. Федя скептически покачал головой:

— Ой, не мудровать ли они собираются над ребятишками? Слыханное ли дело алгебра с первого класса? Да я и в последнем классе по ней колы схватывал. И сейчас, пожалуй, уравнения с двумя неизвестными не решу.

— Так, может быть, потому не решишь, что нас плохо учили? Давай, Феденька, повременим годик-другой с выводами. Ты же сам из породы экспериментаторов, должен понимать, что цыплят по осени считают. Умозрительно такие вопросы не решаются.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Наступил день, когда Николай Севастьянович сказал:

— Вам пора вступать в Союз писателей.

— Да?.. А примут ли меня с одним романом?

— Почему с одним романом? А сколько статей у вас было в центральной и местной печати? Книги издавали по истории. Вы в литературе человек не новый. И вопросы литературы, если мне память не изменяет, вы в статьях, случалось, затрагивали.

— Вы думаете, это должны учесть?

— Безусловно. Да если бы и с одним романом: он принят читателем и советской общественностью. Вам необходимы три рекомендации от членов союза, считайте, что две есть: моя и Павла Алексеевича Буланова. Я говорил с ним.

— Спасибо, Николай Севастьянович! — с чувством сказал Пересветов.— Сам я вряд ли решился бы заикнуться об этом... Но кто же третий?

— Кажется, вас знает Михаил Васильевич Исаковский? Почему вам к нему не обратиться?

— Он слушал первые главы еще в черновике. Недавно я дал ему экземпляр книги, он тепло отзывается.

— Так в чем же дело? Хотите, я ему сейчас, при вас позвоню?

Он взял трубку, и через несколько минут вопрос о третьем рекомендателе был решен.

Роман Пересветова и его кандидатура были обсуждены сначала на бюро творческого объединения прозаиков, а затем на приемной комиссии Московской писательской организации.

На комиссии вопрос решался, по заведенному порядку, в отсутствие претендента. Заслушали три письменных рекомендации, две рецензии на роман. Рецензенты высказывались единодушно — с этой книгой можно приходить в Союз советских писателей. Но один из членов комиссии заметил:

— Что товарищ Пересветов опытный журналист и писать умеет, это мы знаем. Жизнь он прожил достаточно интересную, так что не удивительно, если он сумел написать неплохой, по существу автобиографический роман. Однако вопрос вот в чем: не останется ли эта книга единственным художественным произведением в его биографии? Есть ли у нас твердая перспектива приобрести в его лице действительно писателя?

— Мы, его рекомендатели, ручаемся за него,— воскликнул присутствовавший на заседании Николай Севастьянович.

— Я не предлагаю в приеме отказать. Но не будет ли осмотрительнее попросить кого-нибудь из членов приемной комиссии дополнительно ознакомиться с романом «Мы были юны»? — Он указал на сидевшего за тем же столом известного писателя.— Ознакомиться именно в свете высказанного мной мнения. Поймите, Николай Севастьянович, я говорю не в обиду вам, я хочу лишь максимально гарантировать всех нас и, если хотите, самого Пересветова от возможной ошибки. Разве не бывало случаев, что мы принимали иной раз в союз авторов, ничем впоследствии не обогативших художественную литературу?

Его предложение было утверждено. Вопрос о приеме Пересветова решили отложить. Николай Севастьянович с досадой сообщил об этом Константину Андреевичу. А тот принял известие более спокойно:

— Может, и правда, я больше ничего дельного не напишу. Смотрите, как у меня туго подвигается второй роман.

— Ну вы Фома неверующий...

Через месяц Пересветова в Союз приняли. Авторитетный член комиссии признал литературное дарование автора несомненным, похвалил язык произведения;

книга написана правдиво и «от сердца»,— в общем высказался «за».

Процедура принятия в союз заставила Константина Андреевича еще и еще раз проверить себя, насколько по плечу ему новая профессия. При всей давнишней тяге к писательству, он понимал, что руководит им в конечном счете не она сама по себе, а его убеждения коммуниста. Ему странно было прочесть в мемуарах одного маститого писателя, что в молодости его порой охватывала жажда «писать о чем угодно», лишь бы писать. Такого с Костей не приключалось, разве что в отрочестве, да и тогда его тянуло больше к пению, рисованию, чем к стишкам. Его первая рукописная повесть с лермонтовским названием «Герой нашего времени» родилась из пережитого им в еланских ученических кружках и в тюремной одиночке. Увлечься аполитическим литературным трудом, так сказать, «искусством для искусства», ему не довелось. Он допускал, что журналистика в какой-то степени затормозила развитие его художественных способностей, зато укрепила его на пути, который был для него единственно приемлемым и в жизни, и в литературе,— пути коммуниста.

А есть ли у него талант, нет ли и какой силы его литературное дарование — пусть судят другие, писать он все равно не перестанет.

Тема второго романа далась Пересветову не сразу. В госпитале, работая над первым, он полагал как само собою разумеющееся, что проведет Сергея через Великую Отечественную войну. Военная тема и спустя десятилетие оставалась одной из магистральных, но уже тогда о войне написано было столько яркого и впечатляющего, что вряд ли он смог бы прибавить что-то новое и стоящее. Боев с нынешней военной техникой, с танковыми атаками он, оставаясь все четыре года на политико-просветительной работе во фронтовых частях, так и не повидал. Не писать же о них из вторых рук.

Кое-что написанное пришлось порвать. Константин решил, что исходить он должен не из значимости темы, а из своего личного «НЗ», неприкосновенного запаса собственных переживаний, лишь из него сможет он «отколупнуть» от жизни что-то, упущенное писателями до него. Его внутренняя жизнь и еще у́же — идеологи-

ческая, мировоззренческая, от которой он, кажется, не отрывался ни на час, где бы он ни находился и что бы ни вершилось вокруг,— здесь его творческий резерв. Его он и должен не скупясь израсходовать на развитие Сережиного образа.

Внешние события никуда не уйдут, он их подыщет для обрамления идейной жизни. Но какие же все-таки события? Без них нельзя. Какую конкретную тему выбрать?..

Партия звала к активному вторжению в жизнь, призыв к темам современности непрерывно раздавался со страниц печати, звучал по радио, по телевидению. Антонина Григорьевна, которую он изредка встречал в Доме литераторов и в Союзе писателей, советовала ему «не зарываться в прошлое». Сама она публиковала рассказы и очерки на современном материале, поднимая вопросы морали и нравственности. Константин Андреевич понимал важность современной тематики, но осилит ли он ее?

— Конечно,— отвечал он Антонине Григорьевне,— читатель ждет от нас произведений в первую очередь о нем самом. Да ведь и в прошлом ему разбираться нужно, чтобы понять окружающее и видеть перспективы будущего. Вон на съезде писателей РСФСР говорилось, например, о «зияющем провале» в нашей нынешней художественной литературе, почти не освещающей историю русской революционной интеллигенции. Горький создал классический тип русского буржуазного интеллигента, Клима Самгина, а много ли в нашей литературе типов интеллигентов-большевиков, изображенных с такой же полнотой? Кому же закрывать эту брешь? Молодому поколению писателей или тем «старикам», которые сами были причастны к истории революционной интеллигенции? Один из таких стариков я. Наконец, я все-таки был историком, зачем же мне бросать на ветер свои знания? Я обязан попытаться хотя бы частично закрыть, так сказать, своим телом эту «амбразуру»... Пусть пишут о нынешней жизни, кто помоложе и лучше меня ее знает.

Николай Севастьянович, не переставая принимать близко к сердцу Костины литературные замыслы, сказал однажды:

— Вы изучали Ленина, по его произведениям составили хрестоматию, его выступления слушали. Почему

бы вам не посвятить себя книге о нем? Ведь пишут же другие, меньше вас о нем знающие.

— Пусть пишут,— отвечал Пересветов.— Значит, уверены, что могут его написать, а я не уверен.

— Вы считаете, чтобы написать великого человека, нужен великий писатель?

— Во весь рост написать?.. Горький и тот оставил нам о Ленине только мемуарный очерк. Я еще мог бы писать Ленина извне, со стороны его слов, отдельных поступков, но чувствовать и мыслить за него, без чего объемный портрет создать трудно, вести так называемый внутренний диалог или монолог Ленина, на что отваживаются некоторые авторы,— это я не считаю для себя возможным.

— А вы пробовали?

— Нет, и не хочу пробовать. Чтобы не сфальшивить. Я понимал Марию Ильиничну, когда она при мне однажды выразилась примерно так: «Володя бывал очень разный, хоть и оставался всегда самим собой. Вряд ли это сможет точно передать актер, даже самый талантливый. Создадут одностороннего человека и будут его играть, а Володя был шире...»

— Я думаю,— сказал Николай Севастьянович,— поживи Алексей Максимович подольше, он написал бы нам Ленина во весь рост.

— Возможно. Он-то знал его не так, как мы с вами. И все-таки как раз пример Горького учит писателей ответственности за свое печатное слово. Смотрите, ведь он прожил после Октября девятнадцать лет, горой стоял за Советскую власть и за нашу страну в своих статьях,— а художественную советскую тематику все еще только вынашивал. В пьесах и в «Климе Самгине» дальше тысяча девятьсот семнадцатого, к сожалению, не успел шагнуть...

В одном Константин не решился признаться старому писателю: что он завидует смелости тех, кто берется писать о Ленине.

Наконец пришло решение: он сделает Сергея делегатом X съезда партии, участником подавления кронштадтского контрреволюционного мятежа!

Сам Константин ни на X съезде, ни на кронштадтском льду не бывал, но что за беда? Слышал рассказы участников событий, а главное, первые месяцы двадцать

первого года в его памяти живы, точно вчерашний день. Навязанная партии Троцким дискуссия о роли профсоюзов, переход к новой экономической политике — именно в этих событиях испытывалась Костина верность ленинскому учению, именно тогда он идейно взрослел и сумеет раскрыть перед читателем Сережины переживания. В каком-то эпизоде сумеет свести его с Владимиром Ильичем...

«Кронштадтскую» тему Костя издавна считал непреходяще современной, пока остается опасность чуждых классовых влияний на коммунистов. В институтские времена мечтал посвятить ей когда-нибудь монографию, может быть, диссертацию; не выкроил досуга,— ну что же, напишет теперь роман. А в третьем романе о Сергее, если удастся его написать, проведет Сережу через перипетии позднейшей борьбы партии за ленинское учение против троцкистов...

Он поделился созревшим замыслом в письме к Феде и встретил с его стороны полную поддержку. Федор звал его в Ленинград, обещал свести с участниками подавления мятежа, свозить в Кронштадт. Сам Лохматов в двадцать первом году дрался с бандитами-антоновцами на Тамбовщине.

Пересветов с жаром принялся за изучение исторических источников, посещал библиотеки, архивы, съездил в Ленинград, побывал в Кронштадте. В городе Ленина многое напомнило ему бурный 1926 год, когда он работал в «Ленинградской правде». Захотелось наведаться на памятный ему по борьбе с зиновьевской оппозицией Кировский завод, в двадцатых годах еще носивший имя Путиловский. Федора Ивановича Лучкова, путиловца и балтийского моряка, с которым Костя прошел по фронтам гражданской войны, уже не было в живых, о его гибели от фашистской бомбы во время блокады Пересветов знал от сестры. Но теперь по телефону ему сказали, что сын Лучкова, инженер, работает начальником одного из цехов.

— Алексей Федорович наш, заводской,— говорили ему в парткоме.— Отец привел его к нам мальчонкой, отдал в фабзайчата, в ученики; Леша у нас рабочим стал, потом заочно институт окончил... Он член нашего партийного комитета.

Созвонившись с Лучковым-сыном, Константин по его приглашению приехал на завод. Алексей помнил расска-

зы отца про «теорика» — комиссара батальона, которым Лучков командовал. Отцовских усиков колечками сын не носил, лицо его было гладко выбрито; в вырезе теплого свитера (дело было зимой) виднелся узел цветного галстука. «Вот уж чего его отец сроду не надевал»,— с внутренней улыбкой подумал Костя. Ростом Алексей хоть и был невысок, коротышкой все же не выглядел. Такой же смуглый и чернобровый, унаследовал и отцовскую ширину плеч; в фигуре была основательность, но в движениях медлительность, чуждая стремительному живчику, его отцу. Медлительность эта напомнила Константину его собственного сына, Владимира, и он опять мельком сказал себе: «Дети непохожими на нас растут...»

Он считал, что ему самому лично из двух необходимых большевику качеств — революционный размах и деловитость — второго определенно недостает, и с удовлетворением отмечал его у представителей нового поколения. Алексей Лучков производил впечатление человека в высшей степени делового. Пока они сидели за столом в его кабинете, то и дело раздавались позывные гудки зуммера; начальник цеха брал телефонную трубку и, выслушав подчиненного, отдавал краткие точные распоряжения, не повышая голоса и не теряя нити разговора с гостем.

В цехах бывшего Путиловского завода, по которым Алексей Федорович его провел, на их глазах сошел с конвейера великан «Кировец». Рядом с ним его заводской родоначальник «Фордзон-Путиловец» 1924 года выглядел бы, как лилипут перед Гулливером. Потомок нес в себе не десятки, а сотни лошадиных сил. На Костиных глазах огромные, толстые, раскаленные докрасна железные балки с шумом ползли вереницей вдоль громадного нового цеха, и жар от них доходил даже до галерейки, откуда любовались на них Пересветов с Лучковым. Цех казался Косте безлюдным, пока Алексей Федорович, видя его недоумение, не кивнул в сторону застекленной кабины, откуда молоденькая девушка похозяйски управляла громоздкими механизмами...

Покидая завод с чувством признательности молодому Лучкову, Константин остро осознал себя неким реликтом, остатком далекого прошлого,— так поразил его контраст между заводом двадцатых годов и нынешним. А между тем это был тот же самый завод.

...Личный сюжет Пересветов строил на столкновении Сергея с одним из бывших офицеров царской армии, эсером, вместе с которым они в феврале 1917 года на фронте поднимали полк на восстание против царизма, а четыре года спустя очутились в разных лагерях. Их разделил — и свел в бою — кронштадтский лед.

Изображение социальной и политической подоплеки мятежа, как и описание самого хода событий, для Константина Андреевича трудностей не составляло. Партийную, рабочую, солдатскую, отчасти и матросскую среду он знал по годам революции и гражданской войны. Федор Лучков стал прототипом вожака большевистской прослойки матросов в самом Кронштадте. Но вот на изображение белогвардейских вожаков мятежа и их заграничных хозяев красок, достоверного бытового материала ему не хватило, они получались бледнее и схематичнее, чем хотелось бы.

— Понимаете,— с досадой говорил он Николаю Севастьяновичу, бравшему у него некоторые главы на ознакомление,— личная жизнь удалась мне только у Сергея да у Лучкова. Остальные орудуют на политической сцене — и от нее ни на шаг. Точно марионетки, которых я за ниточку дергаю.

— Так вы же не бытовой роман пишете, политический.

— Но удовлетворения такого, как от «Мы были юны», я не получаю. А ведь и тот роман можно считать политическим.

— Ну там вы писали о событиях, в которых сами участвовали.

— В том-то и дело: как чуть отошел от автобиографической канвы, если не считать дискуссию о профсоюзах, полноценно не получается. Писательского опыта не хватает.

— Приобретете опыт, приобретете.

— Да ведь читателю до меня дела нет, прочтет и скажет «плохо».

— Почему плохо? Вы не расстраивайтесь, я уверен, с интересом читаться будет.

Предвидение старого писателя оправдалось: роман «Кронштадтский перевал» вызвал неплохие отзывы в печати. Правда, читательских писем пришло не так мно-

го. Факт оставался фактом: автору он больших радостей не принес.

Флёнушкин, которому Костя выслал экземпляр в Казань по почте, откровенно ему написал: «Роман, конечно, слабее первого, хотя читается гладко и поучительно».

«Может быть, с исторической точки зрения так оно и есть,— отвечал ему Костя,— а с художественной? Тут, брат, вопрос принципиальный о соотношении общественного и личного в жизни и в литературе. В романе хочется изобразить живых людей, а не просто носителей идеи, стало быть, обязательно вникать в их психологию. Уж не говорю о чужаках, кого по себе не знаю,— и своих-то полносочно написать нелегко. Ты думаешь, Дзержинскому приятно было подписывать смертные приговоры даже злейшим врагам? Разве чекист, приводивший их в исполнение в кронштадтских подвалах, не уродовал этим ради революционной идеи хоть отчасти свою психику? Не преследовали его после этого ночные кошмары? А в кронштадтской теме столько смертей... Вряд ли я смогу когда-нибудь еще раз осилить подобную тему.

Честно сказать, надо мною, должно быть, тяготеет инерция прежних лет, когда мы дрались с врагом, так сказать, чем попало и о своих слабостях избегали писать, чтобы самим еще больше не расслабляться. А слабости-то эти были проявлением человечности, равно как и необходимые по отношению к врагу жестокости. Об этом был у меня разговор с Федей Лохматовым. Я хотел его включить в «Кронштадтский перевал», но мы с ним решили, что хватит одного Лучкова. И вдаваться в психологию тогдашних чекистов он не посоветовал: «Зачем, говорит, старое ворошить, пусть наше с нами и умрет». Ему ведь приходилось людей расстреливать...

Понимаешь, литература бьется, в конце концов, извечно над той же самой загадкой, что и отдельный человек: над сочетанием личного и общественного, часто впадая то в одну, то в другую крайность. Классовый смысл того и другого «уклона» в литературе (соответственно жизни) одинаков — буржуазность, мещанство — либо явное, либо прикрытое в литературе фразой в духе «левого», блаженной памяти, напостовства голое социологизирование...»

...Историческое издательство предложило Пересветову доработать для печати рукопись о царской России. Он подумал, прежде чем отказаться. Но перспектива «зарыться в архивы» ломала его планы довести до конца романную трилогию о Сергее.

Однако, пока третий роман не начат, не попробовать ли на историческом материале, который лежит у него в шкафу без движения, написать еще один роман? Его добровольный консультант Николай Севастьянович считал, что проба пера на тематике, совершенно не касающейся автобиографии, будет Пересветову как писателю не бесполезна. Это соображение решило, и он начал писать «Бесстыжий закон», соблазнившись перспективой перенести читателя в Таврический дворец на заседания Второй думы, где большевики проводили тактику «левого блока» с трудовиками, крестьянскими депутатами, против кадетов и правых; на тайные сборища министров, подготовлявших закон 3 июня 1907 года, который Николай II, утверждая проект, назвал «бесстыжим». Не изменяя порядка выборов, закон попросту урезал число депутатов от крестьян и рабочих, увеличив представительство помещиков и буржуазии. Не надеясь провести такой закон через думу, ее в нарушение конституции, в порядке государственного переворота сверху попросту разогнали.

Роман предполагалось закончить убийством Столыпина в присутствии царя в Киевском оперном театре агентом охранки Богровым в 1911 году. Но Пересветов не смог его дописать. «На половине бросил,— писал он Сандрику.— Почувствовал, выходит какой-то историко-беллетризованный гибрид, и зарекся от таких попыток на будущее. Хорошо, что от заключения договора воздержался, а то бы пришлось аванс возвращать».

Тот человек большой эгоист, кого под старость не мучают размышления о судьбах молодежи. Лохматов писал Пересветову о ленинградском учебно-производственном комбинате, про начатую ленинградцами работу по воспитанию детворы в микрорайонах города. Сам возился с детворой по месту своего жительства. Пересветов по его просьбе позванивал, иногда и заходил к Долинову узнать интернатские новости, чтобы написать о них Феде.

А у Долинова в интернате на окраине Москвы дела сначала шли со скрипом. Его предшественники не сумели ни сколотить дружного педагогического коллектива, ни наладить дисциплину в школе. Хозяйство трещало по швам; парты изрезаны были надписями, стекла в окнах исполосованы трещинами, засижены мухами, спальни загрязнены. В первый же день на стол нового директора легли заявления об уходе половины учителей. Надо было предпринимать что-то чрезвычайное, чтобы дело не развалилось на ходу.

— Товарищи, не вешать носа! — храбро заявил новый директор на педсовете.— Скоро мы с вами заживем как при коммунизме! — Такое начало речи вызвало скептические улыбки.— Никого из вас не отпущу, а кто уйдет — тот пожалеет. В нашем интернате мы, педагоги, будем иметь два выходных дня в неделю. С будущего года почти рядом открывается станция метро. Введем разновозрастные отряды...

И далее на той же высокой ноте. Рассказывая об этом Пересветову в конце учебного года, он признался, что не очень-то верил, что все его слова сбудутся, не считая открытия станции метро, но надеялся. Среди учителей школы было трое коммунистов, перед заседанием педсовета он заручился их поддержкой.

— Нет бездарных педагогических коллективов,— говорил он учителям,— есть бездарные директора. Важно видеть потенциальные возможности коллектива и уметь их реализовать. Уж если Дуровы зайчат на барабане играть выучивают, а моржа мячик на носу держать, так неужели мы с вами дружно работать не научимся?..

Никто из учителей не ушел. Подействовала, возможно, не столько вся его аргументация в целом, сколько, на первых порах, подкупающее обещание двух выходных. Решительность и апломб нового «хозяина» импонировали. Некоторые «старички» хотя про себя и усмехались, решили все-таки выждать, что у него получится.

— Мы с учителями-коммунистами,— рассказывал Леонард Леонович Пересветову,— на чрезвычайном собрании комсомольцев интерната откровенно обрисовали положение школы, из которой готовы разбежаться учителя. Надо спасать интернат от закрытия. Впервые поставленные перед такой серьезной задачей, комсомольцы откликнулись на призыв и приняли на себя от-

ветственность за восстановление порядка и дисциплины в классах и спальнях.

В ближайшую среду вышел первый номер стенной газеты «Огонек», органа комсомольской и пионерской организаций школы. В передовой статье объявлялось, что газета будет выходить каждую среду и освещать все стороны жизни интерната, как светлые, так и темные. Редакция призвала «всех и каждого» приносить ей письма и заметки, отмечать успехи, бичевать недостатки. Положение в школе обрисовано было таким, какое оно есть. Сообщалось, что вводятся восемь разновозрастных отрядов из учеников с 4-го по 10-й классы. Отряды будут носить почетные имена (Макаренко, Крупской, Дзержинского, Чапаева...), будут соревноваться за лучшее поведение на уроках и в послеурочные часы, за лучшую уборку помещений и школьного двора, за лучшие успехи в художественной самодеятельности, спорте... Отряд, победивший в соревновании, будет премирован летней поездкой в Ленинград.

— Вместо прежних четырнадцати классных воспитателей,— рассказывал Долинов,— мы назначили восемь воспитателей отрядных. Ввели должность воспитателя по быту, одного на всю школу, а сэкономленные пять воспитательских ставок использовали для небольшой доплаты учителям за руководство кружками самодеятельности.

Второй свободный день в неделю для работы каждого педагога над собой выкроили передвижкой в расписании уроков. Ввели расписание внеурочного времени, единое для всех недель в году: каждый школьник знает, в какой день у него просмотр фильмов, в какой экскурсии, кружки, спорт и т. д. Каждую пятницу — общеклубный день в зале. Организовали деревообделочную и швейную мастерские; заработки учеников от заказов пошли на проведение экскурсий...

Уже к концу учебного года интернат вышел на одно из первых мест в районном соревновании. Летом, как было обещано, лучший отряд съездил на экскурсию в Ленинград.

А в последующее десятилетие интернат стал первым в стране, чьи воспитанники посетили столицы всех союзных республик, а также Варшаву, Берлин, Софию.

Интернат Долинова завоевывал знамена в городских соревнованиях, для обмена опытом приезжали педагоги из других городов, гости из-за границы.

По завету Макаренко, чей портрет висел над рабочим столом директора против портретов Ленина и Крупской, перед ученическим и педагогическим коллективами всегда маячила та или иная заманчивая перспектива. Заранее объявлялись даты чествования лучших и старейших учителей. В одном из учебных годов вся школа жила ожиданием поездки на теплоходе по ленинским местам Поволжья. Поездка прошла блестяще, с участием делегаций из друживших с интернатом иногородних школ; с теплоходом ехал корреспондент «Известий», о путешествии писали «Учительская газета», «Вечерняя Москва», передавало радио. Из поездки школьники привезли кучу заснятых ими диапозитивов, фото- и кинопленок.

Пересветов, особенно интересовавшийся еженедельным «Огоньком», зашел однажды к его редакторам и спросил у члена коллегии, десятиклассника Тагира, недавно переведенного из другого интерната: что ему здесь кажется главным, привлекательным, отличающим эту школу?

Подумав, Тагир ответил:

— Сплоченность. Сплоченность всего ученического коллектива.

Он связывал эту особенность с существованием разновозрастных отрядов и рассказал такой недавний случай. Группа девятиклассников вытолкала из отрядной комнаты командира отряда, ученика 10-го класса за то, что требовал прекратить шум и не мешать другим готовить заданные уроки. Через полчаса гудела вся школа. За командира отряда вступились все, и если бы не вмешательство Леонарда Леоновича, обидчиков «отдули бы как надо».

Пересветов не совсем понял, какую роль сыграли при этом разновозрастные отряды.

— Так как же! — отвечал Тагир.— От обиженного узнал весь десятый класс, а десятиклассники в каждом отряде есть, они разнесли по всему интернату. В общем, здесь общешкольный ученический коллектив — это сила, чего в других школах, конечно, нет. И еще, я скажу, только при разновозрастных отрядах возможно настоящее общешкольное соревнование: здесь соревнуют-

ся восемь коллективов, равные по своим возможностям. А классы разнятся и по возрасту, и по физической силе, и по уровню знаний...

Пересветову хотелось вникнуть в жизнь внучат, но сближения с ними как-то не получалось. Отчасти, может быть, потому, что, женившись, он переехал с Ленинградского проспекта. Отпало домашнее пение, объединявшее семью, а потом вытесненное радио и телевидением. С детьми прежняя близость оставалась, они выросли на его глазах, а с внуками — увы!..

Письма юных читателей отчасти возмещали ему это лишение. Первый его роман и Саша, и Леночка читали, но своими трудностями не делились, а он навязываться с расспросами избегал. В памяти жил собственный отец, никогда не делавший попытки «влезать в душу» сына, за что Костя был ему в те годы признателен.

С внуком, впрочем, дед нашел общий язык в одном — в пристрастии к футболу. У внука оно было действенным: Саша играл в юношеской клубной команде.

Однажды дед узнал, что Саша едет в Лужники на встречу мастеров футбола с «болельщиками», и тоже приехал на стадион. Сперва они с верхних рядов посмотрели на тренировочную игру в двое ворот, а потом спустились с трибуны и потолкались в толпе, обступившей тренера сборной команды СССР, отвечавшего на вопросы. Пересветов решил спросить, почему в последнее время так заметно снизилась результативность матчей.

— Когда, наконец,— говорил он,— наши тренеры задачей номер один при обучении форвардов сделают меткие удары по воротам без подготовки, с ходу, как самые трудные для вратарей? Я лично в двадцатые годы играл против лучших футболистов страны, приезжавших к нам в Еланск из Москвы и Петрограда, удары с ходу были тогда в большом ходу, а нынче стали редки и, главное, не метки...

— В ваше время,— отвечал тренер,— в штрафной площадке свободней было, оттого и с ходу можно было чаще бить, а теперь в ней стало тесно, приходится многому чему другому учить...

— Позвольте! Раз теперь перед воротами тесно, та тем важней не мешкать и бить по ним без промедления с ходу!..

Но другие «болельщики» уже заняли внимание тренера.

— Шиворот-навыворот рассуждает! — с досадой говорил внуку дед.— Я играл левого края, так на тренировках, бывало, только и знал, что лупил по воротам из любого положения с ходу. Остальному учился в самой игре... Регулярно тренироваться некогда было, я тогда губернскую газету редактировал.

— Теперь от нас тренеры требуют универсальности,— заметил Саша.— Чтобы каждый умел и нападать, и защищаться.

Они шли со стадиона к остановке троллейбуса.

— Все это необходимо,— говорил Пересветов, слушая рассказ внука о том, как с ними работают тренеры.— Но не ставится на первый план самое главное: искусство взятия ворот. У шахматиста могут остаться в целости все фигуры, а его королю — шах и мат. Вот это игра, это спорт. А тут смотришь на игру и видишь какой-то футбольный оппортунизм по принципу отца ревизионистов Бернштейна: движение — все, конечная цель — ничто. Куда это годится?..

Константин брал внучат с собой в Третьяковскую галерею, на выставки картин советских художников в здании бывшего манежа. К его удивлению, левитановские и другие пейзажи, которыми он готов был любоваться часами, Сашу оставляли равнодушным. «Вот что значит вырасти в городе!» — с горечью думалось деду. На даче внук однажды сильно его насмешил, приняв стаю скворцов за грачиную.

Дольше простаивал Саша перед жанровыми полотнами передвижников «Неутешное горе», «Тройка», «Не пущу!», «Неравный брак», «Не ждали» и другими. На выставке произведений, посвященных народному подвигу в Великой Отечественной войне, к двум картинам Саша вернулся, чтобы взглянуть на них еще раз: «Фашист пролетел» и «Возвращение» (с войны). Перед полотном, изображавшим дуэль Онегина с Ленским, Саша сказал:

— Дедушка! Я бы на месте Онегина выстрелил в сторону. Почему он этого не сделал? Ведь он был недоволен собой, чувствовал, что не прав. Ленский тогда, наверное, последовал бы его примеру.

— В твоем возрасте я тоже недоумевал,— ответил

дед.— Но ведь Пушкин там говорит, что «дико светская вражда боится ложного стыда... И вот общественное мненье! Пружина чести, наш кумир! И вот на чем вертится мир!». Онегин не устоял против тогдашних дворянских предрассудков... Дикостей и сейчас еще полно на свете, придет время, люди будут удивляться, как это их предки стреляли друг в друга и на дуэлях, и в войнах...

От Леночки, по ее возрасту, трудно было ожидать понимания серьезных картин. Зато привлекали ее васнецовские сказочные мотивы — «Аленушка», «Иван-царевич на сером волке». На выставке произведений молодых советских живописцев она останавливалась перед некоторыми полотнами, написанными в нарочито примитивной детской манере, и смешила окружающих наивными репликами:

— Так и я могла бы нарисовать.

— А тебе нравится так рисовать? — спрашивал дедушка.

Девочка кривила губы и отрицательно качала головой:

— Почему у них лица зеленые? Так не бывает... А эти деревья точно из картонки вырезанные, без листочков... А те девчонки почему-то длинные, как селедки!..

Разговор у Саши с дедушкой перед картиной спустя некоторое время нашел свое продолжение. Он перечитал роман Константина Андреевича «Мы были юны» заново.

— Знаете, дедушка,— признался он,— раньше мне о ваших подпольных кружках читать было скучновато, а сейчас я эти главы просто глотал не отрываясь. Какой интересной жизнью вы жили! Ведь Сережа — это вы?

— Нет, не я,— улыбнулся дед.— Но многое из того, что с ним происходит, было и со мной тоже.

Пришлось объяснять внуку, где в книге быль и где вымысел. Вообще Сашу интересовало, как работают писатели.

— Вот вы говорили дяде Володе, что на вас влияли Пушкин, Толстой, Тургенев, Чехов, особенно пушкинский «Евгений Онегин». Чем они помогли вам в построении сюжета?

— Ну, сюжета я не выдумывал и не искал,— отвечал Константин Андреевич,— он, так сказать, сам меня нашел. Сюжет, по Горькому, это развитие характера. Почему я выбрал главным лицом Сережу? Потому что я знал его, как самого себя, знал, как он поступит в любых обстоятельствах. Вот я и взял его жизнь, как она могла бы сложиться, не погибни он на фронте в шестнадцатом году. На жизнь пушкинских, или тургеневских персонажей, или чеховских она не похожа, да и эпоха не та. Но есть одна внутренняя пружина сюжета, воплощенная Пушкиным в Татьяне: это идея долга, обуздывающего человеческие страсти. Помнишь урок, преподанный ей Онегиным: «Учитесь властвовать собою»? Она его выполнила, а сам он нет. На этой уключине вертится вся фабула романа. Заметь, Сашенька, даже эпизод с Ленским, как будто посторонний для главного сюжета, связан с ним идеей долга. Вот ты мне говорил, что на месте Онегина выстрелил бы в сторону: почему? Потому что в тебе наша жизнь воспитала не дворянскую ложную честь, а советское честное чувство долга. Вслед за Пушкиным идею долга развивали все лучшие русские писатели, и я стараюсь от них не отставать. Долг у нас, конечно, перед партией, рабочим классом, революцией, родиной, всем человечеством в целом.

С этого памятного разговора внук при встречах с дедом все чаще заговаривал о литературе. Он стал бывать у Пересветовых на Университетском проспекте, интересовался замыслами деда, тот иногда показывал ему свои черновики, давал из своей домашней библиотеки читать критиков — Белинского, Писарева, Чернышевского.

— Смотри-ка,— говорила мужу Ирина Павловна,— не замыслил ли наш Сашенька сделаться писателем?

— Рано загадывать,— отвечал Константин.— Образованным человеком хочет стать, вот что приятно.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Между тем Пересветов как-то незаметно для себя вступил в седьмой десяток лет. С фактом наступающей старости он легко мирился, особых перемен в себе пока не чувствовал, поэтому грустные мысли, изредка скользнув по поверхности сознания, быстро улетучивались.

Вторичная женитьба его словно омолодила. От-

лучившись куда-нибудь, он спешил домой, едва окончив дело. Раненая нога давно зажила, его не беспокоила, при необходимости он мог даже перебежать улицу. И вот однажды, на шестьдесят втором году от роду, выйдя в десятом часу вечера из Библиотеки имени Ленина, Константин увидел подходивший к остановке троллейбус номер 4 и, пробежав по-спринтерски единым духом порядочное расстояние, успел вспрыгнуть на подножку перед самым закрытием дверей.

Нога выдержала, но в груди бурно заколотилось, дыхание спирало. Довольный удачей, он поначалу не придал этому значения, ожидая, что все, как обычно, сейчас уляжется. Но троллейбус миновал остановку, другую, а буйство в груди не утихало. Сердце продолжало метаться и скакать в сумбурном ритме, толчками, будто его кто-то поддавал по-футбольному. Он понял, что сглупил. И спешить-то домой сегодня особой нужды не было.

Сидячие места были заняты, он стоял, пока кто-то не заметил, что пожилому человеку плохо. Ему уступили место.

Дома испуганная Ариша уложила мужа в постель, заставив выпить зеленинских капель. Утром он проснулся как будто здоровым, но стоило подняться на ноги, как в грудной клетке возобновилось вчерашнее. Тут уж пришлось вызывать врача. Константина положили в больницу на обследование.

Врачи опасались стенокардии, но клиническое обследование опасений не подтвердило. Лишь перебои в деятельности сердца (аритмия) стали Пересветова с той поры навещать. Незнакомая ему ранее трубочка с таблетками валидола сделалась его постоянной спутницей.

Константин поправлялся и здоровье для своих лет склонен был считать сносным. Но Ирина Павловна держалась иного мнения:

— Не забывай, что первый звонок прозвучал. Ты должен бросить привычку жить и работать на пределе сил. Ты весь склеен из папиросной бумаги.

Она заговорила о необходимости для них обзавестись постоянной, лучше всего собственной, дачей.

Тебе врачи что говорят? — доказывала она мужу.— «Живите как можно больше на деревенском воздухе». И мне не вредно бы: смотри, что у меня с ногами делается...

На левой икре у Ариши набухали вены. Пересветовы третье лето подряд снимали где-нибудь под Москвой комнату или две, с терраской, но ни разу не пробыли на даче до конца сезона: Мария Ивановна простужалась и заболевала то радикулитом, то воспалением легких.

— Чем каждую весну мотаться по электричкам и подыскивать место посуше, лучше раз навсегда найти его и жить на своей даче с ранней весны до поздней осени. Если вообще нельзя будет круглый год, как Николай Севастьянович с Екатериной Александровной. Ведь он тебе говорил, что без дачи давно бы отбыл в Могилевскую губернию.

Не так-то легко было заставить Ирину Павловну выбросить из головы то, что в ней однажды засело. Да и нельзя было не согласиться с ее доводами. Из гонораров (первый роман переиздавался, вышел второй), можно было выкроить несколько тысяч рублей. «К чему нам с тобой накопления,— говорила Ариша,— здоровье дороже денег».

И вот после долгих поисков, поездок по Подмосковью, хлопот, усилий и порядочных нервотрепок Пересветовы стали обладателями домика с небольшим участком в сухой сельской местности, в лесном окружении, в получасе езды на электричке от Казанского вокзала. В распоряжении Константина здесь был просторный кабинет с телефоном и телевизором, у бабушки — малюсенькая отдельная комната и такая же у Ирины Павловны. Обширная кухня, служившая одновременно и столовой; при входе в дом застекленная терраса.

Вся эта благодать — увы! — не была приобретена в готовом виде, а сооружена за два летних сезона по их собственным планам и чертежам при деятельном участии Аришиного сына Максима Викторовича. Пройдя службу в армии, он заочно окончил строительный институт и работал инженером в одной московской строительной организации. Женившись, жил отдельно от Пересветовых; на даче за ним закреплена была комната в мезонине с видом на опушку леса.

Постройка дачи поистине составила эпопею в жизни семьи. Ирина Павловна впоследствии сама удивлялась: как это она ее осилила? Все хлопоты по приобретению и доставке строительных материалов, найму рабочих и питанию их в рабочие дни легли целиком на ее плечи. Живя первое лето в предназначенном к сносу засыпном домике, они озаботились проведением телефона,— районный узел связи располагал здесь несколькими свободными точками. В первых же разговорах с Москвой Ирина Павловна сообщала мужу: привезла полторы тонны бетона... двадцать две тысячи кирпичей... Таков был размах ее хозяйственной деятельности.

Хотя Толстой в первых строках «Анны Карениной» утверждал, что счастливые семьи все похожи друг на друга, а несчастливые несчастны каждая посвоему, но и счастливы семьи бывают также поразному. С Олей у Кости семейное счастье складывалось на общем деле, которому каждый из них предан был душой, на совместной работе для партии и революции. С Аришей этого не могло быть, они с Костей до поздних лет жили совершенно разной жизнью, разными интересами, да и теперь повседневные занятия остались у каждого свои. И все же их семейная жизнь с первого дня покатилась дружно и счастливо. Не раз они поминали добром свою «сваху», Лену Уманскую.

Квартиру Ирина Павловна исподволь обставляла мебелью старинного стиля, до 60-х годов еще не входившей в моду и ценившейся дешевле новейших образцов мебели. Ее вкусы сочетались с соображениями экономии. Она приобретала за бесценок обветшалые и поломанные вещи пушкинских времен, и они под руками старичка краснодеревщика, знавшего еще ее отца, принимали свой первоначальный вид. «Придешь домой,— говорила она мужу,— взглянешь на эту красоту, и любое дурное настроение как рукой снимет!» Он посмеивался над ее увлечением «стариной»: «Этак ты квартиру в музей превратишь!» Но препон не ставил: надо же ей при нудном домашнем труде хоть на чем-нибудь отвести душу. Малочувствительный к обстановке, в какой прихо-

дится работать, он все же не мог не ценить объемистого секретера с девятнадцатью ящичками для письменных принадлежностей и рукописей, массивного деревянного кресла, на котором удобно сидеть за машинкой,— сам завести все это просто не догадался бы. А способность жены по-детски радоваться любому пустячку, лишь бы он облегчал или украшал жизнь, его умиляла.

Аришиной кухней Константин, в еде неприхотливый, был сверхдоволен. Ни тортами, ни пирожными их стол не загружался, а что до вин, то бутылка коньяку стояла в холодильнике месяцами от гостей до гостей, сами хозяева к рюмке не прикладывались. Пересветова удивляла, заставляла уважать жену ее неуемная энергия, постоянная готовность к любой черной работе. Она стирала белье, мыла и натирала полы, на даче развела сад, в котором на нее падала львиная доля труда. На предложения помочь отвечала: «Я сейчас все сделаю»,— и делала. Наезжавший на дачу Максим Викторович рыхлил землю под грядки, копал ямы для посадки яблонь, справлял плотничьи починки в заборе. Константин Андреевич помогал жене в обрезке яблонь, а когда сад стал плодоносить, то и в сборе яблок, земляники, смородины. Пытался мыть посуду,— тут жена с ним ссорилась: «Иди занимайся своим делом!» Он улыбался и отвечал: «Почитай-ка Чернышевского: женщина так долго была угнетена мужчиной, что теперь наш брат обязан перегибать палку в другую сторону! А ты мне тарелку полотенцем обтереть не даешь».

Случалось, мать с дочерью пошумят и старушка явится к зятю с жалобой, что Ариша прогоняет ее из кухни. Тогда зять, в роли третейского судьи, скажет: «Вот нашли из-за чего ссориться! Кабы дочь вас работать через силу заставляла, а то ведь вы обе друг друга жалеете».

Он болел душой, наблюдая, сколько сил отдает жена беганию по магазинам, возне у плиты, стирке, устройству дачи. Руки у нее загрубели от труда и казались чужими, когда она поднимала их к лицу поправить волосы или накинуть на лоб косынку. Иногда у нее с горечью вырывалось: «Целый день то моешь, то готовишь... Неужели до самой смерти так?» Константин советовал ей взять домашнюю работницу,

хотя бы приходящую, а самой поступить на завод или в учреждение,— с ее активной натурой она могла бы проявить себя в любой профессии. Она отвечала: «Как я тебя и мамочку сдам в чужие руки? Не смогу. Она совсем старенькая, и ты забываешь о своих годах. Нет уж, буду свою добровольную лямку тянуть, по крайней мере за вас спокойна. И потом, разве я могу сравнить пользу для общества от моей службы и от твоих книг».

Считаясь с ее читательским вкусом, Пересветов читал ей все свои черновики. Супруги навещали иногда ЦДЛ, реже бывали в кино и театрах, довольствуясь телевизором. Футбольные передачи первое время служили яблоком домашнего раздора: Костино пристрастие к ним казалось Арише недостойной серьезного человека блажью, пока она не поняла, что футбол напоминает ему молодые годы.

У них были недостатки не одинаковые, плодящие взаимную раздражительность, а у каждого свои, они друг над другом подтрунивали; бывали между ними и размолвки, но до настоящих ссор («с гонкой выражений») дело никогда не доходило. Им казалось, что они любят друг друга так, как любили молодыми,— без этой иллюзии они любить не умели, и с годами их взаимная привязанность росла. «Что бы я делала без тебя?» — часто говаривала она. «А я без тебя?..»

На 85-летний юбилей Марии Ивановны явилось более сорока москвичей — ее родственников, племянников и племянниц с детьми и другими домочадцами. Тут были и юристы, и инженеры, бухгалтеры, бывший певец Театра имени Станиславского, школьники и школьницы, студенты,— не было только лиц духовного звания, из которого вышла почтенная юбилярша. Во время тостов спросили Ирину Павловну, чего бы она себе пожелала. Она ответила: «Хочу одного: чтобы все оставалось, как сейчас».

Однажды Ариша принесла откуда-то на дачу в сумке беспородного щенка: весь черный, кроме белых кончиков носа, хвостика и лапок, будто он забрался в сметану и выпачкал в ней все шесть своих конечностей. Назвали его Тяпкой. Никогда не думали, что это смешное крохотное существо, похожее на плюшевого медвежонка, способно доставить им столько радостей. На зиму взяли его в Москву, Константин

теперь ежедневно вдыхал несколько добавочных порций свежего воздуха, гуляя со щенком на пустыре под окнами, в будущем парке. Тяпка весело носился вокруг хозяина, ныряя в пушистом снегу, то мчался во весь дух, то с разгону плюхался в снег и замирал, оттопырив одно ухо, то снова срывался с места, перекувыркивался или, уткнувшись в снег носом, рыл ямку и вдруг выскакивал из нее с напудренным снежной пылью носиком и мчался дальше. Забавлял он хозяев своей живостью и в доме, а следующим летом, подросши, сопровождал Константина Андреевича в прогулках по лесу.

Но вот осенью какие-то чужие собаки подрыли под забором лаз, проникли в сад, набросились на доверчивую собачку и так потискали, что через несколько часов бедняжка испустил дух на руках у Ирины Павловны. Трудно описать, как горевали супруги, точно по родному ребенку. Зарыли Тяпку в углу сада, под небольшим холмиком.

Как-то летом супруги Сацердотовы выбрались из Пензы в Москву. Константин Андреевич встретил их на Казанском вокзале и на такси привез к себе на дачу.

Жена Петра Алексеевича Анна Ивановна, полненькая седоватая женщина («его старушка», так она отрекомендовалась при встрече), с первых слов принялась жаловаться Ирине Павловне на мужа. Точно малое дитя с игрушками, возится ночи напролет со своими коллекциями, тетрадками, выписками, хочет привести все в полный порядок.

— Словно умирать собрался! Из-за любой мелочи разволнуется, раскипятится,— а сердце стало никуда (она понизила голос, чтобы мужчины не услышали), приступы стенокардии замучили, долго ли до инфаркта? Храбрился, в Москву хотел ехать той зимой, сразу, как от Константина Андреевича ответ пришел, еле уговорила повременить, пока здоровье хоть немножко направится...

Они с Петром Алексеевичем тоже по второму браку. У нее в Ленинграде сын с семьей, а у Пети в Москве дочь вдова, с семьей тоже. Под Пензой Сацердотовы дачу снимают в пригороде, в Ахунах, каждое

лето, а в городе квартируют на окраине, домишко старый, деревянный, скоро снесут, обещают в новые дома переселить.

— А у вас садик какой прекрасный, Ирина Павловна!

— Ну что вы, яблони только еще начинают приниматься. Вот земляникой своей я вас угощу с молочком...

Вечером мужчины допоздна беседовали на террасе, перед распахнутым в сад окном с марлевой сеткой от комаров. У Петра Алексеевича бросались в глаза его широкий и высокий лоб с залысиной, очки в блестящей никелевой оправе, прижатые к густым бровям над глубоко запавшими серыми глазами. Его лоб и коротковатый нос напоминали Пересветову портрет Сократа из учебника древней истории.

Приехавший из Москвы под вечер Владимир краем уха слушал разговор стариков и потом заметил отцу:

— Интересный мужичок этот Петр Алексеевич.

— Еще бы! Человек на редкость душевный.

— Душевных людей много,— возразил Владимир,— да не у всех душа общественная. Вы с ним не молоды, не видались вечность, а про что толкуете? Ты ему про школы-интернаты, он тебе про средневолжский заповедник, про какие-то ямы на тротуарах, которые по его почину засыпал песком пензенский горкомхоз. Чувствует себя в ответе за все. Возмущает его, что леса вырубаются, что пензяков приезжие жители в «пензенцев» перекрестили. Душа у него болит, что на радио слова старинных песен искажают... Он беспартийный?

— Всегда им был. В реальном училище политикой не интересовался, но от полиции мы кое-что у него прятали. По успеваемости шел первым учеником.

— Про какую чеховскую рукопись он тебе рассказывал?

— Покойный его отец случайно в бакалейной лавочке подобрал. Селедку в нее собирались завернуть, а он полюбопытствовал, что это за бумага, и себе выпросил. Хранил как реликвию и сыну завещал хранить. Недавно Петя списался с чеховским музеем, отослал рукопись им в Москву. Чудак такой, теперь

уж, говорит, «все равно, мне подыхать скоро». По-моему, рановато. Мы с ним примерно ровесники.

— А что за рукопись?

— Черновик рассказа «Невеста», примечательного для Чехова по тематике: о девушке, ставшей революционеркой. Жаль, что Антон Павлович даже до пятого года не дожил, а из большевиков, должно быть, ни с кем не встречался. Обогатилась бы, может, русская литература плеядой героев того времени.

Сацердотов привез в подарок Пересветовым маленький саженец дальневосточного кедра и следующим утром посадил у них в саду, посвятив Ирину Павловну в тайны выхаживания деревца.

— Авось пощелкаете когда-нибудь своих кедровых орешков,— пошутил он.

— Научите уж заодно, как до того времени дожить?

— Очень просто: жить тут безвыездно каждый год, гулять по лесу каждый день и в Москву ни ногой. По полтораста лет обоим вам гарантирую.

Местность ему нравилась. Равнина и смешанный лес вокруг напоминали пензенские ландшафты. Костя признался, что именно это заставило его сразу согласиться с выбором жены, когда присматривали место для дачи.

Побродили компанией по лесу. Костя уже знал в нем каждую тропинку, помнил чуть не каждый куст, под которым нашел белый гриб, но в древесных породах разбирался плоховато, а в названиях трав и кустарников проявлял себя круглым невеждой. Сацердотов решил, что сводит его в ботанический сад МГУ, а если время позволит, то и в большой государственный. Ознакомит с растительным царством всего мира.

Ирина Павловна с ними в лес не ходила и, когда они возвращались, вышла из калитки встречать вместе с каким-то высоким смуглым мужчиной в шляпе и светло-сером костюме.

— Кто-то к нам приехал,— сказал Пересветов, а когда подошел ближе, вскричал: — Сандрик?!

Они обнялись.

— Да ты, брат, в шляпе! Я не сразу узнал тебя издали.

Церемонно притрагиваясь к шляпе, Флёнушкин сказал:

— Фасон «И сопровождающие их лица»!.. Соскучился по Москве. Приехал по делам завода; хочу заодно в Госплан наведаться, прощупать, нельзя ли к ним вернуться двадцать пять лет спустя.

В Казани он в конце тридцатых годов из плановых органов перевелся на машиностроительный завод, во время войны работавший на оборону. С Пересветовым они переписывались, но в Москву Фленушкин выбирался не каждый год.

Ирина Павловна накормила всех обедом, после чего Флёнушкин посидел в компании на террасе и поделился забавным приключением. В день его прибытия в столицу на стадионе в Лужниках играл «Спартак», и Сандрик не преминул отправиться туда, прямо «с корабля на бал».

— Соскучился по большому футболу,— рассказывал он,— а главное, жаждал повидать в натуре стадион имени Ленина. К началу матча запоздал, но все же раздобыл билет на Западную трибуну, отыскал место и усаживался поудобнее, как вдруг спартаковского форварда снесли в штрафной площадке «Локомотива». «Пендель! — закричал я и, кажется, даже вскочил на ноги.— Пендель!»

«Что вы бранитесь?» — обернулась соседка по скамье. Смотрю, недурненькая девица лет семнадцати, с подведенными синькой веками, в белом свитере и синих узеньких брючках.

«Бранюсь? — удивился я.— Ах, извините, говорю ей, когда мы играли в футбол, мы говорили «голь» вместо «гол» и «пендель» вместо «пенальти»...» Ну, выяснилось, что она болеет за «Спартак», и мы поладили. Вижу, она осматривается, кого-то ищет. Оказывается, поджидает опоздавшего приятеля. Перед самым перерывом говорит мне: «Билеты мы с ним рядом брали, вы на его месте сидите».

Как так? Вынимаю из кармана свой билет: действительно, сижу на чужом месте.

«Да уж он, видно, не явится, сидите,— говорит.— Надул. Ну и черт с ним. Знаете что? Давайте с вами в перерыве дойдем до буфета, раздавим цыпленка на двоих»

«Цыпленка?» — говорю.

Я решил, что болельщица «Спартака» проголодалась, и возражать не стал. Цыпленка так цыпленка, я не прочь был закусить. В перерыве у буфетной стойки лезу в карман за кошельком, она руку мою отводит и заявляет:

«Нет, нет, я пригласила, я плачу».

И берет из рук буфетчицы четвертинку с прозрачной жидкостью... У меня глаза на лоб полезли: вот так «цыпленок»! Тут-то я и осознал, друзья мои, насколько мы, старики, отстаем от века. А еще говорят, что проблема поколений — отживающий миф: разговариваем на разных языках, она «пендель» не понимает, а я «цыпленка». Пробормотал что-то, спасибо, дескать, я непьющий, схватился рукой за сердце и стушевался за чью-то спину. Второй хавтайм досматривал уже с другого ряда. Ну, думаю, коли она одна всего цыпленка раздавила, пожалуй, лыка вязать не будет, что мне тогда с ней делать? Женщина слабая, беззащитная, упаси бог, домой провожать придется, а я мужчина семейный и к тому же безупречной нравственности...

— А как тебе стадион понравился?

— О! Грандиозно!

Аришина школьная подруга Лелечка жила давно уже в отдельной однокомнатной квартире. Она выглядела моложе своих лет и надежды на замужество не теряла. С Ириной Павловной они время от времени встречались, а чаще отводили душу в телефонных разговорах, которые за их продолжительность Константин Андреевич называл «пресс-конференциями» (в отместку его ученые беседы с Володей и друзьями Ариша именовала «диссертациями»).

Иногда Пересветовы приглашали Лелечку с собой в ЦДЛ посмотреть новый фильм, два-три раза вместе с ней встречали там Новый год.

Когда она однажды зимой познакомилась с одним «интересным, еще не старым» инженером («женатым, к сожалению»), то Ариша узнала об этом на другой же день. По Лелечкиным словам, знакомые позвали ее к себе в гости. Рядом с ней за столом сидел Борис (так зовут инженера), они очень мило беседовали. Ког-

да же гости стали расходиться, он отказался от преферанса, за который мужчины усаживались «на всю ночь», и вызвался проводить свою соседку по столу до дома.

— Ухаживает за мной напропалую! — смеясь, хвасталась она перед Аришей по телефону неделю спустя.

Описание внешности инженера, его имя и упоминание о преферансе навели Ирину Павловну на мысль: уж не Наташин ли это муж Борис? Он ходит к кому-то играть в карты и возвращается поздно. Подробные расспросы эту догадку подтвердили (бывают же такие совпадения даже в огромной Москве!). Тогда Ирина Павловна стала всячески отговаривать приятельницу от флирта, угрожавшего семейному благополучию Костиной дочери. У Лелечки, однако, были свои взгляды на чужих мужей.

Ирина Павловна не на шутку рассердилась на свою подругу и все рассказала мужу. Константин Андреевич взволновался. Он должен как-то вмешаться, но как? Открыть глаза дочери на поведение Бориса? Для нее это будет удар, поведет к семейной драме. Особого уважения к зятю Пересветов не питал, но подталкивать семью на развал не считал возможным,— свои дела пусть они решают между собой сами. В то же время по-человечески и по-отцовски чувствовал себя вправе, даже обязанным воевать против грязной лжи. Поэтому решил поговорить начистоту с Борисом.

Позвонив ему на завод, он сказал, что сегодня будет на Кузнецком мосту в «Книжной лавке» писателей перед ее закрытием. Борис наведывался в нее иногда с тестем, пользуясь возможностью приобрести что-нибудь новенькое из книг, и на сей раз охотно туда приехал по окончании рабочего дня.

Купив книги, вышли на улицу. Снежинки лениво крутились в ореолах электрических фонарей, погода располагала к пешей прогулке. Выбравшись из людской толчеи Кузнецкого моста, поднялись по пригорку до улицы Горького, свернули вправо и пошли по ней в сторону Белорусского вокзала.

Даже при уличном освещении было заметно, как от первых же слов тестя смуглое лицо Бориса густо покраснело.

— Откуда вы знаете? — спросил он.— Кто вам сказал?

— Это не имеет значения,— спокойно отвечал Пересветов.— Ведь это правда?

Отрицать у Бориса не повернулся язык. Помолчав, он спросил:

— Вы знаете эту женщину?

— И это неважно. Важно одно: что вы собираетесь делать?

Борис опять помолчал. Заметно было его усилие взять себя в руки.

— Но, Константин Андреевич,— начал он,— ведь это чепуха. Эпизод, мимолетное знакомство. Она значительно меня старше... И вообще... Ничего серьезного с моей стороны, уверяю вас, да и с ее тоже, я думаю.

— Мимолетному свойственно превращаться в длительное.

— Да нет же, нет оснований этого опасаться.

— Так что же вы думаете делать? — повторил вопрос тесть.

— Все это кончится, само собой оборвется.

— Чтобы затем последовал новый эпизод?

— Ну вот! Вы во всем такой строгий...

— Но если вы ждете, что «это» кончится само собой, так ведь может и новое само собой начаться. Как вас понять? Вы полагаете, что обманывать Наташу, изменять ей — в порядке вещей? Семейная жизнь, построенная на лжи, вас вполне устраивает? Может быть, вы уже приучили себя к этому?

— Да что вы! Константин Андреевич! У вас нет никаких оснований думать так.

— До сих пор я и не думал, но после ваших слов поневоле буду так думать.

— Хотите, я сегодня же с ней порву?

— Чего хочу и чего не хочу, это не имеет ровно никакого значения,— начиная раздражаться, возразил Пересветов.— Чего вы сами хотите, в этом главное. В третий раз спрашиваю: что вы намерены делать?

— Хорошо, этого больше не будет.

— Да вы, пожалуйста, не делайте вид, будто строгий тесть принуждает вас отказаться от приятной интрижки. Отдайте себе полный отчет в ваших собственных чувствах, в последствиях вашего поведения и поступайте как знаете. Помните только, что на понуждении себя к обязанностям отца и мужа прочная семья не строится.

Мне моя семья дороже любой интрижки!

— В самом деле? Так что же вы так поздно спохватываетесь? И надолго ли у вас это «дороже»?

— Буду стараться, чтобы надолго.

— Все-таки надолго? А не навсегда? Хм...

— Константин Андреевич! Я уже не в первый раз убеждаюсь, что мы с вами разных поколений. Вы никогда своей жене не изменяли, а в наше время смотрят на это значительно проще. Вам меня трудно понять.

— Поколения и времена тут совершенно ни при чем Всегда были и будут всякие люди, живущие каждый на свой образец. Дело в человеке: способен ли он на ложь своим близким или нет? Мы с моей первой женой Ольгой Федоровной при первой встрече, когда ей было пятнадцать лет, а мне шестнадцать с половиной, ударили по рукам: говорить друг другу всегда только правду. Когда поженились и прожили вместе не один год, мне вдруг понравилась другая женщина. Ничего, даже мимолетного поцелуя у нас с ней не было, но мне показалось, что я могу полюбить ее, и я признался в этом моей жене.

В чем же признавались, если ничего не было?

Противно было скрывать, лгать не только словами, но даже взглядом. Почувствовал, что не в состоянии поцеловать ее, думая о другой женщине.

— А что же ваша жена?

— Поняла меня даже лучше, чем я сам себя понимал. Порядочное время спустя, когда наши отношения полностью восстановились...

Так вы, значит, порывали друг с другом только потому, что один из вас подумал о ком-то третьем? И надолго?.. Ну это уж... И вы говорите, что разница поколений ни при чем. Да среди нынешних мужей и жен такая история просто немыслима

— А я думаю, Боря, вы заблуждаетесь. Возможно, конечно, что среди наших с вами знакомых подобного примера мы не подыщем, но я убежден, что в будущем неоглядная, полная искренность сделается главным условием нормального супружества. Коммунистические отношения между людьми Маркс называл «прозрачными»... Когда потом наши с Олей отношения восстановились, я как-то ей сказал: «А не сглупил ли я, встревожив тебя тогда сущими пустяками?» — «Ни о чем не жалей,— отвечала мне она.— Если бы ты

промолчал, я сама бы поняла, что ты ко мне изменился. Ложь как змея заползла бы к нам, и мы оба стали бы хуже и не любили бы друг друга так, как любим сейчас».

— Точно в романе! — воскликнул Борис.— Неужели так было? И вам удалось тогда это самое... не думать о другой?

— Может, и не удалось бы, если б не было этого моего признания, которое вас удивляет. Я не изменил тогда жене именно потому, что сразу же ей признался в этом, по-вашему, «ни в чем». Правда, тут сыграла роль и глубокая порядочность той, другой женщины... Просто мы все трое оказались одинаково порядочными людьми. Из моей откровенности с женой она заключила, что я не разлюбил Олю, и не пожелала разбивать хорошую семью. Но это долгая история...

— Что ж из того, что долгая? — воскликнул Борис.— До нашего дома еще далеко. Если можно, если вам это не трудно и не неприятно, расскажите мне, пожалуйста, как все это у вас получилось! Для вас это далекое прошлое, а мне очень интересно... И не бесполезно, наверное.

Они только что миновали площадь Маяковского. Пересветов и в самом деле сначала сдержанно, потом, увлекаясь воспоминаниями, более распространенно стал рассказывать про свое знакомство и встречи с Еленой Уманской... Но когда дошли до угла Беговой, зайти домой к Борису отказался. Не захотелось видеть сейчас дочь рядом с ее мужем. Борис, пожимая тестю на прощание руку, с чувством вымолвил:

— Спасибо вам, большое спасибо! То, что вы мне рассказали, я запомню на всю жизнь. Но вы меня извините, сам я последовать вашему примеру, как он ни благороден, не в состоянии. На такую безудержную честность меня просто не хватит. С Лелечкой — утаивать ее имя смысла нет, раз вы все знаете,— с ней я порву, даю вам честное слово. А Наташе о ней, может быть, и расскажу когда-нибудь, только не сейчас. Сейчас стыдно.

— Я ничего от вас не требовал и не требую, Боренька. Поступайте как знаете. Как сами чувствуете. Не пачкайте только грязью лжи вашу жизнь, вашу жену и детей... Да и эту женщину тоже.

...Ирина Павловна отказывалась разговаривать с Лелечкой, пока та не заверила ее «клятвенно», что с Борисом у нее «все кончено». А Константина Андреевича объяснение с Борисом навело на мысль о рассказе, героиню которого он спишет с Елены Уманской.

Сюжетом будет надлом в семье, назревавшая измена мужа, не состоявшаяся из-за его неспособности солгать жене и нежелания женщины, которой он увлекся, разбивать хорошую семью.

Сначала Константин думал пойти по линии наименьшего сопротивления и не мудрствуя лукаво изобразить происшествия в их действительном обличье двадцатых годов. Его смущали слова Бориса что у современных мужей и жен такая история будто бы немыслима. Поверит ли автору читатель, если преподнести ее в обстановке шестидесятых?

Но потом решил, что негоже художнику отступать перед мнением, в сущности, обывательским. Пусть читатель примет написанное за исключение из правила, ведь все новые правила, в конце концов, зарождались в форме исключений из старых. Сказал же он Борису, что будущее за браками, основанными на полнейшей искренности между супругами.

Придать сюжету современное оформление не так уж трудно. Обыденность не будет отвлекать читателя от сюжетной линии, как могло бы, возможно, отвлечь от нее описание Института красной профессуры, внутрипартийных дискуссий, в обстановке которых протекало действие.

Трудно сказать, правильно ли он в данном случае рассуждал, но рассказ удалось ему написать довольно быстро, за летние месяцы на даче, и он появился в журнале. Хотя сам автор считал рассказ не совсем удачным (на фоне двадцатых годов происшествия выглядели бы убедительней), все же отклики на него были и в письмах читателей, и в печати.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Перед 50-летием Октября супруги Сацердотовы снова появились в Москве. Анна Ивановна в тот же день проехала к сыну в Ленинград, а Петр Алексеевич, согласившись остановиться у Пересветовых, в празд-

ничный вечер пригласил их к своей дочери на день рождения внучки Наденьки, счастливо совпадавший с Октябрьскими днями. Пересветовы встречали праздник у Наташи; туда приедут Володя с Кэт, Максим Викторович со своей женой. Условились, что Ирина Павловна отправится на Ленинградский проспект, а Константин Андреевич туда на часок-другой запоздает.

Петр Алексеевич, может быть, и не выбрался бы в столицу, да его в Пензе по случаю праздника не только переселили в новую квартиру, но еще и наградили орденом «Знак Почета» за долголетние заботы о природе родного края. Кто знает, выпадет ли ему другой случай показаться близким людям с такой наградой на груди...

В метро, по дороге к дочери, Сацердотов с особой теплотой говорил Пересветову о своей внучке Наденьке. Комсомолка, студентка географического факультета, ей исполняется девятнадцать лет.

— Славная девушка! Не бог весть какая серьезная, реснички подкрашивает, да что делать? Нынешняя. Школьницей была, так ей втемяшилось щеголять в шелковом платье. Вынь да положь! У подружек есть, а у нее, видите ли, нету. Ну что делать, сшили. Мать ей говорит: «Я в свои пятнадцать лет о шелках и думать не смела, рада была и ситцу!» — а дочь ей: «Ах, мамочка! Ну как вы жили? Ракетных самолетов в то время не было, цветного кино не было, телевизоров не было. У вас даже радио в квартире не было, ты мне сама рассказывала. Вот вы и жили идеями!»

— Так и сказала? «Жили идеями!» — Пересветов смеялся.— Старшим поколениям не в бровь, а в глаз.

Точно. Теперь-то она только посмеется, когда ей напомнят в порядке семейного анекдота... Старший брат у нее на каком-то номерном заводе работает, что они там производят — помалкивает...

До дюжины юношей и девушек, в тесноте да не в обиде, сидели за двумя вместе сдвинутыми столами, когда Надина мама, полная женщина в темном платье, ввела в столовую и представила собравшимся новых гостей. Шутки, смех и тосты сменились минуткой вежливой тишины. Новорожденная, светловолосая куколка с нежно-розовым румянцем на щеках, в белом, точно подвенечном, платье поднялась из-за стола расцело-

вать дедушку и принять от его школьного друга поздравления вместе с авторским экземпляром книги.

Потеснившись, старичков усадили визави с Наденькой и ее соседом, молодым человеком в пестром джемпере. Про его бородку Петр Алексеевич, пользуясь возобновившимся за столом шумом, шепнул Пересветову: «Подстриг под Хемингуэя!» Константин Андреевич принял было его за Надиного старшего брата, но выяснилось, что тому сегодня, к сожалению, выпала очередь праздничного дежурства на заводе. Этот — его сослуживец.

Тосты за новорожденную были уже позади, тем не менее новоприбывших заставили поднять за ее здоровье по бокальчику шампанского, и еще по одному все выпили за орден на груди у Петра Алексеевича. Надюшу то и дело окликали с разных сторон, что не мешало ей постоянно возвращаться к оживленной беседе с соседом, которого она называла Эдуардом. Пересветов с интересом вглядывался в молодые лица окружающих, краем уха прислушиваясь, что ему вполголоса говорит Сацердотов:

— Вот моду взяли на иностранные имена! В тридцатых годах один мой приятель, по имени Ефрем, сильно сокрушался, что его жена назвала их первенца Альбертом. «Подумай, Петя,— плакался он мне,— Альберт! Печенье!..» Помнишь, тогда был такой сорт печенья, с этим названием. «Вырастет,— говорил он,— проклянет нас, родителей, за свое имя-отчество: Альберт Ефремыч!» Думал, что засмеют беднягу, а теперь и не такие сочетания имен услышишь...

Покончив с угощением, молодежь вынесла столы в другую комнату и затеяла современные танцы под радиолу.

— Одно кривлянье...— морщась, ворчал Петр Алексеевич.— То ли дело, бывало, вальс, его даже я танцевал, а уж на что затворником рос: «Амурские волны», «На сопках Маньчжурии», «Я видел березку»...

Студент-филолог подсел было к писателю потолковать о литературе, но танцы сменились хоровым пением. Сацердотов стал уговаривать Костю выступить в амплуа певца, но тому пора было уже уходить к родным на Ленинградский проспект.

По дороге туда, мысленно перебирая впечатления от покинутой вечеринки, он улыбнулся Надюшиной

фразе: «Вот вы и жили идеями!» «Не забыть в рабочую тетрадку занести... И еще — «Альберт Ефремыч» Как в каплях воды — проблема поколений...»

Возвращаясь домой поздно ночью, Пересветовы заметили в своих окнах девятого этажа свет. Сацердотов был уже у них: Ирина Павловна на всякий случай вручила ему ключи от квартиры. Встретил он хозяев возбужденный и с места в карьер начал рассказывать, что с ним только что стряслось. Ариша ушла укладываться спать, а старики остались за столом, беседуя.

После ухода Кости Петр Алексеевич еще часик посидел в кругу молодежи. Был оживлен, хохотал, острил, но под конец почувствовал себя не в своей тарелке. Не то что лишним, нет, молодые люди держались с ним непринужденно, на дружеской ноге. И все-таки ему отчего-то взгрустнулось.

— Это у тебя была реакция на избыток приятных волнений последних дней,— заметил Костя.— Впрочем, и ближайшая причина была: кажись, ты приревновал свою внучку к этому Эдуарду? Готов был даже иностранное имя ему в укор поставить.

— Действительно, я решил, что этот лощеный франт моей Надюше не пара. Собирался даже завтра внуку позвонить, узнать, не женат ли он. Они на одном заводе работают. Но ты слушай, слушай...

По его словам, он тогда посидел один в углу молча, поджав губы, потом вышел в переднюю и попросил дочь попрощаться за него со всеми. Возвращаясь в одиночестве к Пересветовым, он вышагивал ночью по Суворовскому, бывшему Никитскому, бульвару и ворчливо повторял застрявшие в ушах слова песенки, услышанной на праздничной вечеринке: «И хор-рошее настроение не покинет больше нас...»

— Эка важность, настроение, нашли о чем песни сочинять,— рассуждал он.— Или вот еще про эту, как ее... Еньку какую-то приглашали на танцы. Чушь! — Размахивая на ходу своей дубовой клюшкой с причудливо загнутым корешком вместо ручки, старик философствовал сам с собой: — По мне, захотелось петь — так уж выбирай такую, чтобы грудь распирала: «Ревела буря,

дождь шумел»! Или вот, пожалуйста, фронтовую: «Эх, дороги!..»

Голова у него покруживалась от бокальчиков шампанского. По аллее догоняла его шумная гурьба молодежи, юноши и девушки, сцепившись под руки, весело и нестройно пели о бригантине, в дальнем море поднимающей паруса, скандируя слова: «Флибустье-ры и... авантюри-сты...»

— Друзья мои, что такое вы распеваете? — воскликнул он, приостанавливаясь.— Да вы знаете, что флибустьеры — это пираты? Морские разбойники!

Компания, смеясь, обогнала его. А он не мог успокоиться и восклицал:

— Авантюристов воспевают! А?..

Ночная прогулка настраивала на размышления. Прожита, близится к пристани долгая жизнь...

В юбилейные дни Октября поневоле думалось о громадности пройденного страной расстояния. Как далекий курьез вспомнились «ваньки» — извозчики на узких двухместных санках со скрипевшими по снегу железными полозьями.

— Понимаешь, Костя, уже сорок лет я их не видывал! А вообразить себе нынешний автомобильный поток в прежних кривеньких московских переулках просто немыслимо!

Высотные здания, в подсвете прожекторов то розоватые, то золотые; величественная демонстрация, которой он любовался утром в толпе на Красной площади... Сегодня все обращало его мысли к старой Москве и рождало сопоставления потрясающей силы.

— Права была моя внучка: разве мы так жили когда-то?..

И в то же время не мог он отделаться от опасения: а как у нынешней молодежи с идеями?.. Осознает ли она достаточно глубоко и всерьез, чему и кому она обязана хорошим настроением, про которое беспечно распевает куплетики?

— Жизнь надо уметь прожить, а не профинтить!

А куплетики-то говорят тоже о пройденном расстоянии: разве могли они прийти на ум лет тридцать — сорок тому назад? Особенно сентиментальничать и задумываться о собственном настроении было недосуг Боролись, работали, чтобы право на отдых закрепить за своими потомками.

— Стыдились жить «для себя», а теперь ничего, живут, не стыдятся. Да отдают ли они, Костя, себе отчет, что значит действительно хорошее настроение? Что это: хихоньки да хахоньки? Как бы не так! Какое у меня было настроение, когда мне на грудь орден прикрепляли? Защипало в носу, в глазах, вот какое. Родная Пенза оценила труд моей жизни. Не смеяться хотелось, а плакать от радости и сделать еще больше, чем сумел. И что же, это плохое было настроение?..

И еще раз защипало, когда вслед за торжественной частью собрания, во время концерта, стали читать стихи. Меньше всего Петр Алексеевич мог ожидать, что стихи на него так подействуют, они задевали его душу не часто. А тут со сцены кто-то прочел стихотворение о людях, чьих фамилий мы не знаем, но которым обязаны нашим спокойным сном, мирным трудом и сохранением мира на земле. Их и награждают то негласно, засекречивая имена от врагов, ибо Советская Родина вручила им свою оборонную мощь атомную и ракетную.

— Вот кого, подумал я, нам беречь и беречь! Вот кто сейчас по-настоящему служит Родине и всему человечеству, мечтающему навсегда прекратить войны!

Против памятника Гоголю Петр Алексеевич присел на скамейку, прислонившись к спинке. Сердце у него от воспоминаний и раздумий колотилось сильнее, чем следовало. Осторожным глубоким вздохом, медленно расправляя грудь, набрал холодного воздуха и так же медленно выдохнул. Достал из нагрудного карманчика трубочку валидола, вложил таблетку в рот. Уселся поудобнее, снял и протер очки, запотевшие на легком морозце. Опять их надел и задумался, глядя, как на синем ночном небе покачивается над крышами подсвеченное прожектором алое полотнище с портретом Владимира Ильича.

Так он сидел, со своими мыслями, и радостными, и грустными. Со стороны площади брела парочка. Молодые люди не замечали его и тихо беседовали. До слуха Петра Алексеевича долетело слово «орден». Он обернулся на зто слово и вдруг узнал Наденьку с несимпатичным ему кавалером. Девушка взволнованно и торопливо говорила:

— Я все-все понимаю, вы не можете, не имеете

права мне сказать, и я не спрашиваю, за что вас наградили. Но я так хотела бы, так хотела сама сделать когда-нибудь что-нибудь большое, всем-всем нужное!.. Такое очень полезное людям, вот как вы или мой дедушка!..

Надин спутник счастливо рассмеялся и поцеловал ей руку.

— Ваш дедушка,— вымолвил он,— так целеустремленно прожил жизнь, что можно ему позавидовать.

Они прошли мимо.

— Ты понимаешь, Костя! Вскочил я со скамьи и как дурак таращу им вслед глаза, пока они не скрылись из виду. Потом сел опять, стараюсь отдышаться. Чего-то я не мог понять! Выходит, он ведь как раз из тех бесфамильных, о ком стихи слагают? Они с внуком оба с номерного завода. Как же это я с моей житейской опытностью мог его счесть за кого-то другого? По одежке людей встречаю!

— Не подшутила ли, Петенька, над тобой все та же космическая огромность расстояния, пройденного нами за пятьдесят таких лет, каких никогда раньше не знала история? — сказал Константин.

— Да, да! Менялось все, и люди менялись, а я сужу о них по первым попавшимся на глаза мелочам, хочу их на старый аршин мерять.

Долго еще сидел тогда старик на скамье, временами трудно вздыхая и покачивая головой. Наконец встрепенулся. «Ну, положим,— думалось ему,— моду в одежде и наружности они действительно перенимают с западных образцов: своей, что ли, у них нет,— но бог с ними. Так что же, от этого они буржуазными сынками, что ли, становятся? Да и переменится мода еще не раз. И не все из них за ней гонятся. Из песенок, что они сегодня распевали, правду сказать, и недурные были, скажем, «Держись, геолог» или «На то нам юность дана, светла, как солнце, она!». Складно, задорно, весело, чего я, собственно, к ним придрался?»

Старик заворочался на скамье. Мысли несли его все дальше...

— Бросало, Костя, наше поколение в землю семена, да жатвой пользоваться нам враги не давали. Теперь внуки пожинают плоды рук наших и своих. Отсюда и

требования к жизни у них другие, не всегда нам понятные. Есть, конечно, ненужные вредные крайности, так их жизнь рано или поздно отсечет, как не раз отсекала.

— Просто не такие они, как мы, и ошибаются не так, как мы ошибались,— заметил Костя.— Помнишь завет Пирогова из «Записок старого врача»: «Уважать чужую молодость».

— Со скамьи я, наконец, поднялся, расправил плечи и двинулся потихоньку по направлению к Кропоткинским воротам. В ушах у меня все еще звучали слова Надюши и ее спутника... Главное в том, думал я, что на смену нам люди растут — чистое золото! Пусть не все они такие, как эти двое,— а когда молодежь росла вся одинаковая? Жизнь свое возьмет, она на нас работает.

Приближаясь к Кропоткинским воротам, Петр Алексеевич начал клюшкой помахивать и неожиданно замурлыкал себе под нос:

— «И хор-рошее настроение...» Гм!.. Гм!..— осекся он, хмуро усмехнувшись.

И продолжал путь уже молча и степенно.

— Так-то, друг Костя! — сказал он, хлопая друга по плечу.— Пойдем спать.

А тот подвел черту под их поздней беседой строками из «Онегина»:

— «Придет, придет и наше время, и наши внуки в добрый час из мира вытеснят и нас!»

Петя уже стаскивал с себя пиджак, да вдруг замер, обернувшись:

— А какой все-таки умница был Пушкин!

Из рабочих записей Пересветова

«С интересом прочел «Жизнь Арсеньева» Бунина. Раньше эту вещь не читал и вообще к Бунину относился критически, хотя его талант все ставили высоко. Отвращало от него нечто барское, чего и следа нет ни у Чехова, ни у Куприна, ни у Горького, его современников. Роман «Жизнь Арсеньева» наполовину, если не больше, автобиографический, написанный Буниным в белой эмиграции ретроспективно о своей молодости. Порекомендовал мне его прочесть Николай Севастьянович: ему, должно быть, поднадоели мои жалобы на

дилетантство, вот он и посчитал, что мне полезно ознакомиться, как становились писателями смолоду.

Арсеньев в романе Бунина признается, что «никакого долга перед народом» он «никогда не чувствовал»: ни «жертвовать собой за народ, ни «служить» ему (слово «служить» он берет в кавычки) я не могу и не хочу». Он «из себя выходит», когда ему говорят, что поэт обязан быть гражданином: как это он «должен принести себя в жертву какому-нибудь вечно пьяному слесарю или безлошадному мужику»?

Словом, перед нами искренний жрец «искусства для искусства», чуть ли не с отроческих лет замысливший сделаться писателем. Над стихами Некрасова о «ликующих, праздно болтающих, обагряющих руки в крови» он позволяет себе цинически издеваться: «Да кто же это уж так ликует, думаю я, кто болтает и обагряет!»

Но чему у Арсеньева можно поучиться, так это феноменальной писательской наблюдательности. Я лично смолоду просто жил, как всякий живет, а он чуть ли не каждое новое впечатление откладывал в свою писательскую копилку. Вот истинный профессионал! Но и тут он строго следовал своему антиобщественному художественному кредо. Его наблюдения, при всей их остроте и меткости, крайне специфичны: «Я, как сыщик, преследовал то одного, то другого прохожего, глядя на его спину, на его калоши, стараясь что-то понять, поймать в нем, войти в него... Писать! Вот о калошах, о спинах надо писать, а вовсе не затем, чтобы бороться с произволом и насилием, защищать униженных и оскорбленных, давать яркие типы, рисовать широкие картины общественности, современности, ее течений и настроений!» При взгляде на пьяницу нищего его трогает не судьба этого несчастного человека,— нет. «Ах, как опять мучительно радостно: тройной клубничный нос!» — восклицает Арсеньев (роман написан от его лица). В извозчичьей чайной его привлекают рыжие бороды, мокрые веревочки на ручках чайников; «Наблюдение народного быта? Ошибаетесь — только вот этого подноса, этой мокрой веревочки!» (!)

Порой закрадывается мысль, не шаржирует ли Бунин Арсеньева и в его лице буржуазную «теорию искусства для искусства»? В романе много внимания уделено сексу, причем даже свои отношения к девушкам и женщинам Арсеньев процеживает через «дур-

шлаг» писательских наблюдений, не поймешь, живые они для него люди или будущие персонажи. Не думаю, что этому у него следует учиться.

В общем, бунинский Арсеньев недурная иллюстрация к словам Маркса о «профессиональном кретинизме», в данном случае писательском. Да и его фактическое «кредо», «искусство для искусства», не более как профессиональный кретинизм записных «эстетов».

Читая книгу Бунина, лишний раз убедился, что в писательском мастерстве мне многое нужно наверстывать».

В конце 60-х годов Федор приезжал в Москву ознакомиться с недавно возникшим здесь школьным заводом, опытно-экспериментальным.

— Воспитание производительным трудом — основа коммунистического воспитания,— говорил он Косте после посещения завода.— Дети здесь на себе лично, так сказать, на ощупь воспринимают суть производственных отношений социализма.

До 1963 года, рассказывал Федор, у них был обычный завод, выпускавший микроэлектродвигатели для моделей самолетов, корабликов и прочих технических игрушек. Теперь взрослые рабочие остались лишь в цехе оснастки и оборудования, а в остальных цехах трудятся ученики девятого и десятого классов замоскворецких школ. Являются они на завод в понедельник из одних школ, во вторник из других и так далее; получают белые халаты и заводские пропуска и работают по шесть часов в день под началом взрослых мастеров; бригадиры назначаются из самих школьников. Так с понедельника по пятницу две-три тысячи школьников становятся обычными рабочими: тот же техпромфинплан, о котором Макаренко говорил, что он стоит двух педагогических вузов, нормы выработки, ставки зарплаты и прочее, включая прибыль государству.

Оказывается, школьники выдерживают заводской экзамен не хуже взрослых. А эффект воспитания уже и учету не поддается.

— Взять хоть дисциплину. При мне явилась в цех негритянская делегация,— завод знают во всем мире,— негры ходили по цехам, так хоть бы один школьник голову от рабочего стола поднял поглазеть на необычных гостей!

— А какие у них цехи?

— Четыре: один выпускает микроэлектродвигатели, другой — радионаборы: купив такой набор в «Детском мире», мальчишка учится сам собирать транзистор «Мальчиш». Видишь,— добавил он,— школьный завод даже к своему потребителю ухитряется педагогические щупальца протянуть. Третий цех — швейный, тут одни девочки: шьют платья для кукол, мастерят всякие игрушки, мишек... Четвертый — полиграфический, тут разные заказы со стороны. Профессию школьник потом любую может выбрать, но выйдет он с завода уже с трудовыми навыками.

— Сколько же школьник зарабатывает?

— По дню в неделю много не заработаешь. В полугодие набежит, в зависимости от сложности труда, кому рублей пятьдесят, кому и всего десять — пятнадцать. Зато деньги эти — первые в жизни, заработанные собственным трудом и полученные каждым в его полное распоряжение. Такие деньги воспитывают, Макаренко называл их «прекрасным педагогом в советских условиях».

Пересветов спросил: не думает ли Федор заняться перенесением опыта московского завода в Ленинград?

— Куда там! Нет, нет,— Лохматов вздохнул.— Не под силу. Так уж вот, прилепился под конец жизни к педагогике, не могу отстать... Пусть уж другие переносят, кто помоложе.

При прощании, на вокзале, он заговорил про Ирину Павловну.

— Второй мой приезд к вам ее наблюдаю. Она мне напомнила первую твою жену Олю. Знаешь чем? Деятельной любовью. Хоть и разные они, а у таких женщин вся жизнь в заботе об окружающих...

Из рабочих записей Пересветова

Размышляя о своем месте в общем строю советских прозаиков, Константин Андреевич записывал в своей рабочей тетради:

«Я охотно принимал бы участие в поездках писателей по стране, если б не возражения врачей, а отчасти собственные опасения не успеть написать, что уже задумано и не требует дальних отлучек. В одной лишь поездке я себе не отказал, посетив Пензу и родную Ва

режку, где меня поразил частокол телевизионных антенн над крышами изб, которые я помнил крытыми соломой. Село стало пригородом завода «Сельмаш»...

В Союзе писателей напрашиваться на знакомства я не хотел, но в парторганизации и по общественной работе (меня ввели в редколлегию одного из журналов, в бытовую комиссию) со многими встречаюсь. От писательской молодежи меня отделяет солидный возраст, а среди своих сверстников, «стариков», составляющих признанную литературную элиту, я чувствую себя белой вороной (не считая Николая Севастьяновича, конечно).

Ранний профессионализм дает им преимущества, полностью перекрыть которые мне уже вряд ли под силу. Но есть у меня, пожалуй, кое-какие преимущества перед некоторыми из них. Прежде чем сделаться писателем, я стал образованным марксистом-ленинцем и прожил большую жизнь коммуниста, в то время как они профессионализировались прежде, чем пришли к марксизму. Изображать новую общественную среду и ее тончайший продукт — новую человеческую психику они в свое время брались, не зная как следует законов общественного развития. Это во многом обусловило творческую эволюцию каждого из них.

Ум, талант и высокая нравственность не всегда совмещаются в человеке с высокой современной образованностью. А для русского писателя такое совмещение стало, по-моему, особенно обязательным с XIX века, когда бурное развитие капитализма, пришедшего на смену крепостничеству, так взбаламутило и усложнило жизнь, что «без царя в голове» разобраться в ней стало неимоверно трудным делом. Какую огромную роль уровень образованности может сыграть в творчестве писателя, показывает пример Гоголя: в «Авторской исповеди» причины своей творческой трагедии последних лет жизни он связывал с пробелами в образовании. Указав, что он получил в школе воспитание «довольно плохое» и что «мысль об учении пришла» к нему «в зрелом возрасте», Гоголь сокрушался: «Зачем желаньем изобразить русского человека я возгорелся не прежде, как узнавши получше общие законы действий человеческих...» Результатом явилось его обращение к религиозному обскурантизму и мистицизму.

Тому и другому был глубоко чужд Пушкин, подсказавший Гоголю сюжеты «Ревизора» и «Мертвых

душ». Он являлся одним из образованнейших людей своего времени.

Но с середины XIX века вершиной гуманитарной образованности становится марксизм, и вполне понятно, что неприятие марксизма или поверхностное знакомство с ним, в частности с философией диалектического материализма, стало отрицательно сказываться на творчестве многих не только писателей, но и ученых, как в области общественных, так и в области естественных наук, пропагандистом которых в художественной литературе выступил тургеневский Базаров. Лев Толстой, по словам Ленина, «обнаружил... такое непонимание причин кризиса и средств выхода из кризиса, надвигавшегося тогда на Россию, которое свойственно только патриархальному крестьянству, а не европейски образованному писателю». Даже Горького в годы столыпинской реакции Ленин должен был идейно вразумлять, предостерегая от антимарксистского «богостроительства», а к чему отступление от марксистской философии привело тогда образованнейшего большевика Богданова, взявшегося за перо художника, показывают его идейнонесостоятельные романы «Красная звезда» и «Инженер Мэнни».

Должен ли я сожалеть, что не вошел в литературный храм в двадцатых годах через калитку «Серапионовых братьев», Опояза, «Перевала», «На литпосту» или других кружков и течений начального периода советской художественной литературы? Может, оно и к лучшему, что миновала меня достославная чаша сия? Случись иначе, сейчас я, быть может, пожинал бы лавры писательской известности, писал бы мемуары, с благодушной иронией третируя или смакуя свои формалистские или иные грехи молодости. А теперь я хоть и поздновато по возрасту, зато вступил сразу на выверенный, как мне представляется, теоретико-партийной закалкой писательский путь. И сохранилось у меня, кажется мне, свежее, не исковерканное эстетской вкусовщиной читательское восприятие, необходимое, на мой взгляд, условие писательского мастерства.

Конечно, в двадцатых годах я не был объективен, когда сквозь цеховые очки молодого задиристого журналиста свысока поглядывал на «муравьиную возню», как мне тогда казалось, литературных группировок. Каждая из них, теперь это видно, сыграла какую-то

свою роль в истории, без внутренних противоречий не могла стать на ноги новорожденная советская литература. Талантливую, не всегда идейно зрелую писательскую молодежь заботливо взял под свое крыло и в конце концов выпестовал для страны буревестник этой литературы — Алексей Максимович Горький.

Нынче я в состоянии гораздо более зрело оценивать заслуги каждого из старейших писателей, подчас немалые, их достоинства и недостатки. Заслуг этих я не умаляю. Отдаю должное и так называемым «попутчикам» пролетарской литературы, которые приводили за собой на советскую платформу значительные круги непролетарской интеллигенции, добросовестно отражая процесс их общественно-политической эволюции. К оценке художественных произведений я давно научился подходить двояко: читательски, руководствуясь своим личным литературным вкусом, и с объективной меркой общественной значимости произведения, его места в истории литературы, полезности для дела коммунистического воспитания широкого читательского круга.

Естественно, что эти две оценки не всегда совпадают; при моей требовательности к качеству книг не все, даже из лучших, пользующихся общим признанием, захватывают меня и полностью удовлетворяют. Теперь у меня возник и развился еще новый, профессионально-писательский субъективный критерий, имеющий для меня практическое значение: я пристальнее разбираюсь в литературной манере каждого писателя, примеряя к себе: а я бы написал так же или по-другому? Иногда манера письма меня привлекает, иногда отталкивает. Раньше мне представлялось чудачеством гения отрицательное отношение Толстого к творчеству Шекспира; теперь собственный скромный опыт заставляет меня видеть в этом проявление творческой индивидуальности великого писателя, не терпевшей чуждых ей приемов и стилей изображения. У А. Н. Островского «разбаливалась голова» от чтения Достоевского. Приверженность к «своему» в литературе, выходит, неотделимо связана с отталкиванием от «чужого».

У себя я нахожу один крупный, с моей точки зрения, недостаток и упорно борюсь с ним, хотя и не всегда успешно: налет журналистики, проявляющийся временами как груз прошлого и в слоге, и в тяготении к

открытой публицистике в романах. Между тем некоторые писатели, ратуя за страстную публицистичность художественного творчества, ударяются в крайность, проповедуя принцип «открытой тенденциозности» художественных произведений. Такого рода статья поступила однажды в журнал, в котором я работаю.

— Толкается не в ту дверь,— заметил я, ознакомившись с рукописью.— Автор прав, восставая против безыдейного («зеркального») бытописательства, оно нередко встречается, особенно у молодых писателей. Но ведь художественная литература призвана учить читателя размышлению над жизнью, а не заглатыванию готовых мыслей в разжеванном виде. Если автор статьи не согласен с Энгельсом, что идейная тенденция должна вытекать из художественного изображения без того, чтобы ее открыто высказывать, так пусть прямо с Энгельсом и полемизирует.

В редакции возник спор. «Вы что, противник публицистичности в художественной прозе?» — спросили меня.

«Нисколько,— возразил я,— если речь идет об актуальности или злободневности содержания. Иное дело форма: публицист подает идею открыто, художник — образно, в виде идейной тенденции. Прибегая к манере публициста, художник перестает быть собственно художником, как артист, расплакавшийся на сцене собственными слезами, перестает быть артистом. Чехов «голую» идею в беллетристике ядовито сравнивал с палочкой, выдернутой из копченого сига».

Конечно, признавал я, и в художественной прозе иногда без открытой тенденции не обойтись, если какие-то обстоятельства явно требуют срочного и прямого идейного реагирования, но надо помнить, что она, как правило, снижает силу воздействия на читателя,— зачем же проповедовать ее для нашей литературы в целом? На практике это может вылиться в поощрение серости в произведениях, при всей, может быть, их идейной безгрешности, а то даже и к дискредитации прекрасных идей.

Нынче не времена Герцена и Чернышевского, когда художественная литература подчас была единственной отдушиной в легальной печати для пропаганды революционных взглядов. При нашем развитом разделе-

нии идеологического труда художник должен стремиться к чистоте избранного им жанра. Зачем нам дублировать газетчика, журналиста, радио- и телекомментатора? Партия призывает всех к повышению качества продукции, а мы, писатели, возьмем да и ослабим борьбу за художественное качество? Да еще прикроемся флагом борьбы за идейность!..

Статью тогда поместили в порядке дискуссии, сопроводив редакционным примечанием, которое поручили написать мне.

Изредка я выступаю в творческих дискуссиях, откликаясь на некоторые книги, выделяющиеся достоинствами или, наоборот, изъянами. По поручению писательского бюро пропаганды и партийной организации выступаю и на собраниях рабочих, студентов, школьников; участвовал в работе комиссий по выборам в Советы депутатов трудящихся. Раз-другой брался за перо, чтобы разоблачать перебежчиков-диссидентов, но в конце концов решил, что литераторы помоложе умеют не хуже меня давать им должный отпор. Нельзя мне разбрасываться, не так-то долго осталось жить.

К тому же у меня есть своего рода отдушина — журнальные статьи сына, которые он дает мне на просмотр перед отсылкой в редакции. Владимир пишет против модных на Западе разного рода реакционных философских течений; им опубликовано несколько серьезных научных трудов по вопросам марксистско-ленинской философии. Некоторые мои советы он принимает, давая мне возможность утешать себя тем, что «и мы пахали»...».

Годы шли и шли. Пересветов обратился наконец к третьему роману о Сергее. Работа эта, занявшая не один год, была Константину Андреевичу по душе. События, в которых он сам участвовал, оживали под его пером.

От Института красной профессуры у него осталась масса ярких впечатлений, особенно от развернувшейся в партийной ячейке в конце 1923 года острейшей борьбы за ленинскую линию против троцкистской оппозиции, осмелевшей в годы болезни Ленина.

Свое личное участие в эпизодах дискуссии Пересветов присваивал Обозерскому. Под вымышленными име-

нами изображен был семейный разрыв покойной Таси Плетневой с ее мужем-троцкистом; в эпизоде с отходом от оппозиции одного из ее участников показана была горечь осознания допущенной политической ошибки. Политика подавалась в романе в тесном обрамлении студенческого быта, от теоретических споров на семинарах и жарких дискуссионных схваток на собраниях ячейки, в коридорах и на лестницах институтского общежития до баскетбольных баталий в спортивном зале. Роман появился в печати под названием «Ленинский призыв».

Новый год Пересветовы встречали иногда с Лелечкой в Центральном Доме литераторов. На сей раз за их столиком сидели также Антонина Григорьевна и Вильям Юрьевич, которого она представила как своего доброго знакомого, критика и литературоведа. Средних лет, с курчавой бородой, одетый с иголочки, он носил темные очки, за которыми разглядеть его глаза можно было только вблизи. Пересветов знал его в лицо и раньше, но кто он такой, не интересовался.

Предпраздничный разговор перескакивал с одного на другое. Антонина Григорьевна спрашивала Пересветова: когда же он возьмется наконец за современную тематику? Вильям Юрьевич вступался за него: историческая литература тоже имеет право на существование. Он только что прочел «Ленинский призыв» и, сдержанно похвалив автора, говорил ему:

— Вы работали в «Правде» в такое время, интерес к которому у всех огромен. Сталкивались с людьми, о которых любопытны и ценны любые подробности. Отчего вы не пишете воспоминаний?

— Памятью на подробности я особенно похвастаться не могу,— отвечал Пересветов.— Запоминаю обычно главное, пережитое самим, а подробности пришлось бы вымышлять. Какие же это были бы воспоминания?

— Ну, за мемуаристом сохраняется право некоторого варьирования, беллетризации.

— Присочиненное выдавать за факты?.. Если бы у меня хоть дневники сохранились, но я их не вел. Гораздо удобнее форма романа, где от меня ждут исторической правды, а не документализма.

— Роман, знаете, это не совсем то, что ждут именно

от вас. Ведь вы в двадцатых годах лично знали членов Политбюро ЦК?

— Не всех, но... знал некоторых.

— Так что же вы сидите на таком богатом материале? Другой на вашем месте давно бы целую книгу выдал.

— Да что же я о них напишу? Политическое лицо гораздо удобнее в романе обрисовать, а личной их жизнью я не интересовался.

— Слушайте, в романе вы даете обобщенную картину и тем показываете читателю, в сущности, свое собственное лицо прежде всего. А его интересуют в данном случае те лица, о которых вы можете сообщить ему факты.

Пересветов улыбнулся. «Не верит в мои возможности стать «корéфием»,— подумал он, вспоминая старика Шошина.

— Если вы полагаете, что я могу обнародовать какие-то сенсационные сведения об этих лицах, то ошибаетесь. Ничего такого я не знал, что без меня не было бы известно. Поэтому если могу о ком-то из них написать, то только в обобщенном виде, в романе.

Он спросил, читал ли Вильям Юрьевич его первый роман. Тот улыбнулся и повел очками на Антонину Григорьевну.

— Не только читал,— ответила она за него,— он вашу рукопись рецензировал.

От неожиданности Пересветов порывисто обернулся лицом к соседу.

— Как?! Так это вы меня тогда окатили холодной водой?

— Я вашу рукопись не браковал,— поспешил ответить Вильям Юрьевич.— Ведь роман все же издали...

— А мой ответ на вашу рецензию вам не показывали?

— Нет. Вы на меня обиделись тогда?

— Боже сохрани! — Пересветов засмеялся. Он взглянул на Ирину Павловну, смеялась и она.— Просто я извлек для себя должный урок.

Из громкоговорителя над дверью зала раздалось зычное объявление диктора о новогоднем приветствии. После праздничных тостов разговор за столом к злополучной рецензии больше не возвращался.

...Зимой Константин Андреевич усердно посещал библиотеки, целыми днями просиживал над книгами и журналами по психологии, педагогике, философии; многое конспектировал, делал вырезки из «Комсомолки», «Литературки», набрасывал в рабочей тетрадке обрывки мыслей по поводу прочитанного и в поисках темы для нового романа. Уже не о Сергее (с ним он расстался на двадцатых годах), теперь ему хотелось написать что-то значительное о современности, к мелким рассказам не лежала душа.

Поиски темы и сюжета не давали результата и порядком его утомили. Но он даже в мае, когда переехали на дачу (жить там круглый год Ирина Павловна не отваживалась, пока не проведут природный газ), не переставал наезжать в Москву по разным делам. Ариша предостерегала от частых поездок: один в Москве он питается нерегулярно, чем попало, перекусит что-нибудь в буфете ЦДЛ, стакан кофе выпьет, а дома на ночь опять обложится книгами, портит себе зрение.

Все-таки слова Вильяма Юрьевича в ночь под Новый год Пересветова уязвили. Неужели у него как у писателя нет ничего за душой, кроме воспоминаний о пережитом? Мириться с этим он никак не хотел. Флёнушкин, с которым он делился в письмах своими сомнениями, писал ему:

«Не унывай, Костя! На твоей стороне сам Лев Толстой. Вот что он говорил Гольденвейзеру: «Мне кажется, что со временем вообще перестанут в ы д у м ы в а т ь художественные произведения. Будет совестно писать про какого-нибудь вымышленного Ивана Ивановича и Марью Петровну. Писатели, если они будут, будут не сочинять, а только рассказывать то значительное или интересное, что им случалось наблюдать в жизни». Так что ты, брат, шествуешь в авангарде мировой литературы и, чего доброго, тебе поставят памятник».

«Вряд ли меня имел в виду Лев Толстой,— отвечал Сандрику Костя.— В особенности насчет памятника. Но если серьезно, то мало ли что он говорил об искусстве под старость. Не представляю себе, чтобы люди, пока они люди, отказались бы от художественных вымыслов. «Сочинять» они начали до появления профессиональных писателей и не перестанут выдумывать «Иванов Ивановичей», когда профессии в их нынешнем виде отомрут. Конечно, писать нужно о пережитом и

увиденном, только переживать и видеть надо уметь и за других,— что он, Толстой, до которого нам, грешным, как до неба, доказал «Войной и миром» и «Анной Карениной». А моя беда в том, что раньше я только рассуждал о людях вместо того, чтобы к ним присматриваться».

В конце мая два дня подряд заседало отчетно-перевыборное писательское собрание. В прениях затрагивался вопрос о связях писателей с жизнью, с народом; Пересветов выступил с призывом к усилению связи с читателями. Нам нужно знать, доказывал он, какие стороны наших книг и как воздействуют на современных читателей разных возрастов и профессий, чтобы делать из этого обоснованные выводы для нашей работы. Алтайский учитель Топоров в одиночку умел изучать читательское восприятие крестьян, читая им вслух Пушкина, Блока и других. Книга его об этом уникальна, последователей что-то не видать. А почему мы не используем опыт Николая Александровича Рубакина, который сумел опросить тысячи читателей? Нам нет надобности повторять содержание его многовопросных анкет, мы составим их по-своему, но анкетирование смогли бы провести в таких масштабах, какие ему не снились. Образовать ли для этого комиссию или создать институт по изучению читательского восприятия,— это уже вопрос практический...

В конце второго дня Пересветова выбрали в счетную комиссию. Освободившись в одиннадцатом часу вечера, он на такси заехал домой за читательскими письмами, на которые собирался ответить, и в первом часу ночи стучался в стеклянную дверь дачной террасы. К ним в тот день приехала так называемая молодежь — Наташа и Владимир со своей Кэт, дружившей со свекровью — Ириной Павловной.

Городские дела, кажется, были наконец завершены, ничто не мешало Константину Андреевичу отдаться отдыху на деревенском приволье, набираясь сил для новой рабочей зимы.

Наутро он встал часов в восемь, с наслаждением умылся прохладной колодезной водой из умывальника, висевшего на столбе в тени разросшихся слив и вишен, и, обтирая лицо полотенцем, поднялся на застек-

ленную веранду, где на столе его ожидало только что сваренное всмятку яйцо и стакан горячего чаю с черносмородинным вареньем. Настроение у него было отменное.

Он взял в левую руку теплое яйцо и ударом чайной ложечки слегка надколол скорлупу, как вдруг сотворилось что-то ему непонятное: стол и на нем вся посуда стали клониться набок и повернулись, как на оси, на девяносто градусов: поверхность стола приняла вертикальное положение, а чайник каким-то чудом продолжал на ней держаться, точно приклеенный.

Выронив из рук яйцо и ложку, Константин вцепился в край стола, боясь упасть. На миг мелькнула перед ним фигура дочери в горизонтальном положении, но в глазах заломило, и он поспешил прижаться к столу лицом. С зажмуренными глазами он каким-то образом чувствовал, что вокруг него все неслось, неумолимо кружась и увлекая его в черную пропасть...

— Папочка, что с тобой?! — вскрикнула Наташа.

Услышав встревоженные голоса Кэт и прибежавшей из кухни Ариши, Костя принудил себя невнятно произнести:

— Перекосилось... все... Голова кружится...

Быстро принесли из комнат и развернули раскладушку, прислоняя вплотную к его стулу. Ирина умоляла его скорее лечь, уверяя, что станет легче.

— Нельзя...— не то прошептал, не то прохрипел он в промежутках между судорожными вздохами.— Хуже будет...

Владимир бросился к телефону вызывать из Быкова «скорую помощь». Несколько минут они провели в суете и страхе над неподвижным отцом семейства, не зная, как ему помочь. Он тем временем сознания не терял и несколько раз пытался приоткрыть глаза, тут же зажмуриваясь: странный и тревожный обман зрения не проходил.

Десять или двадцать минут пробежало, никто не знал; Володя, вызывавший врача, не взглянул на часы, не сообразив, что тот поинтересуется ходом заболевания.

Наконец Костя, в десятый раз рискнув открыть глаза, увидел стол и посуду в обычном ракурсе, но летящими все так же по кругу. Снова зажмурившись,

он рукой нащупал возле себя раскладушку. Общими усилиями его осторожно перевалили на нее и уложили кверху лицом. Оно было необычно бледным.

Больного затошнило. Ирина придержала его лоб над тазом. Все понимали, что рвота связана с мозговыми явлениями, но чем это грозит и дурной ли это знак для течения болезни, никто из них не знал.

Спустя полчаса прибыла машина медицинской помощи. Женщине-врачу наскоро объяснили, что и как произошло.

Она первым делом стала измерять кровяное давление, температуру, а прибывшая с ней сестра — готовить шприц для укола камфары.

Температура оказалась слегка пониженной, а давление крови нормальным, и врач заявила:

— Это вас спасло. При повышенном давлении вам грозил инсульт.

Чтобы удостовериться, не было ли все же кровоизлияния в мозг, она заставила больного пошевелить руками, пальцами ног, открыть глаза, произнести несколько слов. И бодро сказала:

— Вот видите, все в порядке! Всего лишь мозговой криз. Он проходит, необходимо только ваше терпение и полное послушание врачам. Придется порядком вылежать...

Константин все еще не раскрывал глаза, головокружение продолжалось. Несколько ослабло оно после укола. Сын и женщины подняли раскладушку с больным и перенесли в комнаты, где его переложили на широкую тахту в затененном углу кабинета, в стороне от раскрытого в сад окна. Врач велела ему лежать неподвижно на спине.

Правильное зрение возвратилось к Пересветову, но периодические головокружения еще с месяц не давали подняться с постели. Потом он начал понемногу вставать, ходить, читать и наконец смог сесть за машинку, соскучившись по своей «писанине».

В Москву он не смог выбраться раньше октября, месяца четыре они с Аришей жили на даче безвыездно.

Итак, удар грома над семьей Пересветовых и на этот раз не привел к непоправимой беде, вполне реально грозившей человеку, переступившему порог восьмого десятка лет.

Из рабочих записей Пересветова

(После болезни)

«Весной этого года в тексте телевизионных программ я натолкнулся на необычное название фильма: «$2 \times 2 = X$». Особого внимания на него не обратил, а потом узнал из восторженной статьи в «Литературной газете», что речь идет об успехе школьного эксперимента, затеянного Дмитрием Сергеевичем Варевцевым и его единомышленниками по педагогической науке. И вот вчера здесь, на даче, мне удалось просмотреть повторную передачу этого фильма по четвертой программе. Впечатление настолько сильное, что по свежему следу я должен занести его в тетрадь.

Уроки, на которых производилась документальная съемка, ничуть не напоминают прежние. Куда девались пространные объяснения учителя и натужные ответы вызванного ученика, настораживающего ухо на подсказку с парт! Где украдкой позевывающие и поглядывающие на дверь в ожидании звонка на перемену школьники! Педагоги живо и запросто беседуют с классом, на их вопросы сыплются находчивые ответы, мальчики и девочки с горящими от нетерпения глазами простирают к учительнице раскрытые ладони — лишь бы их скорее спросили!.. Звонок к концу урока вызывает на их лицах выражение досады.

Еще более поразило меня содержание уроков. «Здесь учат науке, как плаванию: сразу на глубине»,— предварил занятие комментатор. Теоретические глубины, от которых шарахалась старая педагогика, преподаются без примитивного подведения к ним «от простого к сложному», без обязательности «наглядного примера». Ребятки свободно обращаются с буквенными обозначениями величин, чего мы в начальных классах не знали и не умели, решают уравнения с иксом; из уст восьми- или девятилетней девочки неправдоподобным казалось услышать, что ноль — это «среди положительных чисел самое маленькое, а среди отрицательных — самое большое число»; от мальчика ее же возраста — что «ноль — это нейтральная точка на числовой оси»... Что буква обозначает не звук, а ряд звуков; что фонема — это ряд позиционно чередующихся звуков (ответы записывал, вооружившись карандашом). И тому подобное.

И ведь это первые результаты эксперимента, идея

которого рождалась на моих глазах добрый десяток лет тому назад... какое! даже больше десятка. Где же я был все эти годы? Писал романы и повести об отдаленном прошлом, а побывать рядом, где росло и зрело, что называется, у меня под носом начинание, которому явно суждено будущее, не удосужился! Почему не посетил ни одного экспериментального урока в той московской школе, куда Варевцев меня приглашал и Володя сходить советовал? В фильме заснята школа харьковская, но и в Москве они ведут те же психолого-педагогические исследования.

Конечно, все это лишь самое начало, но как важно для будущего запечатлеть, изучить эти первые шаги! Еще тогда, после статьи в «Литературке», я позвонил Дмитрию Сергеевичу. Выслушав мои излияния, он сказал, что во второй половине года в Харькове намечается научный семинар, на который съедутся психологи и педагоги ряда городов и республик обсудить теоретические проблемы учебной деятельности. Если я хочу, могу на этом семинаре побывать. Я ухватился за это предложение, и теперь вопрос только в том, буду ли я здоров настолько, чтобы к сроку поехать в Харьков».

«Чувствую необходимость отдать себе кое в чем отчет. Конкретнее: уяснить себе значение и важность темы, которую я, кажется, положу в основу моей последней повести. Потом уж вряд ли успею написать еще что-либо крупное, а к мелким формам у меня душа не лежит, они почему-то для меня труднее. (Несколько опубликованных мной охотничьих рассказов в счет не идут.) Годы, годы нависают и все ощутимей прижимают к земле...

Смолоду я вопросами воспитания и образования специально не занимался. Работа над первым романом меня близко к ним подвела, хотя я как-то этого не замечал, читал в свободные часы критиков, литературоведов и т. д. Все же один вывод из размышлений о современности я тогда сформулировал. Перепишу его дословно из своей тетради № 1 (год 1951-й):

«По мере того как успешно решаются основные политические и экономические задачи борьбы за коммунизм (международная борьба за мир в том числе), в ряду с ними все решительнее выступают и будут высту-

пать на первый план задачи коммунистического воспитания молодых поколений как задел на будущее. В эту сторону вращается колесо истории, сюда клонится стрелка компаса, указывая нам дальнейший маршрут. Политика углубляется, перепахивая психологию людей. В свете такого объективно происходящего процесса мое личное переключение с журналистики на художественную литературу (с легкой «артиллерии» на тяжелую) приобретает прямой смысл, попадая в самую колею современности. Авось и на этом «поприще» (как выражается Сандрик) мой труд даром не пропадет».

После ночного разговора с Володей я стал исподволь знакомиться с историей педагогики. Читал о великих педагогах прошлого, западных и наших, читал Ушинского, Пирогова, Крупскую, Макаренко, Сухомлинского, Корчака. Педагогическая тема из года в год буквально стучалась в мои ворота: знакомство с Кэт и Варевцевым, случайная вагонная сценка («Не тебе купили!»), Федина затея с разновозрастными отрядами в Ленинграде, московский интернат Долинова; Федин рассказ о школьном заводе (на котором я еще не побывал). Наконец, этот фильм «2×2=X» прекратил мои колебания и окончательно укрепил меня в намерении написать на современном материале педагогическую повесть.

Что и как мне писать? Ставить проблемы на примере какой-нибудь одной средней школы или интерната, идя по следам автора «Республики ШКИД» или повестей Вигдоровой об учениках Макаренко? Сосредоточить огонь на препонах любой новизне в преподавании и воспитании со стороны школьных рутинеров?

Но авторы, пишущие о современных школьниках и учителях, либо сами преподавали в советской средней школе, либо учились в ней, а я — ни то, ни другое. Зато счастливый случай предоставляет мне возможность заглянуть в завтрашний день этой школы сквозь призму идейных, программных и методических исканий в недрах научно-исследовательских лабораторий, разрабатывающих проблемы современной и будущей школы. Пункт наблюдения в своем роде уникальный.

Жизнь покажет, кто из ныне ищущих и подчас спорящих между собой экспериментаторов в чем-то прав или в чем-то ошибается. Разве так уж важно, кому именно из них удастся поймать «жар-птицу» школы

будущего и от кого она ускользнет? Важно то, что все они одушевлены, увлечены погоней и бесстрашно устремляются по непроторенным путям, самоотверженно рискуя, настойчиво добиваясь правильных решений сложных вопросов школьных программ и методик, сверяя свои наметки с ходом жизни.

Над повестью начну работать, кажется, не с ее сюжета, а с людей, с их характеров и взаимоотношений, из чего должен будет вытечь сюжет».

«Порой мне кажется, что я многое мог бы делать лучше нынешних молодых людей, что они повторяют некоторые наши ошибки. Не исключено, конечно, что я в чем-то отстал от нового поколения: не понимаю, например, некоторых музыкальных произведений, вызывающих восторг у знатоков; то же с некоторыми полотнами живописцев, с режиссерскими «новациями» по стереотипам двадцатых годов в театре и кино; очень редко нравятся мне современные эстрадные певцы и позаимствованные у Запада всякого рода «роки», от которых страдают уши, не говоря уже о музыкальном слухе. Бывает так, что вокруг меня смеются, а мне не смешно. Однако все это, в конце концов, пена, течение времени ее смоет, смешно навязывать новым людям старые вкусы. А вот в вопросах нравственности дело другое, тут уступать нельзя.

Правильно писал еще в тридцатых годах Макаренко в своей замечательной «Книге для родителей»: «Наша мораль уже в настоящее время должна быть моралью коммунистической. Наш моральный кодекс должен идти впереди и нашего хозяйственного уклада и нашего права, отраженного в Конституции... В борьбе за коммунизм мы уже сейчас должны воспитывать в себе качества члена коммунистического общества. Только в этом случае мы сохраним ту моральную высоту, которая сейчас так сильно отличает наше общество от всякого другого».

К сожалению, особенно в последние годы, слишком часто наталкиваешься на примеры обратного порядка. Газеты, теле- и радиопередачи то и дело приносят сообщения о крупных преступлениях, хищениях, приписках, взятках и т. п. От Володи, Бориса, от Варевцева да и от моей Ариши, теснее меня связанных с практикой

текущего дня, я постоянно выслушиваю горькие, подчас запальчивые сетования по поводу всевозможных проявлений бюрократизма и бытовых уродств. Известно, что Маркс и Ленин предвидели неизбежность пережитков капитализма при первой фазе коммунистического общества, говоря о частичном сохранении «буржуазного права» и даже «буржуазного государства». Вспоминается, какое недоумение вызывали эти резкие формулировки у рабочих-партийцев в 1924 году, когда мы, руководы первых кружков ленинизма, зачитывали на занятиях вслух соответствующие страницы «Государства и революции», книги, написанной Лениным накануне Октября. «Как: буржуазное право и даже государство?! Социализм — и вдруг буржуазное!..» Социализм, который мы только что начинали строить, представлялся его строителям во всей своей кристальной чистоте, мысль о его загрязнении остатками мира эксплуатации казалась кощунственной, хотелось позабыть, что мы закладываем его фундамент из старых кирпичей.

А вот теперь мы наблюдаем такую живучесть «старого в новом», какая тогда нам не снилась, показалась бы невероятной. Правда, лично мне по роду занятий не приходится иметь дело ни с приписками, ни с хищениями, ни с взятками, зато некоторые бытовые мелочи в миниатюре того же самого «старого» свойства прочно застревают в памяти. В конце концов они-то и унавоживают психологическую почву, на которой произрастают крупные сорняки. «Не тебе купили» — об этом я уже упоминал, но вот, например, по возвращении из дома отдыха, где я кончал черновик романа, одной из забот дочери было одеть отца поприличней. Соседка по этажу, которую я помнил десятилетней Анечкой, сказала, что она отрекомендует Наташу продавщице магазина мужского платья, у нее самые модные импортные костюмы «всегда в заначке». Разговор шел при мне, я не сразу понял, о чем речь, а когда выяснилось, что есть возможность за некую добавочную мзду приобрести костюм «из-под прилавка», я отказался. Черт с ним, пусть будет немодный, к чему мне наряжаться, купим обыкновенным порядком, без сомнительных махинаций. Так мы с дочерью и поступили.

Вскоре после этого мы ходили всей семьей в театр, и по окончании спектакля зять, Борис, сунул в руку гардеробщику серебряную монету. «Разве это обяза-

тельно?» — спросил я. Борис пожал плечами: «Закон! Не обязательно, конечно, но не дать как-то неловко». Странно! А я почувствовал неловкость оттого, что «дали». Строго рассуждая, вознаградить из собственного кармана человека за лично тебе оказанную услугу не зазорно, однако я спросил себя: взял ли бы я на месте гардеробщика, при исполнении служебных обязанностей, эту монетку? Не взял бы. Во всяком случае, без крайней нужды не взял бы. Значит, давая ему на чай, я на лестнице морали заранее ставлю его ниже себя, сиречь унижаю. Мне это неприятно. А Борис этого не чувствует.

Подобных (и гораздо более увесистых) «капель дегтя в бочку меда» падает вокруг нас немало, и чувствуешь, как упираешься лбом в стену старого быта, которую мы проламываем, пробиваясь в новую жизнь. Лелечка, например, рассказывала Арише про чьего-то мужа, который 16 лет живет с чужой женой... А сколько раз приходится наталкиваться на грубость продавщиц? На обсчитывание тебя кассиршами? Делаешь вид, что не заметил, не лезть же на стену из-за ерунды. И тут все та же гнусная «копеечка», в которой старик Лёвшин из горьковских «Врагов» видел корень всех зол на свете: из-за нее иной душу свою готов засунуть под прилавок!

Подрубить под корень мещанство, или, как теперь говорят, «потребительство», во всех его видах и формах можно только на пути формирования коммунистической личности из каждого школьника, из каждого ребенка. Семья и школа тут в силу вещей выступают на первый план,— что я и должен буду образно показать в моей будущей повести.

Можем ли мы терпеть, чтобы в нашем собственном доме рука исторических мертвецов хватала нас за горло? Когда буржуазия и ее добровольные или подкупленные подпевалы пытаются всевозможные недостатки и темные пятна наши свалить на сущность социалистического строя, так и подмывает им сказать: господа хорошие, бьете вы нам челом своим же собственным «добром»! Будь то насилие, корысть, жестокость, воровство, хулиганство, бюрократизм, самовластие, жажда наживы, взятка, тунеядство, чванство, лицемерие, эгоизм, лень и другие пороки, им несть числа,— разве они со дня Октябрьской революции появились на белый свет?

Да ведь это все ваше исконное «добро», веками процветающее на почве вашего эксплуататорского строя как «природно» ему присущее, а у нас лишь назойливо бытующее в виде остаточной плесени прошлого по той причине, что не сумели мы еще искоренить кое-что из полученного от вас исторического наследия. Чуточку терпения, дайте нам срок, не срывайте и не тормозите наш мирный труд угрозами новых империалистических агрессий, и увидите, что от всех этих ваших пакостей не останется у нас даже воспоминания. Поколения коммунистических веков и вспоминать о них не захотят, разве что на театральной сцене...»

Работая большей частью дома, в московской квартире или на даче, Пересветов неделями и месяцами видел около себя кроме Ариши ее маму, Марию Ивановну, шагнувшую теперь уже за девяносто лет. Раньше беседы с ней часто переносили Константина в прошлое страны, о котором он писал, а в последнее время эти беседы приобрели весьма своеобразный характер. Дело в том, что она уже несколько лет страдала старческим психозом. По-человечески понятно, что Пересветов стал внимательнее к ней присматриваться. Она пробуждала в нем и писательский интерес к человеку в столь трагическом положении. Как раз он тогда знакомился с работами Выготского и других по детской психологии, а тут перед ним был человек на исходе жизни.

— Какая я несчастная! — часто произносила она плаксиво.

Константин Андреевич в таких случаях старался ее развлечь.

— Ну что вы, Мария Ивановна, зря,— говорил он ей,— вы счастливая.

— Это почему?— В ее голосе звучало любопытство.

Да как же? Мало кто доживает до девяноста двух лет, а вам, вот видите, посчастливилось.

Не находя возражений, старушка молча жевала свой язык, шевеля запавшими губами. Просила:

— Возьмите меня с собой в Павловский Посад.

В Павловском Посаде она родилась и не была там более пятидесяти лет. А теперь, оказывается, ей «папа велел прийти» туда. Отца ее нет в живых уже лет семьдесят пять.

— Дайте мне это... это...

— Не пойму, что вам нужно?

— А я-то надеялась! — разочарованно говорит она. — Ариша! — окликает она дочь. — Есть у нас обед? Надо покормить двух девочек... И вот еще двое мужчин с бородами. Вот оттуда лезут! — тычет палочкой-посошком в батарею отопления.

Зять вмешивается и советует: раз эти бородачи к ней пристают, прогнать их палкой!

— Ну как можно, палкой, — степенно возражает старушка. Обращаясь к пустому стулу, спрашивает: — А вы кто такой? Вас как звать-то? Меня Мария Ивановна.

Одно время настаивала, чтобы ее отвели в Сокольники, где она получит сорок рублей, которые одолжила некой Марии Васильевне году в девятьсот втором, когда работала в детском приюте Бахрушина. В конце концов зять сказал: «Ну хорошо, пойдемте». Вывел ее на улицу, обошли квартал кругом и по Молодежной благополучно вернулись домой. Про Сокольники старушка успела позабыть.

Пищу не доедает: «Куды ты мне столько кладешь? Мне маленький кусочек, — и обязательно оставит что-нибудь на тарелке: — Это им». Должно быть, думает о своих братьях, которых обслуживала после смерти отца с матерью. Мыло едва в руки возьмет, тут же кладет обратно в мыльницу.

— Вся эта бережливость, — говорил Костя Арише, — от привычки заботиться о других. Многие, старея, делаются жадными, злыми, мучают близких своей привередливостью, ничего подобного за твоей мамой я не замечал. Как была она всю жизнь добрейшим человеком, так им и осталась.

К старости у нее особенно развилась религиозность, от нее часто слышат: «Господи, спаси! Какая я грешная!» Сидит и напевает: «Волною морскою скрывшего древле, гонителя, мучителя... Свят, свят, свят, господь Самаоф...» Слова молитв помнит, как заучила в детстве: «Самаоф» вместо «Саваоф». Когда поет, кажется совсем нормальной, пение у Марии Ивановны показатель спокойного состояния души.

Раньше, когда старушка была в здравом уме, зять по ее просьбе провожал ее к пасхальной заутрене в церковь на обрыве Ленинских гор, в которой, по преда-

нию, венчался Иван Грозный, а дома в разговорах с ней, задевая религиозные темы, позволял себе беззлобно пошучивать,— она не обижалась, как не обижался на него когда-то и Шошин. Говорил, что она докучает богу молитвами, это может ему надоесть, он, чай, занят другими делами... Теперь она об их дискуссиях забыла, иной раз даже попросит: «Константин Андреевич, помолитесь за меня!» Он напомнит ей, что в бога не верует. «Как так?» — удивится она, точно впервые об этом слышит. «Так,— ответит он,— я помолюсь, а бог скажет: обманываешь меня, безбожник».— «Он так не скажет»,— возразит Мария Ивановна. «Не скажет, потому что его нет».— «Ну нет так нет», — спокойно согласится старушка.

Она часто спрашивает: «У нас все дома?» — «У нас все,— ответит дочь и добавит иногда шутя:— А у тебя как?» Мать помолчит, соображая, и совершенно серьезно скажет: «У меня, должно быть, не все дома».

В минуты просветления принимается благодарить, что за ней ухаживают (одну ее не оставляют), или говорит дочери: «Я должна идти, меня Константин Андреевич с Аришей ждут. Они обидятся, если не приду, они ко мне хорошо относились».

Бывали у нее, однако, и приступы воинственности: стучит палкой об пол, кому-то грозит, кричит: «Зачем меня здесь держите? Пустите меня домой!» — а где дом, сказать не может. Ночью встанет и бродит в потемках по комнатам, стаскивает одеяла со спящих. Пуговицы одно время наладила отрывать всюду, где их нащупает. Потом растерянно скажет: «Это не я, это они сами...»

Женщина-врач, терапевт, осмотрев ее, сказала, что сердце у старушки «как у семнадцатилетней».

Порою Мария Ивановна как будто сознавала свое положение. «Господи!— восклицала она.— Зачем я живу и ничего не делаю? Когда же я буду как человек-то? Скорей бы уж конец...» — «Что вы, Мария Ивановна, какой конец?» — «Какие концы бывают».

Еще не так давно она часу не сидела праздно, все старалась дочери помочь: то картошку чистит, то выбирает соринки из крупы, то ложкой помешивает на плите кашу. Увы, все эти занятия постепенно отпали. От огня и ножа пришлось ее держать подальше. Летом на даче, чтобы чем-то ее занять, усадили у окна террасы считать,

сколько леек воды выльют на грядки. Счет ей подсказывали, она сбивалась, а вечером похвасталась, что «сегодня работала, очень устала: мы поливали огород» Запомнила, значит.

И вот уже не стало милой Марии Ивановны. Последние месяцы жизни старушка провела с дочерью и зятем на даче. Недели за две до кончины были у нее приступы агрессивности, она вдруг принималась с несвойственной ей быстротой ходить по участку без видимой цели,— откуда только силы брались! Кончилось тем, что упала на землю. Подняли ее, уложили в постель возле раскрытого окна. Так она лежала, не вставая больше. Ничем, по-видимому, не страдала, заметна была только сильная слабость. Заговариваться, путаться в речах перестала, говорила немного лишь по поводу своих надобностей, осмысленно. Много спала.

С дочерью и зятем у нее уговор был, что похоронят ее по православному обряду. Видя, что мать слабеет, Ариша спросила: не позвать ли священника? Мария Ивановна сказала: «Зачем? Не надо.» То ли не думала о смерти, то ли по другой причине ответила так, осталось тайной.

Вечером ее спросили: не мешает ли ей заснуть свет, не потушить ли лампу? Она отвечала: «Потушите» Больше от нее уже не услышали ни слова, утром не проснулась, хотя все еще дышала. Приехавший врач «скорой помощи» сказал, что жить ей осталось самое большое сутки-двое. Она и суток не прожила, скончалась к вечеру, не приходя в сознание. Диагноз был — инсульт, кровоизлияние в мозг.

Все говорило за то, что смерти своей она не почувствовала.

Ночь перед похоронами Ариша посвятила приготовлению, с помощью деревенских соседок, стола для поминок. Справить заказанные в церкви соседнего села заупокойные службы приехал на собственном «москвиче» священник, проживавший в Москве. Служить заутреню рано, до света, ему помогала просвирня, совмещающая обязанности дьякона и псаломщика. Для Пересветова, оказавшегося в этот ранний час единственным посторонним лицом в храме, это было внове, раньше женщины к православной службе не допускались. Соскучившись слушать их заунывный дуэт (обещанный девичий хор, по словам просвирни,

ушел «за грибами»), он обратился к батюшке с вопросом: не будет ли кощунством, если он, неверующий атеист и коммунист, подпоет им слова молитв, знакомые ему с далекого детства? Священник отвечал: «Пожалуйста».

К началу обедни заказной автобус привез из Москвы родственников покойной; импровизированный церковный хор пополнился голосами двух племянниц Марии Ивановны. С тем же автобусом перевезли гроб с ее телом на деревенское кладбище, где батюшка с просвирней отслужили панихиду, а после похорон приняли участие вместе с соседями и родственниками умершей в поминальном застолье.

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Узнав от Варевцева день открытия семинара в Харькове, Пересветов съездил в кассу предварительной продажи и, отстояв в очереди, купил билет на вечерний поезд. Дмитрий Сергеевич выехал в Харьков днем раньше; его жена по телефону посоветовала Пересветову позвонить известному психологу, академику: он выезжает, кажется, сегодня, с тем же вечерним поездом. Перспектива побеседовать в дороге с одним из главных докладчиков соблазняла. Сын академика ответил по телефону, что отец приедет на Курский вокзал прямо из института; никто из домашних его не провожает, номер вагона они не знают. Он, вероятно, перед отходом поезда будет прогуливаться на платформе.

— Как его узнать?.. Он в коричневой кожанке. Да вы его узнаете по шевелюре.— В голосе сына почувствовалась улыбка.

В пассажирской сутолоке на платформе Пересветов без особого труда отыскал глазами представительную фигуру в темно-коричневом замшевом полупальто с меховым воротником, с копной седеющих волос вместо шапки.

На лице ученого выделялись, точно наклеенные, седые брови необыкновенной густоты. «Этот портретик прибережем для повести»,— с внутренней усмешкой подумал Пересветов, вспоминая практику бунинского Арсеньева. Подойдя, он отрекомендовался и объяснил, что в повести намеревается затронуть тему о школьных экспериментах.

— Что вам даст присутствие на семинаре?— услышал он в ответ.— Скучать будете. Мы едем толковать о вещах сугубо теоретических.

— Писать я собираюсь, конечно, о людях,— возра-

зил Константин, – да ведь как о них писать, не зная, чем они занимаются?

Ну что же, поезжайте, послушайте.

Пересветов сказал, что читал кое-что из педагогической литературы и не думает, чтобы ему предстояло скучать. Разговора, на который он рассчитывал, однако, не вышло, ехали они в разных вагонах.

Утром на платформе вокзала в Харькове Константин увидел, как встречавшие академика брали из его рук толстый портфель. Один из харьковчан узнал писателя по портретам в книгах; о его приезде Варевцев предупредил.

В вестибюле гостиницы «Харьков», куда гостей доставили на такси, за те полчаса, пока выписывали квитанции на номера (перед барьером толпилось до сотни командированных на различные совещания и съезды), Пересветов успел перемолвиться с одним из руководителей экспериментальной школьной лаборатории, профессором математики.

Не первый год мы существуем уже не на птичьих правах, как это было вначале, —говорил он писателю.— Давно оформлены решениями президиума Академии педнаук и соответствующих организаций в Харькове, а все еще пребываем как бы на задворках Приезжал недавно из Москвы замминистра просвещения, мы надеялись ознакомить его с нашей работой: все-таки у нас снимался учебный фильм и так далее. Говорят, про нас он спрашивал, но в облоно решили иначе: «Что мы вас повезем какой-то сарай показывать?» И повезли в превосходно оборудованную среднюю школу номер один, лучшую в Харькове. А к нам он ни ногой.

В очередях у барьера об интересах участников семинара хлопотала интеллигентного вида красивая девушка с черными кудряшками.

— Это наша Элечка,— пояснил он,— одна из лаборанток, преподавательница русского языка.

— Ваш номер на четвертом этаже,— сказала она писателю, возвращая его паспорт с вложенной в него квитанцией.— Вы извините, пожалуйста, одиночных номеров у них не осталось. Ничего, если вы поживете вдвоем с одним из наших товарищей?

— Конечно, отчего же!

В номере он застал белесого лицом невысокого мужчину лет тридцати пяти, с рыжеватым пухом на щеках

и верхней губе, заботливо расставлявшего на стеклянной полочке над умывальником мыльницу, стакан с зубной щеткой, коробку с порошком. Возле одной из кроватей, застланных белыми покрывалами, лежал на кресле туго набитый желтый портфель, на столе пачка свежих газет и несколько брошюр, на стуле стоял раскрытый чемоданчик. Свой чемодан Пересветов поставил в шкаф, не раскрывая.

Сосед, по фамилии Бахрамов, оказался разговорчивым молодым ученым из крупного центра в Средней Азии, где ведет курс психологии в вузе, мечтая создать там под своим руководством психолого-педагогическую лабораторию по образцу московской и харьковской. Об академике и других докладчиках на семинаре отзывался восторженно, особенно о Дмитрии Сергеевиче, который в недавние годы курировал его работу над кандидатской диссертацией в аспирантуре педагогического института в Москве. Этим людям, по его убеждению, принадлежат «исторические открытия» в области педагогической психологии. Направление и результаты их экспериментов, несомненно, определят будущее нашей средней школы, пусть пока еще очень отдаленное, говорил он. Но первые достижения уже есть, они внедряются в практику преподавания!..

Семинар открывался в одиннадцать, а было уже десять тридцать. Наскоро перекусив в буфете, этажом ниже, они направились в расположенное невдалеке от гостиницы здание харьковского университета.

Участников семинара ожидалось из разных городов человек тридцать — сорок, но кроме них в аудиторию, плотно заставленную партами и стульями, набилось до сотни студентов и студенток, жаждущих послушать доклады и выступления. Молодежь толпилась и в дверях, и в коридоре перед ними. Руководителей семинара пропускали к столу президиума, почтительно сторонясь. В толкучке Пересветов потерял своего спутника; кое-как ему удалось примоститься между рядами парт на стуле, который уступили двое сидевших на нем юношей. Почти у всех в руках были блокноты, тетрадки. Приятная учебная атмосфера аудитории напомнила Константину Андреевичу далекие студенческие времена. Он был очень доволен, что принял приглашение Варевцева.

...Три дня работал семинар, и интерес к нему не остывал ни у его участников, ни у студентов. Академик напрасно думал, что писателю скучно будет слушать. По примеру юных соседей он держал на коленях раскрытую тетрадь и сокращенно записывал, что ему казалось главным или не совсем ясным.

Что такое учебная деятельность? В чем ее сущность как научной психолого-педагогической категории? Этот вопрос оказался в центре обсуждения, тогда как Пересветову раньше даже в голову не приходило им задаваться. Разница между трудом с целью производства и трудом учащегося с целью приобретения знаний, казалось, ясна сама собой, к чему тут еще поиски каких-то скрупулезно точных определений? Однако докладчики и ораторы настойчиво их искали, спорили о мельчайших оттенках формулировок. Особое оживление внес в аудиторию Варевцев, выступивший вслед за академиком и заявивший: «У нас нет учебной деятельности» Спрашивалось, чем же в таком случае занимаются в школах? «Не схоластика ли все это?» думал Пересветов.

При ближайшем рассмотрении столь решительно высказанный парадокс оказывался не лишенным оснований. Не всякую познавательную деятельность участники считали учебной, не всякое обучение – учебной деятельностью. Если ученик решил задачу, говорили они, но не приобрел от этого умения решать другие такие же и они способны ставить его в тупик, то его труд учащегося над этой задачей еще не явился для него учебной деятельностью. В ней важен не сам по себе ближайший результат, а те изменения в личности учащегося, какие она вызывает. Учебной для человека его деятельность становится лишь в том случае, если осознанной ее целью и результатом является самосовершенствование, развитие способностей и самого учащегося, в конечном счете — гармоническое формирование его личности.

Дмитрий Сергеевич просил не толковать его слова об отсутствии у нас учебной деятельности буквально: в какой-то степени ее зачатки есть, они и в прошлом были, поскольку всякий труд чему-нибудь да учит человека, прививает ему какие-то навыки. Но при капитализме буржуазия, живя за счет отчуждения способностей рабочего в свою пользу и страшась роста его

классового сознания, заинтересована не в гармоническом развитии, а в подавлении его личности. Социализм впервые в истории начинает создавать условия для расцвета подлинной учебной деятельности людей, хотя у нас еще много преград для полной ее реализации. Например, необходимость в спешной подготовке технических кадров, зачастую против нашего желания, ведет к их узкой специализации в ущерб об екультурной подготовке; молодым нашим гуманитариям, наоборот, часто недостает технических познаний; отсюда возникновение таких, на взгляд Варевцева, идейно пустопорожних дискуссий, как недавняя между «физиками» и «лириками».

У выступавших на семинаре чувствовалась солидарность в исходных теоретических принципах, выработанная на совместной дружной работе, и это очень понравилось Пересветову. Подобных студентов и учителей он встречал в иной обстановке, помнил их по дням своей молодости: тот же душевный жар, та же бескорыстная жажда знаний и труда на пользу людям отличали первые поросли советского студенчества, к которым он сам принадлежал. «Писать их мне будет не трудно,— думал он,— лишь бы получше ознакомиться с их занятиями в лаборатории. Это важнее, чем их рассуждения. Перед ними целая жизнь, она поправит, если у них что-нибудь не так. Важно то, что они из того же теста, что и мы, но мы стары, а они молоды, и это великолепно!»

Что-то похожее он испытывал от бесед со своим сыном: перед ним словно распахивались двери в будущее, без которого нет для него ни жизни, ни захватившей его раз навсегда литературной горячки...

В перерыве Константин встретил в номере гостиницы Бахрамова в еще большем, чем он сам, возбуждении. За обедом они всё говорили и говорили про семинар. Молодой прозелит школьных экспериментов доказывал Пересветову, что «всякая наука начинается с выработки категорий».

— Мы с вами присутствуем при начальных шагах великой педагогики будущего!— патетически восклицал он.— Вы писатель, вы обязаны художественно отразить все, что вы здесь видите и слышите! Если вы

не сделаете этого, история вам не простит! — твердил он, вызывая у собеседника невольную улыбку («Есть еще один типаж!..»).

Перед вечерним занятием, столкнувшись в дверях аудитории с Варевцевым, Пересветов, улыбаясь, сказал ему:

— Ну, Дмитрий Сергеевич, вы сегодня герой дня! Точно Белинский, который начинал свои «Литературные мечтания» с заявления, что «у нас нет литературы»!.. Но ведь учит человека всякий любимый им труд, и в школе, и повсюду; как же вы сказали, что у нас нет учебной деятельности?

— В этом вся штука: ученье надо полюбить!..— успел, тоже улыбнувшись, ответить Варевцев прежде, чем толпа студентов их развела.

Историей школы Пересветов специально не занимался и теперь с интересом слушал участников семинара, развивавших примерно такой круг мыслей.

Передача культуры детям, говорили они, всегда была одним из условий существования человеческого общества. Знания передавались детям в готовом виде, считалось, что дети не способны ни к чему иному, кроме повторения опыта и образа жизни предков. Школа, как правило, нивелировала учащихся, обезличивала их. Лишь особо одаренным одиночкам удавалось вырываться из школьных тисков и совершать научные открытия, двигать вперед искусство, технику, рискуя нередко жизнью («еретиков» сжигали!).

Теперь же научно-техническая революция и на Западе и у нас потребовала умственных усилий не одиночек, а целых армий ученых исследователей, высокообразованных инженеров, техников, рабочих со средним и профессиональным образованием. Теперь уже мало закреплять в сознании школьников культурные достижения прошлого в готовом застывшем виде, школа должна растить людей мыслящих, активных, инициативных, критически осваивающих эти достижения, способных не потеряться в неожиданных обстоятельствах, какие бы небывалые задачи и трудности перед ними ни вставали.

Но можно ли и как заинтересовать учащегося в подобной учебной деятельности? В школьной практике это вопрос непростой. Первоклассник, переступающий впервые порог школы, не думает о знаниях, он полон нетерпеливого ожидания новых впечатлений, неведомой ему жизни, приходящей на смену детским играм. Лишь постепенно его любопытство может преобразоваться под влиянием искусного педагога в познавательный интерес, иногда подогреваемый, а иногда, к сожалению, засоряемый и охлаждаемый привходящими житейскими обстоятельствами и тормозами: родительские внушения, поощрения за хорошие отметки и подзатыльники за плохие; престижные стремления к личному успеху; в старших классах — погоня за лучшим аттестатом для поступления в вуз, а в вузе — за дипломом об окончании ради обеспеченного заработка и так далее.

Насколько Пересветов мог понять из прений на семинаре, в широких педагогических кругах в тот момент не было единства взглядов на роль и значение этих разнородных стимулов к учению в школе. Традиционный взгляд гласил, что все они более или менее равноценны и приемлемы, если служат общей цели повышения успеваемости школьника. Руководители и участники семинара восставали против такого поравнения стимулов, считая его проявлением эклектизма. Не отрицая наличия в жизни различных социальных мотивов успеваемости, приносящих ученику знания в качестве побочного продукта его посторонних стремлений, они настаивали на главенстве и приоритете для школы познавательного интереса.

Лозунг «учить учиться» хорош, говорилось на семинаре, но ничего не решает, если у самих школьников не развить желание учиться. Нельзя выучить малыша или подростка, если он учиться не хочет, нельзя его воспитать, если он не пожелает быть воспитуемым.

Исследования, проведенные в недавние годы педагогами и психологами в Литве и на Украине, сигнализировали неблагополучие: если в первом классе интерес к учению нарастает, то во втором и третьем он уже снижается, его место заступают «мотив успеваемости» (забота об отметке) и прямой нажим со стороны родителей и

учителей. Продолжает снижаться интерес к учению и с пятого класса по седьмой: из каждых четверых семиклассников оно интересует лишь одного, двоих оставляет равнодушными, а один из четверых учиться не любит и не хочет. Таковы данные по обычным средним школам. Они проникали в печать, но для Пересветова были новыми. Угрожающие данные!..

Приводились на семинаре и печальные факты падения авторитета школы в связи с потоком радио- и телевизионной информации, зачастую подменяющей знания, которые современный подросток должен бы получать в школе, их суррогатом. Схватывая обрывки знаний на лету, подросток начинает относиться к урокам в школе с пренебрежением: ему, дескать, все это уже известно, а знакомясь с инсценировками классических литературных произведений, не читает их в подлинниках.

Кто-то из выступавших упомянул об уроках труда. Тема эта специально на семинаре не обсуждалась, а Пересветов подосадовал, что не побывал еще на школьном заводе, о котором слышал от Лохматова. Приохотить школьника к производительному труду — разве это не средство развития у него познавательного интереса? И еще одно думалось ему: правильные программы дело прекрасное, но увлечь своим предметом учеников может лишь тот учитель, который сам вкладывает в него свою душу. Иначе он заразит учеников не любовью к своему предмету, а равнодушием к учению.

В перерыве Константин Андреевич спросил руководителя харьковской лаборатории, сравнительно еще молодого профессора филологии, не проводились ли ими исследования познавательных интересов школьников у себя в экспериментальных классах.

— Как же, проводились,— отвечал тот.— У нас картина совершенно иная, чем в обычных классах. Вы бы остались на несколько деньков после семинара?.. По-моему, вам любопытно будет ознакомиться с нашей работой и материалами. Побываете у нас на уроках.

Пересветов поблагодарил за приглашение и сказал, что непременно им воспользуется.

В последний день занятий Бахрамов выступил на семинаре, пытаясь развить некоторые теоретические положения Варевцева. Из реплики последнего он понял, что тот не одобряет хода его мыслей, и весь день ходил расстроенный. Хотел с Дмитрием Сергеевичем поговорить, да того, что называется, разрывали на части Оставалась надежда вечером сесть с ним рядом за стол на банкете, которым участники семинара завершали встречу, сняв для этого в складчину зал в ресторане гостиницы «Харьков».

Но и тут Бахрамову не повезло: Варевцев сидел рядом с академиком, а слева от себя пригласил сесть Пересветова. Когда начались тосты, Дмитрий Сергеевич неожиданно поднял бокал «за нашего большого друга — писателя». На раздавшиеся аплодисменты надо было ответить, и Пересветов, поднявшись, поблагодарил присутствовавших за то, что они ему напомнили его молодые годы.

— Я решил писать о вас, товарищи,— говорил он,— и теперь, повидав вас воочию, уверился, что смогу написать, потому что вижу в вас мою собственную молодость. Как и мы в свое время, вы беззаветно отдаетесь делу, какое история поставила в порядок дня. Вы отворяете школьные двери в будущее, а движет вами чувство, благороднее которого нет на свете,— любовь к детям, к этой утренней заре человеческого «завтра»!..

После нескольких тостов, под общий шум и разговоры, которыми непрерывно жужжал длинный стол, между Пересветовым и академиком завязалась ученая беседа на темы педагогики и психологии. Беседа велась сначала за спиной Варевцева, в адрес которого неслись какие-то шутливые реплики с разных концов стола, потом Дмитрий Сергеевич поменялся с писателем местами, а к концу банкета перебрался поближе к молодой компании харьковчан и харьковчанок. Наши собеседники между тем сменили пластинку и ударились в приятные воспоминания о студенческих годах в Москве; потом коснулись перспектив разрядки, недавнего договора с США об ограничении стратегических вооружений...

Прервав наконец разговор, они выбрались из-за опустевшего стола и прошли под аркой в соседний зал, где на эстраде небольшой джазик в сумасшедшем темпе

стучал, гремел и визжал на весь огромный ресторан. В тесном кольце сгрудившейся публики метались друг против друга танцор и танцорша, импровизируя сверхсовременные рискованные па, классическим танцам, безусловно, противопоказанные и вызывавшие взрывы хохота. Перехода за грань эстетики, однако, не чувствовалось, уж очень была изящна и мила веселая раскрасневшаяся танцорша, в которой Пересветов узнал Елену Евгеньевну, вручавшую ему в день приезда квитанцию об уплате за гостиничный номер. Ее каждое движение, каждая мина пронизаны были нарочитым кокетством и откровенной иронией над своим танцем, над партнером, над самой собой и над публикой, которой она время от времени показывала язык. Должно быть, она показала язык и академику, потому что он усмехнулся и, отвернувшись, буркнул:

— Безобразие! Как только нашей Элечке не стыдно!

И направился к себе в номер спать. Но она танцевала мастерски, ни на миг не теряя контроля над собой,— верный признак владения искусством.

Партнера танцорши Константин сначала видел только со спины, мешали впереди стоящие. Хохолок волос показался ему знакомым; когда танцевавшие, имитируя круговую погоню друг за другом, поменялись местами, он, к своему крайнему удивлению, узнал «героя дня» — Митю Варевцева! Куда девался его животик, над которым его обладатель сам любил подтрунивать. Потный, с развязавшимся галстуком, заметно выпивший Митя не отставал от молоденькой партнерши ни в задорности танца, ни в темпе, ни в изобретательности, отвечая по-своему на каждый новый ее зачин. Пересветов не знал, на кого из них ему смотреть, и хохотал вместе со всеми. «Хорошо, что старик ушел,— подумал он,— не успел опознать своего любимого ученика».

Уж этот танец он непременно опишет в своей повести. И этот язычок, показанный академику... «И тут проблема поколений!»

Психолого-педагогическая лаборатория размещалась в двух тесных комнатках второго этажа пришкольного флигелька. Ее сотрудницы и сотрудники забегали сюда во время перемен,— все они имели учи-

тельскую нагрузку в школе. Они охотно показали московскому писателю несколько своих уроков математики и русского языка в первом и втором классах. С некоторыми вариациями он увидел и услышал то самое, о чем имел представление по заснятому здесь фильму «$2 \times 2 = X$», а затем в течение двух дней по нескольку часов сидел за письменным столом в лаборатории над итоговыми таблицами обследований и папками всяких докладов, записей и ученических сочинений. Особенно внимательно он штудировал материалы исследования познавательных интересов учащихся, чувствуя, что здесь главный нерв проводимого Варевцевым и другими эксперимента, ключ к его успеху или неудаче.

Исследование, с которым ему рекомендовал ознакомиться руководитель лаборатории, проводилось так. Второклассникам двух школ, экспериментальной и контрольной (обычной, работающей по недавно утвержденным новым программам), предложили написать в течение учебного часа сочинение на любую из четырех тем по выбору: 1) Что я знаю о слове? 2) Что я знаю о математике? 3) Чем я люблю заниматься? и 4) Мой выходной день. Чтобы на выбор не повлияли посторонние соображения, сказали, что цели занятия чисто научные, что отметки проставляться не будут и выбор темы никакого значения иметь не будет. Занятия проводил не их классный учитель, а человек для школьников посторонний, психолог.

И вот оказалось, что в обычных классах почти никто не выбрал тему, связанную со школьной программой (1-ю или 2-ю), а в экспериментальной на эти темы писали более половины второклассников. В обычных классах большинство учеников писали на тему о выходном дне.

О своих любимых занятиях писали и тут и там, но вот что характерно: в экспериментальных классах почти все, кто выбрал эту тему, отдали предпочтение занятиям познавательного характера: изучение любимого школьного предмета, чтение серьезных книг и т. п. А в контрольных классах большинство оказалось любителями погулять, поиграть в футбол и другие игры, а если почитать — то сказки.

С большим интересом читал Пересветов ребячьи сочинения, написанные на тему по выбору и не на от-

метку. «Слово бывает очень хитрым,— писала второклассница Ира Ф.— Оно может быть одинаково на слух, а если проверить орфограммы в слабых позициях, то это, оказывается, два разных слова». «В школе я узнала,— пишет ее тезка Ира Е.,— что можно составить звуковую модель слова».

Вадик К.: «Я очень люблю решать примеры и уравнения. Иногда я, когда не задают уроков на дом, сам придумываю уравнения, записываю их на чистый листик и решаю».

«В школе я узнал, что задачи можно решать двумя способами: арифметическим и алгебраическим. А дома, когда я еще был маленьким, я этого от старших братьев не слышал, а они уже ходили в школу» (Ростислав К. не чувствует себя маленьким, он уже взрослая личность!)

«Мы сейчас проходим теорию множеств... В алгебре главный девиз: упрощение и обобщение». (Витя К.)

Все зто писали 8—9-летние второклассники. А вот сочинения учеников четвертого экспериментального класса, мальчиков и девочек в возрасте 10—11 лет:

«Я люблю заниматься химией, неорганической химией... Химия — основа технологии, биологии, физической химии, кристаллографии, геобиохимии и т. д.». (Женя В.)

«Я люблю заниматься историей древних греков и римлян. Я достала много книг о них». (Юлия Г.)

«Люблю читать книги, потому что из книг я узнаю много нового, интересного. Я волнуюсь за судьбу героев, радуюсь, когда книги хорошо заканчиваются. И после того, как книгу прочитаешь, долго обдумываешь ее и делаешь какой-то вывод — как правильно поступать, а как неправильно, что справедливо и что нет». (Ира Г.)

Три молодые женщины, сотрудницы лаборатории, были не похожи друг на друга. Вера Леонидовна, с туго заплетенной темной косой и задумчивым выражением серых глаз, вызывала у Пересветова образ тургеневской девушки. Елену Евгеньевну, стриженную под кудрявого мальчика, он запомнил по ее вихревому танцу. Она казалась ему самой из них современной. Инессу Александровну, блондинку в очках, он готов был зачислить в категорию «синих чулков», встречавшихся среди деву-

шек во все времена, такой она казалась невозмутимой и серьезной. Но когда молодые женщины шумно врывались в помещение лаборатории, делясь впечатлениями от только что проведенных ими уроков, они все три сливались для него в единый образ энтузиасток своего дела. Заметив притулившегося за столом в боковой каморке писателя, кто-нибудь из них тихонько прикрывал дверь, чтобы ему не помешать, но он вставал со стула и отворял ее снова, улыбаясь и говоря, что и в его рабочем дне должна быть перемена.

У Инессы Александровны выдался свободный урок, и они разговорились. Она работает здесь больше десяти лет, со дня организации экспериментаторской группы. Тогда их было несколько человек. Окончив харьковский пединститут в 1961 году, они загорелись желанием участвовать в научно-исследовательской экспериментальной работе. Кое-кто потом отсеялся, пришли новенькие...

— В лаборатории нас было человек пять, и мы первые пять лет работали в свободное время без оплаты. Каждый экспериментальный урок сообща обсуждался с руководителями, планировали следующий.

— На какие же вы средства существовали?

— Уроки в школе нам оплачивались. В шестьдесят восьмом году впервые дали одну ставку лаборанта на всю группу. А в семьдесят втором мы стали уже научными сотрудниками. Сейчас в лаборатории нас человек пятнадцать или шестнадцать.

Инесса Александровна, как и Эля, ведет уроки русского языка. Пересветов спросил: чем она объясняет, что ребятишкам нравятся такие сугубо теоретические манипуляции, как, например, фонетическое моделирование слов, не совсем ясные даже для взрослых, учившихся по старинке?

— Честно сказать, я сама, идя на первый урок по нашей программе, боялась, что дети меня не поймут. Сильно сомневалась в успехе. И неожиданно для себя сумела расшевелить и заинтересовать их. Очевидно, потому, что мыслительный аппарат у них устроен так же, как у нас, взрослых, и поддается развитию.

— Не помните, с чего вы начинали свой первый урок?

— С чего именно первый, сейчас уже не вспомню... Обычно мы начинаем со слова. С разницы между пред-

метом и его названием. Покажешь им, например, тетрадь, спросишь: что это такое? Они дружно, хором отвечают: «тетрадь» или «тетрадка». «А что такое слово «тетрадь»?» Молчат, вопроса не понимают. Значит, говорю им, тетрадь и слово «тетрадь» — это одно и то же? Кивают головами — «да», но не очень решительно и не все. Тогда я беру тетрадь и бросаю на стол или даже под стол и спрашиваю, могут ли они бросить под стол слово «тетрадь». Или сделать из слова «тетрадь» кораблик? Смеются, хором отвечают: «Нет, не можем!» Так что же, выходит, тетрадь и слово «тетрадь» вещи разные? Хоть и не очень дружно, но все же хором соглашаются: «Разные». Кого-нибудь озаряет догадка (мы особенно ценим у ребят такие озарения): «Слово «тетрадь» — это название тетради». Восклицаю: «Молодец!» — и он сияет. Ну и так далее. Стараешься ставить их лицом к лицу с противоречиями, чтобы они приучались сами находить, как их разрешает жизнь. Им это нравится, получается что-то вроде игры, а незаметно для себя они не просто глотают готовые знания, а привыкают мыслить обобщенно.

— Алексей Максимович Горький, если не ошибаюсь, называл это «запустить ежа под черепную коробку»? — заметил Пересветов с улыбкой.

— Да, это он очень метко... Сначала у нас бывали недоразумения с родителями,— продолжала Инесса Александровна.— Многим казалось, что мы зря захламляем головы детей чересчур мудреными вещами, некоторые даже хотели взять своих ребят из экспериментальных классов. Но уже к концу первого учебного года отношение к нам стало меняться. Начали поговаривать, что дети становятся послушнее, охотно садятся за домашние задания, меньше капризничают. Характер занятий стал давать не только образовательный, но и воспитательный эффект. В самом деле, в нашем потоке (в школе не все из параллельных классов были экспериментальными,— пояснила она) почти не случались ЧП, не было ни одного школьника на учете в комнате милиции. А на втором году работы со мной такой случай был. Заболел сынишка, пришлось взять его домой и самой пропускать уроки в школе. Я мать-одиночка,— добавила она, слегка хмурясь.— А выздоровел сын — сама заболела, и целую четверть за меня мой класс вела другая учительница не по нашей, а по

обычной программе. Дирекция решила было совсем передать ей мой класс и дать мне другой, когда я вышла на работу. Так что вы думаете? Родители прямо-таки взбунтовались. Пришли делегацией к директору школы и добились, что класс остался за мной.

Она счастливо рассмеялась, изменив своему серьезному виду.

— Да, это успех! — заметил Пересветов. — Вы вправе гордиться, Инесса Александровна.

— Это был успех всей нашей группы, — возразила она.

Ее щеки розовели. Константин поинтересовался: не пытались ли на уроках обойтись без проставления отметок?

— Опыты эти довольно широко ставятся в тбилисских школах, — сказала она. — Мы их провели в одном из классов по географии, потом по химии. Успеваемость не снизилась, скорее наоборот. Ребята долго не замечали, что им баллов не проставляют. А когда было предложено каждому проставить себе самому балл за четверть, то, представьте себе, почти никто не оценил свои успехи выше, чем их оценила учительница, а кое-кто даже ниже, чем она. Но эти школьники у нас в эксперименте с первого класса, у них развит познавательный интерес. Параллельного опыта с обычным классом мы не проводили.

«Как могут иногда три слова, случайно вырвавшиеся у человека, молнией высветить его внутреннюю жизнь: «Я мать-одиночка...» — думалось Пересветову, когда он проводил Инессу Александровну на ее очередной урок. Неустройства личной жизни молодая учительница возмещает преданностью своему ребенку и второклашкам, с которыми занимается так увлеченно.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Ирина Павловна испугалась за Костю, когда тот однажды зимой вошел к ней в кухню побледневший. Телефонный звонок из Ленинграда ошеломил его: сосед Феди Лохматова по квартире сообщал, что у себя дома скончался Федор Васильевич. Утром он чувствовал себя как будто бы нормально, а днем неожиданно, почти молниеносно его сразил новый инфаркт. Людмила Андреевна сама подойти к телефону не в состоянии.

— Скажите сестре, что я завтра буду в Ленинграде,— отвечал Константин.

С братьями Лохматовыми у Кости было столько связано, что теперь, казалось, отваливалась в безвозвратное прошлое целая половина прожитой жизни. Теперь он может только вспоминать о них. Совсем недавно, года не прошло, умер старший Лохматов, Николай. Несколько писем да записи в «Дневнике фаланстера» рукой «Белого» — вот все, что сохранилось от него у Кости.

Смерть дома, в своей постели, как-то не вязалась с бесчисленными Фediными похождениями и переездами. Но что случилось, то случилось. Пересветов заказал по телефону билет на ночной поезд и позвонил Долинову. Леонард Леонович удрученно сказал, что он счел бы своим долгом съездить на похороны Федора Васильевича, да в интернате заварилась такая каша, что ему ни на день нельзя отлучиться. Начал что-то говорить о хулиганской «хунте» среди ребят, но — Пересветов выслушивать подробности сейчас не был расположен, разговор отложили до его возвращения из Ленинграда.

— Словом,— заключил Долинов,— теперь прощай знамя, завоеванное в прошлом году!..

Жизнь так сложилась, что брат с сестрой виделись очень редко. Не взаимная холодность была причиной, напротив, между ними теплился оттенок нежности с той поры, когда Людочка относилась к старшему брату с детским обожанием, а он любил подергивать ее за косички. Про его исключение из еланского реального училища и арест она узнала тогда же, одиннадцати лет от роду, и с тех пор стала считать Костю героем. Мать держалась иного мнения, но девочка приняла сторону брата. Она запомнила ночи, когда в их крохотной пензенской квартирке за Костиной дверью до утра горела лампа и он, как ни ворчала мама, строчил стихи и повести для «Зорь».

Людочкина судьба могла сложиться иначе, если бы в девятнадцатом году мать отпустила ее в Еланск, куда их обеих звали к себе Костя с Олей, но Елена Константиновна ехать не согласилась, а девочка оставлять маму не захотела. Так они с братом и расстались на

том жизненном перепутье чуть ли не навсегда. Недолгие периоды, когда Люда гостила у Пересветовых в Москве, и редкие Костины наезды в Ленинград в счет не шли.

И вот они теперь свиделись в горестные для обоих дни Фединых похорон. Живое моложавое лицо Людмилы Андреевны резко контрастировало с сединой головы; ей, однако, уже было под семьдесят. Брат был на шесть лет старше, а седине все еще не поддавался. При встрече сестра припала к его груди, пряча слезы.

Федор лежал в гробу с суровым строгим лицом, с глубокими складками у рта, совсем не похожий на когда-то бесшабашного елапского Федьку, весело воевавшего со своей теткой Прасковьей Илларионовной.

Проводить Лохматова в последний путь пришли представители райкома партии, гороно, учителя, военные и чекисты — бывшие его соратники. Выпускники «блокадной» школы, воспитанники разновозрастных отрядов в надгробных речах говорили, что «дядю Федю» им никогда не забыть, что такими людьми движется вперед наша жизнь. По просьбе Пересветова его сводили в «тот» интернат, делились воспоминаниями о «том» лете с Федором Васильевичем на «необитаемом острове»...

Для Людмилы Андреевны Федор и Костя олицетворяли пору ее детства и девичества. Дружба с Федей осветила ей жизнь, скрасила старость. Брату казалось, что теперь одиночество будет для нее вдвойне тяжелей, чем раньше, и он предложил Люде переехать к ним в Москву. Она тяжело вздохнула, сказала: «Спасибо тебе!» — но отказалась.

— Я приросла к Ленинграду.

Здесь у нее свой мирок, небольшой круг друзей, все они знали и будут помнить Федю. Ее навещают бывшие школьники и школьницы из того подвала, где ими была сообща выстрадана блокадная зима. Да и сейчас, уйдя на пенсию, она не оставляет работы с детворой микрорайона в основанном Федей междворовом клубе.

Константин еще раз побывал на Кировском заводе у Лучкова. С 1962 года из заводских ворот выходили двухсотсильные колесные трактора «К-700», превосходившие мощностью первые «фордзоны-путиловцы» в десять раз, а теперь начиналось освоение еще более мощных «кировцев» — трехсотсильных «К-701». Пе-

ресветова интересовали современные формы связи промышленности с наукой, широко практиковавшиеся в научно-производственном объединении, созданном на основе завода; своими расспросами он отнял у Алексея Федоровича добрый час времени, прежде чем распрощаться, извинившись за пазойливость и высказав искреннюю благодарность за внимание со стороны столь занятого человека.

Возвращаясь в Москву, Константин перебирал в уме более или менее близких ему людей, ушедших из жизни в последние годы. Из однокашников по институту Адамантов не на много лет пережил Плетневу, которую они вместе хоронили. Недавно скончался «крестный отец» Пересветова в художественной литературе Николай Севастьянович, а следом за ним Петя Сацердотов, оба такие чистые, славные люди! Старого писателя Константин и другие собратья по перу проводили на Новодевичье кладбище в Москве, а про Петю Анна Ивановна сообщила письмом из Пензы, когда похороны уже состоялись. Из пензенских друзей-реалистов в живых только Мечик. Кто-то теперь на очереди, в которой никто не стремится быть первым?..

Сошла в могилу вслед за Марией Ивановной ее старшая сестра, а вскоре — увы! — и славный человек Зинаида Алексеевна, оставившая на память Константину Андреевичу вышитую собственноручно тюбетейку на его непослушные мягкие волосы... «По-моему, она была в тебя влюблена»,— сказала Ариша мужу после смерти кузины.

Приехал в Москву Константин с решением: бывалый чекист и участник Великой Отечественной войны, в отрочестве отчаянный школьный буян Федор Лохматов, в старости увлекшийся педагогическими исканиями, станет прообразом главного лица повести.

И еще прообраз — это Владимир, сын Пересветова. С него-то он сможет написать молодого ученого, увлеченного гуманитарными науками. Не только педагогическая практика, но и теоретические споры, дискуссии должны найти отражение в повести. Идеи о будущем, которыми такие люди живут.

По возвращении из Ленинграда Пересветов наведался к Долинову.

— За все четырнадцать лет у нас таких исключи-

тельных чепе не было,— рассказывал ему Леонард Леонович.— Интернат не на плохом счету в Москве, нам каждый год подбрасывают кого-нибудь на исправление. Минувшей осенью подкинули нескольких трудноватых. Мы, как обычно, разбросали их по разным отрядам, однако на сей раз не помогло. Тут еще двоих новых воспитателей приняли, не очень опытных. Когда в школе появляется хулиганствующий ученик, к нему льнут такие же, как он. Случалось так и раньше, но в этом году не в одном отряде, а в нескольких раз за разом стали происходить мелкие кражи, вымогательства денег и родительских гостинцев у детей, побои. Не сразу, но в конце концов мы выявили в интернате что-то вроде шайки нарушителей-подростков.

— Эту компанийку вы и назвали мне по телефону «хунтой»?

— Да, у нас эта кличка привилась. Что надо было делать: исключать из школы? Выгнать нехитро, а что с ними дальше будет, где и как им получать среднее образование? Уговоры, нотации — это им как с гуся вода. И знаете, что мы сделали? Провели по всем отрядам анкету с вопросом: «Кто нам мешает жить?» Ответы предлагалось направлять в редакцию «Огонька», и вы можете их прочесть в трех последних номерах стенгазеты... если интересуетесь нами, как интересовался покойный Федор Васильевич.

Заметки под рубрикой «Они мешают нам жить» действительно были впечатляющими. Человек восемь или девять семи- и восьмиклассников, из них одна девочка, названные в газете по именам и фамилиям, нарушали не только правила внутреннего распорядка в интернате, но и правила обыкновенного человеческого поведения. «Отнимают принесенные из дому в понедельник гостинцы»,— писали авторы заметок. «Портят мебель и двери», вырезая ножом хулиганские надписи; в классах «шарят по партам», а ночью в спальнях обшаривают карманы платьев; за столом «нахально отнимают масло», порции второго, грозят побить всякого, кто на них пожалуется. Спящих обсыпают нюхательным порошком или устраивают «велосипед»: зажгут спичку и воткнут спящему между пальцев ноги. «Палку с гвоздями кидали в собаку...»

Описанием подобных «художеств» заполнены были колонки стенгазеты. Зато и гневные оценки бесчинств

были не менее красочны: «Не хочу их видеть!»; «Таким не место в нашей школе!»; «Мешают нам жить и учиться...»; «Вызвать их на общее собрание!»; «Гнать их вон из интерната!»; «Исключить!..»

— Правильный путь вы выбрали,— сказал Пересветов Долинову.— Заметки эти не только бьют по безобразникам, но воспитывают и тех, кто писал о них в газету, учат бороться со злом. Чем же все-таки кончилось? Исключили кого-нибудь?

— Пока никого. Угомонили, сбавили баллы за поведение, но главное, что подействовало,— это всеобщее дружное осуждение со стороны ученического коллектива.

По словам Леонарда Леоновича, из шестисот воспитанников интерната ежегодно не менее трехсот помещают в «Огоньке» свои заметки и письма. Это в среднем, а в старших классах редко найдется паренек или девушка, не написавшие что-нибудь в свою интернатскую газету.

Гневный голос ученической общественности подействовал сильнее других мер: зимой безобразия «хунты» прекратились. Но в феврале случилось новое происшествие. Со слов Долинова, дело было так.

Часов в одиннадцать ночи дежурная по интернату воспитательница пошла в обход по спальням. У девочек все было тихо, все легли спать. На этаже мальчиков тоже как будто все обстояло благополучно. Заглянув в дверь спальни восьмого отряда, учительница хотела отойти, но поза спящего у окна показалась ей странной. Ноги неловко подогнуты; зачем-то с головой укрылся, когда в спальне тепло. Войдя, она разглядела, что одеялом укрыта подушка и скомканный угол матраса, хозяина же постели на месте нет. Подобное сооружение высилось и на соседней кровати.

Воспитательница разбудила командира отряда, комсомольца Андрюшу. Тот подивился: Сема Федоскин и Толя Корабликов ложились спать вовремя, куда же они подевались? Он разбудил еще троих комсомольцев, Юру, Борю и Митю. Стараясь не шуметь, мальчики оделись и вышли с воспитательницей в коридор.

— Придут они, Екатерина Антоновна,— уверял Андрей.— Пошляются и вернутся в спальню. Это с ними бывает.

— Надо весь дом обойти,— предложил Митя, невысокий ростом черномазый живчик.— Верно, курят где-нибудь.

— Кабы ненадолго ушли, постелей бы не маскировали,— резонно возразил Борис.

— Пойдемте спросим у тети Паши, не видела ли их,— сказала Екатерина Антоновна.

Старушка уборщица, дежурившая внизу у главного входа в интернат, сказала, что двое старшеклассников недавно прошмыгнули на крыльцо: «Сейчас вернемся»,— а вот кто такие, она не успела разглядеть. Андрей решил:

— Мы с Юркой останемся здесь, а Митя с Борисом пойдут к дверям во двор. Будем их дожидаться. В случае чего поставим на обсуждение отряда. А вы, Екатерина Антоновна, идите себе в учительскую. Если что, придем и вам скажем.

— Операция «Ы»!— подмигнул товарищам, уходя, Митя.

Воспитательница в учительской прилегла на диван. Когда ее разбудили, стрелки стенных часов показывали уже четверть четвертого. Андрюша с Митей стояли перед ней взволнованные и смущенные.

— Пришли,— сообщил Андрей.— Авоськи мы у них взяли и припрятали.

— Какие авоськи?

— Видим — тащат что-то в двух авоськах. Смотрим — папиросы...

— Папиросы? В авоськах? Что это значит?

— Пачки папирос и еще коробочки с чем-то. Спрашиваем: где взяли? «Потом,— говорят,— расскажем, скорей спрятать надо где-нибудь, чтобы нас не застукали».

— Так это они что же, украли где-нибудь?

— Из ларька будто бы взяли.

— Батюшки мои! Так это они табачный киоск ограбили?!

— Наверно. Спрятали все в пустой шкаф в бытовке, ключ от нее вот, у меня. Без меня туда не войдут.

— Сейчас же несите всё сюда!— распорядилась дежурная по школе.— Или нет, я сама с вами пойду...

— Екатерина Антоновна,— возразил Митя,— может, лучше выследить, что они хотят с папиросами делать? Их, верно, подговорил кто-нибудь на кражу.

Федоскин ведь уже судился один раз и условный приговор к двум годам имеет.

— Попридержи, милый, свою пинкертоновскую фантазию. Они твои товарищи, и первое, что мы обязаны сделать, предостеречь их от новых глупостей. Довольно того, что они уже натворили, а если их кто подбил, пусть Федоскин сам и расскажет.

Минут через десять на столе в учительской возвышалась горка пачек «Беломора», «Севера», сигарет «Прима» и других, в целлофановых обертках кучками лежали коробочки с незатейливыми брелочками, цепочками, несколько самопишущих ручек и тому подобная мелочь. Юные похитители, как видно, совали в свои авоськи наспех, что попадало под руку.

— Ах, Толя, Толечка! — сокрушалась воспитательница, глядя на эту незаконную мальчишечью добычу.— Поддался-таки Федоскину! А тот о чем думал? Теперь ему колонии не миновать, второй раз условного не получит. Зовите-ка их обоих ко мне. Не спят, наверное.

Митя выбежал из учительской.

— Екатерина Антоновна,— сказал Андрюша,— а если бы они отнесли сейчас эту ерунду обратно в киоск, на прежнее место, пока никто кражи не заметил? Тогда их, может быть, и судить бы не стали.

— На этот счет я всех законов не знаю. Поговорим с ними, а потом что скажет Леонард Леонович. Конечно, надо им как можно скорей идти с повинной.

Тут вихрем ворвался Митя, за ним и Юра с Борисом.

— Ушли! Оба ушли из здания!..

— Мы их пытались удержать,— объяснял Борис,— звали к вам, уговаривали повиниться. По-моему, Толька бы не ушел, да Семен ему говорит: «Идем, погуляем на свободе, пока в милицию не забрали. Теперь все равно заберут». Даже и на авоськи рукой махнули, бегом пустились из интерната.

— Так идите же скорей, догоните, верните их! — волновалась Екатерина Антоновна.— Ах, что за глупцы такие, не понимают, что каждая лишняя минута отягчает их вину!.. Бегите же за ними!

Комсомольцы гурьбой сорвались с места.

На улице, однако, беглецов догнать не удалось, никто не видел, в каком они ушли направлении.

...Просмотрели и пересчитали все вещи из авосек, составили их список и приложили к протокольной записи случившегося, подписанной участниками этой чрезвычайной «операции Ы». Утром Долинов, узнав о ночном ЧП, первым делом дозвонился до матери Семы Федоскина. Она работала продавщицей в комиссионном магазине, была в разводе с мужем. Сына не видела с выходного дня и где он, не знает. Директор школы предложил ей сейчас же приехать, отпросившись в магазине. У Толи Корабликова отец работал сторожем на дровяном складе, сильно пил. Мать Толина давно умерла; мачеха к пасынку относилась хорошо, но она с год как оставила Корабликова-отца из-за его пьянства. Толя изредка навещал ее в выходные дни.

Командир восьмого отряда Андрюша и секретарь школьной комсомольской организации Герман вошли в кабинет директора узнать, нельзя ли обойтись без официального сообщения милиции о краже. Папиросы и все прочее в целости, все будет возвращено в киоск. Нарушителей все-таки не милиция поймала, а их же собственные школьные товарищи.

— А то ведь Семена теперь засадят,— говорил Герман.— И парень пропадет, и для нас позор, для интерната.

— Вы думаете, меня самого это не заботит?— отвечал Долинов.— Но как можно скрывать кражу? Да ее, вероятно, заведующий киоском уже обнаружил. Что же нам с вами, воров укрывать? По-вашему, это будет меньший позор для интерната?

Он взял трубку и при комсомольцах позвонил в отделение милиции. Дежурный, выслушав его, ответил, что заявление об ограблении табачного киоска лежит перед ним на столе. Долинов обещал отослать в отделение все похищенное и ночную протокольную запись.

— Вот видите,— сказал он, опуская трубку на рычажки,— колесо завертелось. Если бы еще эти молокососы от вас ночью не сбежали и сами бы теперь снесли авоськи с папиросами в милицию, там могли бы, может быть, дела не заводить. А теперь — всё! Суда не миновать.

Леонард Леонович предложил комсомольцам отвезти краденое в милицию и как можно скорее отыскать и привести в интернат обоих нарушителей.

Явилась встревоженная мать Федоскина, полная

женщина с пышной прической свежевыкрашенных в желтый цвет волос под ярко-голубой береткой, одетая в пальто из искусственного меха. С испуганным лицом она ждала, что ей скажут, и заранее вынимала из сумочки носовой платок. Едва услышав, что сын вторично попался в краже, она всхлипнула, по напудренной щеке покатилась слеза.

Месяц спустя народный суд разбирал дело об ограблении табачного ларька учащимися интерната Семеном Федоскиным и Анатолием Корабликовым. Одному из обвиняемых исполнилось пятнадцать лет, другому до пятнадцати не хватало двух месяцев. Пересветов присутствовал на заседании суда; Долинов пришел со своей заместительницей по воспитательной части Тамарой Викторовной, с Екатериной Антоновной, как свидетельницей ночного происшествия, и с командирами всех восьми интернатских отрядов.

В Корабликове Пересветов узнал красивого светловолосого мальчика, который в первое посещение писателя водил его по кабинетам, спальням и отрядным комнатам, давая толковые пояснения. Тамара Викторовна тогда шепнула гостю, что Толя у нее «на испытании»: пошаливал, пропускал уроки, но не испорченный, не из трудных; она поручилась директору, что сумеет его исправить, и с этой целью загружает общественными поручениями. А вот теперь этот мальчик ее сильно подвел. Между прочим, в делах «хунты» ни тот, ни другой из обвиняемых замешаны не были.

Толин отец по вызову в суд не явился, пришла мачеха, пожилая женщина, санитарка одной из московских больниц. Рядом с ее скромным поношенным жакетом модное пальто и голубой берет Федоскиной выглядели крикливо. Пришел и отец Семы, разведенный с Федоскиной, инженер. Вырисовывалась самая обыкновенная ситуация, сотни раз описанная в печати: оба подростка росли без родительского присмотра. Толя, ночуя дома в выходной день, должен был прятать от отца свой транзистор, чтобы тот его не пропил. Отвечавший на вопросы женщины-судьи искренно, Толя замялся и потупился, когда она спросила, любит ли он отца. После повторного вопроса с усилием, глядя в пол, ответил: «Не уважаю его».

Семин отец не видался с сыном около года. Ходил ли он вместе с сыном когда-нибудь в театр или кино? В цирк или на концерты? «Зачем?— отвечал он с удивлением.— У нас дома был телевизор». Мать Семы все время отирала слезы, невнятно отвечала судье. Мальчику у нее «жилось хорошо», в интернат она его отдала потому, что сильно занята по службе.

Подростки своей вины не отрицали, однако вели себя по-разному. Семины ответы откровенностью не отличались: «Не знаю... Не помню...» Что они хотели делать с таким количеством папирос и сигарет? «Выкурить их». А с брелоками, авторучками и прочей мелочью? Он пожимал плечами: «Не знаю...» Было ли намерение их продать? Сема качал головой — не было. А когда Толя признал, что такое намерение у них было, Семен на повторный вопрос сказал: «Не помню».

В своем последнем слове Толя говорил, что раскаивается, обещал сделанного не повторять, просил не лишать его свободы и под конец расплакался. А Сема, поднявшись с места, произнес всего три слова: «Мама, прости меня». И сел. Разговаривать с судом он не собирался. А мать, уткнувшись в платок, зарыдала в голос.

Дирекция интерната дала обоим подросткам, по их поведению в школе до этого случая, характеристики неплохие. Суд приговорил Федоскина к лишению свободы на два года, которые он по первому приговору имел условно, а Корабликова — к году условно.

Когда шли с заседания суда, Пересветов сказал Долинову и Тамаре Викторовне, что настоящее виновники мальчишеской кражи остались без наказания.

— Это родители Федоскина. Семины отец и мать.

— Понимаю вас,— отвечал Леонард Леонович,— но их поведение не подсудно. Нет такой юрисдикции, чтобы наказывать за нежелание заботиться о детях или неумение их воспитывать.

— Жаль, что нет! — запальчиво воскликнул Константин Андреевич.— Вы думаете, о чем мамаша плакала: что сынок стащил у государства? Как бы не так! О том, что он попался. У этого семейного дуэта на суде был прозрачный подтекст. Наверняка мамочка на глазах у ребенка чем-нибудь промышляла «налево». Вот яблочко и не укатилось от яблоньки.

...Знакомясь с литературой по психологии, Константин в одном из журналов наткнулся на статью по проблеме наследственности, подписанную: «Г. Ступишин, доктор биологических наук». Геннадий! Еще один старый друг, давно утерянный из виду, младший брат Юрия, редактора пензенских «Зорь»!

Разузнать адрес не составило труда. Они списались. Гена работал в научных учреждениях Ленинграда и в очередной приезд в Москву зашел к Пересветовым. Его невысокая фигура сохранила военную выправку (он участвовал в гражданской войне); волосы слегка поседели, сходившиеся у переносицы черные брови придавали его лицу мрачноватый вид. Из кармашка на выпуклой груди торчала верхушка футлярика; расцеловавшись с ним, Костя щелкнул по ней пальцем и спросил:

— Лупу с собой таскаешь по-прежнему?

— Футляр с очками,— отвечал, улыбнувшись, Геннадий.

В юности он очков не носил. От улыбки две глубокие складки обозначились на щеках. Пересветов позвонил сыну, считая, что эти двое должны друг друга заинтересовать. Взял экземпляр своего первого романа и с проникновенной надписью вручил Ступишину, умолчав, что тут он в «вундеркинде от биологии» узнает себя (Гена увлекался естественными науками с младших классов гимназии). Ступишин стал извиняться, что не читал пересветовских романов.

— Разве можно всех писателей перечитать,— возразил Костя,— их у нас нынче тысячи. Да ведь и я твоих трудов не читал.

— Мои труды специальные, а в искусстве каждый должен разбираться. Учти, в распре «физиков» и «лириков» я был на стороне последних.

Ступишин расспросил Костю о его успехах, о военных злоключениях. Коротко рассказал о себе: перед войной его, как сторонника генетической теории, сняли с научной работы в Ленинграде, и он вплоть до 60-х годов работал на периферии не по специальности.

— Если хочешь узнать, через какие испытания прошла в годы своего возмужания советская генетика и ее сторонники, прочти воспоминания академика Дубинина. С тридцатых годов у нас с нелегкой руки Лысенко считалось, что ген — это «фальшь», что наследствен-

ные признаки генами не передаются, их можно произвольно изменять, варьируя условия жизни растений и организмов.

— По Дарвину, насколько я понимаю,— сказал Константин,— изменения в генах происходят случайно, однако те из них, какие помогают данной особи выжить, могут закрепиться в потомстве. Сведение причин изменчивости к внешней среде мне всегда казалось отзвуком философии механистического материализма.

— Теперь открыты закономерности изменений в генах и под влиянием окружающей среды, но без генов наследственности не существует. Это азбучно, а оспаривалось целых тридцать лет. Лишь в шестидесятых годах советская генетика снова заняла подобающее место в мировой науке.

Приехал Владимир. Представляя ему Ступишина, отец пошутил:

— Прирожденный генетик — Гена от рождения.

Разговор, который понемногу завязался у Володи со Ступишиным, вскоре стал походить на стук мечей или удары кремня по огниву, так горячо и быстро, на лету каждый из них ухватывал мысль собеседника. Константину Андреевичу подчас трудно было уследить за ходом их теоретической перепалки, а они между тем не столько спорили, сколько, ему казалось, радовались своему единомыслию. Его даже слегка укололо чувство зависти,— с ним обычно сын говорил менее увлеченно.

По ходу разговора он напомнил Владимиру домашние словопрения с Борисом, который возникновение частной собственности пытался объяснить «инстинктом эгоизма», унаследованного людьми «от животного мира».

— А ведь должен бы он знать еще из курса средней школы, что частная собственность возникла при разложении первобытной общины на классы.

— К сожалению, с подобной путаницей сталкиваешься не только в обывательской среде,— заметил Геннадий.— Подмена общественных начал биологическими бытует и среди ученых. Это заблуждение, вроде гнилого зуба, сказывается в целом ряде наук: психология, биология, философия, педагогика, не говоря уже о политике, где оно для буржуазии хлеб насущный. Служебная роль такой фальсификации ясна: вера в вечность и природность частной собственности, классов,

расовая теория и вся прочая буржуазная гуманитария на ней зиждется. Паразитирует она и у нас кое у кого на мозгах.

— Беда в том,— сказал Владимир,— что наша интеллигенция в ее широкой массе, несмотря на постоянные призывы и предостережения партии, до сих пор не поняла необходимости самого серьезного изучения марксистско-ленинской философии. Ошибка-то ведь, по существу, азбучная, а у нас иной студент погружается в технические или естественные, да и в общественные науки без философской выучки, вот и бродит в потемках обскурантизма нередко в пределах своей профессии. Ваше поколение ученых,— обратился он к Ступишину,— не считая исключений вроде вас лично, сильно пострадало от того, что в его среде марксизм долго не был общепризнанной идеологией.

— Конечно,— согласился Геннадий.— Меня спасло то, что я почти одновременно с мальчишеским увлечением ботаникой и зоологией приобщился к идеям марксизма. Чем, между прочим, я обязан был тебе, Костя!

«Помнит»,— с благодарностью подумал Константин Андреевич.

— Нынче профессиональному писателю,— сказал он,— не быть философски образованным и вообще высокообразованным просто стыдно. А мой кругозор, к сожалению, ограничен общественными науками: история, в какой-то степени философия, в меньшей психология, педагогика, политэкономия... Уже в конкретной экономике плутаю, а в технике фактически ничего не смыслю; в точных и естественных науках усвоил одни самые общие положения... Когда-то искоренял в себе дилетантизм, а в итоге запрофессионализировался в гуманитарных тонкостях. Под старость профессию сменил — тоже на одну из гуманитарных.

— Ну уж на свою судьбу ты жалуешься напрасно,— возразил Геннадий.— Во-первых, нельзя объять необъятное. Во-вторых, ты проиллюстрировал закон отрицания отрицания: в тебе возродилось юношеское тяготение к искусствам. А в-третьих, главное: ты и тут следуешь за эпохой, когда общественные преобразования захватывают сферу личностных отношений. Тут писателю, как «инженеру душ», и книги в руки.

— Так-то оно так, да вот по временам я чувствую

нехватку писательских навыков и начинаю сомневаться: не остаюсь ли я и тут дилетантом?

— И куда же тебя твои сомнения ведут? К нытью, к бездействию, скептицизму?

— Да нет, как начну писать в охотку, они забываются.

— Так что же тебя волнует? Выходит, они двигают тебя вперед. Не усомнившись в старом, ничего нового не произведешь. Недаром Маркс одним из жизненных девизов избрал — во всем сомневаться.

Ирина Павловна в мужские ученые прения не вмешивалась. Лишь когда Ступишин стал прощаться, попросила его отругать Константина Андреевича, чтобы не сидел над рукописями до изнеможения.

— Подумайте, ведь спать ложится не раньше двух часов ночи или проснется в пять утра и больше не засыпает, уверяет меня, что по утрам у него будто бы самые интересные замыслы появляются. Этак недолго до нервного стресса доработаться.

Ступишин выбранил своего старого друга за мальчишеское легкомыслие, но потом признался:

— Что делать, милая Ирина Павловна, все мы, мозговитое старичье, такие одержимые. Профессиональное заболевание.

— Не умеем думать не переживая,— вымолвил, вздохнув, Костя.

Из рабочих записей Пересветова

«Уж несколько месяцев, как я начал наконец писать педагогическую повесть, материал для которой собираю столько лет. Кроме экспериментаторов покажу семейный и школьный быт, введу несколько мальчиков и девочек с их родителями. Назвать хочу: «Повесть об увлеченных».

Володя давно уже доктор философских наук. Молодая поросль философов, к которой он принадлежал, поначалу не была в чести у старых ученых: его даже чуть было не «ушли» из крупного вуза, где он пользовался симпатиями студентов. Но в конце концов «из молодых, да ранние» сумели отстоять свое научное «кредо», благополучно «остепенились», профессорствуют и публикуют свои серьезные теоретические труды.

«Остепенился» и Митя Варевцев — по линии пси-

хологических наук: доктор, возглавляет отделение одного из институтов АПН. Володя к административной деятельности склонностей не питает, довольствуется научной и педагогической работой; пользуется весом в ученых кругах, чему способствует его талант литератора-публициста.

С ним меня связывает не только отцовское чувство, но еще теснее — общность убеждений и взаимное, как мне кажется, глубокое уважение. Извечная противоположность «отцов и детей», по-моему, снята между нами начисто. На моих глазах он сложился в крупного ученого, философа нового типа, сочетающего абстрактнейшую, казалось бы, из наук с экспериментальными доказательствами ее выводов. Год за годом он наблюдает за духовным ростом слепоглухих, троих юношей и одной девушки, следя за проявлениями в индивидуальности каждого общих закономерностей развития человеческого сознания. Не будучи штатным воспитателем или преподавателем, он их навещает, дружит с ними, беседует на всякие темы. Все четверо стали студентами психологического факультета МГУ. Одним из них он руководил в подготовке дипломной работы.

Я бывал с Володей у зтих студентов в экспериментальной группе слепоглухих Института дефектологии. Особенно мне запомнилось первое посещение.

Перед дверью в комнату, в глубине которой сидел за столом юноша, Володя задержал меня, сказав:

— Читает. Не будем ему мешать.

Студент сосредоточенно и быстро скользил кончиками пальцев по страницам рельефно-точечного шрифта раскрытой перед ним большой, альбомного формата, книги. Сотрудник лаборатории тем временем подвел к двери девушку. Она казалась зрячей, но иллюзия рассеялась, когда она, пройдя почти рядом и оглянувшись в мою сторону, не встретилась со мной глазами.

— Смотри на него!— шепнул мне сын.

Едва девушка переступила порог комнаты, студент перестал читать и настороженно поднял голову. Он смотрел в сторону вошедшей, точно зрячий. Девушка сделала несколько шагов, тогда он поднялся ей навстречу. Лица ее нам не было видно, а на лице юноши улыбка смешалась с выражением торжественной строгости, словно он готовился к важному ритуалу. Их руки нашли одна другую в пространстве, пальцы сплелись.

— Отойдем,— сказал Володя и увел меня к стульям, стоявшим в коридоре.— Пусть они сначала поговорят одни.

Я подивился:

— Он узнал ее! Это было заметно по его лицу. Каким же образом?.. Он ведь не видит и не слышит.

— Пол вибрирует, мы этого не замечаем.

— Но как встретились их руки? От жестов вибрации нет.

Владимир пожал плечами.

— Очевидно, вибрация сердец,— отвечал он с улыбкой.— Им не впервой так находить друг друга. Они все четверо дружат между собой.

Я взглянул на сына. Давно я не видел у него, обычно серьезного и замкнутого, такого мягкого и полного доброты выражения.

Как только остальные двое пришли, Володя тронул одного из них за руку, и тот сразу его узнал. Лицо юноши просветлело, он обнял Владимира, щекой касаясь его щеки. Тут же ощупью нашел своего товарища и притянул к себе и к Володе. Все они так тепло встретили Владимира, что я почувствовал: в жизни этих студентов дружба с ним играет роль не меньшую, чем они в его научной работе.

Они разговаривали с ним с помощью пальцевой азбуки, частью произнося слова вслух, не все одинаково внятно, однако по смыслу разборчиво. Когда он обращался ко всей четверке, они брались за руки цепочкой, и сказанное каждый узнавал от своего соседа.

Володя подводил меня к каждому из них знакомиться, и я позволял ориентироваться в моем внешнем облике, что они проделывали по очереди весьма тактично, едва касаясь моего лица скупыми движениями кончиков пальцев, без излишней навязчивости.

По взаимной договоренности, я познакомил студентов с небольшим отрывком из романа «Мы были юны», отстукивая текст на обычной с виду пишущей машинке. Они, все четверо, сидели на столом против меня, каждый держал пальцы на брайлевской строке телетактора, передававшего им каждую букву. Этим их короткая «встреча с писателем» была исчерпана, студентов ждали очередные учебные занятия».

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Какой отдых может сравниться со встречей старых друзей?

— Не помню, когда я так беззаботно отдыхал, как эти дни у тебя,— говорил Косте навестивший его наконец Мечислав.

Их затея встретиться втроем рухнула: не успели, не стало Пети Сацердотова. Мечик давно звал Костю к себе, соблазняя охотой и глухариными вольерами в заповеднике, однако в такую даль и глушь Ирина Павловна мужа не отпустила. Тогда старый лесничий, не в силах превозмочь желание повидаться с другом юности, приехал летом, незадолго до Костиного дня рождения, чтобы прожить недельку на даче у Пересветовых.

С поседевшей бородой и полысевший, он тем не менее выглядел все еще здоровяком, хотя и жаловался, что сердце пошаливает; щеки не заморщинились и не поблекли, светлые глаза глядели открыто, живо. Вдвоем с Костей они ходили по лесу, собирали грибы, перебирали в памяти всякого рода встряски, пережитые за пролетевшие бурные годы.

В день рождения Константина Андреевича на дачу явилась большая компания: Наташа с Борисом, Сашей и Леночкой, Володя со своей Кэт, и с ними Митя Варевцев. Приехали и Флёнушкины, уже несколько лет жившие в Москве; Сандрик работал, как и в 20-х годах, в Госплане. Его жена Мария Степановна всю жизнь, до пенсии по старости, проработала в детских учреждениях, садах и яслях. Поседела она раньше мужа, его седина все еще отливала голубизной, а у нее голова была точно мукой посыпана.

Сандрик приехал в хорошем расположении духа. Пройдясь по саду, он поздравил Ирину Павловну «с научным достижением»: ее грядки опровергают эвклидову геометрию: если их продолжить, они обязательно пересекутся. Она, смеясь, пригрозила лишить его за обедом порции земляники. Леночка попросила «дедушку Саню» изобразить современного зстрадного певца; поднеся к своему носу сжатый кулак, гримасничая, раскачиваясь и разводя свободной рукой, Флёнушкин начал с полушепота и вдруг в «микрофон» закричал как резаный, «белым» звуком, в корне чуждым классическому вокалу. Мечислав, хохоча, захлопал в

ладоши и стал уверять Костю, что такая манера пения могла зародиться только в пивнушках, где из-за общего гама иначе никто ничего не услышит.

— Не знаю, где она зарождалась,— заметил Пересветов,— но привилась потому, что не требует труда для постановки певческого голоса. Издержки массового распространения культуры.

Мария Степановна, махнув рукой на мужа, сказала:

— Он и при посторонних может начудить. Недавно едем мы с ним в метро, входят двое длинноволосых юношей, а он громко меня спрашивает: «Как ты думаешь, Маша, из какого монастыря они сбежали? Гришка Отрепьев из Чудова; может, и они оттудова?» Соседи по вагону покосились, улыбаются. А ребятки, наверно, и не подозревают, что копируют прежних монастырских служек.

Первую половину погожего летнего дня поделили между осмотром Аришиного сада и прогулкой по лесу. После праздничного обеда посидели за столом, за беседой, принявшей неуправляемый характер.

Послушали радиопередачу. По звонку от калитки Саша взял у почтальонши утренние газеты, доставленные в деревню, как обычно, с опозданием. Мечислав развернул «Правду» на пятой странице, пробежал глазами сообщения из США:

— Уж и врут же они про нас! Американская «припуганда», как у нас одна старушка выражалась.

— А вы хотите, чтобы они про нас правду писали?— отозвался Флёнушкин.— Не проходит номер с железным занавесом, спускают занавес телерадиогазетный.

Потолковали об угрозе экологического кризиса на планете. Мечислав рассказывал, как мелеют реки на нашем Севере, особенно мелкие речушки, по которым шел главный молевой сплав в Северную Двину и Печору. Причина — вырубки вдоль берегов; обмеление сушит почву, подрывает восстановление лесов и вызывает новое обмеление рек. «Шишкинских» корабельных рощ днем с огнем уже не сыщешь. Флёнушкин приводил примеры необдуманного планирования новых предприятий в районах без местного сырья и топлива. Ирина Павловна посетовала, что из-за трудности с кормами для частных хозяйств молочница хочет продать корову. Хиреют старые деревни, молодежь бежит из них в города!.. Затянули было хором «Подмосковные ве-

чера», да в словах сбились, перешли на старинный «Вечерний звон»...

— Ты мне скажи, Костя,— спрашивал Мечислав,— неужели любительскую охоту воспретить могут?

— Воспретить не воспретят, а строже следить будут за правилами.

— Это само собой. Они что, вегетарианцы, что ли, кто требует?

— Кабы вегетарианцы, ополчились бы и на промысловую охоту.

— И на разведение кроликов,— добавил Сандрик.

— Да ведь нас, охотников, чуть ли не в живодеры зачислили,— продолжал Мечислав.— Мне показывали газету, в ней кто-то прямо так и заявлял, что охота культивирует жестокость, зверские инстинкты, кровожадность и все такое прочее. Да если б я из кровожадности охотился, я бы колотил направо и налево галок, и голубей, и певчую птицу, а я скорее себе палец отрублю, чем по глухарке курок спущу! Уж на что я записной охотник с детства, а курице голову топором не могу спокойно отрубить. Кто сам не охотился, так оно, правда, со стороны может подумать, что дело жестокое: уничтожается живая тварь. В чем тут парадокс, объясните вы, ученые люди?

— В том, что мы люди, а не звери,— отвечал ему Флёнушкин.— Волку без жестокости подыхать, она у него прирожденная, в крови. А у нас промысловик-охотник идет в лес выполнять план сдачи пушнины: тут экономика, не биология. И спортивная охота тоже явление общественное, нельзя о ней судачить с узкобиологической точки зрения.

— Может быть, когда-нибудь эта страсть и изживет себя,— заметил Константин,— но пока что польза от нее людям несомненна. Считай это парадоксом, чем хочешь, а она развивает в человеке любовь к природе, мы это по себе знаем. Но мало того: меня лично на войне охотничья привычка к стрельбе навскидку буквально спасла от смерти.

Он рассказал про свою встречу с фашистским автоматчиком в лесу.

— А сколько снайперов на фронте вышло из сибирских охотников?— сказал Мечислав.— Нет уж, пока существуют войны, охоту и подавно глупо запрещать... И вот что еще меня, обитателя медвежьих углов, изуми-

ло: где-то я прочел, будто можно сконструировать механического человека чуть ли не совершеннее живого. Хотел бы я посмотреть, как машина за грибами пойдет или к глухарю под песню начнет подскакивать... И какое она удовольствие от этого получит?

— А вы не смейтесь,— с серьезной миной возразил Сандрик,— сконструируют органчик вместо головы, как у щедринского градоначальника, и выдадут за человека будущего...

— Шутки шутками,— заметил Митя Варевцев,— а в создании машин, моделирующих отдельные функции мозга, успешные шаги сделаны. До какой тут ступени наука и техника дойдут в будущем, этого никто не знает.

— Запрограммировать в компьютер все противоречия, какие разрешает на протяжении жизни человека его мозг, невозможно,— сказал Владимир.— Кроме того, мозг — это не вся человеческая личность, она, как известно, есть совокупность общественных отношений человека; смоделировать механически все общество и подавно немыслимо, да и зачем? Разве живым людям жизнь надоела?

— Ну, веселые скворцы[1]! — перебила Ирина Павловна, выходя на террасу.— Кончайте критику и самокритику, чай поспел. Помогите нам с Марией Степановной поживее стол накрыть и принести посуду.

Когда на террасу под шумные приветствия вынесли настоящий тульский самовар со струйками пара над ним, преподнесенный «новорожденному», Флёнушкин попросил минуту внимания. Поскольку Костины писательские лавры не дают ему спать, он написал пародию на компьютерную обработку лермонтовского «Демона» электронной вычислительной машиной и желает зачитать собравшимся:

Тамару Демон полюбил.
Ее любви он домогался,
Он жениха ее убил
И в сновиденьях ей являлся.
Невеста в горести идет
В святую горнюю обитель.

[1] «Веселые скворцы» — название фильма, шедшего на экранах в 30-е годы.

Увы! И там ее найдет
Все тот же тайный искуситель.
Она почти обольщена.
Но агент божий их подслушал
И из Тамары вынул душу.
Остался с носом Сатана.

— Слово «ангел» в компьютер забыли заложить,— прокомментировал Сандрик,— и вместо него машина выдала знакомое ей словцо «агент».

Пока Борис, Володя и Саша под руководством Ирины Павловны подготовляли в саду почву под будущие посадки, на террасе зашел разговор об отношениях между родителями и детьми. Мария Степановна рассказала несколько случаев из своей многолетней практики.

В садике, которым она заведовала, на новогодней елке решили показать детям сказки в красочных диапозитивах, но испортился проектор.

— Что было делать? Пятилетний Мишенька заявил, что у них дома есть проектор. Я говорю: спроси у мамы, не одолжит ли она его нам на вечер. На другой день Миша приходит сконфуженный: мама отдала проектор своим знакомым. Ну что же, обошлись без показа диапозитивов. Только вижу, Мишенька мой всех сторонится, не бегает, не хохочет, как обычно. У меня с ним были особенные, даже нежные отношения,— чудный мальчик,— а тут и ко мне не подходит. Подозвала его, спрашиваю: что такой грустный? А он в слезы. Признался, что проектор дома стоит в шкафу, никуда его не отдавали, это мама научила его мне соврать.

— В клопишке совесть заговорила!— воскликнул Мечислав.

— А что вы думаете,— сказала Наташа.— Сознаться во лжи, да еще во лжи по наущению матери, дело нешуточное.

— Я утешила мальчика: «Ну ничего, простим твоей маме, что пожалела одолжить нам проектор. Зато ты у нас молодец, для друзей ничего не пожалеешь». Провожая в тот день его домой, шепнула, чтобы о нашем сегодняшнем разговоре он маме не рассказывал. Решила сама с ней поговорить.

— И поговорили?

— Сходила к ней, попеняла, что ребенка втягивают в обман. Уж лучше бы его самого, на худой конец, обманули, коли решили отказать, спрятали бы от него проектор подальше. Она сконфузилась: «Мы с мужем побоялись, как бы ребятишки не сломали...» Я попросила не наказывать ребенка за то, что сказал правду. Пусть скажет ему, что мы можем взять проектор в садик, коли он нужен. Так она и сделала. На другой день только вхожу, Мишенька бросается ко мне радостный, объявить новость! Я говорю: передай маме большое спасибо, возьмем, когда понадобится. На том дело кончилось.

— Вы мудрый педагог, Мария Степановна,— промолвил Дмитрий Сергеевич.

— Приходилось иной раз мудрить. Был случай, задумала проверить, что знают мои детки о своих родителях. Стала спрашивать, что делают их папы и мамы. Ну, про мам отвечают, что готовят обеды, ужины, убирают комнаты, в магазины ходят... У некоторых работают в больнице, в столовой или на фабрике. Вообще-то я знала почти всех пап и мам, но интересно было, что скажут дети. Один ответил, что папа зарабатывает деньги. Я подумала, не спекулирует ли чем, оказывается, нет, служит в учреждении. А зачем, спрашиваю, он туда ходит? Опять ответ: «Чтобы заработать деньги». Зачем ему деньги? «Как зачем?— рассудительно отвечает малыш.— Чтобы нам покупать продукты». А что он в учреждении делает? За что ему деньги платят? Молчит, потом отвечает: «Не знаю». Тогда спрашиваю девчурку, у которой мама работает в детской больнице: что там мама делает? Отвечает: «Лечит детей». Мальчик, у которого отец штукатур, отвечает, что папа «стены штукатурит, чтобы красиво было».

— Да вы целое социологическое обследование провели с ними!— смеясь, воскликнул Константин Андреевич.— Фактор воспитательного значения — как родители объясняют ребенку свое хождение на работу. Малыш запоминает их слова на всю жизнь, ими намечается его дорога — расти ли ему мещанином или гражданином социалистического отечества.

— Но ты, папа,— заметил вернувшийся из сада Владимир,— не слишком преувеличивай роль словесных

объяснений, какие ребенок выслушивает. Решают не столько словеса, сколько поведение родителей на его глазах.

— Вот если они учат его лгать, как Мишеньку,— поддержала мужа Кэт,— это гораздо хуже. Родители — мещане и растят мещан, а у хороших граждан и дети вырастают хорошими. Об исключениях, конечно, вопрос особый...

Тем временем вернулись из сада все остальные. Сандрик сказал:

— Вот вы тут толкуете о воспитании дошколят. Я бы первым делом разучил с ними песенку «Ах, попалась, птичка, стой! Не уйдешь из сети! Не расстанемся с тобой ни за что на свете!». Старая-престарая песенка, а не в пример лучше новых. Как ни соблазняют дети птичку — и чаем с сухарями, и конфетами, а она им в ответ: «Ах, конфет я не люблю, не хочу я чаю! В поле мошек я ловлю, зернышки сбираю». И вот спросите у ребят, как они думают: отпустили дети птичку или нет? И хором вам восторженно ответят: «Отпустили!!!» Тут и любовь к свободе воспитывается, и любовь ко всему живому; тут и коллективизм, приобщение к искусству: небось сами хором поют, а не чужое по радио слушают...— Подмигнув Саше, Сандрик обратился к Варевцеву: — А к вам, Дмитрий Сергеевич, у нас такой вопрос. Прибегаем к вам как к признанному светилу педагогической науки: с чего, согласно принципам современной педагогики, следует начинать обучение игре в футбол?

— А черт его знает! — смеясь, отмахнулся Варевцев.

— Нет, кроме шуток. Вопрос педагогического принципа, это в вашей компетенции. Король футбола Пеле вспоминает, как он в детстве начинал учиться футболу с жонглирования мячом. Не подкапывается ли он под самые корни вашего самоновейшего учения?

— То есть?

— Насколько я вас понимаю, обучение должно начинаться с уяснения самой сущности предмета, как бы это ни казалось трудным для педагога с первого взгляда. Без этого ни тпру ни ну,— эмпиризм, а не наука.

— Ну и что?

— А разве жонглирование мячом сущность игры в футбол? Вы в него когда-нибудь играли?

— Имел глупость, в детстве.

— Что же вас в игре больше всего занимало?

— Ну, забить гол в ворота противника.

— То-то оно и есть! Сам Пеле на вопрос о сущности футбола отвечает так, что лучше не скажешь: «Футбол — это гол». Так с чего же, стало быть, начинать обучение игре, как не с ударов по воротам?

— Когда я мальчишкой попал в еланскую тюрьму,— заметил, улыбаясь, Константин Андреевич,— то смастерил себе мячик из комка бумаги и учился засаживать его ногой в раскрытую форточку окна одиночки с лету. Вылететь мячу наружу не давала проволочная сетка.

— Что ж,— отозвался Варевцев,— коли говорить серьезно, то первые впечатления детства зачастую бывают решающими. Если начинающий футболист не привьет себе как можно раньше психологической нацеленности на ворота противника, так потом действительно может оказаться поздно.

— Вот теперь я теоретически вооружен!— воскликнул Сандрик.— Так и напишем, коллективно с Сашей, в редакцию журнала «Футбол — хоккей». Сошлемся на современную педагогическую науку.

Однажды в переполненном вагоне метро Пересветов стоял, держась за верхний поручень и упершись коленом в колено сидящего перед ним толстяка с плохо выбритыми щеками. И вдруг узнал в нем своего бывшего одноклассника по еланскому реальному училищу Михаила Берга, участника их подпольного кружка и присяжного судью на футбольных матчах. Это был поистине призрак далекого прошлого. Позыва заговорить с ним первым Костя не почувствовал: Октябрьские события их развели, Мишка дрался на стороне казаков и был освобожден из-под ареста под честное слово не выступать против советской власти. Но и уклоняться от встречи с ним тоже причины не было; Константин посматривал на него сверху и ждал.

Михаил несколько раз бегло поднимал глаза из-под припухших век; наконец его лицо расплылось в улыбке, и он воскликнул:

— Костька?! — и вскочил с места, тесня Константина животом.

Пересветов не ожидал, что ему так обрадуются, и от

дружеского поцелуя уклонился. Берг тотчас сел на место, они поздоровались за руку. Михаил торопливо залопотал, как и встарь, перемежая слова смешинками, похожими на икоту:

— Вот встреча! И-а-а!.. Вот встреча!

Берг упрашивал сойти на «Кропоткинской», зашли бы к нему, он квартирует здесь поблизости; а когда Костя сказал, что его ждут обедать, вызвался проводить до станции «Университет».

— Надо же потолковать, после стольких лет потолковать надо же!

Живет он один, «как в барсучьей норе», пенсионер; жена, Юлечка, скончалась от диабета.

— А меня никакая холера не берет, и-а-а!.. Ты выглядишь лет на шестьдесят, не старше, вот что значит бывший спортсмен и охотник!

Что Пересветов теперь писатель, он не знал, не очень-то следит за художественной литературой. Про еланскую реалку роман написал? Вот это номер!..

Они вместе вышли из метро. Берг проводил Костю до дому, неловко было бы не пригласить его к себе; впрочем, узнать, как сложилась Мишкина жизнь, было небезынтересно.

Познакомившись с Ириной Павловной, Михаил со страстью любителя и знатока принялся рассматривать висевшие на стенах картины и миниатюры, фарфоровые статуэтки, стоявшие на шкафу, «поповский» чайный сервиз за стеклом. Не скрывая зависти, разглядывал барельефы Федора Толстого на темы 1812 года.

— Да у вас самая большая частная коллекция этих редкостей, какую я когда-либо встречал! За нее вы тысячу рублей можете получить. Как вы ее достали?..

Ирина Павловна отвечала, что унаследовала от отца. Оказывается, Михаил долгое время работал в комиссионном магазине, принимавшем к продаже от населения мебель и антиквариат.

Пенсия у него «всего семьдесят бумажных целковых», по последней работе в хозорганах. Выручают коллекции миниатюр, которыми он «успел обзавестись, когда был помоложе, а теперь, хоть и жалко, приходится их помаленьку спускать...».

— Не для заработка, а на жизнь,— присовокупил он.

За обедом вспоминали с Костей Еланск. Ирина Павловна принесла из холодильника бутылку красного вина. После двух рюмок щеки Михаила порозовели, и он сказал:

— Тебе, Костька, повезло в жизни. А я не на ту лошадку поставил.

— О чем ты говоришь?

— Тогда, в семнадцатом. Ты в большевиков поверил, а я нет.

— Ты говоришь так, будто мы с тобой на скачках в тотализатор играли.

— Ни ты, ни я не знали будущего.

— А кабы ты знал, в большевики бы записался?

Мишкино стариковское лицо посерьезнело.

— Для политики я не был создан. Всю жизнь себя клял, что с Кешкой Грачевым тогда связался, попутал он меня своим эсерством. Но с тех пор, как ты за меня поручился при моем освобождении — ты помнишь?— с того дня держу свое слово не выступать против советской власти. Как на духу говорю: в политику не суюсь.

Перед уходом Берг стал упрашивать Ирину Павловну продать ему одну из миниатюрок пушкинского времени. Продать она не захотела.

Спустя полгода соседи Берга по квартире по его просьбе позвонили Пересветовым и сказали, что он лежит больной после недавно приключившегося с ним инсульта. Родственников у него нет, никто к нему не заходит. Ирина Павловна купила апельсинов, сливочного масла, взяла банку смородинового варенья из своих запасов и свезла ему.

Костя в это время был в отъезде. Вернувшись, узнал, что она застала старика в тяжелом положении, в постели. У него отнялась правая нога, правая рука плохо действует. Растрогался до слез. Руку ей целовал. Стены его вместительной комнаты, полутемной, с одним окном и глубоким альковом в углу, увешаны миниатюрами. Попросил ее достать из-под кровати пузатый саквояж, набитый тоже миниатюрами.

— Но главное богатство этого скряги не в них, а в замшевом мешочке, туго запиханном в тот же саквояж. «Тут у меня камушки»,— говорит. Развязал, чтобы похвастаться, а там бриллианты, золотые цепочки, перстни, серьги — чего только нет! Он тебе говорил, что его сажали за спекуляцию?

— Сажали? Нет, не говорил.

— А передо мной разоткровенничался. Сажали дважды. Куда и кому он эти камушки бережет? Неудобно было спросить, подумает, что не верю в его выздоровление. Вот уж подлинный Кощей на сундуке! И представь себе, на одре лежит, почти недвижим, а в мыслях у него за женщиной поухаживать, миниатюрку упрашивал принять в подарок. Я отказалась взять, конечно.

Пересветов позвонил на квартиру Берга. Соседи сказали, что Михаила два дня тому назад похоронили. Кто хоронил?.. Приходили из милиции. Родственников никого не было. Вещи покойника описали в присутствии понятых, комнату заперли и опечатали.

— Ну что же,— сказала Ариша,— хорошо, если все его камушки достались государству. Если, конечно, соседи люди честные и не запустили руку в его саквояжик прежде, чем явилась милиция. Вот тебе сюжет для романа!

— Сюжет прямо бальзаковский,— согласился Константин.— Поэтому он не для меня. Лучше Бальзака таких людей не напишешь. Нет, меня привлекают люди новые или хотя бы новые черты в людях. Прошлого и без того достаточно вокруг нас, будущее хочется видеть, будущее!..

— Какие разные люди вышли из твоих однокашников по школе,— раздумчиво заметила Ариша.— С разными судьбами: Лохматов, Мечик, Сацердотов, братья Ступишины... А этот Берг! Прямо не верится, что вы с ним вместе учились. И ты еще рассказывал мне про негодяя Блинникова. Они и умирают по-разному: один с мечтой о школе будущего, оставляет после себя воспитанников интерната, от другого остаются коллекции растений, целинный заповедник в степи, а от этого скряги — только саквояж под кроватью.

— Чернышевский,— продолжал Константин, идя вслед за своей мыслью,— дал в «Что делать?» и в «Прологе» тип человека, которого люди будут называть новым, говорил он, пока не скажут: «Ну, теперь нам хорошо»,— и тогда все станут людьми «этого типа» и будут дивиться, что когда-то его считали особым типом, а не «общей натурой всех людей».

...Пересветову позвонил Долинов и попрекнул, что писатель давно к ним не заглядывает.

— У нас много интересного. Мы теперь на высоте, не то что во времена хунты! Провели два интересных мероприятия, зайдите — расскажу!

Пересветов приехал. В кабинете директора заседал штаб ученического самоуправления. Командиры отрядов и другие комсомольцы и пионеры, с участием дирекции, подытоживали поход школьников в пять других московских интернатов. Ходили бригадами человек по пятнадцать — на людей посмотреть и себя показать, вернулись с ворохом впечатлений. Принимали их тепло, в двух интернатах гостям даже чаепитие организовали. Водили по кабинетам, спальням, показывали школьные музеи, работу технических кружков, лучшие номера самодеятельности. Гости, в свою очередь, выступали с танцевальными номерами, с песнями, декламацией, рассказывали жизни своего интерната.

Пересветов не столько вникал в подробности школьного быта, о которых шла речь, сколько наблюдал за самими участниками обсуждения, вглядываясь в лица, вслушиваясь в интонации молодых голосов, с жаром обсуждавших, что из увиденного в походе следует завести у себя и что не заслуживает подражания. Они вели себя разумными, рачительными хозяевами своей школы и общежития. Под присмотром дирекции они всё решали и делали сами. Сами! Такие ребятки, думал Константин Андреевич, и в самостоятельной жизни не подведут свой коллектив, где будут работать.

После штаба Леонард Леонович рекомендовал писателю, как и во времена «хунты», зайти в редакцию стенного «Огонька», просмотреть последние номера газеты.

— Одна довольно-таки разболтанная восьмиклассница,— сказал он,— в прошлом году переведенная из расформированного интерната, сильно подводила свой отряд. Пропускала уроки, самоподготовку, занятия кружка, уходила без разрешения с территории. Ребята в отряде взяли ее в оборот, а она им заявила, что ей у нас не нравится, в том интернате было гораздо лучше: «Там мы жили вольно, а здесь слишком строгий режим», дисциплина и «нет свободы». Совет

командиров отрядов обсудил поведение Риты и вынес ей выговор; первый отряд сняли с очередного вымпела, вы знаете, как это снижает шансы в годичном соревновании. Я ее вызвал, Рита и мне повторила свое. Особенно спорить я с ней не стал, а написал в «Огонек» коротенькую заметку с предложением высказаться: почему Рита недовольна нашим интернатом и права ли она? Посыпались письма в газету... В них вы сами разберетесь, а мне пока что надо в учебную часть...

Пересветову задерживаться в интернате было некогда, и он спросил: нельзя ли ему номера «Огонька» взять с собой? Завтра он вернул бы их в целости.

— Так возьмите самые письма, вот тут их целая папка, только они не перепечатаны на машинке. Тут все, и опубликованные, и неопубликованные.

— Тем лучше! Прочту все самым внимательным образом.

— Можете не торопиться с возвратом,— напутствовал его Долинов.— Между прочим, в районо сочли наше предприятие рискованным: мало ли что вздумается ребятам написать про свою школу, дескать, педагогично ли это? А мы нисколько не боялись. Вы найдете здесь и критические замечания, иногда резонные, а большей частью построенные на недоразумении.

Писем в папке оказалось 165, то есть писал каждый третий из 450 учеников школы с 4-го класса по 10-й. В каждом письме сказывался особый характер и личность подростка; в совокупности вырисовывалось лицо учебного заведения.

Пересветов прочел их все. Читал вместе с Аришей. Некоторые письма вызвали у них улыбки; например, четвероклассник Володя Н. сообщал редакции «Огонька»: «Были случаи, что большие ребята иногда стукнут. А так хорошо, мне нравится в интернате. Я горжусь своей школой». Сергей Т. из 6-го класса писал: «Мало времени погулять, подышать свежим воздухом, поиграть в футбол или хоккей... Если создать между нашим и тем интернатом среднее арифметическое, будет очень хорошо, хотя я, наверно, переборщил. Думаю, за эти слова мне не попадет».

«Я сам учился с Ритой в том интернате, и мне там нравилось,— признался И.— Там было больше сво-

бодного времени. Когда я пришел в наш интернат, мне было очень трудно. Тут каждая минута занята. Но привыкнув, я понял, что так лучше, легче будет в жизни».

Были очень проникновенные письма, особенно старшеклассниц. «Раньше я никогда не была в таком дружном коллективе и думала только о себе самой,— писала Галя И. (10-й класс).— А здесь я научилась жить вместе со всеми. И здесь я поняла, что такое труд. Здесь мне всё-всё нравится! И как время быстро проходит, до выпуска уже только семь месяцев. Не знаю, как смогу расстаться с интернатом, и мне больно, когда кто-то говорит, что здесь нехорошо, нет свободы и пр. Кто, кроме учителей и ребят, стал бы заботиться о Рите так, как в нашем интернате? Никто! Она должна гордиться, что ее приняли в такой дружной семье».

Были письма, резко осуждавшие Риту. Тоня А., председатель школьного совета, обращалась к ней: «Ты, наверное, считаешь, что «вольность» — это когда в интернате делают всё что захотят? В любую минуту можно уйти, «вольно» взять чужую вещь у твоей подруги и не вернуть? Можно разбить стекло, и никто ругать не будет? Тебе не нравится, что мы побывали во всех союзных республиках и почти во всех братских социалистических странах? Вообще, считаю, неблагодарный ты человек».

— Рассуждают как взрослые женщины,— говорила Ариша.— Это не «леди» из того пансиона, о котором рассказывает Кэт, зато настоящие люди.

— Чем же все это кончилось? — спрашивал Пересветов у Долинова, возвращая папку с письмами.— Внесли вы какие-нибудь изменения в интернатский режим?

— Кое-что да. Удлинили прогулки на свежем воздухе. Сделали необязательным бег вокруг дома после утренней зарядки, против которого возражают кто послабее. Тем, кто заслужил звание «почетного дружинника», разрешили выходить без спроса за пределы территории интерната. Создали комиссию из представителей отрядов с участием школьного врача для контроля над составлением меню,— были жалобы на однообразие блюд. Все это я довел до сведения ребят на общешкольном собрании, где поставлен

был вопрос: «Как нам жить дальше». Поведение Риты собрание осудило единогласно, ее «вольная жизнь» пришлась нам не ко двору. Все у нас знают, что интернат, который она расхваливала, расформирован из-за отсутствия в нем порядка и дисциплины. Я объяснил собранию, почему мы не можем удовлетворить некоторые требования авторов писем — отменить библиотечный час и тому подобное.

— И вас поняли?

— При голосовании резолюции, одобрявшей наш режим, не было ни одного голоса против или воздержавшегося.

— И Рита голосовала за? Была она на собрании?

— Была и, должно быть, вместе со всеми проголосовала. Я вам скажу, лет пять-шесть тому назад мы на такой эксперимент еще не могли решиться. А теперь мы так морально выросли, добились такого единства в общешкольном ученическом коллективе, что страхи районо оказались напрасны. Между прочим, Сухомлинский считал создание общешкольного ученического коллектива в нынешней обычной школе практически невозможным, и его можно понять. Выпуская десятиклассников каждую весну, школа в их лице лишается наиболее зрелого из ученических коллективов; в воздух летят сложившиеся в нем за десять лет традиции, приложенный к нему труд преподавателей. А мы ничего подобного не переживаем: разновозрастные отряды практически вечны, у нас есть воспитатели, ведущие свой отряд со дня его создания все 17 лет. Ушло весной из отряда несколько человек, окончивших школу,— он пополняется несколькими четвероклассниками, только и всего. Остаются те же выработанные традиции, сохраняется накопленный педагогический опыт. Оттого мы и добиваемся стабильности, недоступной для обычных школ.

Пересветов знал, что Леонид Леонович не просто «похваляется» перед писателем: за образцовое руководство интернатом он уже лет десять тому назад награжден был редкой для учителя почетной медалью имени Надежды Константиновны Крупской, а недавно ему присвоили звание заслуженного учителя РСФСР. Разновозрастные отряды у Антона Семеновича Макаренко просуществовали шесть лет, а у Долинова почти втрое дольше.

...Пересветов как-то спросил у Варевцева: на какие препятствия наталкивается их эксперимент? Тот ответил вопросом.

— Это вы для повести конфликтный сюжетец подыскиваете? Стоит ли вам размениваться на мелочи? Препятствий, как во всяком новом деле, до черта: бюрократизм, непонимание, косность... Про них и читать-то оскомину набило. Ну и, конечно, финорганы... Устранят все это не жалобы, а успешность эксперимента. Пропаганда его результатов — вот чем вы можете нам помочь.

Дмитрий Сергеевич «взял на абордаж», как он, смеясь, выражался, чуть ли не всю пересветовскую семью. Кэт заинтересовалась применением его принципов к преподаванию английского языка; Леночке, окончившей музыкальное училище, он поручал посещать и конспектировать уроки музыки интересовавших его преподавателей.

Не нарушил семейную педагогическую традицию и Саша, к описываемому времени уже Александр Борисович, человек семейный, одаривший своего деда правнуком. Окончив филологический факультет пединститута, он по собственному почину поехал преподавать литературу в сельской школе и там на свой страх и риск проводил собственный эксперимент: на уроках подвергал серьезнейшему художественному разбору пушкинский роман «Евгений Онегин».

Наталья Константиновна уже несколько лет работала в экспериментальной лаборатории Варевцева, вела младшие классы.

— Митя меня в историки превратил,— шутя жаловалась она своему отцу.— Малышам рассказываю о зарождении речи, счета и письменности у первобытных людей, объясняю, что речевое общение, в отличие от животных, понадобилось им для совместного ведения общественного хозяйства. Рассказываю, как от звуковых сигналов люди перешли к словам, к письму иероглифами на камнях, к письму на бересте, на пергаменте и лишь потом на бумаге.

— И что же дети?

— Слушают как сказку, разинув рты. Какую-нибудь историю присочиню, как дикари на страшного мамонта охотились и как друг друга на помощь звали.

Тут самое главное — на крючок интереса их подцепить. То же и со счетом. Язык и математика усваиваются исторически, с их истоков; математика — с понятия о величине: больше, меньше. Объясняю, что дважды два не всегда четыре... Ну и так далее. А по старым программам вдалбливали детишкам грамматические правила и таблицу умножения, и они скучали, не понимая, откуда взялись и для чего понадобились человеку слова и числа.

В середине семидесятых годов Пересветов, по зимам Наташу не часто видевший, вдруг узнал, что она перешла в другую школу, где ведет экспериментальный класс иного педагогического направления, в те годы значительно более распространенного; в эксперимент по всей стране были вовлечены сотни учителей и тысячи школьников, его результатами обоснованы были изменения в программах начальных классов и сокращение срока обучения в них с 4 до 3 лет.

— Коварная изменщица! — полушутя возмущался Дмитрий Сергеевич.— У нее там старая подружка по институту работает, ну и переманила.

— А вы разве с ними враждуете? — спрашивал Пересветов.

— Не враждуем, только задачи у нас разные. У них в эксперименте упор на общее развитие учащегося в процессе обучения, у нас — на развитие прежде всего умственное, от которого, конечно, и все прочее зависит. В комплексе воспитательных мер специфика школьного обучения состоит в его образовательной функции, вот мы и начали с этого конца, не претендуя пока что на все остальное, также необходимое, конечно, школе. Мы и воспитываем, но экспериментатор поневоле должен себя ограничивать узкой сферой поиска. По-моему, мы имели случай перемолвиться с вами на эту тему.

— Да, по поводу письма Лохматова из Ленинграда, помню.

Дочь, встретившись с отцом, объяснила свой переход в другую школу тем, что уроки проходят у нее там более живо и даже весело.

— Понимаешь, папа, я все-таки в основном человек эмоций. По натуре не интеллектуалка, а у Мити в центре урока всегда мышление, все этому подчине-

но, остальное как бы попутно. Конечно, после старой учительской маеты я первые годы у него буквально ожила, самочувствие совсем другим стало; дети тебя не дергают, видишь отдачу с их стороны, интерес... С прежними моими уроками сравнивать нельзя. Но ты понимаешь, требовательность к себе, что ли, у меня возросла, только постепенно я стала замечать, что на уроках повторяюсь,— да без этого учителю и нельзя,— а мне от этого иногда становится скучно. А дети мое настроение чувствуют, их ведь надо постоянно своей увлеченностью заражать, своим собственным интересом к уроку... Я не думаю, что с моим уходом Митина лаборатория много потеряла, другие сотрудники, по-моему, лучше меня работают.

— Так что же тебя привлекает в новой школе?

— Я не знаю, хорошо это или плохо, но я теперь чувствую себя освободившейся от пронизывающего все занятия теоретического, научного подхода. Конечно, и там дети не скучали, их забавляла игра ума, может быть, для формирования их личностей так оно и лучше, не берусь судить. Но по моему складу мне больше по душе игра детской фантазии, мне интересней перемежать занятия какой-нибудь незатейливой сказкой, смешной загадкой, чтением рассказа или стишка, прогулкой в зоопарк или на природу... Словом, развитие детских эмоций.

— А в Митиной лаборатории это возбранялось?

— Нет, боже сохрани! Но там это было на втором плане. В эксперименте не запрограммировано. Основной цели не составляло.

— Значит, эмоциональное развитие ребенка ставится у вас выше умственного?

— Нет, не выше, но, если хочешь, наравне. Точнее сказать, мы умственное стремимся преподать ребенку через эмоционально-нравственную сферу. Через призму чувства. Так я понимаю эту методику в ее основе. Мне это интересно.

— Судя по твоим словам, у вас в чести должно быть воспитание искусством, художественной литературой?

— Верно. В методических установках это есть.

— Неплохо. Но вот твой холодок в отношении пронизывающего все занятия теоретического подхода мне что-то не совсем нравится. Запрограмми-

рован ли он у вас в эксперименте? Не пренебрегаете ли вы интеллектуальным смыслом того, что преподаете?

— Зачем же? Научные знания остаются в основе обучения, вопрос лишь в том, как их преподать ученику. Вообще, папа, я думаю, хотя Митя и объявляет меня изменницей, оба эксперимента друг другу не противоречат. Ведут к одной цели — растить гармонически развитое поколение. В конце концов, в методике и программах выкристаллизуется что-то среднее, что вберет в себя все правильное и лучшее из обоих направлений...

— Дай-то бог! — пожелал отец. — Непримиримых противоречий между ними и я не вижу.

Во время зимних каникул дочь предложила Пересветову побывать с ней на педагогическом совещании: сторонники методики, которую теперь применяет Наташа, съедутся из многих городов обменяться опытом. Приглашение она согласовала.

Он ожидал увидеть примерно ту же публику, что и в Харькове, но здесь были исключительно преподаватели средних школ, точнее, учительницы младших классов; из полусотни прибывших было только двое мужчин. Не было и сугубо теоретических прений, хотя затрагивались и вопросы педагогической науки.

Очень интересными для Пересветова оказались сообщения об уроках в младших классах. Учительницы приводили массу примеров, как им удается увлечь школьников рисованием, лепкой из глины, чтением занимательных рассказов, стихов, решением интересных арифметических задачек. Демонстрировались подлинные детские рисунки-аппликации, с задатками художественного вкуса, — солнце, зайчики, поделки из наклеенных на картон семян пшена, фасоли — лягушата, аист; черная собачка из чаинок. Цитировались строки из детских сочинений: «Снежинки плачут» (тают), «в море прыгает вода»... «Можно, я напишу как сказку?» — спрашивала учительницу одна девочка, выслушав тему сочинения. «Ну и задание!» — пренебрежительно говорили малыши, если оно казалось легким, а если трудным —

то: «Вот это да!» И брались за него с охотой, досадуя, что урок кончается, а потом бежали следом за учительницей в коридор с вопросами. По прочтении вслух рассказа, как внуки поели всё печенье, ничего не оставив бабушке, класс дружно возмущался: «Как им не стыдно!»

Первоклассникам работ на дом не задают, но, узнав тему завтрашнего урока, они сами приносят в класс подходящие к ней книжки, картинки. Таблицу умножения наизусть не спрашивают, разрешается в нее заглянуть, если забыл, она постепенно заучивается. Отметки ставят только за четверть и за год, причем оценивают не одну успеваемость, но ход общего развития учащегося в сравнении с его вчерашним днем. Приводился пример, как мальчик, слывший отсталым, написал на уроке сочинение лучше всех.

Участники совещания критиковали чисто словесный, вербальный метод, настаивали на необходимости приучать ученика черпать знания из окружающей обстановки, развивать его наблюдательность. Говорили, что школьное обучение у нас до сих пор «чрезмерно интеллектуализировано», нельзя ценить в школьнике лишь умственное развитие, нужно учить его «думать сердцем». Кто-то из выступавших цитировал Аристотеля — о способности видеть чудесное в обыденном.

Школьники на уроках сообща придумывают рассказы, играют в «кто на что похож». Наиболее развитые помогают учительнице учить остальных. Указывалось, однако, что эмоциональность на уроках хороша лишь до известного предела, ее излишек может повредить усвояемости предмета.

На уроках труда до сих пор применялся «пооперационный» метод, сводивший инициативу и самостоятельность мышления школьников к нулю: изготовляя что-то, они под диктовку учителя выполняли одну операцию за другой. Теперь даже первоклассники живейшим образом обсуждают, с чего им начать изготовление бумажного кораблика или коробочки, спорят между собой, пока не столкуются на плане работы.

— Экспериментальная система расшевелила не

только учеников, но и нас самих,— говорила одна из выступавших.— Раньше в научные журналы я не заглядывала, а теперь их читаю: ребята спрашивают о звездном небе, и о чем только не спрашивают, на все им надо отвечать...

В перерывах (совещание длилось два дня) Пересветов беседовал с учительницами, одобряя их упор на эмоциональность преподавания, на воспитание искусством. В то же время он высказал и некоторые сомнения. Вряд ли можно сказать, что преподавание у нас до сих пор страдало от излишней «интеллектуализации»; скорее от ее суррогата, от перегрузки и захламления памяти школьника необязательными сведениями. Настоящая интеллектуализация, по мнению писателя, учит мыслить, отличая главное от мелочей, закономерное от случайного. И не исключает, а предполагает эмоциональное усвоение идей: лишь тогда они становятся убеждениями.

— И еще, если разрешите,— говорил он,— одно замечание, не педагога, а историка. У «экономистов», предшественников русских меньшевиков, имела хождение «теория стадий»: рабочую массу-де нельзя сразу приобщить к политической борьбе, она ее не поймет, начинать надо с ее вовлечения в борьбу экономическую, а потом уже... и так далее. Вы, конечно, знаете, как с такой оппортунистической идеей воевал Ленин. Не берусь судить, насколько допустима в данном случае аналогия, но меня подмывает вас предостеречь. Не допускает ли ваша методика временной разрыв между наблюдением и обобщением? Существует ли такой разрыв в психике ребенка? Не подведя его сразу же от наблюдения к правильному обобщению, не задержим ли мы его умственное развитие на ступени обобщения неправильного, не научного, а «житейского»? Кроме того, учить ведь надо и обратному ходу мысли, от усвоенного научного понятия — к пониманию конкретных явлений.

— Мы так и делаем, где это возможно,— отвечали ему одни, а другие говорили, что в детском возрасте педагогичнее не форсировать умственное развитие ребенка, а постепенно приучать его к рассуждению о том, что он видит.

— Тут все дело в мере, в педагогическом такте учителя,— говорили, третьи.

Одна из докладчиц, выступавших на совещании, прислушавшись к беседе писателя с учительницами, сказала ему:

— Я вижу, вы нас кое в чем неправильно понимаете. Вы побывали всего лишь на семинаре, посвященном узкой задаче обмена методическим опытом, а выводы хотите сделать о нашей педагогической системе в целом. Ведущая роль научных знаний неоспорима, только мы стараемся их давать по возможности не в виде готовых формул, а в ходе раскрытия истины самим учащимся. При этом обучение ведется на высоком, но, конечно, посильном для школьника уровне. Ребенка мало научить читать, писать и считать, мы должны дать пищу его воображению. Поэтому в учебный план первого класса мы вводим естествознание, со второго — географию, с третьего — историю. При этом не делаем упора на эмоциональное развитие в ущерб умственному — ни в коем случае!.. Добиваемся доверительных отношений между учителем и учениками, взаимного уважения, заинтересованности в уроках.

Между прочим, и здесь Пересветову рассказали случай, подобный тому, о каком он услышал от Инессы Александровны в Харькове: родители не позволили дирекции школы вернуть экспериментальный класс к занятиям обычного порядка. («Сюжетик для включения в повесть»,— подумал он.)

Варевцев при встрече с Наташей спрашивал ехидно:

— Вы, Наталья Константиновна, не видите той опасности, что ваша сугубо дамская педагогика даст вам в итоге культурных обывателей, не видящих дальше своего носа?

— А вы, Дмитрий Сергеевич,— отшучивалась она,— не боитесь, что из ваших воспитанников выйдут бесчувственные головастики, бездушные интеллектуалы? Не видите такой опасности?

— Вижу,— отвечал, смеясь, Варевцев,— но для этого мы должны стать бездушными воспитателями и бездарными педагогами.

Наташа тоже смеялась. Раньше, когда они с братом жили одной семьей и Варевцев часто у них бывал, она была с ним на «ты». В его лаборатории, при посторонних, стала говорить ему «вы», а он ей — как случится, то «ты», то «вы». Теперь они подчеркнуто друг другу «выкали».

— Ну полно вам цапаться,— заключал их словесную стычку Константин Андреевич.— Вредных крайностей во всем следует избегать, а идете вы к одной цели, только с разных сторон.

Его занимала идея объединить и согласовать современные педагогические искания, чтобы они дополняли друг друга. Нельзя коммунистическое воспитание разрывать на части, думалось ему: «Точно кроты, роются каждый в своей норе, о работе других знают только по публикациям. Какая-то неуправляемая партизанщина, каждому его проблема кажется единственным ключом к успеху, остальное у него «не запрограммировано»...[1]

Работа Долинова, за которой Пересветов по почину Феди следил уже не один год, завершилась неожиданно. Леонард Леонович пришел к нему рассказать об этом месяц спустя, чем вызвал негодование Константина Андреевича: узнай он вовремя, мог бы както вмешаться, попытаться отвести или, по крайней мере, смягчить удар.

А случилось вот как. В трескучий мороз, в последние дни зимних каникул, в вестибюле интерната лопнула батарея водяного отопления. Вода грозила залить пол, проникнуть в подвал; чтобы ее остановить, поспешили перекрыть трубы, ведущие в учебный корпус и в спальни. Вызванная аварийная бригада не проверила перекрытия труб, и в ночь после ее отъезда батареи полопались на всех трех этажах.

---

[1] Понадобилось еще целое десятилетие, прежде чем учителя-экспериментаторы по приглашению «Учительской газеты» собрались на двухдневную встречу в Переделкине обменяться идеями, выработанными в 25-летней работе. «Оказалось, что, работая порознь, даже не зная друг о друге, мы пришли к одним и тем же выводам»,— пишут они («УГ» от 18.10.1986 г.). Отчет о встрече — «Педагогика сотрудничества» — подписан известными теперь широким кругам читателей и телезрителей педагогами: С. Н. Лысенкова, В. Ф. Шаталов, И. П. Волков, В. А. Караковский, П. М. Щетинин, Е. Н. Ильин, Ш. А. Амонашвили (*Примечание редакции*).

Привести в порядок систему отопления к началу занятий не успели. При разборе инцидента в районо и райисполкоме дирекцию обвинили в плохой подготовке школы к зиме и на нее же взвалили вину за неправильное перекрытие труб отопления.

Тщетно Долинов и его сотрудники доказывали, что отключить корпус и спальни немедленно было абсолютно необходимо, а обязанность проверить надежность перекрытия лежала на ремонтной бригаде; она этого не сделала, и потому она и должна держать ответ.

Директору школы припомнили и ограбление табачного магазина подростками из его интерната, и еще несчастный случай, за который он год назад получил выговор: одна из воспитанниц по неосторожности в хлеборезке отрезала себе пилой палец. Решение районных организаций было — снять директора школы-интерната с должности.

— Как же так? — недоумевал Пересветов.— Если бы даже в чем-то был ваш недосмотр, так вы же не просто директором были, вы проводили эксперимент, санкционированный руководящими органами образования. Неужели с этим не посчитались?

— Посчитались с чем угодно, только не с экспериментом. При обсуждении многие выступали за меня и получили в ответ: «Нечего Долинову прикрываться высоким именем Макаренко. Пусть несет ответственность за школу как директор».

— Но как можно было не понять, что снятие ваше наносит удар в спину перспективному, полезному мероприятию? — не мог успокоиться Пересветов.

— Значит, можно было не понять.

— А где теперь гарантия, что начинания ваши не заглохнут?

— Не знаю, не знаю... Я с тех пор как оглушенный, туда даже не заглядывал. Эх, Константин Андреевич! Это вы так близко к сердцу принимаете наши начинания, а у районного руководства школа одно из многих важных дел. А уж о каких-то там экспериментах они и слушать не хотят, считают их ведомственной затеей органов народного образования. Знают только одно: что этой аварией, да еще опозданием с занятиями после каникул мы им по Москве марку испортили.

— И гороно не вмешалось в вашу пользу?

— В гороно я выслушал немало комплиментов, но решение все-таки утвердили; поработаете, сказали, в другом районе. Оставлять меня там, где райисполком снял, им неудобно.

— И что же вы теперь?..

— Другой интернат брать не хочу. Уровня, какого достиг за восемнадцать лет, второй раз не достигнуть. И возраст мой уже не тот.

— А почему интернат? — сказал Пересветов.— Возьмите обычную школу. Их в стране больше, чем интернатов, ваш опыт и в них может пригодиться. Разовьете ученическое самоуправление, самодеятельность...

— Директорство в школе предлагали, я отказался. Есть предварительная договоренность с директором одной школы, моим старым знакомым, возможно, пойду к нему замом по воспитательной работе. На первых порах, а там видно будет.

— Что ж, пожалуй, правильно. По крайней мере, будете отвечать за воспитание ребяток, а не за прочность отопительных батарей. А бачки-то на ваших щеках, Леонард Леонович, засеребрились...

— И не говорите! — Он махнул рукой.— По Москве меня многие знают, так слух уже прошел, что у Долинова инфаркт, что его теперь и медали имени Крупской лишить хотят, и депутатского звания тоже,— я депутат райсовета. Держался я на людях стойко, только вам одному признаюсь, что был у меня момент, пришла мыслишка: не броситься ли под вагон метро?

— Да что это вы?! — воскликнул Константин Андреевич.— Как так можно, такие мысли!..

— Ничего, теперь ничего, обошлось. Справился.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Подходил к концу двадцатый год с того памятного вечера, когда в Быкове Костя с Аришей наблюдали полет первого в мире спутника Земли. Летом, как только отошла садовая клубника, отнимавшая у Ирины Павловны много времени и сил, чета Пересветовых оставила дачу на попечение своей молодежи и взяла двухместную каюту на рейсовом тепло-

ходе Москва — Астрахань и обратно. С опозданием на двадцать лет можно было это путешествие счесть за свадебное.

Ирина Павловна безделья не выносила; хоть и коренная горожанка, а увлекалась работами в саду, не поплыла бы и сейчас по Волге, когда б не разболелась у нее нога. Врачи колебались в диагнозе, рекомендовали не очень напрягаться физически. На шестьдесят шестом году жизни не грех было ей как следует отдохнуть, прихватив в дорогу несколько жизнеописаний знаменитых людей, чтобы не скучать, пока муж будет корпеть над толстой рукописью.

Перед отчаливанием теплохода от пристани московского речного вокзала супруги сидели рука об руку на палубном диванчике и сверху посматривали на предотъездную суету у причала.

— Хорошо нам с тобой! — говорила Ариша, прижимаясь к плечу мужа.— Только пожить бы подольше...

В последнее время он все чаще от нее слышал: «Еле живая... Так устаю...» Она острее его переживала их старение, заговаривала иногда о неотвратимости смерти. Он в таких случаях отвечал какой-нибудь шуткой и сейчас полушутя сказал:

— Ничего! Старость бедствие всеобщее, а на миру и смерть красна.

— Утешение слабое...

— Почему? Все нам говорят, что жить надо по науке. А наука свидетельствует, что умираем мы только для самих себя, для других жить остаемся. Лишь бы оставить по себе добрую память. Разве умерла в тебе Мария Ивановна? А во мне Сережа Обозерский? Разве ты не останешься жить в Антоше?

Внук Антоша — это новая Аришина отрада в последние пять лет. Она стала чаще бывать у сына и невестки, иногда берет мальчика на недельку-другую к себе. Он привык, что «баба Ариша» рассказывает ему сказки и выдуманные истории; стоит им свидеться, как лезет к ней на колени и тормошит: «Ну, бабушка, рассказывай! Начинай: дело было так...» Недавно и «деда Костя» читал ему вслух «Конька-Горбунка».

Чистое дитя современности и большой фантазер, Антон испытывает на себе сильное влияние телевизора. Как-то его мама стала ему говорить, что она

его любит,— а он ей: «А на что мне твоя любовь? — И пояснил изумленным родителям: — Так Рощин Кате говорит». Это из многосерийного «Хождения по мукам» Алексея Толстого. В другой раз на замечание матери, что не следует ему слушать все, что между собой говорят взрослые, он ответствовал: «Я не виноват, что мои локаторы всё фиксируют». Это уже из «Очевидного — невероятного».

На шестом году от роду!..

Три романа о Сергее требовалось объединить для совместного издания и кое-что в них переработать.

Хотя лето клонилось к исходу, дни стояли сухие, знойные, в полдень жара заливала каюту, и даже залетавший в открытое окно ветерок, не освежая, плескал в лицо словно парным молоком. К счастью, не было мух, и Константин Андреевич мог безнаказанно сидеть за пишущей машинкой, сняв рубашку.

Стадия окончательной доработки текста всегда была для него самой приятной. Книга лежала перед ним как на ладони: месяцы и годы труда, бесчисленного множества записей, черновиков, набросков, планов, сомнений и тревог,— все это уже далеко за холмом... Литературное здание вершится, готовое впустить под свою кровлю нового хозяина — читателя; напрочь сводятся стропила, строгаются и пригоняются одна к другой детали, заглаживаются швы; все отшлифовывается, сверяется, как по плотничьему отвесу, с главными мыслями. Расставляются последние точки, без которых произведение осталось бы полуфабрикатом. В его память запали слова Гегеля: «...произведения художника представляют собою все то, что в нем есть наилучшего, все то истинное, которое он представляет собой: того же, что осталось сокрытым внутри него, в нем нет».

До обеда Константин Андреевич писал, нарушая расписание лишь для очередного освежения под душем или ради путевой достопримечательности, о которой оповещал из каютного репродуктора симпатичный голосок культмассовички.

Впрочем, иногда сваливал его на диван в неурочный час внезапный приступ сонливости. Годы давали о себе знать! Минула пора, когда они помогали, нынче приходилось их превозмогать. Памятуя о них, надо

было спешить, хотя известно, что спешка из числа злейших врагов художника.

Странным метаморфозам подвергалось время, начавшее лететь со скоростью реактивного самолета! Оглядываясь назад, он разводил руками: что это? Уже двадцать лет, как они с Аришей поженились! Да ведь за двадцатилетие, скажем с 1905-го по 1925-й, он из семилетнего мальчика успел вырасти в отца семейства. Какая уйма событий была пережита, сколько разнообразнейших дел было начато и закончено,— и на все хватало времени. А нынче за день он не успевает сделать и половину того, что намечал утром.

Пустяковые бытовые мелочи, которых он раньше не замечал, стали тяготить и раздражать, отнимая время. Утром надо одеться, умыться, ждать в кают-компании за столом, когда принесут завтрак. Это здесь, на теплоходе, а дома ждала бы почта, за которой надо спускаться на лифте к почтовому ящику в подъезде,— отложить просмотр газет и писем до вечера не позволяла долголетняя привычка. Затем начинались телефонные звонки. Ирина Павловна предлагала установить раз навсегда, что до обеда его «нет дома», как отвечают по телефону некоторые энергичные писательские жены; а Константину Андреевичу интересно было: кто звонит, зачем? Да и дребезжание звонка все равно уж перебивало мысли; не хотелось и обидеть тех, кому он зачем-то понадобился. Словом, большей частью он вскакивал с места и подходил к телефону сам.

Его и дома, за секретером, ко сну клонило все чаще. И вот еще: забывчивость развилась небывалая! Иной раз встанет с кресла за книгой, а пока дойдет до полок в передней, не сразу вспомнит, зачем шел, и вдастся в отчаяние: «Выбываю из строя!» Жаловался Флёнушкину, а тот, такой же старец, в последнее время к тому же слабый здоровьем, утешал: «Ты вообрази, что все это не с тобой творится, а с кем-то другим, и весело посмейся, только и всего!..»

В своих низовьях Волга и раньше поражала глаз широтой и раздольностью, а теперь, по возведении на ней ряда гигантских плотин и шлюзов, стала во многих местах неохватной для взора.

Успокаивающее плавное скольжение по необозримой водной глади рождало чувство отрешенности от вчерашнего дня с его заботами и тягостями. Отдаваясь обозрению непрерывно меняющейся панорамы, человек как бы переставал принадлежать самому себе. Течение огромной реки, подобно времени, оставляло все пережитое далеко позади.

Да, жизнь прожита почти вся. Мысль эта невольно закрадывалась, когда после душного дня, оставив в каюте заснувшую Аришу, Пересветов прохаживался по палубе, подставляя щеки освежающему ночному ветру и провожая глазами уплывающую назад ленту береговых огоньков. Их он, конечно, завтра и послезавтра еще увидит, и ветром его не раз обвеет, но подходит время «итожить то, что прожито» или как там выразился кто-то из стихотворцев.

«Без неприметного следа мне было б трудно мир оставить...» Эти пушкинские слова он повторял в госпитале, затверживая «Евгения Онегина». Теперь у него, что называется, все условия, чтобы работать, пока позволяют силы, и не заводится, к счастью, в нем та пагубная душевная ленца, против которой предостерегал Гоголь: создай, говорил он, человеку все необходимое для труда, тут-то он ничего и не захочет делать! Нет, работа притягивает его, пожалуй, даже сильней, чем раньше. «Старость «грозна, страшна» только для плюшкиных»,— говорил он себе.

С остатком жизни нужно обойтись по-хозяйски. Уже пятый год он старается соблюдать семь «заповедей» — запретов, чего ему не делать: 1) не торопиться, 2) не волноваться, 3) не перенапрягаться, 4) не читать лежа, стало сдавать зрение, 5) не забывать об утренней гимнастике, 6) не забывать о ежедневной прогулке и 7) не забывать о диете.

Самым важным он по опыту считает первый запрет: не торопиться. Труднее всего дается ему укрощение своего темперамента, смена привычного с молодости ритма жизни на более размеренный. Из торопливости проистекают излишние волнения, чрезмерное утомление, опасное и для сердца и для мозговых сосудов, забывчивость и много всяких других зол и помех...

«Вильям Юрьевич, когда-то рекомендовавший мне забросить романы и усесться за мемуары, узнав, что я замышляю школьную повесть, покачал головой: «Не получится она у вас».

Мы с ним сидели за чашкой кофе в ЦДЛ, больше мы нигде не встречаемся. Я подумал, что он имеет в виду мое слабое знакомство со школой, и отшутился: «Не получится школа — получится бывший чекист, под старость увлекшийся педагогикой». Оказалось, нет: вопрос им ставится гораздо шире. Он принялся мне доказывать, что «в эпоху НТР по-настоящему изображать человека, да еще учителей и школьников, можно лишь методом Достоевского» с его проникновением в душу «до самого ее дна, до расщепленного сознания».

Я отвечал, что школьная тема действительно потребует проникновения в психологию ученика и учителя, но почему только методом Достоевского? В диалектику души умели проникать и Пушкин, и Лев Толстой, и Чехов, и Горький. Да и Шолохов, наконец.

Вильям Юрьевич начал меня допрашивать, кого я читал из наших литературоведов-«достоевцев». Я признался, что литературоведов читал мало, но романы Достоевского знаю достаточно, чтобы о них судить.

— Ну и что же? Они вам нравятся?

Раздраженный его менторским тоном, я имел неосторожность ответить довольно резко:

— Представьте себе — нет. Не нравятся.

Тут на меня посыпался град заушательств! Глаза Вильяма Юрьевича из-под темных очков метали молнии. Оказывается, я и примитивно мыслящий ретроград, сочиняющий старомодные романы, и наивный простак, не видящий назревшей потребности в философско-нравственной литературе, неспособный оценить мировое новаторское значение «двойничества» и многоголосия, «полифонизма» романов Достоевского, и т. д., и т. п. Прямо страхи господни! Не хватало прямого заявления, что я никуда не годный писатель, но это подразумевалось (Вильям Юрьевич у буфета пропустил рюмочку-другую).

Я терпеливо слушал его филиппику и, выждав паузу, заметил, что философствующие в романах Достоевского неуравновешенные индивидуалисты, юродствующие во Христе, или негодяи, вроде Смердякова и Свидригайлова, у меня как у читателя симпатий не вызывают, хотя и высказывают иногда высокие идеи. Их либо жалеешь, либо презираешь, а полюбить из них некого. Литературные приемы этого великого писателя коренятся в особом складе его дарования, не всякому присущем, и в исторической обстановке, весьма далекой от нынешней.

Вильям Юрьевич, однако, считает эту обстановку весьма схожей с нынешней: как и тогда, идет смена общественных укладов, люди мечутся в поисках мировоззрения, отсюда их известная неуравновешенность и т. д. Я возразил, что параллель эта годна для стран капитализма, где классовые, национальные и прочие противоречия без революций неразрешимы, как и в России XIX века, поэтому люди, не принимающие революционного мировоззрения, упираются в идейные тупики. А у нас противоречия не антагонистичны, разрешаются в ходе развития социализма, для безысходных идейных тупиков у советского человека классовой, объективной основы нет. Наш строй — об извращениях не будем говорить — призван рождать не индивидуалистов, а коллективистов, людей нравственно уравновешенных и гармоничных.

— Вы отдаете Достоевского Западу! — воскликнул Вильям Юрьевич.

Я отвечал, что уж во всяком случае отдаю не фальсификаторам, пытающимся изобразить его дядюшкой Яковом, у которого товару про всякого,— чуть ли не сторонником буржуазного образа жизни, который он ненавидел... Что может быть авторитетней свидетельства великой немецкой коммунистки Розы Люксембург, писавшей: «Именно реакционер Достоевский является художественным защитником «Униженных и оскорбленных»... И дальше: «Кто раз пережил его Раскольникова, допрос Мити Карамазова в ночь после убийства его отца, кто пережил «Записки из мертвого дома», тот никогда больше не сможет укрыться, как улитка, в скорлупу филистерства и самодовольного эгоизма. Романы Досто-

евского представляют собой самое страшное обвинение, брошенное в лицо буржуазному обществу: истинный убийца, губитель человеческих душ — это ты!»

Жаль, что при разговоре с В. Юр. у меня не было под рукой этой цитаты. Я ему только сказал, что мой читательский вкус, который я никому не навязываю, и оценка мной объективной роли писателя не одно и то же, что каждый писатель в конце концов находит своего читателя, и наоборот. Сейчас популярность Достоевского на Западе, говорил я, это один из симптомов колебания западной интеллигенции в нашу сторону. Колебания эти лишний раз доказывают, что в наше время главными носителями общечеловеческих идеалов истины, добра, справедливости, красоты, воодушевлявших Достоевского, является борющийся за мир во всем мире против ядерной угрозы пролетариат и социалистические государства.

Словом, мы поспорили. Я в спорах всегда горячусь, а горячность Вильяма Юрьевича для меня была неожиданной. Пришлось нам взять еще по чашечке кофе.

Круг мыслей, вызванных нашим диалогом, мне хочется записать, так сказать, в порядке переписки с самим собой. Я все-таки до сих пор чувствую себя школьником в художественной литературе, в мои 79 лет. Попытки связывать смену литературных форм непосредственно со сменой эпох мне вообще не по душе. Не говоря уже о формалистах 20-х годов, и в эпоху НТР входили в моду то похороны романа, то проповедь коротких рубленых фраз, без коих будто бы писателю не угнаться за быстробегущей действительностью.

Я не литературовед, чтобы решать вопрос во всем объеме, мне важно лишь осмыслить собственный опыт и свои задачи. Чтобы я писал не по-своему, а на чужой образец, к тому же отдаленный на целое столетие, не может быть и речи. Это походило бы на анекдот о протезисте, который, выдавая двум старушкам изготовленные протезы, их перепутал, и обе старушки взвыли.

В то же время хочется уяснить самому себе: почему и как сложилось во мне внутреннее читательское

неприятие Достоевского? Неужели я отстал от века? Если у меня испорчен литературный вкус, то чем же именно?..»

Константин Андреевич исподволь посещал в Москве школы продленного и полного дня, учебно-производственные комбинаты; навестил профтехническое училище в Подмосковье, дирекция которого проводила принципы Макаренко; знакомился с постановкой воспитательной работы с детьми в пришкольных микрорайонах, с методикой программированного обучения в школах, с новейшими техническими средствами обучения и так далее. Съездил на Украину посмотреть школьный цех Харьковского тракторного завода и Павлышскую школу имени Сухомлинского. Наконец, посетил и первый в стране школьный завод, о котором ему рассказывал покойный Федор Лохматов.

Писателя приветливо встретил и провел по цехам, в которых в это время работали школьники, директор завода Караванов, представительной наружности мужчина, высокий и статный, с интеллигентным лицом и седеющей курчавой головой. Его облик чем-то напомнил Пересветову портреты знаменитого русского полководца Кутузова.

Осмотрев завод, они в директорском кабинете побеседовали.

— Самым интересным у вас,— сказал Пересветов,— представляется мне выдача заработка на руки школьнику. Это, по-видимому, главное, что отличает вас от межшкольных учебно-производственных комбинатов и школьных цехов промышленных предприятий.

— Не только это,— ответил Караванов,— но, конечно, заработанные деньги в кармане воспитывают в школьнике правильное отношение к труду. Он на себе чувствует общественную полезность своего труда, если получает за него деньги от государства. Связывая с заработанными деньгами какие-то личные расчеты, планы, без понуканий втягивается в дисциплину труда, в ритм заводского производства. Заинтересовывается в качестве работы, в ее эффективности, в повышении своей квалификации; задумывается над выбором профессии. Одними словесными наставлениями всего этого не добьешься. Кроме

того,— продолжал он,— выдача заработанной суммы на руки, пусть крохотной, пусть раз в полгода, учит старшеклассника умению обращаться с деньгами, важному, опять-таки, для его завтрашнего дня. Добытые собственным трудом деньги он приучается ценить, не транжирить, прикидывает, как их лучше употребить, что бы такое купить себе или родным.

— А интересно, проверяли вы как-нибудь, что они покупают на свои деньги?

— Анонимные анкеты проводили, с ответами без подписей. В огромном большинстве случаев их траты вполне разумны. Запомнился мне такой ответ: «Вот теперь только я понял, каким трудом достаются моей маме деньги». На курево зарятся немногие, а на выпивку — единицы из сотен. Заработанный рубль — это не перехваченные у родителей карманные деньги, вот они-то действительно сплошь и рядом развращают подростка. Скептики этого не хотят понять и шарахаются от нашего эксперимента.

— А как вы думаете, из чего исходят эти скептики? Инерция старого?

— Критика идет как бы «слева»: детям, дескать, надо прививать интересы коллектива, а вы прививаете личные.

— Ну, зарплата может и взрослого испортить, если он пропивает ее или еще что-нибудь...

— Большую роль играет участие школьника-заводчанина в жизни заводского коллектива на равных основаниях с рабочими. Он участвует в производственных совещаниях, в обсуждении промтехфинплана, норм выработки, новых видов продукции, обязательств по социалистическому соревнованию. Выдвигается в бригадиры, учится не только повиноваться, но и руководить товарищами по работе. Конечно, до конца вывариться в заводском котле при одном рабочем дне в неделю он не сможет, но лиха беда начало. В дальнейшем нашего заводчанина материальное производство уже не отпугнет.

— Да, интересное дело вы затеяли. Который год завод существует как школьный?

— Пятнадцатый.

— Рассчитываете на распространение вашего эксперимента?

— Вопрос сложный. Не от нас одних зависит.

Нужна директива сверху, а пока ее нет. Многое зависит от местных условий, от наличия в городе или районе соответствующих предприятий, компетентных руководителей. В сельских или лесных районах обстановка иная, там уже существуют школьные лесничества и даже школьные совхозы. Да и в городах разнообразия немало. Пусть пробуют другие формы трудового воспитания, посмотрим, что кому подскажет опыт.

— Эксперимент есть эксперимент,— сказал Пересветов.— Он не бесполезен, даже если в чем-то, в назидание другим, не удался, а про ваш этого не скажешь. Ваш смотрит в будущее.

— С выдачей зарплаты на руки школьникам в первые годы вышел такой казус. Дирекция одной из школ потребовала отчислять ей заработки ребят на организацию для них же экскурсий, на приобретение учебных пособий и прочее. Попробовали на это пойти, и производительность труда ребят сразу резко снизилась. Нормы, какие раньше перекрывались, стали еле-еле выполняться. Где же тут воспитательное значение труда? Пришлось вернуться к нашей системе. Но те самые школьники, которые не пожелали, чтобы их школа с самыми превосходными намерениями перекладывала их личные деньги в свой карман, добровольно и единогласно выделяли часть своих заработков в фонд помощи детям борющегося Вьетнама, политзаключенным в фашистской Испании, в Греции. Отчислили около шести тысяч рублей. Детвора охотно идет на выполнение своего интернационального долга, понуждение только расхолаживает ребятишек. Что педагогично и что непедагогично — судите сами.

Из «переписки с самим собой»

«Я писал как пишется, под диктовку собственного читательского вкуса, не думая никому подражать, но писатели, которых я любил читать, очевидно, влияли на меня помимо моей воли.

Начинал писать не столько из интереса к писательству, сколько по обстоятельствам жизни, движимый увлеченностью политикой, продиктовавшей тематику моей пробе пера. Не думая профессионализироваться в литературе, из любви к ней в разные годы

заучивал наизусть нравившиеся мне прозаические отрывки или небольшие рассказы: Чехова — «Злоумышленник», «Хирургия», «Сапоги»; из «Войны и мира» — дуб Андрея Болконского, пляску Наташи у дядюшки, ее мечты полететь в небо; из «Дворянского гнезда» ночную музыку Лемма, из «Дубровского» сцену спасения кошки кузнецом Архипом; из «Мертвых душ» описание «птицы-тройки». В госпитале заучил наизусть «Евгения Онегина». Кто из названных корифеев литературы на меня больше всего влиял, право, не знаю; брать кого-либо из них себе в пример мне в голову не приходило. (Кстати сказать, большую пользу я извлек из пародий Архангельского на литературные стили некоторых советских писателей-прозаиков: пародист учил меня, как не следует писать.)

Заучить что-нибудь из Достоевского у меня позыва не возникало. Читать его начал рано, до переломного в моей жизни 16-летнего возраста; первые его романы — «Бедные люди», «Неточка Незванова», «Униженные и оскорбленные» не раз заставляли меня плакать. В более поздних — о Раскольникове, Мышкине, братьях Карамазовых — я следил за фабульной интригой, а «рассуждения» пропускал, особенно о боге, о православии,— в бога я с девяти лет не верил. Что бога нет, мне сказал отец, и я ему поверил без особого душевного потрясения. Если я и переживал «мучения о вере», подобные тем, какие терзали героев Достоевского, то случалось это со мной гораздо раньше, когда я в слезах, при зеленом свете ночника, часами ворочался в детской кроватке с образком святого Пантелеймона над подушкой, содрогаясь от ужаса перед призраком вечных мучений в аду за мои грехи, чем пугала меня мать (а грехов я насчитывал за собой немало!). Великое спасибо отцу, он разом избавил ум ребенка от непосильных для него мыслей о смерти, вечности, греховности и праведности, заодно привив мне на всю последующую жизнь прочный иммунитет против религиозных бредней.

Когда же меня с 16 лет от роду захватила политика и я осознал весь вред, приносимый современному человечеству религией, то мой атеизм, помноженный на революционные убеждения и подогреваемый

воспоминаниями о детских муках из-за веры в несуществующего творца вселенной, превратил религию в моего личного врага. К романам Достоевского я с тех пор стал относиться как к идеологически порочным, и пережитки этой односторонней оценки сидят во мне до сих пор, хотя я давно уже осознал ее мальчишескую скоропалительность. Иногда брался перечитывать Достоевского, но скорее из потребности прокорректировать свои первоначальные впечатления, чем из читателького интереса, с каким раз по десять перечитывал «Войну и мир», «Отцов и детей»...

Вспоминается один разговор, году, кажется, в двадцать четвертом, с умной женщиной, которой теперь нет в живых, спросившей о моем отношении к Достоевскому. Я отвечал, что недавно раскрыл «Братьев Карамазовых»,— «не читается!». Эгоизм, преступление, бог, совесть — все эти вопросы, сказал я, решаешь для себя раз в жизни, чтобы не перерешать. «Почему же вы Толстого перечитываете? У него те же вопросы». Я ответил что-то в том смысле, что Толстой психологизирует человека нормального, в котором часто обнаруживаешь самого себя, а Достоевский коверкает (гениально коверкает, добавил бы я сейчас, справедливости ради) людей, нарочито ставя их в малоправдоподобные ситуации и доводя до идейной истеричности в угоду своему замыслу. Психологу (сейчас добавлю — и литературоведу, писателю) это, может быть, интересно, а читать надсадно. Конечно, это мой личный вкус, я его никому не навязываю.

Насколько я понимаю, в подобном восприятии я не был одинок. Флёнушкин, например, в своей шутливой манере говорил, что он «сам псих», чтобы ему «еще Достоевского читать». Достоевский долго оставался не в чести у советской критики начиная с Горького,— за ней я, впрочем, не следил, руководясь читательскими симпатиями и антипатиями, как они у меня сложились. Не скажу, что поворот к большей объективности в отношении к наследию Достоевского в последние десятилетия для меня был неожидан и непонятен. Он диктовался общим курсом партии в наше время на повышение внимания к вопросам личной жизни, в свете борьбы за коммунистическое воспитание людей. Возрастала роль литературы, художественно исследующей нашу внутреннюю

жизнь, чем и отличаются высокогуманные произведения русских классиков, среди которых Достоевский на одном из первых мест.

Один из современных нам исследователей его творчества отмечает, что Достоевский «понял то, что стало носиться в воздухе, что мысль, идея становится типообразующим началом...». Можно добавить, что тут Достоевский предвосхитил последующие десятилетия, когда в стране выступили на сцену политические партии, когда революционные идеи, овладевая массами, становились силой и формировали людские характеры».

Придя к Караванову во второй раз, Пересветов спросил, каким он представляет себе будущее школьного завода? О чем он как директор завода мечтает?

— О чем мечтаю? — с улыбкой переспросил тот.— Хм... Бодливой корове бог рог не дает. Мечтаю эксперимент довести до конца.

— То есть? Что для этого нужно?

— Многое. Нам нужен официальный педагогический статус, скажем, при Министерстве просвещения или при Академии педнаук. А то что получается? Школы содержатся за счет государства; ни у одной из них доходы от учебного труда учащихся не отбираются, да и ничтожны они, сравнительно, по величине. А мы, первая в стране школа-завод, у государства ничего не берем, существуем на свои средства, мало того, приносим прибыль, которая у нас идет в основном государству. Из миллиона трехсот тысяч рублей прибыли за десять последних лет нам оставили двести тысяч рублей. А что серьезного можно сделать для дальнейшего развития эксперимента на двадцать тысяч рублей в год? Да, мы завод; но ведь завод школьный, мы берем на себя часть школьных функций, притом завод опытно-экспериментальный с одобрения и утверждения государственных и партийных организаций. Мы не просим дотаций, но можем мы или нет рассчитывать, что нам разрешат взять из нашей же прибыли не двадцать тысяч в год, а побольше? Я не говорю — всю прибыль, нет, принцип рентабельности производства свят для меня, как и для государства,— но столько, сколько нужно

для завершения опыта. Какую сумму — это не вопрос, можно сесть за стол и подсчитать совместно с руководящими органами.

Пересветов поинтересовался, на что конкретно требуются деньги.

— Мы и при нынешнем положении ухитрились обзавестись двумя собственными пароходиками, на которых школьники, члены клуба юных моряков и речников, обучаются речному делу, проводя на плаву недели и месяцы в каникулярное время. На свои средства содержим Дом юного техника,— вы его видели. У нас болит сердце, что мы не в силах обеспечить школьников бесплатным питанием. Пункт о нем вставлен в разработанную учеными программу «школы будущего». Авторы программы опять-таки уповают на государственные дотации, но бесплатно питать десятки миллионов учащихся средних школ — расход огромный, у государства много других трат. Улита едет, когда-то будет, а мы хотим и можем подать пример рентабельной школы, которая введет у себя бесплатное питание учащихся уже через год, два — самое большее.

— Каким образом?

— Заведем в Подмосковье школьный свой совхоз. Надеюсь, это не будет истолковано как потакание личным интересам школьников. В совхозе они сами, при минимальной помощи взрослой обслуги, запасали бы себе летом продукты питания на зиму. Вот вам один пример, о чем я мечтаю. И я уверен, что нашему примеру последовала бы не одна школа, даже и не интегрированная с заводом.

— Пробовали где-нибудь ставить этот вопрос?

— Ставили, но до конкретного обсуждения дело не доходит, сперва надо вырешить общий вопрос об увеличении бюджета, что тоже пока продолжает висеть в воздухе. О рентабельности школы я хочу вам сказать еще вот что. Общеизвестное зло — потребительское, иждивенческое отношение к жизни. Но ведь самый порядок, при котором школа существует всецело на государственный счет, весьма прогрессивный в сравнении с системой частных школ на Западе, где на них наживаются их владельцы, все же не уничтожает до конца почвы для иждивенческой психологии. Между тем вполне в нашей влас-

ти поставить дело так, чтобы школа содержала себя и школьников. В настоящее время я не вижу аналогов нашему заводу нигде, кроме, пожалуй, Кубы, где Кастро предпринимает определенные шаги к объединению производства со школой. Но разве не было примеров в истории, нашей в том числе? Не будем вспоминать Роберта Оуэна, вспомним детские учреждения двадцатых — тридцатых годов у нас — школы-коммуны Малаховская, Марфинская, Хотьковская, Наркомпросовская, сибирская «Новая жизнь»; наконец, макаренковские — колония имени Горького, коммуна имени Дзержинского. Эти учреждения школьно-заводского профиля добивались рентабельности, доказали ее возможность для коллективов учащихся. Их выпускников постоянно ставили и ставят в пример высокой гражданственности. А у нас хозяйствование до сих пор для многих педагогов остается каким-то жупелом. Меня сначала так и встречали: «Вы не педагог, вы хозяйственник». А что вернее, чем участие в материальном общественном производстве, воспитывает и подготовляет человека к настоящему труду, к практике жизни?

— Я не совсем понимаю,— заметил Пересветов.— У вас обучаются труду девяти- и десятиклассники из двадцати шести школ района. А школы, на которые вы только что ссылались, были, очевидно, полными школами? Я не знаю, сколько в них было классов.

— Вот тут-то и главная закавыка! — засмеялся Караванов.— Конечно, заводу нужна полная средняя школа, чтобы развить и довести до конца эксперимент. Только тогда и можно будет уточнять наши воспитательные достижения и сравнивать нас с обычными школами. Мне, должно быть, следовало с этого начать, когда вы спросили, о чем я мечтаю. Ведь Маркс считал необходимым приобщение школьников к общественному производству не с пятнадцати-шестнадцати, а с девяти лет. Это не значит, что мы выдавали бы заработок одинаково на руки школьникам всех возрастов, но это уже детали, их нетрудно вырешить на практике. Главное — и вы, писатель, помогите нам убедить в этом людей,— школьному заводу необходима своя школа, постоянный контингент учащихся, а не сменные кадры одних старше-

классников. Только тогда завод сможет выявить все свои воспитательные возможности. Программы, методы преподавания, ученическая самодеятельность — все это, разумеется, осталось бы в компетенции педагогов и психологов, а завод служил бы производственной основой, общественным каркасом школы. И в заводском микрорайоне, вокруг завода, внешкольная работа со школьниками расцвела бы не в пример нынешним разрозненным кустарным начинаниям...

Они вышли из здания школы, направляясь к станции метро. Пересветов рассказал о других школьных экспериментах, за которыми он следил.

— Но ваш, я считаю, сейчас особенно актуален. Готовя молодежь к рабочим профессиям, вы откликаетесь на непосредственную потребность дня. Программные и методические искания рассчитаны на длительные перспективы, а вы уже стучитесь в школьные ворота.

— Вашими бы устами да мед пить! — рассмеялся Караванов.

«Ему говорили: «Вы не педагог, вы хозяйственник»,— думал, распрощавшись с ним, Константин. Школьным цехом тракторного завода, куда Пересветов заглядывал в Харькове, тоже заведовал не педагог по начальной профессии. И Федор Лохматов пришел в школу со стороны.— Знамение времени! На выручку школе идут люди разных профессий...»

Из «переписки с самим собой»

«На прошлой неделе ходил в библиотеку просмотреть литературу о Достоевском. Не всю, конечно, однако того, что успел прочесть, достаточно для размышления о его так называемом «двойничестве».

В человеке Достоевского обычно живет как бы его двойник. Строго говоря, подобный человек типичен для буржуазного общества, где образ жизни людей по существу враждебен и чужд лучшим побуждениям души. Лишь при коммунизме общественные интересы настолько совпадут с личными, что уродующий человека социально-психологический феномен двойничества в нынешнем его виде канет в Лету.

Никто из нас не любит двоедушных людей, у ко-

торых слово расходится с делом, приспособленцев, подхалимов, вообще тех, кто поступает против своей совести и убеждений. Честные писатели всегда их бичевали. Достоевский взял под защиту тех «маленьких людей», кого нравственно изувечил капиталистический строй. Бедность, страх перед «сильными мира сего», перед начальством, боязнь наказания и т. п. вынуждают многих поступать неэтично. Но в каждом из таких людей, не исключая уголовных преступников, живут или хотя бы теплятся истинно человеческие чувства.

В том же освещении подается в поздних романах Достоевского идейная жизнь русских интеллигентов, чье честное мышление искалечено варварским образом жизни. Задыхаясь под тройным прессом угнетения — царизм, помещики и набиравшая силу в России XIX века буржуазия,— эти люди метались в поисках мировоззрения и жизненного пути, согласного с запросами их совести. Но если человек задается такими сложными вопросами и не может их для себя вырешить, у него могут начаться колебания, иногда длительные, и они тем мучительней, чем он честнее с собой. В тупиковой ситуации, когда решение представляется невозможным, человек способен перенести нравственное потрясение, ему может угрожать распад личности, чреватый психическим заболеванием или иной жизненной трагедией. Вот в подобной нравственной атмосфере и живут многие герои Достоевского.

В их идейных диалогах камнем преткновения, заводившим их в тупики, заставлявшим топтаться на месте в тисках сомнений, служили так называемые вечные вопросы о смерти и бессмертии, о добре и зле, о сущности человека, о долге, истине, справедливости, красоте и т. д. Трагедия этих людей состояла в том, что, веруя в неизменяемость общечеловеческих духовных ценностей для всех веков и народов, они искали истоки этих ценностей не там, где следовало искать: не в истории возникновения и развития человеческого общества с его цивилизацией, а в душевных глубинах отдельной личности, своего «я», забывая, что оно само — продукт истории.

Они не понимали, что нравственность не дана человеку «свыше», «от бога», и не заложена в каждом

из нас биологически, от рождения, а коренится в совместном, коллективном труде людей, преобразующем их самих и остальную природу и отличающем их от животных; что лишь на основе труда возникло и развивается общество с его экономикой, политикой, культурой, нравственностью и т. д. Знание они подменяли верой, науку большей частью религией.

Заблуждения такого рода были характерны для времен Достоевского; известно, что он в 1870 году признавался: «Главный вопрос... которым я мучился сознательно и бессознательно всю мою жизнь,— существование божие». Полагая, что наука не в состоянии «безошибочно установить новые законы общественного организма», он переадресовывал эту задачу искусству. Известно также, что Лев Толстой называл силы, движущие историей человечества, «таинственными» и «неизвестными», верил в фатальный «закон предопределения» («нашему уму недоступны причины совершающихся исторических событий»), а в старости считал вредными университеты.

Ошибаться могут не только отдельные люди, но иногда и целые эпохи. Смешно было бы мне, например, считать себя умнее Достоевского и Толстого на том основании, что материалистические истины, недоступные умам выдвинутых XIX веком великих писателей, в начале XX летели, что называется, в рот как галушки даже таким юнцам, каким был я.

Вырвать Достоевского и его героев из обстановки середины XIX века в России можно только искусственно, «с мясом». Периодам ломки общественных отношений сопутствуют мировоззренческие кризисы у многих людей, особенно у настроенных индивидуалистически. «Человек создан быть опорой другому, потому что ему самому нужна опора,— писал Толстому Некрасов.— Рассматривайте себя как единицу — и Вы придете в отчаянье». Именно индивидуализм и повергал в отчаяние героев Достоевского. Назревавшей в России революции они страшились. «Бунт?..— восклицал в разговоре с Алешей Иван Карамазов.— Можно ли жить бунтом, а я жить хочу». В статье о Достоевском и его героях Луначарский писал: «Все эти люди «больной совести» были более или менее сознательными оппортунистами, выработавшими две формулы: или — «вижу ужас, но не могу бороться с

ним», или — «вижу ужас, но желаю видеть вместо него некое благо, чтобы можно мне было не бороться с ним и в то же время не перестать уважать себя».

Достоевский переживал жестокие идейные колебания; однако он сумел не только уберечься от распада личности, но и превратил, как это случается с людьми сильными духом, свою слабость в силу: осознанное им явление психологического двойничества он сделал исходным пунктом художественного творчества. Так мог поступить лишь художник-психолог с сильнейшей интроспекцией — умением наблюдать за собой и честный перед собой до крайности. Вот в этой-то честности перед собой каждый писатель, пишет ли он монологически, диалогически, полифонически или иначе, обязан следовать его великому примеру, вкладывая свою душу в каждое свое произведение.

Это не значит, разумеется, что каждый должен «расщепляться» сам и обязательно «расщеплять» надвое своих героев. Грош цена была бы моим романам, если бы я нравственные принципы и политические взгляды Сергея Обозерского извлекал из его погони за абстракциями добра и зла, а не из жизненных обстоятельств, приведших его к пониманию конкретных духовных ценностей своего времени, как они выразились в учении Ленина и воплотились в борьбе большевистской партии. Художественный образ тем жизненней и убедительней, чем реальней показана его связь с породившей его средой и временем.

Я здесь уже упоминал о тяжелом душевном состоянии раздвоенности, настигшем меня впервые в детской кроватке. Взрослому не пожелаю мучений, какие испытал я тогда, давая себе клятвы «никогда больше не грешить», чтобы не попасть в ад, и назавтра же их нарушая. Покончив года через три-четыре с богом, я потом в шестнадцать с половиной лет с неменьшими, пожалуй, муками делал выбор между семьей и революцией (эти нравственные колебания я присвоил Сергею в романах о нем). Свою победу над собой, на этот раз вполне осознанную, я полгода спустя окончательно закрепил в рукописных повестях, бичуя в них нередкое среди тогдашней интеллигентской молодежи политическое ренегатство. Иногда я думаю: окажись эта победа неполной, не вырвись я из

обывательски-мещанского болота,— я мог бы сделаться разновидностью Клима Самгина. А если бы при этом писательская жилка во мне не оборвалась, кропал бы я повестушки в духе ропшинских[1] «То, чего не было» и «Коней» бледного и вороного, литературно обыгрывая свое «расщепленное сознание» для ренегатского оплевывания революции. Большевистский бог меня от этого уберег. И нет худа без добра: воспоминания обо всем этом заставляют меня всегда относиться к себе как можно строже, чтобы ни на чем не споткнуться.

В моих глазах стоял тогда еще и живой трагический пример отца, который дважды шел против своих убеждений и каждый раз в этом горько раскаивался: стал священником, не веря в бога, потом служил в полиции, оставаясь противником царизма. Честный человек продолжал в нем жить, хоть он и пытался залить вином угрызения совести. Никогда не забуду, как он мне, девятилетнему малышу, говорил, посадив к себе на колени: «Никогда, Костя, не служи тому, во что не будешь верить, слышишь?..» Дважды он пытался покончить со своим «двойничеством» — сперва добровольно сбросил рясу, потом также добровольно ушел из полиции, а в конце концов доказал свою честность, погибнув в семнадцатом году от пули царского провокатора-охранника.

Переживал я сильные душевные колебания, когда влюбился в Елену Уманскую и когда не удавалась мне книга по истории и я клял себя, зачем ушел из «Правды». Но в этих случаях до глубинного душевного раздвоения дело не доходило, ни то, ни другое не затрагивало большевистских убеждений, этой доминанты моего существования, на которой зиждется моя моральная устойчивость.

Убежден, что успешно создавать произведения в жанре Достоевского может лишь тот, кто сам пережил идейно-кризисное состояние и благополучно из него выбрался. Под легковесным пером подобные эксперименты могут вылиться в «глубокую философию на мелких местах».

Нам нужно воспитывать борцов, а не «двойни-

---

[1] Под псевдонимом Ропшина скрывался эсер Борис Савинков.

ков», и писателей нужно нам побольше хороших — но разных. Жизнь многоцветна, многогранна, в литературе должны найти свое отражение все ее цвета и стороны».

ГЛАВА ПЯТАЯ

Пересветов любил работать в Государственной библиотеке имени В. И. Ленина. В обширных залах нового здания и в подвалах, соединяющих его со старым зданием «Румянцевки», видавшей в своих стенах Владимира Ильича, хранятся несметные сокровища культуры всех веков и народов. На посетителя веет дыханием бессмертия. У Пересветова здесь душа содрогалась от мысли, что судьба и бессмертие человечества может повиснуть на ниточке чьей-то злой воли или трагической случайности, если только не схватить за руку алчных безумцев и невежд, маньяков наживы и эксплуатации, авантюристов, в животном страхе перед коммунизмом готовых взорвать хоть весь земной шар!..

Незадолго перед шестидесятилетием Октябрьской революции Константин Андреевич сидел за книгами в научном читальном зале часа четыре подряд. Утомившись, сошел по широкой лестнице в вестибюль позвонить домой по телефону. Ирина Павловна сказала ему, что звонила Наташа: сегодня утром вернулся из заграничной командировки Владимир. Он ездил на международный философский симпозиум и в Англии повидал своего тестя, отца Кэт. Пересветов сказал жене, что из библиотеки заедет к сыну.

На звонок ему открыла сияющая улыбкой Кэт. У них он застал и Александра Борисовича — племянник поспешил к дяде, как только узнал о его возвращении.

Обнимая сына, Константин Андреевич провел ладонью по его волосам и со смешанным чувством удивления и грусти заметил:

— Да ты, друг мой, кажись, раньше отца седеть начинаешь?..

Старого англичанина они уже видели однажды, но мельком: в шестидесятых годах его в Москве отвлекали какие-то дела и хлопоты. Дочь к нему в Англию

ездила; теперь он отошел от дел, порывался побывать в Москве, да здоровье не позволяло.

Этот представительный старикан с традиционными для англичан прошлого века баками, несмотря на свои девяносто лет, по словам Владимира, держится бодро, хотя по комнате передвигается, опираясь на тросточку с каучуковым наконечником, из-за тромбофлебита в ноге. При рукопожатии пальцы его ощутимо подрагивают, в минуту возбуждения начинает подергиваться голова. Живет он скромно, в небольшой квартирке, экономку ему замещает родственница, старушка лет на двадцать его моложе. Зятя он расспрашивал о его семье, о Москве.

— Поразил он меня,— рассказывал Владимир,— необычайным для такого глубокого старца живым интересом к происходящему на белом свете. Что он состоит в Обществе англо-советской дружбы, ты знаешь. Недавно поставил свою подпись под обращением группы интеллигентных англичан к президенту США Картеру с протестом против производства нейтронной бомбы. Участие в борьбе за мир во всем мире считает своим «священным долгом». Россказням о советской «военной угрозе» не верит и вообще считает русских одним из самых миролюбивых народов. Еще при обучении русскому языку обратил внимание, что у нас мир — вселенная и мир — отсутствие войны обозначаются одним и тем же словом. «С годами, говорит, это выросло для меня в символику». В новой Конституции СССР поразила его статья о праве граждан на жилище. Ну и, конечно, закрепление в ней нашей Программы мира, законодательное запрещение в СССР пропаганды войны.

— А ведь в нашем языке слово «мир» имеет еще и третье значение,— заметил Саша,— мир — община, человеческая общность. Пословица «На миру и смерть красна».

— Браво, филолог! — засмеялся дедушка.— И тут символика.

— Однако в осуществимость коммунизма он не верит. «Уж вы меня извините, говорит, молодой человек, чтобы люди бесплатно брали из общественных магазинов только самое необходимое, а не все, что им заблагорассудится, и чтобы никто безобразий не учинял, это я считаю утопией...» Но вот в возможность

жизни без войн он верит твердо: «Отказались же когда-то древние племена от людоедства, сколько веков без него живем и за обедом о нем не поминаем, почему же культурным государствам не отказаться раз навсегда от войны?» И позабавил меня такой формулировкой: он, видите ли, «верит в разум буржуазии». Не захочет она, дескать, добровольно лезть вместе с пролетариатом в адское пекло ядерной войны, не вся она заинтересована в сверхприбылях от военных заказов. Я напомнил ему, что для всякого, кто решится на нас напасть, у нас припасено достаточно «гостинцев». Что мы не ударим первые, это он знает, но неизбежность ответного удара приводит его в содрогание.

— А что, по твоим впечатлениям,— спросил отец,— широко ли в интеллигентских кругах Запада распространены такие настроения? Или он единичное исключение?

— Не единичное, конечно... Он неглупо заметил, что на Западе многие привыкли ставить знак равенства между политикой и мошенничеством, поэтому широкая публика опасается поверить в советский феномен честного государства, на чем и спекулируют агрессоры. В то же время уверял меня, что в последние годы не только в рабочих кругах, но и в буржуазных, среди интеллигенции множится число признающих «моральный приоритет» социалистических государств на международной арене. «Что вы хотите,— говорит,— когда сам Эйнштейн, великий физик Эйнштейн, писал, что капитализм уродует общественное сознание личности? Что лишь социалистическая экономика и подчинение дела образования общественным целям могут устранить это уродование!» Антисоветскую кампанию «в защиту прав человека» старик назвал «не самым остроумным мероприятием администрации Картера». Сами США могут похвастаться лишь «правом на безнаказанные убийства негров» — так он выразился... Интересно, что всякие наши недостатки и неустройства он назвал нашим «резервом»: «Вы их в состоянии ликвидировать».

— Неглупо сказано!

— Он помнит, в бытность его в Нижнем Новгороде у нас и безработица была, и беспризорные дети, и

рабочие жили в антисанитарных казармах,— теперь ничего этого нет. А на Западе кризисы и безработица бытуют и повторяются на его веку — «как в сказке про белого бычка...».

— Ах, только бы не было войны! — хмурясь и словно проглатывая что-то горькое, пробормотала Кэт.— Какие мы хрупкие, люди, со всей нашей цивилизацией, перед угрозой всеобщего ядерного разрушения!.. И каким зверем нужно быть, чтобы считать войны нормой существования человеческого рода!..

Из «переписки с самим собой»

«Я лично если у кого и учился изображению «диалектики души», то скорее всего у Толстого, совмещавшего психологический анализ с эпопейной формой «Войны и мира», где надо всеми личными сюжетами главенствует сюжет судьбы народа. Ни одно произведение не увлекало меня смолоду больше, чем это. Разумеется, за все мое поколение старшеклассников средней школы я не могу отвечать, были в его среде всякие эстеты, в том числе поклонники Достоевского, но среди близких моих друзей увлекавшихся его романами что-то не помню. Нами владело другое направление мыслей. Между тем ведь тогда, в 1914—1916 годах, мы пребывали в зените наших мировоззренческих исканий, что могло бы, казалось, сделать нас особо отзывчивыми на «достоевщину», или «интеллигентщину», как тогда выражались. Однако этого не случилось, на вопросы нравственности нам достаточно ясные ответы давала русская литературная классика в целом и учение Маркса и Энгельса, освоению которого мы отдавались со всею нашей юношеской страстностью.

Всякому овощу свое время. В произведениях Достоевского не было такого героя, который мог бы увлечь тогдашнюю мыслящую и совестливую молодежь. «Слеза ребенка» терзала ее чуткие сердца ничуть не меньше, чем сердца почитателей Достоевского, но чтобы эту слезу стереть, необходима была революция. Не реформистский «абстрактный» гуманизм, а революционный гуманизм «Варшавянки» вдохновлял людей на подвиги: «Кровью народной залитые троны кровью мы наших врагов обагрим!»

Известно, что написать положительного героя Достоевский считал для писателя самым трудным делом. Вероятно, он искал вокруг себя «идеальных», с его точки зрения, людей, но найти их в тогдашней русской действительности не смог, в чем была его трагедия как художника. Ту же трагедию пережил Гоголь, чья попытка вывести положительное лицо во второй части «Мертвых душ» закончилась сожжением рукописи. Достоевский сдаваться без боя не пожелал и пошел по пути конструирования идеальных лиц по способу искусственной сюжетной амальгамы, соединения высокой философии с уголовной хроникой, присваивая положительным персонажам чувства и мысли, какие считал для человека священными (князь Мышкин, Алеша Карамазов).

Между тем нашлись среди его современников писатели, сумевшие в потемках крепостной России разглядеть реальные прототипы новых для своего времени людей, за которыми виделось будущее, способных увлечь читающую молодежь: Базаров, Рахметов и другие писались Тургеневым и Чернышевским с действительно существовавших лиц (Базаров, кажется, отчасти с Добролюбова). Эти авторы показали своих персонажей в конкретной историко-бытовой обстановке, в то время как персонажи Достоевского рассуждают о высоких материях часто как бы вне времени и пространства.

Пригодился ли советской литературе для создания образов новых людей метод, каким созданы образы князя Мышкина, Раскольникова, братьев Карамазовых? Ответ на это практически дала сама новорожденная пролетарская литература с первых же своих шагов взятыми из жизни образами Павла Заломова, Павки Корчагина, Левинсона, Чапаева, Ковпака и других. Для чего бы стал прибегать Николай Островский к виртуозному искусственному сочетанию реалистических приемов с романтическими, когда он списывал Павку во многом с себя и своих друзей, чья реальная жизнь была насквозь проникнута романтической трагедийностью революционных лет? Большевиков, закалявшихся, как сталь, он писал не со стороны, как в 20-х годах некоторые писатели из так называемых попутчиков пролетарской литературы, иногда подражавшие Достоевскому. Не понадоби-

лось прибегать к приемам сюжетного амальгамирования высокого с низким и Фадееву в «Молодой гвардии», и Полевому в «Настоящем человеке», и многим другим, писавшим непосредственно с советской жизни.

Случайно ли положительный герой вышел на первые страницы нашей литературы и не сходит с них до сих пор? Нет! Строительство новой жизни требует примеров новых людей-строителей, враждебных всему старому и отжившему,— недаром социалистическое соревнование с сопутствующей ему самокритикой стали законами нашей жизни. Литература наша показывает, как надо жить и как не надо; герои Достоевского, если бы перенести их с поправкой на современность в наши дни, давали бы по преимуществу пример второго рода. Конечно, всякие типы в литературе нужны, но чтобы нам принять такое направление за магистральное, нужны основания более серьезные, чем доводы Вильяма Юрьевича.

В своих романах я шел по проторенному большинством советских писателей пути. Писал, по существу, о прожитой моим поколением жизни. На вопросы читателей, что в моих романах «было» и что вымышлено, отвечал охотно, а когда кто-нибудь заговаривал о «таланте», разъяснял, что тут дело главным образом в «талане», как русские люди раньше именовали человеческую судьбу: мне повезло родиться в самый канун двадцатого века, переломного в истории человечества, и прожить целых его три четверти. В мое 75-летие одна из дружеских телеграмм меня омолодила, поздравив «с 70-летием». Восприняв это юмористически, я прикинул: а что, если бы я и впрямь родился в 1903 году? Событий 1905 года я бы даже смутно не помнил; в 1915-м по малолетству вряд ли попал бы в тюрьму; в 1917-м 14-летнего мальчишку не посадили бы за редакторский стол губернской газеты и т. д. Словом, прожил бы я какую-то другую жизнь и что смог бы написать о ней, не знаю...

В одном я следовал Достоевскому: «типообразующим началом» моих персонажей служила их идейность. Революционная идейность. Отыскать таких людей вокруг себя в начале XX века было куда проще, чем в середине XIX. Недаром внучка Пети Сацер-

дотова обмолвилась, что ее старики в свое время «жили идеями».

Вряд ли уместно было бы мне наделять Обозерского столь же мучительными душевными колебаниями перед вступлением в большевистскую партию, какие раздирали Раскольникова и Ивана Карамазова, соответственно заостряя сюжетные ситуации, приводя его на грань патопсихологии или обрекая на философствующее бездействие и т. п. Время было такое, что научно обоснованные ленинские идеи шли в дело, что называется, с ходу, некогда было выворачивать себя наизнанку в бесконечных ковыряниях души. «Самокопание» не было тогда у нас в почете.

Для чего было мне вымышлять искусственные сюжетные «загибы», амальгамируя высокое с низким, если характер Сергея достаточно выявлялся в подлинных происшествиях, которые мне оставалось литературно обработать? Коверкать его образ в карамазовском духе было бы кощунственным оскорблением его памяти. Да и зачем? Романтических обстоятельств в его жизни было, может быть, меньше, чем у Павки Корчагина,— так ведь Сергей интеллигент, порвавший со своей средой, внутренняя жизнь у него богаче внешней событиями. Искусственно навязанный ему «сверхромантизм» лишь исказил бы исторический облик большевика-интеллигента моего поколения.

Беседа с Вильямом Юрьевичем напомнила мне, что ведь это он в отзыве издательству охаял мой первый роман о Сергее. Теперь он противопоставляет его «философско-нравственной» литературе. Но уж если бы Обозерский у меня в чем-то поступил безнравственно, так В. Юр. в своей критической рецензии не преминул бы это отметить, а он такого упрека ему не сделал. Не знаю, что он имел в виду под приставкой «философско»-нравственной; Флёнушкин говорил мне, что ему попалась брошюра кого-то из литературоведов, где на 125 страницах слово «философия» и производные от него употреблены 128 раз. Девальвации подвержены, к сожалению, любые научные термины.

Вообще же я писал, заботясь не о жанре, а о всестороннем, по возможности, отражении жизни, стараясь уяснить себе и читателю, почему и как прожи-

тое мною время формировало у людей социалистическое сознание.

Теперь о повести, которую пишу сейчас. Неужели мне толкать в пучину расщепленного сознания человека глубоко идейного, у которого слово не расходится с делом, проверенного жизнью бывшего чекиста, пролившего немало своей и чужой крови и в завоеванное мирное время отдающего себя борьбе за счастье наших внуков и правнуков, организуя в доверенном ему интернате образцовую школу будущего? Вряд ли Федор Лохматов, взятый в его прототипы, заслужил подобную психологическую экзекуцию над его памятью.

В повести у меня будут, конечно, и отрицательные персонажи, противники педагогических исканий и т. д. Но во-первых, тематику их диалогов с Лохматовым составят не философские, а педагогические проблемы. Уже поэтому доводить их внутренние трагедии до гомерических масштабов с выведением на сцену мифологического черта или Великого Инквизитора вряд ли мне понадобится. Во-вторых, повесть должна быть написана одним пером, без композиционного перекоса, противопоказанного эстетически. Наконец, вряд ли я как автор гожусь для таких премудрых заданий, да и охоты у меня к ним нет, пишу как умею.

В борьбе за оперирование нравственных опухолей, подобных двойничеству, хирургический скальпель Достоевского в умелых руках, конечно, пригоден и сейчас. Но ведь оправдывает себя на путях воспитания нового коммунистического человека и нравственная «терапия» Пушкина, Гоголя, Лермонтова, Толстого, Чехова, органически освоенная социалистическим реализмом, в свете марксистско-ленинского учения. Нам важно показывать не столько двойничество само по себе, сколько пути избавления от него заболевших им наших товарищей. Как Достоевский вступался за «маленьких людей», искалеченных старым строем, так советские писатели обязаны у нас вступаться за тех, кого калечили извращения социалистического строя, будь то при культе личности или в другие годы. Разумеется, не оправдывать их огульно,— бывают и добровольные нравственные калеки, жертвы собственной корысти,— а выяснять причины

и личные обстоятельства, вызвавшие искажения человеческого образа и подобия.

Экспериментальная душевная хирургия Достоевского была односторонне направлена на исследование психики неуравновешенного, выбитого из колеи человека, индивидуалиста, скептика, пессимиста, разочарованного в жизни или «юродивого во Христе», так или иначе изувеченного крепостническим гнетом и обществом доминанты денег («люди гибнут за металл»). Тогда рождались в искусстве и Мефистофель, и Великий Инквизитор с бесчеловечными проповедями «вседозволенности»; а у нас доминанта — честный труд на пользу общества, в литературе нужен прежде всего образ человека цельного склада, активного, умеющего на деле сочетать личный интерес с общественным.

Хотелось бы мне провести через всю мою повесть такую внутренне сюжетную ниточку: Достоевский — Дзержинский — Макаренко. Разве Дзержинского не мучила та же самая «слезинка ребенка», что и Достоевского? Разве не Дзержинский взял под опеку ВЧК дело помощи беспризорной детворе первых лет советской власти? Разве не его именем назвал свою школу-коммуну беспризорников Макаренко?

Ведь только теперь выступает на очередь как практически осуществимая задача «самосовершенствования» человеческой личности, о чем бесплодно мечтали Толстой и Достоевский с их ожиданиями золотого века. К ним обоим приложимы слова В. И. Ленина о «мечтаниях старых кооператоров». «В чем состоит их фантастичность?» — спрашивал он в 1923 году в статье «О кооперации» и отвечал: «В том, что люди не понимают основного, коренного значения политической борьбы рабочего класса за свержение господства эксплуататоров. Теперь у нас это свержение состоялось, и теперь многое из того, что было фантастического, даже романтического, даже пошлого в мечтаниях старых кооператоров, становится самой неподкрашенной действительностью».

Будучи историческим носителем общечеловеческих идеалов всех времен и народов,— истина, добро, красота, справедливость,— рабочий класс впервые в истории открывает перед народами мира практическую возможность, реальную перспективу вопло-

тить эти идеалы в жизнь. И мы превратились бы в бессовестных иванов непомнящих, возомнив себя пришедшими «на готовенькое» и не отдав долга памяти первопроходцам социализма, без чьих беззаветных, неимоверных усилий, подвигов, смелых дерзаний и проб, ошибок и жертв мы и поныне оставались бы лишь прекраснодушными фантазерами о золотом веке без эксплуатации человека человеком...

Эпоха требует от нас величайшего трудового напряжения, самообладания, бдительности. В пятимиллиардном человеческом общежитии мы все еще лишь первопроходцы нового образа жизни без войн, в мирном сосуществовании и соревновании с капитализмом. «Нам истерические порывы не нужны. Нам нужна мерная поступь железных батальонов пролетариата» (В. И. Ленин. «Очередные задачи Советской власти», год 1918-й)».

Из рабочих записей Пересветова

«Исследуя процессы развития сознания и способностей у человека, Владимир посещал не только слепоглухих. Он побывал в одной подмосковной семье, известной успехами трудового и спартански спортивного воспитания детей; познакомился с мальчиком Алешей, который с четырехлетнего возраста безукоризненно исполнял на рояле сложнейшие произведения Баха, Бетховена, Вагнера.

— Его считают музыкальным чудом,— говорил Володя,— а разве меньшее чудо каждый ребенок, научившийся к тем же четырем годам говорить, иногда и читать по складам на родном языке? Мы не замечаем, каких усилий стоит ребенку овладение речью, ведь свои годы младенчества мы не помним. Творец «музыкального чуда» вовсе не Алеша,— он мальчик, как и все мальчики,— а его отец: слепой, живя в мире звуков и страстно полюбив музыку, он растил в се атмосфере сына с грудного возраста и, сам того не ведая, на опыте, экспериментально подтвердил факт происхождения таланта не в материнском чреве, а из присвоения отдельной личностью плодов общечеловеческой культуры. Наследственные задатки у разных людей, конечно, разные, но разовьются ли они в талант, одаренность или заглохнут, это зависит от

обстановки в семье, школе, обществе. Создавать инкубаторы для разведения гениев пристало лишь столпам расистского невежества.

Однажды Владимир предложил мне:

— Хочешь побывать в МГУ на обсуждении результатов эксперимента со слепоглухими? Студенты, которых ты знаешь, выступят с научными сообщениями на расширенном заседании ученого совета психологического факультета. Не ошибусь,— добавил он,— если скажу, что это событие войдет в историю мировой науки. Говорить они будут о проблемах, над какими работают на четвертом курсе: переход от жестовой речи к словесной; воображение у слепоглухонемых; формирование у них пространственных представлений. Девушка выбрала тему нравственного воспитания.

В многолюдной аудитории все взоры прикованы были к девушке и трем юношам. Кроме студентов МГУ тут были ученые — философы, психологи, педагоги. Все знали, что свои сообщения молодые люди сделают устно, хотя сами и не услышат своих речей. Я слушал их как завороженный. Сначала не в силах был отделаться от чувства неловкости за всех нас, сидящих в зале, словно мы в ответе перед людьми столь трудной судьбы, но скоро содержание их речей заставило забыть, что говорят глухие и незрячие.

— Нас приняли на психологический факультет не потому, что мы много знали,— говорила девушка,— а потому, что в нас верили. Верили, что наука в силах развить богатство человеческого сознания до любого предела, даже если человек не видит и не слышит.

Из этих ее слов сам собой напрашивался вывод: развитию сознания людей, которые видят и слышат, и подавно предела нет!

Их педагоги единодушно засвидетельствовали факт высокой увлеченности слепоглухих занятиями в университете: «Если бы все студенты так учились!..» В ряде предметов они достигли успеваемости выше средней факультетской.

Слепоглухого, говорили они сами, отличают лишь каналы восприятия окружающего мира: «Картины мира у нас бесцветны и беззвучны, мы не можем мысленно их просматривать и прослушивать, но слепоглухой мысленно прощупывает их руками». «Я не

вижу корову, но я, как все вы, знаю, что она дает молоко, и пью его...» Впрочем, «мы видим и слышим глазами и ушами наших друзей, всего рода человеческого»...

Узнав на себе, какое это счастье — вырваться из беспросветной мглы полного одиночества в мир людей, из иждивенческого существования в сознательную трудовую жизнь, они горели желанием помочь своим младшим товарищам по несчастью и по примеру Ольги Ивановны Скороходовой решили посвятить себя делу помощи слепоглухонемым. Нынешнее специальное учреждение для слепоглухонемых детей слишком мало, они считают своим долгом настаивать на ускоренном строительстве обширного образовательно-воспитательного комплекса.

Но их волнуют не только дела слепоглухонемых, они вторгаются и в вопросы общей психологии и педагогики. Свой опыт подсказал им, что увлеченность учащегося науками достигается лишь на пути содружества учителя, наставника с учеником, студентом. Педагог должен пробуждать инициативу и активность учащегося, а не подавлять ее. «Превращение обучаемого в учащегося — вот она, проблема современной педагогики» — таков их вывод.

Выступившие вслед за ними ученые говорили, что, к сожалению, еще далеко не все у нас понимают колоссальную важность эксперимента Соколянского, Мещерякова и других. Здесь ведутся глубокие научные поиски эффективных путей формирования основной производительной силы общества — человеческой личности, ее воспитания обществом в духе коммунизма.

Выводы эксперимента обогащают целый ряд наук: философию, психологию, педагогику, этику, эстетику, лингвистику; эксперимент несомненно расширит нормативы успеваемости людей в учении, в труде, в научных изысканиях. Его познавательное и нравственное значение огромно, на это указывал еще А. М. Горький...

Прилив оптимизма, с каким я уходил с заседания, граничил с душевным обновлением. В ушах звучали слова: «Мы видим и слышим глазами и ушами всего рода человеческого...» Хотелось вслед за Пушкиным восклицать: «Да здравствует разум, да скроется

тьма!» На глазах у нас творится подлинное чудо воскрешения людей — не в божественных мифах, а усилиями их собственного, всечеловеческого Разума,— силами науки!

Я шел с Володей не чувствуя под собою ног и видел, что он возбужден не меньше меня. Он рассказал мне, что один из этих юношей спросил его однажды: «Как вы думаете, могу ли я быть счастлив?»

— Я ответил ему вопросом: а что он сам думает об этом? Тогда он сказал: «Думаю, что я счастлив. Завидовать тому, чего я не знаю, я не могу. Вокруг меня друзья, они ввели меня в прекрасный мир, о котором я раньше не имел представления. В нем есть для меня место. Я живу, я учусь, скоро начну работать, буду полезен людям, родине. Чего же мне еще нужно для счастья?»

— Ну если он счастлив,— сказал я сыну,— значит, счастливы могут быть и будут все люди на земле.

При нашем прощании у остановки троллейбуса, на котором Володя должен был ехать к себе домой, я спросил, прочел ли он мои записи о споре с Вильямом Юрьевичем.

— Я пробежал их,— ответил он.— Выводы, какие ты для себя делаешь, по-моему, правильны. Теоретический анализ сыроват, до конца не доведен.

— Я же не статью готовил, для себя писал,— заметил я.

— Видишь ли... Мнение о неисторичности нравственных ценностей — добро, зло, совесть — это у Толстого и Достоевского отрыжка популярного в те времена кантианства. Отсюда их неверие в науку, подмена или дополнение знания верой в иррациональное, в бога и т. п.

— Ну да: кантовский тезис о непознаваемости «вещей в себе».

— На этом пунктике играют сейчас неокантианцы и «неомарксисты», вслед за Бернштейном и нашим Петром Струве ревизующие революционное учение Маркса и Ленина. Но это сторона философская, тебе в нее углубляться, может быть, необязательно. А вот со стороны творчески литературной я бы на твоем месте четче отграничил метод, каким Достоевский иссле-

дует человеческую психику, от его приемов художественного изображения людей,— сказал Володя.— Первое весьма поучительно для любого писателя, но художник ведь не обязан выносить на обозрение читателей всю свою черновую поисковую работу, как это любил делать Достоевский. «Не надобно все высказывать» — так, кажется, формулировал Пушкин тайну занимательности?

— Вот именно! — воскликнул я.— Разве в «Борисе Годунове» слабей анализ: «Да, жалок тот, в ком совесть нечиста»? Анализ в жизненный образ переплавлять нужно, без этого полуфабрикат... Может, даже с привкусом натурализма...

— В чем иногда и упрекали Достоевского критики. Но имей в виду, прохиндеям нашим — а их у нас ух как немало!..— не мешает почаще заглядывать в его романы!

— Прохиндеям — конечно! — Я рассмеялся...

Володя пропустил свой троллейбус, и мы прошлись взад и вперед по аллее бульвара, беседуя.

— Вот что хочу еще сказать,— говорил он.— Тебе некогда следить за литературной жизнью на Западе, а там призрак возможной всеобщей гибели в ядерной катастрофе ужаснул кое-кого из писателей с философско-мифологическим уклоном до помрачения рассудка. Гибель эта превратилась в их глазах в фатальную неизбежность. Словно со дна непроточного пруда стали выплывать на поверхность и лопаться, отравляя воздух, ядовитые пузыри реакционных теорий. Тут и пресловутый апокалипсис — запугивание ядерным оружием на руку военному комплексу США! Тут и ницшеанские взгляды на людей как на «больных животных» с «ослабленными инстинктами»... И теории о «случайности», «неукорененности» и «временности» человека в чуждом ему природном мире, обреченности на самоуничтожение.

— Форменная паника в философской упаковке!

— Да, но на эту приманку поддаются даже некоторые активные участники антивоенного движения из левых экзистенциалистов.

— Дезертируют из его рядов?..

— Дезертировать им совесть не позволяет. В то же время не понимают, что объективно проповедуют идеологию дезертирства и капитулянтства. Даже об-

виняют в трусости всех, кто не желает мириться с неизбежностью самоуничтожения человечества в ядерном огне. Подогревают себя ницшеанскими бреднями о «героическом пессимизме», о воле «сверхчеловека», растущей по мере торжества силы над разумом. Хотят выглядеть рыцарями, с открытым забралом идущими навстречу неизбежной смерти. Храбрость «по ту сторону отчаяния»...

— Вот уж действительно двойничество под рыцарским забралом! — изумился я.— Стало быть, «пропадай, моя телега, все четыре колеса»?..

Подходил троллейбус, мы с Володей попрощались. Его последние слова о «храбрости по ту сторону отчаяния» меня взбудоражили. У этих экзистенциалистов поистине ум за разум зашел: подавай им заранее ответ, кто возьмет верх, разум или безумие! А если разум — это мы сами, люди, все вместе взятые, не желающие погибать? Что тогда?.. Если в океане мировой бесконечности и неизвестности нет у нас другого компаса, кроме науки, а наука приводит нас к твердому убеждению в реальной возможности для нас одержать верх над невежеством и корыстью ядерных безумцев?..

Человеку свойственно пугаться неизвестного. Страх перед смертью порождал мифы о загробной жизни. Корень всяческих страхов — в невежестве, в незнании! Зато в знании — корень бесстрашия. Счастье мое, что я еще мальчишкой разорвал с мифологией, предпочтя ей «Книгу» науки, которую «нельзя дочитать до конца», и основанные на ней убеждения».

Утром в день Октябрьского праздника позвонил Долинов. В интернате, где его сняли с поста директора, распущены разновозрастные отряды, сожжены комплекты стенного «Огонька».

— Что?! — прокричал Пересветов в трубку. Он был ошарашен.— Откуда вы это знаете?

— Из двух источников. Об отрядах от учительницы, а про комплекты от уборщицы, я ее вчера случайно встретил на улице.

— Сжечь плоды вашего восемнадцатилетнего труда? Этого быть не может!.. Ну, распустили отряды, может быть, некому там продолжать вашу экспери-

ментальную работу, но ведь она главным образом зафиксирована в еженедельной ученической газете... У меня остались выписки из отдельных номеров, я хотел еще кое-что просмотреть в них для повести, значит, я уже не сумею этого сделать?.. Да нет, я не верю,— кому могли помешать комплекты? Неужели уж пары шкафов для них не нашлось? Может быть, уборщица спутала что-нибудь? Сама она сжигала?..

— Говорит, не она, но будто бы сжигали... Все ли сожгли, не знаю. Я бы сходил справился, но мне неудобно...

— Так я сразу же после праздников туда съезжу! Не может быть, чтоб сожгли, ведь это фашисты сжигали памятники письменности, а тут педагоги в своей школе... да еще не в захолустье каком-нибудь, а в Москве!

— Съездите, пожалуйста, Константин Андреевич, узнайте. Я бы сам, да неудобно мне. Учительница хочет уйти из интерната, я ей не советовал. Нельзя бросать ребяток, с которыми столько лет жили... Со мной дело другое, я не сам ушел.

— Обязательно съезжу, не беспокойтесь!..

Вечером Пересветов сидел у себя за секретером, перепечатывая черновые отрывки. Из-за аритмии, которую в этот день он не сумел унять, поостерегся ехать с Аришей к ее сыну и внуку на праздничный вечер. Там из окон тоже будет виден салют. То-то разгорятся Антошины глазенки!

Может быть, все-таки к ним съездить? Константин взглянул на часы: поздно, через полчаса прогремит первый из шестидесяти орудийных залпов.

Он вышел из кабинета в холл и включил телевизор. В нараставшем шуме послышался глуховатый голос, обрывки речи. В блеснувшем свете возникло лицо военного с подстриженными усами, большими светлыми глазами и открытым, с залысинами лбом. Пересветов недавно видел этого генерала на экране и тогда же опознал в нем артиллериста, которого встретил в первых числах октября сорок первого года при отходе ополченского полка на восток. Хоть он и постарел, все же несомненно он. Фамилию диктор не называет, может, в конце передачи скажут.

Передача сменилась перечислением участников — ровесников нашей революции, и в их числе значился генерал артиллерии Сергей Сергеевич Обо... Обозерский!..

Константин подскочил в кресле и тут же сел, хватаясь за подлокотники кресла, из-за укола в сердце. Сергей Сергеевич! Так это же сын Сережи, родившийся в дни свержения монархии, названный в честь отца! Как же это Костя мог не узнать его сразу, ведь и лицо, и голос почти те же самые!..

Так вот с кем сводит его судьба! Ну теперь-то они обязательно встретятся!

Оконная рама в столовой дрогнула от удара воздушной волны. Начинался салют. Костя с усилием поднялся на ноги. «Ничего! — говорил он себе, слабо улыбаясь.— От радости не умирают». Перешел в столовую и присел на стул возле окна.

Снова дрогнула рама, а вслед за тем правая половина неба полыхнула ярко-оранжевым заревом, освещая внизу под окном многочисленные группы людей между разбросанными по снежному покрову парка, бывшего пустыря, оголенными деревьями. В отдалении ясно виднелась лишь нижняя часть здания МГУ, залитого снизу светом прожекторов, а верхушку огромного сооружения словно кто срезал гигантскими ножницами, ее совсем не было видно из-за тумана.

Зарево потухало: вонзавшихся в небо ракет он не увидел, подумал, что засмотрелся на людей внизу. Но вот над берегом Москвы-реки мелькнул очередной дробный огонек артиллерийского залпа, ровно через три секунды сотряслась рама, опять стало светло, как днем, но там, где обычно взвивались и рассыпались огненные букеты всех цветов радуги, он не увидел ничего, кроме подрагивающего разноцветным пламенем седого неба. «Вот так туманище!» — сказал он себе.

Толпившиеся внизу люди раз за разом то возникали в сиянии снега и небес, то погружались в сумеречный лиловый полумрак. За парком, у перекрестка Университетского и Вернадского проспектов длинной лентой остановились машины. Все смотрели салют, и

все, вероятно, досадовали на туман, скрывающий от глаз самое красивое зрелище, ради которого они сейчас здесь.

Не дождаясь конца салюта, Костя отошел от окна к телефону, чтобы поздравить Аришу и ее родных; ей посоветовал при возвращении домой не выходить из метро в центре города: на 111-й автобус там сейчас трудно сесть, лучше ехать до метро «Университет», оттуда дойти пешком. Она обещала выехать, как только салют кончится. У них там тумана нет, все любуются зрелищем.

Только что он положил трубку, позвонил с Ленинградского проспекта сын. Он, Кэт и Саша с женой встречали праздник у Наташи. Обменявшись поздравлениями, Константин вернулся к окну и сидел, следя, как вспыхивают и гаснут величественные небеса и снеги.

Последний залп не успел отгреметь, как снова зазвонил телефон. Жена Флёнушкина Мария Степановна прерывающимся голосом, плача сообщала, что несколько часов тому назад в больнице, куда его увезли на машине «скорой помощи», скончался Сандрик...

У Кости вырвался стон. Маша начала что-то объяснять, но язык ей не повиновался. В трубке послышались отбойные гудки. Костя машинально положил ее рядом с телефонным аппаратом на столик и опустился в кресло. Сердце билось неровно, сильными ударами.

Отбойные гудки продолжали звучать, но он их не слышал. «Всех нас со временем Харон на лодке переправит в плюсквамперфектум»,— мельком припомнились слова Сандрика. Хотелось ему дожить до Московской Олимпиады-80, да вот не дожил! Так называемая ишемическая болезнь уложила его в постель, он попросил пододвинуть кровать к окну, чтобы ему можно было смотреть на улицу...

Костя сидел оцепенелый. Безвозвратно закрывались одна страница жизни за другой: институт, дискуссии, Ленинград, Берлин, Женева,— всюду они были вместе; «веселые скворцы» на даче... Как теперь без его шуток?

Мысли едва шевелились в голове, пробиваясь сквозь сердечную толчею. Позвонить Арише? Да она, вероятно, уже выехала. И к чему спешить, приедет, узнает.

Слуха коснулись отбойные гудки. Он протянул руку и положил трубку на рычажки. «Когда-то прозвучит мой отбойный гудок?»

Собравшись с силами, Константин встал с кресла и, с усилием передвигая потяжелевшие ноги, дошел до своего кабинета. Прилег на диван. «Должно быть, Сандрика скосил инфаркт. Не успел спросить у Маши».

Праздник... Сегодня праздник. Такой замечательный для всего мира: шестьдесят лет!.. «Блажен, кто праздник жизни рано покинул, не допив до дна бокала полного вина, кто не дочел ее романа и вдруг умел расстаться с ним...» Да, вот так и умирают — вдруг.

Блажен? Нет, неправда это, живи Пушкин сейчас, не написал бы он этих слов, полных горькой иронии. «Погибни я в девятнадцать лет от роду от той казацкой пули, так и не узнал бы, как прошли эти шестьдесят. А я еще хочу знать, что дальше будет. Нет, не об отбойных гудках думать; как бы не рухнуло со мной неожиданно в тартарары все, что не успел доделать...»

Пляска в груди постепенно утихала. В голове, точно потревоженные пчелы в улье, толклись обрывки мыслей. Вспомнилось расколотое надвое дымной завесой небо над овражным малинником и сегодняшнее небо в необыкновенном обличье праздничного салюта в тумане... в день смерти Флёнушкина! Словно знамения какие небесные. Будь он суеверен, подумал бы бог знает что. Ударился бы в мистику.

Будущее всегда в тумане; но разве счел бы за дурной знак самый заядлый пессимист это роскошное пылание небес, творимое людьми сквозь непроглядную пелену тумана? Забавно выразился этот английский старик: он «верит в разум буржуазии». А что, пожалуй, есть тут и доля реализма, рассуждал сам с собой Константин. Вторую сотню лет воспитывает ее рабочий класс своей неукротимой борьбой за справедливое и разумное устройство общества без войн, пора бы наконец и ей понять, что разум человеческий становится теперь выражением исторической необходи-

мости и что любая «припуганда» любым оружием против него бессильна. Знамением времени становится всеобщее промывание мозгов.

Костины мысли постепенно возвращались к окружающему. Нельзя, чтобы отбойные гудки в один не прекрасный день застали его с ворохом неоконченных дел. (Не забыть послезавтра съездить в интернат.) За педагогическую повесть он взялся вплотную. Конечно, надо бы еще ознакомиться с ленинградской «фрунзенской коммуной» макаренковцев, о которой пишут газеты (Федя бы лучше него это сделал); съездить в Тбилиси, где проводится ценнейший педагогический эксперимент; побывать хоть в одном из школьных лесничеств; составить себе представление о пришкольных группах дошколят, о работе школ с родителями. Хоть одним глазком взглянуть на компьютеры, их собираются продвинуть в школы...

В последние недели он по рекомендации Варевцева посетил экспериментальные уроки музыки и рисования в младших классах; был на совещании педагогов и психологов с музыкантами и художниками, где говорилось об очень важных для школы проблемах: пока что мы на уроках не столько раскрываем перед детьми содержание произведений искусства, сколько знакомим их с его средствами: краски, гаммы, ритмы, сольфеджио, владение кистью, голосом, инструментом — все это вещи важные, необходимая техника, но воспитательное значение, нравственное, идейное, эстетическое — не в них...

А пробелы в преподавании литературы, о которых столько пишут? Ведь эксперименты в начальных классах — это хоть и основа новой школы, а всего лишь ручейки, подводящие к такому океану задач для всех школьных возрастов, что дух захватывает!.. Ведь в дальней перспективе у нас высочайшая цель — во всем мире растить новые поколения людей, для которых не только войны, а и всякое насилие, угнетение, любая эксплуатация чужого труда будут равнозначны людоедству и ненавидимы, немыслимы так же, как оно. «Нам бы вырастить на земле хоть одно поколение людей свободным от умственных и нравственных изъянов, а там уж у них дело пой-

дет! — думалось ему.— Невежество, заквашенное на корысти, способно погубить мир...»

Мелькнула мысль, что его сознательная жизнь протекала в сфере духовных ценностей, которые сугубо практическим людям кажутся ирреальностями, а на деле столь же реальны, как и все остальное. Его счастье, что при входе в жизнь он не ошибся дверью и остается тем же Костей, которому Сергей писал в посмертном письме: «Будь таким, каким был тогда, и верь, как я верю». И «не бросай писать».

Не успел Сережа сделать все, что хотел! Ну а Костя? Все ли он сделал во исполнение клятвы работать за двоих? Сделал бы больше, отдайся он целиком одному делу — либо политической борьбе, либо науке, либо призванию писателя. Вина ли его или беда, что так не получилось? Редко он бывал доволен собой, ему все хотелось стать лучше. Когда-то в школьном сочинении он писал, что человек управляет обстоятельствами, если их поймет. Оказалось, мало понять, надо еще суметь их одолеть. А если обстоятельства не от него зависят и ему не под силу? Не под силу — сколько ни клял он себя то за книжность, то за дилетантизм. Время было такое, когда он входил в жизнь: не хватало у партии «теориков».

Время — вот единственный его прокурор, адвокат и судья.

А дети? Можно ли сбросить со счетов Володю, Наташу, генерала Сережу? А внук Саша?.. Кто знает, не дадут ли они людям больше, чем успели дать Костя с Сергеем!

Ну а как у него с делами домашними? Двадцать лет у них с Аришей промелькнули, как двадцать дней. Оба давно привыкли, что незнакомые именуют их бабушкой и дедушкой, в метро и автобусах уступают места. Костина голова так и не поддалась понастоящему седине, а вот лицо избороздили морщины. У Ирины Павловны морщин на лице почти нет, зато прежняя его живописность отступила перед скульптурностью. «Счастье наше, что мы с ней оба труженики. И еще оптимисты.— В первый раз за эти часы губы его невольно тронула грустная улыбка, но он тут же вздохнул: кухонная лямка ее заедает.— И ведь все это ради меня! Поверила в меня как в писателя больше, чем сам я в себя верил».

Ни с того ни с сего почему-то вспомнилось, как шли с охоты и вдруг из нагнавшей их тучи повалил при ясном небе снег, и возглас Сандрика: «Снег сквозь солнце!» — и Мечикова реплика: «Зима на весну сердится»; сияние радуги на убегающем вдаль снежном занавесе... Из одноклассников только они с Мечиком двое остались. Последние из могикан...

Тут воспоминания и размышления Константина Андреевича прервал требовательный звонок над входной дверью. Это Ариша, это ее звонок, она всегда звонит нетерпеливо, раз за разом нажимая кнопку. Кольнуло в сердце: сейчас придется сказать ей о Флёнушкине...

Едва он открыл дверь, как в нее ворвался мраморно-черный щенок, ушастый спаниель Бимка, и, став на задние лапы, принялся колотить его передними. В коридоре перед дверью Ирина Павловна весело смеялась, держа в руке плетеную сумку, из которой торчало колесо детского автомобильчика и голова плюшевого медвежонка.

— Ты привезла Антошку? Где же он?

— Ты знаешь, беда какая! — нарочито громко заговорила она.— Нас в такси было четверо: Антошка с Мишкой и я с Бимкой, а приехали трое: Антошка по дороге выпрыгнул из такси! Он под машину попадет, сегодня такое большое движение на улицах!

Подыгрывая жене, Константин принялся бранить ее, что не усмотрела за проказником; надо сейчас же в милицию звонить, чтобы его разыскали и немедленно к нам доставили!

Но Бимка уже мчался к лестничной клетке, а навстречу ему оттуда выскакивал разрумяненный морозцем малыш, весело крича:

— А мы с бабушкой тебя обманули!

Это была его очередная затея.

КОНЕЦ

ОДНОЙ ЛИШЬ ДУМЫ ВЛАСТЬ

Об «Уходящем поколении» и других романах В. Н. Астрова

В небольшом предисловии к роману «Уходящее поколение» автор, Валентин Николаевич Астров, трезво и точно сказал о специфичности своего произведения, о том, что в нем нет особой остроты событий, что основное содержание состоит в осмыслении персонажами пройденного пути, идейного существа их жизни. С пониманием относится автор и к тому, что не всякому читателю подобное сочинение будет близко: «Если это вам ничего любопытного не сулит,— закройте книгу».

Убежден, однако: тот, кто «закрыл книгу» не по началу ее, а по завершении, кто проявил к ней доброжелательное внимание,— узнал немало интересного, серьезного, заставляющего и размышлять, и сопереживать.

«Уходящее поколение» — заключительная часть трилогии: роману предшествовали книги «Огни впереди» и «Круча» (впервые они изданы «Советским писателем» соответственно в 1958 и 1966 годах). Оба произведения были встречены с живым интересом. В. Н. Астров, большевистский активист с дооктябрьским стажем, видный деятель партийной печати 20-х годов, изображал в них целую полосу жизни России, события, которые близко знал, в которых участвовал. Хотя книги Астрова это именно романы, а не мемуарные свидетельства, хотя в центре стоит собирательный персонаж — Константин Пересветов, все же автобиографичность и документальность повествования несомненны. На многих страницах можно видеть, как в индивидуальном, своеобразном опыте, в личной судьбе героя воплощаются известные и по другим источникам узлы, повороты революционной истории. Немало можно встретить и такого, что дополняет, конкретизирует наши представления. Пересветов, как и сам Астров, вел партийно-пропагандистскую работу в Еланске (за которым угадывается Смоленск), учился в Москве в Институте красной профессуры, энергичнейше участвовал в идеологических дискуссиях послереволюционной поры, хорошо знал многих людей из руководящего ядра партии.

Когда читаешь «Огни впереди» и «Кручу», не раз вспоминаешь горьковскую «Жизнь Клима Самгина». Разумеется, не сопоставление масштабов и изобразительных возможностей я имею в виду, а сходство угла зрения, предполагающего преимущественный художнический интерес к идеологической и интеллектуальной стороне действительности, к многостороннему полифоническому ее воплощению. Среда, где протекает жизнь Константина Пересветова,— это среда партийцев, большевистских идеологических работников; идейные интересы, идейно-нравственное развитие — вот суть романного движения, разнохарактерных романных событий.

Хронологически роман «Уходящее поколение» не служит прямым продолжением двух первых книг. В «Огнях впереди» действие начинается в 1905-м и заканчивается в 1919 году. В «Круче» изображены 20-е годы. Временные рамки «Уходящего поколения» охватывают период от Великой Отечественной войны до конца 70-х годов — хотя ретроспекции, воспоминания Пересветова нередко обращены и к годам 30-м, и к событиям, описанным в первых двух книгах трилогии.

Когда трилогия В. Астрова увидит свет вся вместе, в едином издании,— уверен, такое издание целесообразно, необходимо,— читатель глубже сможет оценить те отсылки к «Огням впереди» и «Круче», которые встречаются в «Уходящем поколении». Возникнет возможность и для более цельного, завершенного восприятия образа главного героя, всей линии его жизни. Да и сам облик прозы В. Астрова, особенности писательской манеры предстанут многообразнее, отчетливее, выпуклее.

Каковы эти особенности? Что составляет основу художественной убедительности, которой достигает автор трилогии? Дело тут, думаю, в искренности, скромной ненавязчивости, с какой рассказывается пережитое; в чистоте, естественности языка — языка русского интеллигента, близко стоящего к тем временам, когда уважение к гибкости и силе родного языка как бы само собой сопутствовало образованности; наконец, в глубокой преданности коммунистической идее, в убежденности, помогающей убедительности, можно сказать, переплавляющейся в нее...

Объективность требует признать: роман «Уходящее поколение» уступает двум первым частям трилогии. Нет в нем столь же плотной событийной насыщенности, иные страницы могут показаться необязательными, сугубо «частными».

Дело тут в том, что сам жизненный материал более привычен и куда менее конфликтен, чем прежде. И в том еще, что особый характер приобрела направленность повествования: сквозной нитью третьей книги выступает история приобщения Пересветова к литературному труду, становления его как писателя.

Это последнее обстоятельство, находясь в ладу с авторской приверженностью идеологической стороне жизни, вместе с тем и несколько деформирующе сказывается на повествовательной структуре, композиционной стройности. На этот раз перед нами произведение преимущественно эссеистского плана, в котором важно не столько событие, сколько его осмысление — историческое, философское, этическое. Вспомним, именно о такой своей цели говорит и сам автор.

Что ж, подобный жанр романа столь же законен, как и всякий другой; в последние годы даже появился подзаголовок «роман-эссе», сопутствующий некоторым интересным книгам. Вопрос, собственно, в том, насколько существенно то осмысление действительности, что предлагается «романно-эссеистским» жанром, насколько активными, работающими оказываются жанровые особенности.

В целом книга «Уходящее поколение», при всех ее неровностях, способна — еще раз повторю сказанное в самом начале — немало дать внимательному читателю.

«Уходящее поколение»... Называя так роман, автор конечно же нисколько не собирался бить на сентиментальность, а тем паче искать снисходительности. Но, как бы там ни было, название приковывает к себе, не отпускает. В самом деле — уходящее поколение... Поколение, участвовавшее в крупнейших революционных, исторических свершениях, пережившее больше, нежели любое другое... Поколение, опыт которого крайне ценен и поучителен... Книга В. Астрова дает возможность еще раз услышать голос представителя этого поколения, человека, обладающего талантом повествователя и талантом гражданина, приобщиться к живым, честным свидетельствам.

Такие свидетельства очень важны сегодня. Так уж случилось, что роман «Уходящее поколение», писавшийся в предыдущее десятилетие, читатель узнаёт в пору, когда настоятельнейшей общественной необходимостью стали новые подходы к нашему прошлому, к истории Советской страны. Мы встречаем в новейших изданиях немало такого, что заставляет по-иному, порой кардинально по-иному смотреть на обстоятельства минувшего. Из разнохарактерных фактов и сведений, разных точек зрения складывается картина, на основе которой возникают заключения, отмеченные историзмом, объективностью, лишенные конъюнктурного налета.

Раздумывая в этом свете над прозой В. Астрова, приходишь к выводу: хотя нет в ней ничего такого, что представляло бы интерес сенсационного, особого свойства, ее содержание, безусловно, способствует именно серьезному, глубокому осмыслению исторического пути. Это относится как к «Огням впереди» и «Круче», так и к «Уходящему поколению». Да, перед нами жизнь и мысли Пересве-

това, его индивидуальный человеческий опыт, черты, его личности присущие, и определенная субъективность мнений, определенная даже односторонность здесь неизбежны. Однако при всем том автобиографическая проза В. Астрова звучит объективно. Прежде всего потому, что она основательна в воссоздании душевного мира героя, человека глубоко идейного, во все свои долгие годы, при всех, в том числе и весьма неблагостных поворотах жизни, знавшего одной лишь думы власть — свято верившего в социальную и гуманистическую справедливость.

В романе «Уходящее поколение» не раз встречаешь размышления о цельности человеческой натуры, о мировоззренческой принципиальности. В том числе и в приложении к литературному, писательскому труду. Рассуждая о принципах творчества, Константин Пересветов говорит о неприемлемости для себя расщепленности, «двойничества», которые, развивайся он, Пересветов, в иных жизненных обстоятельствах, возможно, и не обошли бы его стороной. «Большевистский бог меня от этого уберег». И тут же: «...Нет худа без добра: воспоминания обо всем этом (имеются в виду колебания, посещавшие героя до твердо избранной им веры.— *М. С.*) заставляют меня всегда относиться к себе как можно строже, чтобы ни на чем не споткнуться». И еще: называя моменты душевных кризисов, возникавших по личному ли, по творческому ли поводам, Пересветов замечает: «...до глубинного раздвоения сознания дело не доходило — ни то, ни другое не затрагивало большевистских убеждений, этой доминанты моего существования, на которой зиждется моя моральная устойчивость».

Драгоценнейшее содержание видится за подобными признаниями. «Большевистский бог», марксистско-ленинское учение, проникшее в душу, ставшее частью натуры,— это действительно стержень и жизни Пересветова, и всего повествования, созданного В. Астровым.

Мы немало говорили — и с новой энергией говорим сегодня — об узостях, ограниченностях морали, определявшей поведение отцов. Безусловно, такие проявления давали себя знать, и существенно. Бывало, влекли за собой и горестные ошибки, и трагические потери. Историческое объяснение узости, здоровая, умная критика ее жизненно необходимы. Однако в ходе наших споров нередко возникает и критика иного характера, забывающая, игнорирующая главное: чистоту, величие революционных идей и помыслов, глубокую человечность большевистской морали и этики. Не получается ли так, что и Корчагин для нас стал узок, и фадеевский Левинсон, и крымовский инженер Басов? Между тем жизнь, выразившаяся в этих и подобных характерах, воистину полнокровна. И, думаю, ценно, знаменательно встречать в литературе новые подтвержде-

ния тому — особенно если они основаны, как у В. Астрова, на фактической, во многом документально-автобиографической основе.

В одном из эпизодов романа «Круча» Пересветов, критически размышляя о себе, о собственном поведении, задается вопросом: «Что это у меня? Комчванство?» Конечно, здесь, наблюдая за несколько наивным самоанализом героя, не возбраняется и улыбнуться. Но плохо, если улыбка эта будет улыбкой снисходительности, а не доброго сопереживания, если читающий не почувствует правды: да, именно так жили, так мыслили люди описываемого времени, и содержание их жизни было серьезным, нравственным.

К тому же вот еще что не можешь не взять во внимание. Само слово это, «комчванство», вроде бы уже и полузабытое, отошедшее (а вернее, отодвинутое) в историю, нынче вновь полноправно в печати, в общественном мнении, и мы все более осознаем, что его недаром столь часто и столь непримиримо употреблял, размышляя о политической реальности, Ленин...

В «Уходящем поколении» В. Астров ретроспективно обращается к обстоятельствам (они описаны в «Круче»), когда Константин, полюбив Лену Уманскую, первым делом сказал о своем чувстве жене, Оле, признался ей в том, о чем, собственно, вполне мог умолчать: каяться-то и не в чем было... История поучительная. Ибо и в признании этом (лишающем Олю, естественно, душевного равновесия), и в прямолинейно-неуклюжих «выяснениях отношений» с самой Леной Уманской столько видится искренности и честности, что понимаешь: именно так, а не иначе должен был герой поступать. И, собственно, честность эта как раз и явилась залогом того, что не распалась, только окрепла семья Пересветовых.

Из подобных фактов, подробностей и становится очевидно, где же проходит грань между «узостью» и — полнокровием жизненных, нравственных проявлений, грань непростая, диалектическая. Невольно вспоминаются герои Чернышевского — предтечи той самой морали, какой руководствовались Константин Пересветов и его друзья-большевики. Узость ли — движения души, руководимые, контролируемые чистотой убеждений?

Вот эту чистоту убеждений и сумел передать В. Астров в «Уходящем поколении», в главном содержании книги. Константин Пересветов, старый революционер, ставший писателем, делящийся с нами всем, чем живет и в современности, и в воспоминаниях,— это общественный человек в полном смысле слова.

Позволю себе еще одну литературную параллель. Читая «Уходящее поколение», я вспоминал старых партийцев — героев Ю. Трифонова: Федора Николаевича из «Обмена», Летунова из «Старика». Вспоминал их органическую, как и у Пересветова, спо-

собность жить не собой — жизнью, текущей вокруг. Хотя, конечно, все это люди достаточно разные.

Старика Летунова многое смущало в нынешнюю пору его жизни. Старика Пересветова тоже смущает ряд явлений, которые, по его разумению, не должны были уже и существовать, а тем не менее существуют. В целом же, однако, характер признаков действительности, разворачивающихся перед Летуновым и перед Пересветовым, существенно разнится. В первом случае это во многом признаки, связанные с негативным, с представлениями и нормами мещанства. Во втором это признаки преимущественно положительные. Многие страницы «Уходящего поколения» занимает рассказ об успешном, радостном опыте писательской деятельности Пересветова, о понимании и доброжелательстве, которыми эта деятельность окружена. Еще один объемный пласт романа — сердечные отношения с близкими, отношения, в которых общность держится не только на родстве прямом, буквальном, но и на родстве духовном. Наконец, подробно рассказывается об интересе Пересветова к новаторским поискам в области педагогики, школьного воспитания; тут, конечно, отнюдь не все радужно, как оно и есть в жизни, творческим, самоотверженным педагогам приходится не раз горькую чашу испивать, но хочу и в данном случае подчеркнуть оптимистичность духа Пересветова.

«Педагогические» страницы, может быть, особенно характерны для повествовательного склада романа: они строятся не на сквозном действии, а прежде всего на разговоре, на рассказе о тех или иных педагогических реалиях, которые становятся известны Пересветову, обсуждаются им с кем-либо из друзей, знакомых, собеседников. Вчитываясь в эти страницы, видишь: лучшие из них отмечены движением, дискуссионностью, публицистичность подкреплена психологизмом — тем, что проистекает из взволнованности рассказчика, живого, горячего отношения к предмету. Заинтересовываешься вместе с ним и опытом создания разновозрастных школьных отрядов, и практикой подготовки к рабочим профессиям, и самим ходом эксперимента в интернате (борьба за него, перестраховка, наконец, избавление от эксперимента под благовидным предлогом — типичнейшая для нашего косного педначальства история). Доводы, которые приводятся в романе в пользу развития школьного самоуправления, в пользу оживления, на новом этапе общественного развития, идей Макаренко, интересны, актуальны. Независимо, самостоятельно трактуется вопрос о соотношении воспитательных принципов Макаренко и Сухомлинского, причем с необходимым тактом проводится мысль о том, что система Сухомлинского, как бы она ни была хороша, не должна затмевать (как это случалось в последнее время) систему Макаренко, тем бо-

лее что в создании школьных коллективов именно макаренковские установки незаменимы.

Просто и естественно раскрывается в романе многогранность интересов, своеобразие мышления людей «пересветовского поколения», то качество, которое можно назвать жадностью к жизни, к духовной ее сути.

Вот несколько подробностей, взятых, как говорится, наугад, подряд.

Пересветов и приехавший к нему старый друг Сацердотов, встретившись после многолетней разлуки, сразу же бросаются в обсуждение горячих общественных проблем — от тех же школ-интернатов до необходимости создания средневолжского заповедника. Сацердотов, с волнением констатирует сын Пересветова Владимир, «чувствует себя в ответе за все». И про какие-то ямы на тротуарах говорит, «которые по его почину засыпал песком пензенский горкомхоз... Возмущает его, что леса вырубаются, что пензяков приезжие жители в «пензенцев» перекрестили... Что на радио слова старинных песен искажают...»

Тут же разговор о Чехове, да еще и в таком неожиданном ракурсе: «Жаль, что Антон Павлович даже до Пятого года не дожил, а из большевиков, должно быть, ни с кем не сталкивался. Обогатилась бы, может, русская литература плеядой героев того времени».

А вот, поблизости, еще штрих. Право же, каким специфичным, неординарным должен быть склад мышления героя, чтобы следующим образом рассуждать о... футболе, о возобладавшей в нем тактике безрезультатного осторожничанья: «...смотришь на игру и видишь какой-то футбольный оппортунизм по принципу отца ревизионистов Бернштейна: движение — все, конечная цель — ничто».

Много дает В. Астров примеров точной и гибкой художественной лексики — вроде возникающей вдруг в рассуждении о литературном произведении слова «уключина»: на «уключине» «вертится фабула...» — необычное и действительно емкое сравнение. Или вот такое лаконичное резюме после описания внешности героини: «В целом лицо ее давало больше материала живописцу, чем скульптору, особенно когда она улыбалась...»

Есть в основе подобного лаконизма интеллигентность — естественная, ненавязчивая. Как есть ато свойство, допустим, в житейски простых, мудрых рассуждениях о старости (вроде такого: если наступает вдруг отчаяние от физической немощи, от забывчивости, «ты вообрази, что все зто не с тобой творится, а с кем-то другим, и весело посмейся, только и всего!..»). Или в сентенциях о вреде и нелепости пьянства: «Непонятно было, как он (речь идет об одном из близких Пересветова.— *М. С.*), такая ясная голова, твердый в жиз-

ненных принципах, не в силах одолеть банальнейшего, глупейшего из пороков, в какой-то степени извинительного... лишь человеку невежественному, беспринципному и слабовольному»,— очень бесхитростно и очень проникновенно сказано!

Тут, в подобных описаниях, эпизодах примечательно проявляет себя та самая упомянутая уже способность автора писать предельно просто, способность, в основе которой — неукоснительное следование искреннему, открытому взгляду на жизнь, подчиненность повествования этой искренности.

Любопытно, как размышляет Пересветов о явлениях культуры, вызывающих у него сложное, противоречивое отношение, как сливаются тут и личностное, и исторически обусловленное. Замечательная в этом роде исповедь — страницы о Достоевском. Говорится о неприятии Достоевского, заложенном еще в юности, когда в пересветовском кругу он безоговорочно воспринимался реакционером (и даже «эстетом»), и о движении к Достоевскому, совершавшемуся с развитием общественного бытия. Нет, Пересветову и ныне Достоевский отнюдь не близок, и тут право суверенного выбора: «...иногда брался перечитывать... но скорее из потребности прокорректировать свои первоначальные впечатления, чем из читательского интереса, с каким раз по десять перечитывал «Войну и мир», «Отцов и детей»...» Однако время заставило осознать «пережитки... односторонней оценки», прочувствовать, что гуманизм Достоевского являет собой значительную силу. С уважительностью говорит писатель Пересветов об идейности как о «типообразующем начале» в романах Достоевского. А еще он, обдумывая свои творческие замыслы, делает следующую запись в дневнике: «Хотелось бы мне провести через всю мою повесть такую внутренне сюжетную ниточку: Достоевский — Дзержинский — Макаренко. Разве Дзержинского не мучила та же самая «слезинка ребенка», что и Достоевского? Разве не Дзержинский взял под опеку ВЧК дело помощи беспризорной детворе первых лет советской власти? Разве не его именем назвал свою школу-коммуну беспризорников Макаренко?»

Неожиданно, даже парадоксально... Но как внутренне обоснованно, как справедливо по сути своей!

И вот о чем думаешь, суммируя идеологическое содержание прозы В. Астрова. Судьба героя трилогии, долгая, духовно активная его жизнь — это ведь и история мировоззренческого совершенствования, одно из поучительных свидетельств того, как органичен марксистско-ленинский взгляд на мир, как способен вбирать в себя всю широту гуманистического богатства, вырабатываемого человечеством. В «Уходящем поколении» чувство такой восприимчивости, всеобщности выражено особенно определенно.

Говорится в романе и о том, что явилось серьезнейшим ущербом всему делу социализма,— о нарушении ленинских заветов, о произволе и беззаконии, связанном с культом личности Сталина. В частности, существенные соображения обо всем этом возникают там, где воспроизводится разговор Пересветова и его близких в пору XX съезда, разговор горький, откровенный, честный.

С уверенностью можно предположить: работай автор над романом в наши дни, тема культа, трагических его последствий прозвучала бы в «Уходящем поколении» объемнее, резче. Тем более что Валентин Николаевич Астров сам попадал под каток репрессий: сначала в середине 30-х, затем в 1949 году — после участия в Великой Отечественной войне, куда пошел, невзирая на возраст, добровольцем. Реабилитирован был в 1956-м.

Те, кто внимательно следил за периодикой, заметили: имя В. Астрова упоминается последнее время в связи с советской политической историей, теми ее страницами, что в течение десятилетий оставались закрытыми и только сейчас начали исследоваться. Работа Астрова в партийной печати была связана с именем Н. И. Бухарина. Вместе с Бухариным, рядом других видных партийцев, чья судьба сложилась трагически, Астров в середине 20-х годов участвовал в руководстве «Правдой» и журналом «Большевик», был членом редакционных коллегий этих изданий. Он входил в состав делегации РКП(б) на V конгрессе Коминтерна. Астровым написан в те годы целый ряд работ по истории, среди них особенной популярностью пользовалась «Ленинская хрестоматия». Книга «Экономисты» — предтечи меньшевиков», изданная в 1923 году, находится среди книг личной библиотеки В. И. Ленина в Кремле.

Американский историк С. Коэн, отрывки из работы которого о Бухарине помещены в еженедельнике «За рубежом» (апрель 1988 г.), упоминает В. Астрова в связи с так называемой «школой Бухарина» — группой молодых талантливых марксистов, учившихся в Институте красной профессуры. Называя десяток имен участников «школы», С. Коэн пишет: «...их деятельность была прервана после поражения Бухарина, а сталинский террор пережил только Астров».

Судьба Валентина Николаевича Астрова уникальна.

В августе 1988 года прозаик, член Союза писателей СССР В. Астров отметил свое 90-летие...

Выше говорилось: составляющие трилогию книги способствуют серьезному подходу к истории. Да, это представляется несомненным — даже учитывая то обстоятельство, что, допустим, материал «Кручи», как нетрудно сейчас понять, мог бы быть значительно более полным, а трактовка ряда политических ситуаций более свободной и откровенной. Партийные дискуссии 20-х годов, борьба

против оппозиции — все это, о чем мы теперь так много читаем в текущей исторической публицистике, из чего стремимся извлечь поучительные выводы, составляет, собственно, значительную часть содержания «Кручи». Так вот, хотя этому содержанию присущи изъяны, обусловленные концепциями и возможностями времени, в которое создавалась книга, в целом рассказ писателя объективен и честен. Нет у В. Астрова грубой тенденциозности, нет, нигде и ни в чем, столь милого иным авторам стремления примитивизировать сложнейшие события, представить их однолинейно.

Когда мы читаем в «Круче» сцены, где действуют исторические фигуры, лидеры страны, автор не давит на нас, не опутывает сетью предвзятости. Мы видим политику в лицах — и ощущаем влияние лиц на политику: подмечаем те вроде бы и неприметные зерна, из которых прорастут будущие трагические коллизии. Еще далеко до того, когда Сталин полностью узурпирует власть. Но писатель показывает, как и в рядовых вроде бы случаях (вроде эпизода, когда Сталин на квартире в Кремле встречается с Бухариным и опекаемой им молодежью — как можно понимать, той самой «школой») проявляется резкость, неделикатность генсека — а вместе с тем и цепкость ума, деловитость, контрастирующие с бухаринским прекраснодушием...

Есть основания полагать, что такая объективность, ныне наверняка кажущаяся ограниченной иным любителям «остроты», тоже реализовывалась нелегко. Из новых изданий «Кручи» (в 1969 и 1974 годах) исчезла важная сцена разговора Пересветова с Марией Ильиничной Ульяновой, где речь шла о ленинском завещании и явно проявлялась настороженность к Сталину, тревога... Да и вообще при переизданиях дала себя знать тенденция к «сглаживанию»: были, например, сняты исполненные и живости, и серьезного смысла страницы, описывающие приезд М. И. Калинина на забастовавшую в 1923 году Трехгорку. Вероятно, кто-то из ответственных читателей решил, что негоже рабочим так вести себя по отношению к собственной власти,— так ведь умница Калинин как раз в этом и убедил собравшихся на фабричном дворе...

Автор «Кручи» не мог задаваться вопросом, которым часто задаются в нынешних вольных размышлениях: насколько правилен был выбор, сделанный страной к концу 20-х годов. Но книга показывает наличие существенных факторов, способствовавших этому выбору. Из самой логики событий вытекает, что, как ни неуютно сегодня это сознавать, в ту пору история не оставляла нам большого времени для раздумий. Что твердость, а также и определенность теоретических постулатов импонировали партийной массе. Что реально существовала угроза, исходящая от капиталистических государств. Что утвержденное в революционных боях един-

ство исподволь, незаметно превращалось в орудие единовластия. Что, наконец, свою немалую роль играла недостаточность культурности, как общей, так и политической.

Повторю: многое в подобных выводах вытекает из логики изображаемого, не формулируется прямо. Но то, что «Круча» заставляет размышлять в этом направлении, уже знаменательно.

В «Уходящем поколении», особенно там, где обсуждаются вопросы, связанные с культом личности, встречаешь суждения, как бы продолжающие то, что было намечено в «Круче». Настоятельно занимает В. Астрова проблема культуры, неоценимой важности ее в жизни и политике. Приводятся ленинские слова о трудностях и бедах, угрожающих нам оттого, «что не хватает культурности тому слою коммунистов, который управляет». И близко от них идет выдержка из письма, полученного Пересветовым весной 56-го от друга, заслуженного большевика: «...после XX съезда партии я на старости лет словно заново родился. Но тоска меня сосет, как только вспомню съезд XIII, когда мы на делегациях заслушивали посмертное ленинское письмо. Как мы тогда просчитались... Всеобщая вышла ошибка, предугадать будущее никто из нас тогда не смог, а потом уж поздно было...» А еще автор письма так выразил свою позицию: «Но от ответа перед будущими поколениями нам всем, видать, не уйти. Что ж, пусть нас судят по справедливости и по тем делам, какие нам были по силам. Чего-чего, а уж сил-то своих мы не жалели...»

Познакомившись с «Уходящим поколением», думая о творчестве Валентина Николаевича Астрова, не теряющего рабочей формы, продолжающего, несмотря на почтенный возраст, трудиться,— надеешься, что он еще сумеет выразить, досказать то, о чем невозможно было высказаться в полный голос. Хочется крепко надеяться на это... А одновременно нельзя не быть признательным писателю за то, что им сделано,— за его трилогию.

МИХАИЛ СИНЕЛЬНИКОВ

Август 1988 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Валентин Николаевич Астров

УХОДЯЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

Редактор Г. А. БЛИСТАНОВА
Худож. редактор Ф. С. МЕРКУРОВ
Техн. редактор Н. В. СИДОРОВА
Корректор С. Б. БЛАУШТЕЙН

ИБ № 7259

Сдано в набор 10.11.88. Подписано к печати 24.05.89. А 05477. Формат $84\times108^1/_{32}$. Бумага книжно-журнальная. Обыкновенная новая гарнитура. Высокая печать. Усл. печ. л. 21,84. Уч.-изд. л. 22,30. Тираж 30 000 экз. Заказ № 761. Цена 1 р. 40 к. Ордена Дружбы народов издательство «Советский писатель»,
121069, Москва, ул. Воровского, 11

Тульская типография Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, 300600, г. Тула, проспект Ленина, 109

Астров В. Н.
А 91 Уходящее поколение: Роман. — М.: Советский писатель, 1989. — 416 с.

ISBN 5—265—00903—5

Роман старейшего русского советского писателя Валентина Николаевича Астрова охватывает практически все важнейшие политико-государственные события нашей страны, происшедшие с начала двадцатого века. Участником и свидетелем этих событий выступает главный герой романа писатель и большевик Константин Пересветов, человек ясных взглядов и мужественных поступков.

А $\frac{4702010201-218}{083(02)-89}$ 10—89 ББК 84 Р7

1 р. 40 к.

Советский писатель